

**НОВЫЙ
МИР**

8

1935

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А
В О С Ь М А Я
А В Г У С Т

М О С К В А

1 . 9 . 3 . 5

С **10**-й (октябрьской)
КНИГИ ЖУРНАЛА
„Новый Мир“

будет печататься новый роман

Ал. ТОЛСТОГО

„19-й ГОД“

3-я книга романа
„ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ“

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВЛ. ЛИДИН. — <i>Сын, роман</i>	5
2. А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ. — <i>В дрейфе, новые главы романа «Цусима»</i>	33
3. ТИЦИАН ТАБИДЗЕ. — <i>Стихи об Армении</i>	46
4. РАЙСА АЗАРХ. — <i>Пятая армия, роман, продолжение</i>	50
5. БОРИС КОРНИЛОВ. — <i>Краснополянское шоссе, стихотворение</i>	69
6. Г. НИКИФОРОВ. — <i>Мастера, роман, продолжение</i>	71
7. Ш. ГЕРГЕЛЬ. — <i>Гремит барабан, роман, перевод с венгерского</i>	92
8. ПАВЕЛ НИЗОВОЙ. — <i>Недра, роман, продолжение</i>	115

ЛЮДИ И ФАКТЫ:

9. Б. ЛАВРОВ. — <i>Первая Ленская, с иллюстрациями</i>	138
--	-----

ЗА РУБЕЖОМ:

10. Н. КОРНЕВ. — <i>Перед вторым антигитлеровским переворотом Адольфа Гитлера</i>	167
11. МЕЖДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА	185

НАУКА И ТЕХНИКА:

12. А. ЗАМКОВ. — <i>Гравидан в медицине</i>	190
---	-----

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

13. П. РОЖКОВ. — <i>Об определенности характеров</i>	213
14. Е. ГАЛЬПЕРИНА. — <i>«Не переводя дыхания» И. Эренбурга</i>	232
15. Л. ПОЛОНСКАЯ. — <i>Исповедь одинокого художника, с иллюстрациями</i>	238
16. К. СИТНИК. — <i>Онорэ Домье и его эпоха, с иллюстрациями</i>	245
17. С. ЧЕМОДАНОВ. — <i>«Кармен» в театре Станиславского, с иллюстрациями</i>	257

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

Е. БРАЙНИНА. — <i>Колхозный читатель о книге</i>	261
А. СТАРЧАКОВ. — <i>«Пушкин-критик»</i>	271

Статформат Б/5 176 × 250.

Уполн. Главл. Б—10942. Тир. 52425. Об'ем 17 печ. лист. по 64.000 знак. Сдано в набор 4/VIII—35 г.

Подписано к печати 28/VIII—35 г.

Техн. ред. В. Белокопъ.

Зак. 1382.

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Степанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», Москва.

С Ы Н

Роман

ВЛ. ЛИДИН

И вновь, пока беседа наша длится,
Кругом встают иные сочетанья
Певучих звуков.

Ш е л л и.

I

Нестройно и многозвучно работало это здание гармонии. Низкие октавы басов, высокие сольфеджио и вокализы, шумные фортепианные рапсодии Листа, торжественные инвенции Баха и медлительная басовитая виолончель, — все это, как некие перекаты органа, вырывалось на улицу, приукрашая ее будничным шум. Ежедневно толпы молодых людей со скрипичными футлярами, с папками, нотами и композициями торопились в это обиталище музыки. Это было новое поколение. Старое поколение, что только недавно звучало, сияло на афишах и очаровывало, выбывало постепенно и незаметно. Оставались заслуженные имена, фотографические изображения статных Садко, Лознгринов и Ленских и сырые неопытные голоса учеников.

Все было в жилище отдано воспоминаниям. Пачки пожелтевших афиш, пыльный лавр венков, молодые и статные Левко и Альфред — лирический облик бывшего тенора. Огромная квартира на Троицкой была давно переключена. Как некий угрюмый проспект, пересекал ее коридор с дверями многочисленных ее обитателей. Все было знакомо в этом доме детства. Крутая лестница восьми этажей, цветные герольды в витражах окон, средневековая пыш-

ность камзолов, алебард и плюмажей, сквозь которые просвечивает тусклый петербургский денек. Женщина стала подниматься наверх. Фигура ее была еще по-девически легкая. Только глаза тронулись в путь. Были уже веки, отметины, некие пройденные расстояния, — та женская тревога, когда беспокойно наблюдаешь этот наглядный счет времени. Дом был обычным петербургским домом, построенным перед войной. Закованный в серый гранит, с великолепием восьмикомнатных барских покоев, с балконами, похожими на усыпальницы, приютил он ныне в себе население уездного города. Грязноватый сумрак сочился сквозь стеклянную крышу восьмого этажа. Роспись, кому и сколько звонить, висела на дубовой двери, как школьный балник для отметок. Женщина позвонила шесть раз. Дверь открыли не сразу, — все девять квартирантов квартиры прислушивались и считали звонки. Наконец, движение означилось за резной толстой дверью.

— Это я... Ирина, — сказала женщина.

Необъятная передняя дынула многолюдным жильем. Отцовская комната — некогда родительская спальня — была в конце коридора. Белые колонны с ионическими капителями, почти двухъярусная высота, застарелая декоратив-

ность разбросанных тканей, трельяжей, белого рояля с золочеными ножками и рамок с портретами артиста. Пышные завитки париков, статность осанки, мягкие оперные сапоги, роли, роли. И сейчас еще, как некий артистический признак, шелковая черная ермолка и неутоленные глаза человека, узнавшего славу. Только обвисший двойной подбородок, почерк времени в набегании морщин и остатки высокого голоса говорят о том, что все в прошлом. Да и дочь была в прошлом, некогда преданное ему существо, которое отняли у него другие мужчины...

Леонид Опекушин пережил и свою прошлую славу, и похищение дочери. Чайничек одиноко свистел на спиртовке. Новое поколение певцов шумно и требовательно пришло в золоченное здание оперы. Голос исчезал очевидно и несправедливо. Сначала робкие трещинки, первые срывы на высоких покоряющих «до», внимая которым, восторженно затихала толпа; затем мнительность, бесполезные ингаляции, постепенное охлаждение публики. Все это было давно пережито. Оставались воспоминания, горечь, неутоленность, ученики. Пять лет назад Опекушин пережил похищение дочери. Молодой человек, соученик по консерватории, увел ее из дома. Это была связь, а не брак. Через полгода дочь возвратилась в родительский дом. Отец не простил измены. Ему казалось все это грубым отверженьем отцовских забот. Они стали жить врозь. Сейчас дочь сидела перед ним. Приход был необычен, время для посещения неурочное. Она не сняла своего пальтишка, обрызганного дождем.

— Давно не заходила к отцу, — сказал Опекушин, впрочем, скорее равнодушно, чем наставительно. — Новое поколение. Эгоисты. Ничего не поделаешь. — Он достал чашки и налил из чайника чай. — Садись, пей.

Дочь сидела безучастно. Пальтишко ее было распахнуто. Шея еще тонкая, с мягким припухлым горлом, — некогда любил он потереться щекой о детское нежное горлышко. Он покосился.

— Ну, что же, снимай пальто. Или с официальным визитом?

Она согнала оцепенение и сбросила пальто. Легкие морщинки возле ее глаз означались очевиднее. Была уже привычка движением двух пальцев стирать эту первую запись лет.

— Какие новости? Как успеваешь? — спросил он еще дочь. Она училась по классу рояля, кончала консерваторию. — Всё марши сочиняете, бодрые песни? Как это у вас там поется насчет приамурских партизан? — Он наступал было пальцами мотив. — Бодрость. Бодрость! А вы загляните в жилища, где люди живут со страданиями, с обидями... стареют раньше времени. Вот ведь и ты постарела, — добавил он безжалостно.

У нее было сходство с отцом: то же выражение неутоленности в узковатых глазах, тонкая золотистая кожа с темноватым пушком над губой, темная прядка волос из-под беретика. Он отодвинул стакан и зашагал по комнате. Рост, плечи, походка — все было еще крупно, размашисто, хорошая порода артиста. Только подловато слиняли некогда черные превосходные волосы, словно процедило их время; да еще вот двойной подбородок постаревшего тенера. Руки его были засунуты в карманы пестрой бумазейной пижамки. Дочь подняла голову. В уголке ее глаза блеснула слеза. Привычное движение пальцев, стирающее след. Он не заметил движения. Несвоевременный приход дочери вдруг воспалил его.

— Не уважают ни старости, ни страдания отцов... родители — помеха жизни! — продолжил он. — Нет даже чувства признательности за все, что они дали им. Решение своих собственных задач — одним своим эгоистическим порядком. Потом они приходят к родителям, когда все уже непоправимо...

Все выходило так, будто за этой именно помощью пришла она к нему сейчас. Он вышагивал между колонн и расставленными с упрямым постоянством вещами. Десятилетняя неподвижность предметов. Папки с нотами, арии, архив сладчайших исторгнутых звуков, которым не суждено повториться. Что все эти уроки, педагогия, подающие надежду ученики, когда в сердцевине не-

утихающее разочарование! Он остановился перед ней.

— Или это неправда? Нет обиженных, обойденных, забытых... есть только счастливые и прославляющие? Люди, люди... надо думать о людях!

Он обращался через ее голову к тому счастливому шумному племени, которое было равнодушно ко всем этим спетым им ариям, к его драме артиста, к его опустошению.

— О людях думают сейчас больше, чем раньше, — ответила она, наконец.

— Ты бы без цитат как-нибудь, — сказал он пренебрежительно. — Что-нибудь свое сочинила. Человека бы нашла настоящего, что ли. А то ведь не жена, не вдова... а так что-то вроде.

Она выслушала и это. Его возбуждение проходило. Он сел в стороне. Ложечка отчужденно позвякивала в стакане.

— Я пришла говорить не о себе, — сказала Ирина. Ей было жалко отца. Много было от сердечной его горечи и одиночества. — В Ленинград вернулся Андрей. Ему нужна сейчас помощь.

Ложечка не остановилась в своем круговращении. Белая крышка роля блестела синевой. Сумерки были ранние, ленинградские. Ноябрь шел с Балтики.

— Что же, рассчитывает на давность, повидимому? — осведомился Опекушин. — Было, мол, и прошло. — Знакомая синяя ижица надувалась на его лбу. — А мне вот нет дела до его возвращения... пустота-с. Ветерок гуляет на месте старых привязанностей. Если восемь лет воспитания не вытравили в нем прошлых навыков, — значит, это в крови... потомственный почетный, ничего не поделаешь. У меня для этого... субчика ничего не осталось. Ничегошеньки. Было и прошло. — Он стал язвительен и официален. Он с удовольствием нашел это слово — субчик. — Подобрал запаршивевшего чужого мальчишку... взял с собой в Петербург... дал приют, воспитал, устроил в консерваторию. И что, что? Каков результат? Все осмеяно, все опозорено!

Нет, ни благодарности, ни утешения от этого поколения он не ждал.

— Всему этому много причин... и много моей личной вины, — сказала Ирина.

— Какое мне дело до ваших чувств! — закричал он совсем бабьим голосом. — Вы делитесь со мной этими чувствами... советуетесь... приходите для исповеди? Вы просто ставите в известность, когда вам это удобно. Вам наплевать и на страдания родителей, и на их судьбу. А потом, когда вас хлестнут обстоятельства, тогда вы возвращаетесь в отчий дом. Андрея я не приму, — заключил он. — У меня не странноприимное обиталище. Андрей — урок, большой урок для меня... да и ты тоже, впрочем, урок!

Откуда были эта озлобленность и непримиримость? Она поднялась.

— Тебе неприятен мой приход?

— Да, радости за последнее время ты приносишь не много.

Он ждал, когда она наденет пальто. Возбуждение его проходило. Упрямство мешало ему подойти сейчас к дочери, обнять ее за плечи, поглядеть в ее, дочернины, столь пережившие глаза. Она уходила.

— Хороша! — крикнул он вдруг ей вслед. — Хороша! Плюй, плюй на отца, который дал тебе жизнь!

Это было театрально и жалко. Реплики, подслушанные на репетициях, память классических восклицаний. Она подошла к нему.

— Папа! — Он смотрел мимо. — Папа! Ты никогда не был прежде таким. Откуда у тебя эта глухота и непримиримость?

Он был глух. Он хотел быть глухим. Он хотел отгородить себя привычным окруженьем предметов от жизни, которая вторгалась в его уединение. Да, прежде он не был таким. Сейчас он такой. Теплая щека дочери не пробуждает в нем никаких воспоминаний. Он не несчастен и не одинок. Он живет в полном своем миру. Мир музыки, звуков. Он поет для себя эти арии, романсы и песни, с которыми входил в жизнь. Не мир сузился для него, а он сам уплотнил для себя этот мир. Теперь она уходила. Это была уже не прежняя легкая походка девушки. Он не имел дочери.

Жила, наполняла мир, щебетала, вертелась перед зеркалом с преждевременным детским кокетством, любила наряжаться, любила страшные истории, училась переворачивать ноты, когда ему аккомпанировали, сидела в артистической ложе взволнованная и нарядная, когда он пел, — этот длинноногий звонкий подросток с его глазами, с его ужимками... Все было потеряно, как потерян был голос. Ничтожный теноришко зашел в дом, взял ее за руку и увел, чтобы сделать несчастной. Он лишил его таланта и голоса. Он разоблачал его внешность. Он ненавидел ту чуждую и равнодушную толпу, которая готова вознести нового покорителя, забыв вчерашнего лирического своего спутника, как будто некогда тот не пел, не обольщал, не звучал...

Он упрямо сидел в своем кресле. Синее зеркало рояля наполнялось глубиной, как пруд. Далекий стук двери. Дочь ушла. Сейчас она спускается по лестнице некогда отчего дома. Это больше не отчий дом. Ничто не сохраняет в нем воспоминаний. Чужие люди живут в комнатах, в которых она росла и резвилась. Синее пламя спиртовки горит отравленным светом. Он ненавидит не только обольстителя дочери. Для него безрадостно все это поколение — шумное, эгоистическое и чужое. Им не нужны ни отчий дом, ни заботы семьи — этим детям слесарей, потомственных путиловских рабочих и мелкого служилого люда. Они проходят шумными толпами с пением песен, как будто улица — это коридор их квартиры. Он наделял все это новое поколение одними общими чертами, не желая знать разницы в происхождении, воспитании, классах. Новый — сероватый, невыразительный — пришел зритель в золоченное здание оперы. Он прерывал рукоплесканиями арии и не понимал увертюры. Тот, прежний, утонченный посетитель премьер, который некогда увенчал его славой, вымирал, старел и выветривался. Содержимое его барских квартир, уплотненных особняков и дворцовых пристроек рассеивали по свету вульгарные комиссионные магазины, расплававшие кухонную утварь, гармоник

«баян» и подбитые валенки рядом с миниатюрами, старым русским фарфором и карельской березой. Двенадцать лет назад на узловой южной станции Опекушин подобрал беспризорного. Была осень, голая сивашская степь, водяные туманы, голодный развороченный Крым. Мальчишка ехал в мусорном ящике. На станциях он вылезал из своего убежища, пел и играл на ложках. У него были природный слух, музыкальность и голос. Мальчишку взяли с собой в Петроград. Он поехал равнодушно, привыкший к превратностям. Комиссар бригады Трегубов и он, Опекушин, приняли участие в его дальнейшей судьбе. Мальчишку отмыли и вернули к начальному облику. У него были крестьянское смышленное лицо и зрелый опыт жизни. Одиннадцать лет спустя юноша заканчивал консерваторию по классу композиции. Большие партитуры были раскрыты перед ним. Он слышал оркестр, то сложное накопление звуков, основных мелодий и входящих мотивов, из которых рождается концерт. Мальчишка прожил в его, опекушинском, доме свою жизнь подростка. Он восполнил недостающее звено семьи — сына.

Кресло с грохотом отлетело назад. Сын! Город предстал за окном, за тюлевой занавеской. Сырой и гиблый петербургский туман. Далеко вдоль мокрой улицы зажигались желтые скользкие огни. От них пустынное ощущались простор, дыхание осени, приморская сырость. Все было опрокинуто, замазано грязными калошами прохожих, как эта мокрая улица. Он не имел помощника. Пустая надежда. Он не имел дочери. Жалкая память о ее детстве. Этот блистающий склеп с колоннами и ионическими их завитками, который предоставлен ему для заслуженной старости, для воспоминаний, для хранения пыльных венков и переплетенных опер. Дочь. Сын. Слава. Мечта. Какая выразительность в этих коротких словах, обозначающих эфемерность мечтаний!

Синеватое пламя стлало приторный запах спирта. Он потушил спиртовку. Чай в чашке остыл. Тюлевые занавески, затем портьеры надежно отодви

нули видение города. Был пятый час. С пяти часов начинаются его занятия с учениками. Оскаленная клавиатура рояля привычно притягивала к себе. Кончики пальцев расположились на клавишах, нога ощутила педаль. Сначала вступление, первые удары по клавишам. Затем вкрадчивое возникновение голоса. Чайковский. Сладостный цикл романсов, элегии разочарования и примирения.

О, засни, мое сердце, глубоко,
 Не буди, не пробудить, что было,
 Не зови, что умчалось далеко,
 Не люби, что ты прежде любило...

Глубокое дыхание всей этой пройденной лирики. Голос еще справляется с высотами. Легкий пробег по клавишам, напряженность ноздрей, вибрация звука там, в глубине непокорной гортани, которая источала столько взволнованной тоски. Свежесть модуляций, работа носоглотки, дыхание... бедное горло, которое он так берег и которое уже незачем беречь. Романса не вышло. Еще несколько взмахов руки, еще несколько стенований рояля. Затем он опустил руки движением пианиста, как бы давая стечь крови. Деловая рабочая лампочка зажглась над роялем. Он сменил свою бумазейную пижаму на блузу. И в этом была еще артистичность — в складках просторной блузы, в небрежном фуляровом галстуке. Ученик робко входил к нему. Мастер ставил голос, учил искусству владеть им, расчетливому уменью петь. Расточительное буйство юности оказывалось ненужным. Здесь все было взвешено и учтено, доведено до блеска отделки. Нотные знаки выстраивались в строевом порядке. Ключ возглавлял их многоречивое шествие. Начинался урок.

II

Московский поезд пришел из тумана. Очередное деловое прибытие, серый сумрак вокзала, озябнувшая толпа ожидающих. Двери вагонов раскрылись. Ноябрь хлынул в обжитые за ночь купе. Молодой человек от управления зрелищных предприятий разыскал нужный спальный вагон.

— Товарищ Лавровский, — сказал он театральным голосом. — Приветствую вас.

Приехавший пожал ему руку. Мохнатое пальто, плюшевая серая шляпа, кожаный чемоданчик в руке — все обозначало, что человек посетил недавно Европу. Была уже сноровка известности в его обращении с людьми. Высокий рост, свежесвыбритое в дороге лицо, сероватые уверенные глаза человека, привыкшего к взглядам и вниманию к своей внешности. Ожидавший заспешил рядом с ним. Тощие его ручки были засунуты в карманы пальтишка. Кепочка не без щегольства сдвинута набок.

— Предварительная продажа отличная, — продолжил он на ходу. — Будет аншлаг. Несомненно. У нас, знаете ли, патриотизм... питомец Ленинграда, это много значит.

Обшарпанные его рукава, некое торопливое угождение говорили о превратностях актерской судьбы. Стояла и нанятая заранее машина — разболтанная каретка такси, похожая на этого говорливого спутника. Они сели внутрь.

— А ведь вы меня не узнали, уверен... Абессаломова помните? Мы ведь вместе учились, в одно время с вами... в консерватории. Тоже, знаете ли, готовился к оперной карьере. Ничего не вышло. Бывает. — Он усмехнулся. — Так, знаете ли, не повезло.

Сидел он бочком, готовый каждую минуту вскочить, чтобы доставить гостю удобство.

— Абессаломов... постойте... а я ведь действительно вас не узнал. — И Лавровский вторично пожал его руку. — Вы ведь учились у Камарницкого?

— Ну, да, совершенно верно, у Камарницкого.

Абессаломов был тронут. Его все-таки помнили. Мог бы и он, вероятно, узнать известность, успех.

— Так где же вы теперь... почему вы бросили сцену? — спросил Лавровский.

— Нигде и везде... бегаю, суечусь, устраиваю концерты, как видите. Встречаю артистов. — Ужимочки, кепочка, сдвинутая набок, развязность, — все это шло от застенчивости человека. — Разные судьбы у людей, Константин

Александрович. Талант. Все дело в таланте. А раз таланта не оказалось... — Он поразвел ручки. — Ничего тут не сделаешь. А вашим успехам я радуюсь... однокашники все-таки. Вы сколько не были в Ленинграде?

— Четыре года. Да, четыре года. — Лавровский поглядел в окно каретки. Знакомая улица юности. Вздутая темная Фонтанка, красноватый Аничков дворец. — Здорово все-таки он изменился!

— Краины неизвестны, — ответил спутник с привычной готовностью гйда. — А я ведь до сих пор встречаю многих из наших питомцев, — добавил он, продолжая воспоминания, — встречаю Суровина... помните? Так ничего особенного не вышло... средний дирижер при киноансамбле. Встречаю Стопани, он в опере... ничего, приличный голос. Встречаю Ирину Опекушину... недавно выступала в концерте. Отличная пианистка. Особенно Скрябина.

Каретка катилась, спутник перечислял имена. Дома проспекта шли мимо. Петербург. Ленинград. Невский. Знакомые колонны Гостиного двора, толпа под арками проходов, каменная голова Лассала, желтая Александринка за облетевшими деревьями сквера. Ирина Опекушина. Юность.

— Послушайте, Абессаломов, — сказал Лавровский вдруг. — Поедьте со мной, если вы не торопитесь. Вместе позавтракаем. Я бы хотел вас расспросить кой о чем. Вы где сняли мне номер?

— В «Астории», там поспокойней. Следовало бы забежать еще в центральную базу... хотя смогу позвонить и по телефону.

— Так, значит, едем со мной. Я очень прошу вас, Абессаломов! — И Лавровский пожал его локоть.

Каретка пробежала еще по проспекту и свернула на улицу Герцена. В утреннем синеватом чаду открылась площадь. Исаакий тускло блеснул в тумане. С Невы пригнало дождичек. Они обогнали длинный бежевый «Линкольн». Тучный швейцар снял картуз. Лопастные двери пришли в движение.

Были еще традиции старого Петербурга в ловких горничных, бесшумно

шуркавших вениками, невидимо оправлявших постели; коридорных, славянски-бородатых, в коричневых рубашках, выпущенных из-под суконных жилетов, во всем этом отдельно, приспособленном для иностранных посещений, мире. В нарядно-освещенных витринах торжественно розовели ковры, старое русское серебро, антикварные книги, заграничные ликеры и вина, — некое тленное и неправдоподобное сосредоточие роскоши, блеска и гарнитуров упрядненного класса. Пролетарская столица делала необходимую скидку для привычек иностранных посетителей.

Было несоответствие между ковровой неторопливостью зала с грушевидными хрустальными люстрами, с лампами под оранжевыми абажурами на столах и утренними деловыми людьми, торопливо шнырявшими за зеркальными стеклами. Неулыбчивая высокая девушка принесла на подносике кофе. Какая-то порочная задушевность цветов на столиках этого кафе при гостинице.

— Вечером будет аншлаг, вот увидите. — Он повторяет — этот торопливый, потирающий синие ручки, неудавшийся певец. — Ленинградцы умеют ценить.

Он чуточку льстит, привыкший к самолюбиям знаменитостей и полузнаменитостей. Он подтягивает свой галстучишко из вискозы в павлиньих перьях разводов. Затем он отставляет мизинец с траурным длинным ногтем и отпивает кофе. Жалкие уроки актерского провинциального щегольства. Выбритые щеки западают складками в провалы скульных костей. Но есть там, в его глубине, нечто пристальное и беспокоящее, словно при всем своем запущенном облике человек сохранил в себе какое-то особое отношение к слабостям обслуживаемых им персонажей.

— Побывали за границей? Я слышал. — Абессаломов отпил глоточек. — Давали в Париже концерт. И до нас сюда, до провинциалов, доходит. — Он деликатно отрезал от булочки маленькие кусочки, не рискуя уподобить ее хлебу. — Я радовался. А из меня, как видите, не получилось артиста. Консерватории не кончил. Голос тоже не в

форме. Впрочем, пою иногда. В хоре, главным образом.

Да, Ленского не получилось из этого подергивающегося человечка. И Лавровский вдруг ощутил в глубине горла свой надежно запрятанный голос. Умение, школа. Сценическая порода людей. Чувство искусства, воспитанное с детских лет. Ленский выходит на сцену не как случайно забредший лирический тенор, а как исконный обитатель этого мира звуков и песен. Девушки поют хором. Он слышал хороводные песни в орловской глуши. Он помнит это раннее детство, сыроватые майские вечера, басовитое гуденье жуков, легкий туман из ложины, девичьи голоса и хороводы, и мальчишеские тоску и мечту, и первый чувственный восторг, и запретный поцелуй в губы молодой горничной, охнувшей, но задержавшей этот грешный и волнующий миг... Чувство песни рождалось отсюда, из девичьих хороводов, из полевого простора, из истоков музыкальной семьи. В доме был рояль — то певучее хранилище звуков, которое исторгало их в непомерном величии и изобилии. Все в семье присягнуло поверенного играли и пели, устраивали танцы и музыкальные шарады. И Шопен, и мечтательное раздумье Чайковского, и легкий искусный Моцарт, и тяжелые громы Бетховена... Домашние концерты в квартире на Петербургской стороне и строгий суховатый Цезарь Кюн, в инженерской военной тужурке, обративший внимание на слух и на способности мальчика. Юноша пришел в консерваторию с песенным ладом в душе, с чувством гармонии, с познаниями в вокальном искусстве, которое еженедельно звучало для абонированной ложи в Мариинке. Голос, как отшлифованная драгоценность, покоится в надежных глубинах испытанного мелодического своего футляра. «В вашем доме... в вашем доме... узнал я впервые радость чистой и нежной любви!» — Лирическая тоска и страстность, и глубокое знание клавира, и ощущение палочки дирижера, — то высшее музыкальное чувство, когда не нужно следить, как неопытному певцу, за взмахами дирижерской руки...

Он откашлялся. Кашель звучал, как повелительное колебание камертона. Настройка была в порядке. Нет, не из этого мизинца с длинным нечистым ногтем, не из этих пивных, которые, вероятно, с охотой посещает его собеседник, не из этой жалкой торопливости неудачливого человека возникает полная струя искусства.

— Культура, Абессаломов! — ответил он себе вслух. — Культура. Вы меня извините. Но я думаю, что многие неудачники обязаны именно этому непониманию особенностей искусства. Искусство — особый мир. С обычными представлениями в нем нечего делать. Здесь нужно особое предрасположение. — Пиджачишко топорщился. Запавшие глазки прислушивались. — Впрочем, это другой разговор. Я бы хотел вам помочь. Может быть, поговорить с дирекцией театра?

— Помилуйте, Лавровский... куда тут! — Улыбочка как-то иронически искривила его узкие губы. — В хор не пойду, а на солиста не вышел. Впрочем, на судьбу не жалею. Есть и другие цели, не ниже этих.

Лицо его оставалось ироническим. Галстучишко снова сполз на сторону. Лавровский помолчал. Пора было перейти к основному.

— Я бы хотел повидать кое-кого из прежних товарищей, — сказал он едруг. — Вы не могли бы мне в этом помочь, Абессаломов?

— К вашим услугам, — ответил тот незамедлительно, словно ожидал этой просьбы.

Он все знал. Он знал, к чему этот нескладный предварительный разговор об искусстве. Это желание помочь ему. Это приглашение на завтрак. Он знал — и не знал. Можно было предполагать. А можно было, отбросив все это, использовать услужливую готовность человека.

— Я бы хотел повидать Опекушину... Ирину, — сказал Лавровский не сразу.

Да, он все знал. Его глаза на мгновение прищурились. Даже уголки его губ дрогнули в вежливой полуулыбочке. Он знал про эту любовь и про разрыв,

и про чувства, которые вновь пробудил в приехавшем этот город.

— Устроим, Лавровский, — сказал он уже с некоей фамильярностью. — Когда вы хотите? Может быть, послать билет на сегодняшний концерт?

— Да, это было бы самое лучшее. И вот еще что... если можно, присоедините записочку.

Лавровский достал записную книжку и вырвал листок. Минуту он думал. Затем он написал на листке одну строчку. Не было конверта.

— Не беспокойтесь. Никто не прочтет. Сейчас потребуем конверт. — Абессаломов достал книжку с талонами и вписал номер места и ряд. — Это из забронированных мест. Посылаю с посылным.

И он сбегал в вестибюль и вручил посылному письмо.

— Вам перед рабочей аудиторией выступать не приходилось, Лавровский? — спросил он неожиданно. Опять деликатный кусочек беленькой булочки, глоток недопитого кофе. — В заводских клубах или в Донбассе, например? Новые ценители искусства. Рекомендовал бы ухватить.

Его глаза в каком-то калмыцком, непримеченном раньше разрезе наблюдали и слушали. Кофейничек снова плеснул струйку кофе. Воспоминания детства. Гостинные присяжных поверенных. Гравюрки на стене. «Остров мертвых». Пейзажи передвижников: «Таёт», «Из окна мастерской», «Март» — российские проселки, ветла при дороге, заросшие бочажки, провинциальная улица городской окраины. Безвременье. Грусть. Смерть за спиной художника слушает его игру на скрипке. Отцовский фрак с серебряным адвокатским значком, толстые золоченые тома Свода Законов, здание окружного суда, обеспеченное детство гимназиста. Летом в Парголово или Сестрорецке, в Финляндии или в имении в орловской глуши. Старый мир ценителей искусства. «Средь шумного бала, случайно... в тревоге мирской суеты... тебя я увидел...». Эта утонченная лирика расставаний, воспоминаний и вздохов. С какой восторженностью внимала толпа всем этим полутонам,

модуляциям, верхним «до», когда голос как бы описывает кривую своего полета над притихшим наполненным залом. Иные песни были нужны новому ценителю музыки. На него действовали Бетховен и Вагнер. Шумный Шуберт пробуждал в нем возвышенное беспокойство. Он чувствовал все призывное, ведущее в этих симфонических громах и грохотах. В этом было созвучие его труду, горячему движению жизни, которая была в нем разбужена.

— Вы не обидитесь на меня, Лавровский, надеюсь, — сказал Абессаломов. Какое-то превосходство опыта было сейчас в этом запущенном человечке. — Культура здесь, а не там, где вы ищете. Новый хозяин эпохи. Он будет диктовать свои законы и вкусы. И, знаете ли, неплохие вкусы... скажу по совести. Мне с этим приходится сталкиваться, как устроителю многих концертов. Образуется свой излюбленный репертуар. Недавно путиловцы потребовали ораторию Баха. Поняли там или не поняли — не знаю. Но произвела впечатление. Симфонические концерты полны доотказу. Класс. Новый класс. И в эту область он уже выделяет свое пополнение. Дети рабочих учатся в музыкальных школах и техникумах. Есть же у нас свои инженеры. Будут свои музыканты. Это, знаете ли, покрепче предрасположения. Самолюбие неудачливого человека? Нет, он доел свою булочку и просматривал календарик, исписанный очередными делами.

— Теперь мне пора. — Его лицо стало снова услужливым. Он возвращал себя к обычной деятельности. — К семи я за вами заеду. Спасибо за угощение, Лавровский. Шоколадный торт в «Асторий» славится. Попробуйте.

Он протянул свою тощую ручку и спешил к выходу. Минуту спустя, с поднятым воротничком пальтишка, он уже прошмыгнул за тюлевой занавеской окна. Приехавший остался один. Кафе было пусто. Одиноким иностранец читал газету. Город приближал видения прошлого. Родительская квартира на Петербургской стороне давно была покинута. Отцовская юридическая библиотека продана на вес. Старые юридические по-

нятия были никому не нужны. Где-то на полочке среди нот и романсов осталась книжка «Речи защитника» — собрание политических защит отца. Революция выветривала и уплотняла квартиры. Он прошел ту же школу, что и большинство из его поколения. Юноша учился в консерватории. У него были абсолютный слух, высшая наследственная музыкальность, голос превосходной чистоты и лиричности. На него возлагали надежды. Он оправдывал их. Он шел к своей цели упрямо и ревниво. Он не был обременен излишней чувствительностью и вниманием к людям. Были нужные люди, и были люди случайные и ненужные. Когда связь его с женщиной могла помешать в его движении к цели, он оборвал эту связь. Это была соученица по консерватории, дочь Опекушина. Он принял этот дар от него, как законный наследник. Его волновало посещение квартиры на Троицкой, установленной дорогим реквизитом славы. Он входил в этот дом с чувством превосходства молодости, своего голоса, успеха, который сопровождал его на закрытых концертах в консерватории. Он хотел быть великодушным и говорил со старым певцом, как ученик и как дебютант. Но дочь он похитил у него эгоистически, равнодушный к переживаниям отца... Теперь снова он был в этом городе. Маленький неудачливый человек со съехавшим галстуком испортил настроение. «Есть одна благородная цель: мастерство. Надо иметь талант, и тогда все равно, к какому классу принадлежишь, Абессаломов! Искусство всеобщее и абсолютно». Опять легкое откашливание, успокоительно доносящее, что голос в порядке. Девушка с высокой грудью приносит счет. Некое европейское учтивое равнодушие в ее красивых глазах. Лифт несет наверх. В номере широкая постель, диван, обшитый гобеленовой тканью с цветами, натюр-морт на стене: омар, лимон с полукрезанной дужкой кожи. Исаакиевская площадь за окном. Люди пересекают ее по-муравьиному. Женщина идет, наклонившись под ветром: она поднимается на шестой этаж дома на Литейном проспекте. В комнате будущего певца пианино

и ноты бесчисленных вокальных его упражнений. Женщина быстро проходит сквозь коридор квартиры, в которой живут посторонние. Она запыхалась. Ее щеки яблочно-холодноваты от ветра. Губы ее влажны и полуоткрыты. Она приносит к нему наверх, на шестой этаж, свою безрассудную молодость...

Вот снова, четыре года спустя, он смотрит сквозь окно на утренний туманный город. Может быть, так же запыхавшись, она поднимется сюда к нему в номер. Те же яблочно-холодноватые щеки и волнение, и чувственное знакомое преображение... Еще минута у окна. Город, который дал ему юность, суровую и испытующую, как большинству из его поколения. Трудная и сложная дорога искусства. Он может уплатить свой долг тем, чего он достиг. «Я не виноват перед вами, Абессаломов, — сказал он вслух. — Я готов вам помочь, если у вас есть способности. Но я не могу вам предоставить способностей. И дело не в классах. Дело в том: как, а не кто». — Тюлевая занавеска опустилась. Он не хотел продолжать эту беспокойную и несвоевременную беседу.

III

Иван Трегубов начал свой день. Будильник, поставленный на половине восьмого, еще продолжал верещать. Комната нового дома не успела обставиться мебелью. Нехитрый диван у стены, производства Древетреста, два дубовых канцелярских стула да кожаный мяч для бокса, привешенный между дверями. Да еще широкое окно с видом на такие же построенные новые корпуса, обращенные фасадом к востоку. Солнце торопливо вставляло медные сияющие пластины во множество утренних запотевших окон. Будильник умолк. Сон еще продолжается, но рука уже привычно находит корбку с папиросами на стуле возле дивана. На спинке стула висит гимнастерка с ромбом в зеленых петлицах. Сон отплывает вместе с первым дымком папиросы. Плохая привычка курить натощак. Две минуты для этого сладчайшего утреннего бездействия. Затем он сдвинул ногами одеяло и сел. Солнце рыжим углом заползло в комнату. Запотевшее

окно начинало сиять, освещенное его бенгальским огнем. Трегубов разостлал на полу газету, уперся руками в бока и проделал несколько гимнастических упражнений. Кровь наполнила онемевшие мускулы. Еще минута — и в рейтузах, со спущенными подтяжками, он отправился в ванную. Квартира пахла свежей штукатуркой и краской. Синие язычки газа вспыхнули в колонке. Дождь тепло и щедро хлынул из никелированного подсолнуха душа. Трегубов мылся. Клоchyя пены летели на кафельные плитки стен. Затем полоскание горла. С остервенением, с каким привык он чистить оружие, он принялся за зубы. Докрасна вытертый полотенцем, с влажными косицами волос, он вышел из ванной. В квартире товарища он был один. Так жительствовавал он на случайных бивуаках в редкие свои приезды в Ленинград. Оседлость его была на широком протяжении между Мурманском, Кемью, Сорокой. Большой таежный, мочежинный и диабазовый дом. За пять лет своей жизни обошел он этот многокилометровый дом, как квартиру товарища, в которой сейчас остановился. Впервые в молчание лесов, в неподвижность северных пустынных озер, болот, рек пришли люди. Диаграммы, проекты будущей водной артерии, водоразделы и горизонты, геологические разрезы напластований, чертежи шлюзов, гидрологические работы и вычисления энергетики обозначали совокупность огромных работ. За эти годы три шпалы на его петлицах сменились ромбом. Время наложило следы первых испытаний на его по-крестьянски конопатое, с серыми глазами, лицо. Были уже небольшие припухлости под глазами, слегка поредела височки, накидывалась иногда малярия, захваченная в Средней Азии, — но вот рыжее холодное утро, он бодр, полон утренней зарядки, свеж и готов к труду.

Два верхних передних зуба неплотно сохлдились. Была привычка сквозь эту щель насвистывать. Насвистывание обозначало полное равновесие сил. Чайник на газовой плитке начинал закипать. Оставалось пригладить ежик волос, сделать несколько выпадов против упрямого неподатливого мяча и войти в день.

Три года назад с работы на Севере в исправительных трудовых лагерях Трегубов был переброшен на западную границу. Петлицы его гимнастерки сменили цвет: из красных они стали зелеными. Началась жизнь пограничника. Северные леса и озера сменились болотистым туманным Полесьем, невеселым частоколом елок, глиной проселков. Оголенный двумя войнами, двумя оккупациями, голым предстал этот край. Был исконный, запечатленный не в одной хрестоматии образ белоруса: покорность, нищета, колтун в волосах да старые песни, хранимые, как легенды Полесья. За одно лишь десятилетие изменилась судьба этого края. С упорством и жадностью наверстывал он потерянные сроки культуры. Но не одни только лучшие силы были разбужены и бурно росли в нем. Иные силы таились в туманах Полесья вдоль широкой извилистой линии границы. Слишком близко протянута была эта черта, за которой лежались другие надежды. Упорно и осторожно отвергалось все новое, принесенное с собой революцией, собирались божницы, наличники, свадебные песни, похоронные причитания и упраздненные жизнью слова, как основа национальной культуры. Попутно заводились связи с иностранными штабами и контрразведкой, создавались широкие планы диверсий, отторжения края и присоединения его к западным землям... Была сложно построена целая система доказательств, академических трудов, ссылок на историю, на столетние литовские статуты, откуда черпались слова и понятия взамен новых и грубых слов революции. В школах, в плановых комиссиях, на академических заседаниях лингвистов и историков — повсюду была раскинута сеть, концы которой уходили далеко за кордон, по старым шляхам со столетними придорожными ветлами. Через упорную двухлетнюю борьбу со всем этим прошел и он, Трегубов.

На Севере была природа, борьба с ней. Разумное обуздывание рек. Соединение озер, водная трасса будущей магистральной; люди, совершившие преступление; люди, искупающие преступление и возвращаемые в жизнь. Преступники

порождались средой. Среда воспитывала их в презрении к порядку, к труду и к человеческой личности. Возвращенные в жизнь, они заново принимались создавать свои биографии. Здесь враг был утончен, неуловим, сложно обставлен наукой, экономикой, философией, которые было нужно усвоить. Два года трудолюбиво изучал Трегубов новые условия работы. Большая литература выходила за рубежом. Специальными субсидиями из особых средств были оплачены все эти журналы и книги на отличной бумаге, с научными ссылками, с цитатами из многотомных трудов. Все было сведено к одному: к тому, чтобы оторвать эти земли, ныне свободно и заново начинавшие свое устроение. Их разменивали и переделали в той академической научной игре, которая служила военным и политическим целям. Пограничные заставы жили в боевой напряженности. Население было смешанное. Ветер дул с Запада. Для учета боевой обстановки было недостаточно одних военных навыков; нужно было знать историю края и теории зарубежных славян. Постепенно обрела перспективу и эта новая работа. Самоучитель немецкого языка, перегнутый на синтаксических упражнениях, засунут был, как срочное донесение, за обшлаг рукава шинели. В северное наречие, усвоенное на работе в Карелии, вторглись мягкие белорусские слова.

Желтый парус солнца был простерт на стене. Счастливо и мужественно плыла эта утренняя освещенная комната. Свежая газета была засунута за ручку двери. Запах типографской краски сопровождал события дня. Четверть часа на просмотр газеты, на горячие глотки, на бритье. Все делалось по военной привычке одновременно. Звонок в парадной нарушил порядок утра. С газетой в руке Трегубов пошел открывать дверь.

— Лащилин! — сказал он погоды. — Откуда тебя принесло?

Сложный запах свежести утра и отсыревшего меха. Трегубов стоял, засунув руки в карманы широких своих галифе, и оглядывал человека. Знакомая рыжеватая куртка той огненной дикой окраски, которой стараются неумелые скор-

няки придать собачьему меху видимость куницы; шапка со спущенными боковинами и скуластое упрямство лица. Только темные запавшие глаза выражали необычную слаженность непокорной и одаренной природы.

— Ну, входи. Снимай куртку, — сказал Трегубов еще. Говорил он отрывисто, с привычной настороженностью приглядываясь к человеку. — Где был, где носило? Хорош!

И он пропустил его в комнату. Полосатенькие дешевые брюки, башмаки со следами окраины да рыжеватые торчащие волосы над крутым наклоненным лбом.

— Хорош, хорош, брат! Порадовал. Ну, говори. Говори коротко и про самое главное. По-военному. Времени у меня мало. Хочешь чаю?

От чая посетитель отказался. Трегубов кинул в рот сахарок и приготовился слушать.

— Все это не просто, товарищ Трегубов, — сказал тот, наконец. — Поступок мой, конечно, нельзя оправдать. Но иначе поступить я не мог. Я должен был уехать из Ленинграда. — Солнечное пятно на полу помогало сосредоточить внимание. Полный и перегруженный осенью день стоял за окном. — Я бросил консерваторию и никого не предупредил об отъезде. Но я боялся, что мне помешают. Тогда все вышло бы хуже. А сейчас я вернулся... и все-таки знаю теперь, что мне делать.

— А что тебе нужно делать? — полюбопытствовал Трегубов.

— Кончить консерваторию, это самое главное. В консерватории я был не последним... Я не отстал и не запустил себя, — добавил тот упрямо. — Стипендию я оправдаю.

Трегубов мельком поглядел на длинную музыкальную кисть его руки.

— Поздноато ты пришел к этому, — сказал он с усмешечкой.

— Я не бродяжничал, товарищ Трегубов. — На этот раз как-то дрогнули и смягчились упрямые глаза. — Четыре года я был на Урале. Я пришел туда ни с чем, с одним своим самолюбием. Общая работа растворяет личные дела, как кислота. Тогда начинаешь видеть, в чем главное. Прежде всего, стыдно

быть недоучкой. Что ты можешь дать людям, если сам еще на полупути... — Трегубов слушал. Правая его рука поглаживала выбритый подбородок. — А тогда и личные дела начинают казаться второстепенными. Я ведь из-за личных дел бросил консерваторию... впрочем, личных дел ворошить не хочу.

Его глаза утратили блеск и стали снова колючими.

— Можешь не ворошить. Я сам кое в чем разбираюсь, — сказал Трегубов. Легкие морщинки решенный привычно уже набегали на его лбу. — Ты где живешь сейчас?

— Меня устроила на время Катя Васильева. Мы были с ней в одном классе. Опекушин меня видеть не хочет... да я и не добиваюсь с ним встречи.

— Опекушин по-своему прав, — сказал Трегубов резко. — Поступка твоего оправдать не могу. Плохой поступок, недобросовестный. Насчет консерватории, впрочем, я выясню. Оставь адрес.

Он достал свой блокнот и вписал окраинную улицу Мира на Выборгской стороне.

— Читать надо больше, — добавил он уже мягче и взял с окна книгу. — Я вот на-днях прочитал... верная мысль. И к вам, к музыкантам, относится. — Он перелистал книгу и нашел место, подчеркнутое карандашом. «Только благодаря предметно-развернутому богатству человеческой сущности... — его указательный палец отметил значительность фразы — возникает богатство субъективной человеческой чувственности, возникает музыкальное ухо, глаз, умеющий понимать красоту формы, — словом... развиваются человеческие, способные наслаждаться чувства». А что это значит? Это значит, что если в своем внутреннем мире ты сумеешь найти то, что помогает тебе применить твои способности, то ты обогатишь и себя и обогатишь собой мир. Так ты и обогащай этот мир, а не заползай в свое личное логово... незаезженное жилишко, старой плесенью пахнет. — Он прошелся по комнате, застегивая ворот и рукава гимнастерки. — Жалко, надо спешить. А то бы я развил эту мысль. Но я тебя разыщу в свое время.

В прихожей на вешалке висела его длинная кавалерийская шинель.

— Я только прошу одного: не говори-те ни о чем с Опекушиным, — сказал Лащулин упрямо.

— Ну, в этом я и сам разберусь, — ответил Трегубов сердито. — Пришел ко мне, предоставь мне и действовать.

Отчетливую приглядку к людям имели серые спокойные его глаза. Дал его миру в таком обличьи пермский формовщик-металлист. Был потомственный род металлистов на старом заводе в Мотовилихе. Только внук изменил ремеслу отцов. С рабочим отрядом, тогда еще комсомольцем, ушел он добывать Колчака, остался в армии, работал в Особом отделе. Три поколения рабочих дали приглядку, чутье, умение распознавать врага. Новый класс пришел править жизнью. Он, Иван Трегубов, был его питомцем. Недоставало опыта, знаний, умения. Рабочий инстинкт подсказывал правильность решений. В ревтрибунале, где Трегубов работал два года, требовалось не одно только знание законов. Да и несовершенны и текучи были эти молодые законы, которыми защищалась революция. Тощие тетрадки полковых уложений, первые параграфы уголовного кодекса, похожие на учебники для начальных школ. Нужны были уверенность в правоте, приглядка и снисхождение к заблудившемуся и безошибочное распознавание врага. Старая Мотовилиха с ее огромными закопченными цехами и жидким пламенем топок мартинов питала это чутье. Даже на кладбище ставили памятники из железного лома, отмечая могилы потомственных металлистов. Сыновья изменяли отцам. Была для них тесна эта сырая металлургическая окраина. Красная армия открывала иные горизонты. Командирами, летчиками и инженерами становилось это новое поколение Мотовилихи.

В грубых башмаках, в рыжей куртке, шагал сейчас рядом с ним его спутник. Искося приглядывался Трегубов к упрямому и одаренному его лицу. Вместе с Опекушиным где-то на станции возле Джанкоя угадали они в свою пору способности музыканта в мальчишке. За

годы своей работы на Севере узнал Трегубов множество сложных и несчастливых натур. Людей не ломали, а починали и восстанавливали.

— Ну, вешать носа особенно нечего, — сказал он вдруг добродушно. — И не такие дела починали. Я извещу тебя скоро... ты жди!

Он подобрал полы своей длинной шинели и вскочил в трамвай. Улица стала пуста. Одиноким монумент высился на площади. Бронзовые складки одежды и рука, простертая ввысь. Куда призывал он, этот забытый деятель империи? Утро померкло. Наскоро отторгали солнце знакомые пасмурные небеса Ленинграда. Далекий путь на Выборгскую сторону, к Финляндскому вокзалу. Человек шел один. Руки его были засунуты в карманы меховой куртки. Город был прямолинейен и черств, уставленный шестизэтажными петербургскими домами. Казенная размеренность в геометрических перспективах этих линий Васильевского острова. Дома с сырими дворами, с огромными гулками и неопрятными парадными; деревянный мост через Невку; баржи с дровами, которые запасают на зиму; шинковая даль реки; вывески бесчисленных Петрорайрабокоопов, Ленпромторгов, Васильеостровцев — рабочих кооперативов и булочных. Была в желании одолеть пешком этот путь упрямая и сложная потребность. Человек шел и шел. Лоб его под меховой шапкой был мокр. Военно-Медицинская академия темнела своей чугунной оградой с огненными деревьями сада. Люди в военных шинелях торопились через сад. Гудели обеденный перерыв невидимые заводы и фабрики. Звучал, торопился, дымил огромный, сумрачный, готовый к зиме Ленинград. Черные дымы его труб лежали в небе. Человек снял, наконец, свою меховую шапку и остановился. Впервые улыбка покрывила его сжатые губы. Он вернулся в этот город. Он шел по его улицам. Он любил его дома, ветер с моря. Он жил вместе с ним.

IV

Соната начиналась с классической формы аллегро. Восемь стремительных

тактов, затем связующая партия, которая приводит ко второй теме в мажоре и к заключительной партии. Четыре беломоля сторожили ключ. Это был Скрябин. Знакомый, почти чувственный пробег по клавишам. Высокая фортепианная техника со сложными законами «свободы суставов», «состоянием нулевой нагрузки рук», фразировочной техникой... Все покорнее и отзывчивее становилось это певучее существо рояля. Он оживал и дышал, связанный с нервным напряжением рук, пробуждающих его дремлющее начало. Еще несколько заключительных фраз, ударов рук. Скрябин был сыгран. Профессор наклоняет ушастую голову. Жесткие хрящеватые уши, похожие на недоразвитые крылья. В них — слух. «Отлично, — говорит он. — Попробуйте разучить теперь сонату fis-moll,opus 25-й. Вы чувствуете Скрябина». Это всё. Скупая похвала, жестковатая, как его уши. Он весь как бы пережжен в этих опусах, симфониях, фантазиях и ноктюрнах. Несколько поправок и указаний. В исполнении второй части слишком ключющие удары и неотчетливость фразировочной техники. Надо повторить.

В четвертом часу все еще звучит это здание консерватории. Арпеджио и Шуберт из фортепианного класса, вокальные высоты Аиды и мрачные стенания Демона из класса пения, и певучее птицеподобное перекликанье флейт, английского рожка и гобоя из класса деревянных духовых инструментов. В раздевалке груды шубок, студенческих грубошерстных пальто, шляп с артистически загнутыми полями, но больше всего кепок, шапок-ушанок и калош, измазанных грязью окраинных улочек. Не было уже традиционных черных папок с серебряным тиснением «Musik», ноты и композиции деловито размещались в портфелях или канцелярских папках с лаконической надписью «Дело».

Катя нагнала Ирину у выхода. Была всегда неотразимостью в этом курносеньком, деловитом и требовательном существе. Ходатай по студенческим многосложным делам. Застрельщица концертов в пользу кассы взаимопомощи. Отзывчивый, но непримиримый судья. В портфелике вместе с нотной бумагой

лежат бланки, ходатайства, облигации займа и росписи бесчисленных общественных дел.

— Подожди... пойдем вместе. Поговорим по пути.

Она застегнула свое пальтишко, которое могло сойти и за мужское, и они вышли на улицу. Ноябрь встретил дождичком, той неприятливой брызгливой погодкой, какой богат Ленинград в эту пору. Они поотстали от ученической толпы со свертками нот и скрипичными футлярами.

— Я, конечно, обойдусь без вступления, — сказала Катя. — Лашилин временно живет на одной квартире со мной. Он хочет тебя видеть.

Она покосилась. Ирина молчала.

— Я говорила о нем сегодня с отцом. Он непримирим. — Мелкий дождичек оседал на ресницах. — Но я, конечно... я тоже хочу видеть Андрея.

— Жалко, дождь моросит... противно на улице. Ко мне далеко. Зайдем на Невском в кондитерскую. Там есть одна такая внизу. Хорошие пирожки и недорого. Деньги у меня есть.

Еще не зажигались огни в этот сырой предвечерний час. Дождь несло с Балтики. Полчаса спустя они вышли на людный и уже заблеставший огнями проспект. Его туманная перспектива с зелеными и красными огнями трамваев, похожими на обстановку фарватера, упиралась в морскую и тревожную даль. Нева пахла морем и осенью. Они перешли улицу и спустились по ступенькам в кондитерскую. Менялись времена, история шумела на Невском, но оставалась на своем посту эта булочная-кондитерская: только посерее стали в свою пору пирожные, поскуднее порции сахару, пожизже кофе. Были традиции и у посетителей этой кондитерской: линялые и вытертые петербургские люди с достоинством пили кофеек и читали газеты на палках. В коммухозе, в сберкассах, в демократических учреждениях не требовались ни французский язык, ни умение повязывать галстук, ни пониманье в балете. Только здесь, во внеслужебное время, можно было неспеша проявить старые петербургские склонности. Человек с большой пе-

ченью отпивал кофеек. Тяжелые мешки под глазами изобличали его желчность и непримиримость. В руке он держал журнал. Он рассматривал тракторные колонны, доменные печи, блюминги и нефтеперегонные сооружения. Брови его поднимались. Это могло быть удивлением, могло быть иронией. Коралловая булавка, единственная ценность, еще не отнесенная в Торгсин, торчала в его галстучке. Между столиков ходила старуха. Она притворялась, что ищет знающую. На ее руках были черные митенки, через шею боа. Облик неистовой пиковой дамы соответствовал несвоевременности ее появления в этой чуждой ей жизни. Она презирала грубый хлеб и жадно вдыхала сладостную отраву кондитерской: запах тортов и кофе, и меренг, наполненных кремом. Усмотрев недоеденный кусок пирожка или остатки пирожного, она склевывала с тарелки движением хищницы. Это было помешательство лакомки. Старый Петербург подсылал в Ленинград упраздненные тени придворной и чиновничьей жизни.

Катя заказала кофе и с детской горюпливостью выбрала четыре цветистых пирожных, пленивших ее пестротой.

— Дело не в том, что ты увидишь Андрея... а в том, что ты не знаешь всей правды, — сказала она вдруг. Ее курносенькое, веснушчатое, несмотря на зиму, лицо стало озабоченным. — Хотелось бы услышать и от тебя что-нибудь.

— Спрашивай, что хочешь, Катюша.

Была разница в годах — почти в десять лет — между ними. Но обладало уже признанием своей справедливости это подвижное и обемлющее множество товарищеских забот существо.

— Ты ответишь мне на один вопрос? — спросила она в упор. Серые испытующие, округленные по-детски глаза. — Ты любила Андрея?

— Я не могу на это так просто ответить. Андрей воспитывался в нашем доме. Когда знаешь человека с детства, то трудно сказать, где кончаются привычка и дружба и начинается чувство. У него хорошие качества: прямота, смелость... есть конечно и упрямство, и

грубость. Любовь... — Она помолчала. Ложечка бесцельно поковыряла пирожное. — Любовь связана и со страданием, и со многим другим, Катюша... — Легкие морщинки набежали возле ее глаз. Она стерла их привычным движением пальцев. — Нет, это была скорее привязанность.

— Но ты обещала ему что-нибудь? — спросила Катя испытующе.

Ирина помедлила.

— Да, в общем, обещала. Это моя вина. Но тут столько навернулось другого... — она не закончила.

— Ты полюбила кого-нибудь?

— Да.

— Со страданием? — Катя вдруг улыбнулась. — Ты не сердись. Я спрашиваю твоими же словами.

— Да, этот человек дал мне много страдания, — ответила Ирина твердо.

— А как же с Андреем? Ты прямо все и сказала ему?

— Нет. В общем, конечно, он знал. Но я ему ничего не сказала. Это было плохо с моей стороны.

— Он страдал?

— Вероятно.

— А я вот думаю, что это только в старом обществе любовь была непременно со страданием, — сказала Катя уверенно. — И у вас это тоже по-старому получилось. — Она говорила тоном превосходства, эта не взлелеянная детством дочь учителя сельской школы под Псковом. Кофе остывало в ее чашке. И даже соблазнительное цветистое пирожное было нетронуто. — Любовь. Я тоже не раз думала об этом... (не по своему поводу, а вообще о любви), — добавила она поспешно. — Это должно быть тем чувством, которое помогает и работать, и строить жизнь. А вот у тебя и у Андрея получилось именно так, как бывает в книгах... даже твой отец не захотел его выслушать. Чужие души, хотя вы и в одном доме жили. И Андрею много чужого привили, и книги читал он не так, как надо. А ведь это все из тех самых книг, где русский человек обязательно со страданием, с надрывом... и любовь какая-то кривая, неполная. — Она почти с обидой отодвинула тарелку с пирожными. — Ну,

предположим, была такая подлая, темная эпоха, когда человек не мог выразить всех своих чувств. Так ведь теперь-то другая эпоха. Человек освободился от многих условностей. И общество ведь не то, как при Анне Карениной. Ведь все-таки за счастливую жизнь мы боремся. Неужели нельзя быть откровенным и искренним... притти к человеку и все совместными усилиями разрешить.

— Андрей был всегда скрытен, — сказала Ирина. — Да и я виновата во многом.

— А я вот думаю, что именно воспитание во всем виновато, — сказала Катя решительно. — Одиночкой воспитывали. Вот и ты... ты тоже обязана этому.

— Что же, может быть, ты и права. Но главного, Катя, ты все же не знаешь!

Ложечка размешивала остывший кофе. Книжки! Он шел оттуда, этот сумрачный мир замкнутых чувств, из прочитанных книг, из русских воспетых надрывов, из стихов о сладости неудовлетворенной любви и невозможности полноты счастья. В кабинете отца были книги. Она помнила большое тома юбилейного издания Достоевского, роскошную «Анну Каренину» с цветными рисунками на отдельных листах, широкие книги символистов — Брюсов, Бальмонт, Сологуб... всё в сложности, в нагромождении чувств, в капризных изломах барственных поэтических дарований. Они читали их, эти книги, два подростка, из которых одного занесло в их обжитой музыкальный дом — революцией. Но дом был прежний, из восьми этажей, залитый довоенным цементом возводимых доходных домов. В них должны были гнездиться поколения буржуазии, чиновники на высших должностях, солисты императорских театров, биржевики и щедро оплачиваемые артистические личности. В этом доме звучала музыка — отдаленные пассажи и экзерсии: это учили дочерей. Он сохранял в себе библиотеки — пышные собрания книг в превосходных изданиях и любительских дорогих переплетах работы Шнелля и Ро. Эти книги надлежало прочесть вступающему в жизнь молодому поколению, которое сменяло

на любовь, на замужество, на кавалерийские полки, на мичманские классы, на училище правоведения — коньки «Яхт-клуб», прочитанную и недопонятую «Анну Каренину», стихи Сологуба и Брюсова, гимназические балы, утренние спектакли в Мариинке и мимолетные увлечения юности. Романтический мир, сложенный из впечатлений от книг. Эдгар По, преувеличенная фантастика Гоффмана и огромные тома демонического Пшибышевского. Она перешла от полки к полке, сохранившей все увлечения старшего поколения. «Балладу Редингенской тюрьмы» сменили Александр Блок и Ахматова, стихи которой заучивала она наизусть. Это были путешествия в мир, придуманный и условный, и непохожий на мир за окном... Он тоже прочитал эти книги. Но его не трогали стихи, ему был чужд Достоевский. Он имел уже практический опыт жизни, узнал ее обиды и низины, куда может опуститься человек. Его детство походило на зрелость. Ему стал близок Толстой. Он зачитывался «Поликушкой» и рассказами из народного быта: в этом было дыхание жизни, из которой он сам произошел. Он вошел в их дом, как дикарь, подобие начального кома глины, из которого можно вылепить любую модель. Его сразу утишили тепличным воздухом обжитой квартиры, еще продолжавшей инерцию прошлого. Его жадному любопытству были предоставлены книги в блистающих американских шкапах отцовской библиотеки. Это была та внешняя прививка воспитания, которой он подчинился. Но рос он по-своему и строптиво, как дубок. Рано или поздно он должен был притти в столкновение с этим условным миром. Конфликт произошел, он был груб, и многое в человеке, как и в ней самой, было от ненадежности воспитания. Поэтому были и преимущество, и право на поучающий голос у этого, может быть, более жизненно опытного существа.

— Я тоже хочу его видеть, — сказала Ирина внезапно, и знакомая страстная белизна (Катя узнала черты Опекушина) преобразила ее лицо. Ты ему скажешь, что я хочу его видеть! Может

быть, сейчас особенно я нуждаюсь во встрече с ним. Я очень несчастлива, Катя, — добавила она с непривычной искренностью. — Очень! Я живу в мире сложном и несогретом. Отношения с отцом у меня испорчены. Не вижу, как их можно исправить. Все это верно: люди должны жить и чувствовать по-новому. Но мы еще живем по-старому, Катя... а главное, мы еще замкнуты друг перед другом в своем личном мире.

— Ну, это положим... мы два принципиальных личных дела вынесли на общее обсуждение. И обсудили сообща, и помогли... наши ребята здорово разбираются.

— Ну, значит, я так устроена, — сказала Ирина. — Может быть, воспитание виновато, или такая натура.

Ее глаза сузились. Лицо вдруг стало немолодым. Она даже не стерла движением пальцев обозначившиеся тончайшие лучики, похожие на птичий след на снегу. Катя думала.

— Так где же лучше вам встретиться? Ты можешь приехать ко мне?

— Да, конечно, могу.

— Когда?

— Когда скажешь.

— Сегодня вечером можешь?

— Хорошо. Приеду сегодня.

— У нас вечером собрание группкома. Вы сможете поговорить хоть до ночи. Но это не близко... трамвай минут сорок идет.

— Я знаю. Дай адрес.

Ирина записала адрес. Ей стало вдруг легко. Теперь можно было приняться за остывшее кофе.

— Только никакого снисхождения, — сказала Катя сурово. — С этим ты к нему не подойдешь.

— Может быть, я больше него нуждаюсь в снисхождении...

Усмешка вышла горькой. Они допили кофе. Так и осталось нетронутым цветистое большое пирожное. Оно стало добычей старухи, схватившей его движением орлицы. Дождичек набух и расплылся. Они дошли до угла.

— Так я жду тебя... в восемь, — сказала Катя.

Минуту спустя она ушла. Боковая улица была залита дождем. В ее глу-

бине, отгороженный сквером, мрачно одиночествовал музей. Ирина миновала пустой ноябрьский скверик. В неприятном ощущении дождя, в темной Фонтанке с выгнутым горбатым мостом, в редких желтых огнях, пунктиром обозначивших набережную, было знакомое дыхание города. Некогда в нем стоял обжитой дом ее детства. Она владела им. Она разыгрывала на рояле свои шумные гаммы и арпеджио. Она вбежала в комнату отца, сразбегу бросалась в его надежные руки, сидела на его коленях, рисовала акварелью цветы и загадывала шарады из фантастических и небывалых слогов. Отцовский дом был потерян. Ничто не связывало ее больше с отцом. Ее судьба представлялась ему захватанной и оскверненной другими. Он был эгоистически настроен и враждебен. Жизнь, происходившая за большими окнами его комнаты, казалась ему чужой и не прощающей необычности его прошлой судьбы. Он выполнял те внешние обязанности, которые от него требовались: преподавал, имел учеников, делился опытом. Внутренне он жил в своих нотах, в воспоминаниях, в прошлом. Но даже его любимые бронзовые часы в виде золотой колесницы с Фебом — и те остановились свыше полугода назад, и он не заметил этого...

Она миновала здание цирка с потрепанными ветром афишами и перешла мост. Моховая была просторна, с глубокими воротами огромных домов. Дома были построены перед войной и украшены геральдическими львами и химерами. Последние уцелевшие шарманки забредали сюда, во второй и третий дворы, и гнусавили вальсы и манчжурские марши. Такой же каменный лев с усатым лицом жуира украшал дом, в котором она жила. Сложное накопление жильцов обитало в этой квартире на четвертом этаже. Переселенные сюда в первые годы революции, они обрастали семьями, женились и выходили замуж; к ним приезжали родственники из провинции и умножали собой столичные семьи; вчерашние подростки появлялись вдруг в красноармейской шинели, — это значило, что прошло десять

лет и из вчерашних мальчишек они стали мужами и воинами...

Комната была разделена занавеской. В одной половине постель; в другой — рояль, ноты, книги. Еще — Бетховен. Лобастое широкое лицо с львиным носом и запавшими глазами. Оно горело мрачно, неуспокоенное временем. Книги о его жизни и творчестве стояли у нее на полке. Он дышал своей глухотой, страстностью созданных им композиций, патетической сонатой, которая не уместилась в комнате. Это был замкнутый мир. Как это произошло с ней, веселым жизнелюбивым существом, что уединение стало ей нужнее всего? В доме ее детства учили, что нельзя никому поверять своих чувств. Ни одна внутренняя буря не должна быть вынесена на люди. Внешняя корректность налаженной жизни прикрывала несчастливые браки и драмы неудовлетворенных натур. Стареющий артист выходил на сцену. Он знал, что его голос непоправимо потерян. Но он улыбался, он пел арию Ленского.

Все было неблагополучно в их доме. Мать ушла от отца, оставив двухлетнюю дочь. Три года спустя она умерла за границей. Французский скрипач похоронил свою славянскую подругу на одном из парижских кладбищ. Все в доме продолжалось так, как будто никто из него не ушел. Сначала няньки, позднее боины восполнили пробел. Заканчивалась артистическая карьера певца. Люди собирались, как обычно, по пятницам в их большой гостиной. Они делали вид, что ничего не произошло и что голос артиста звучит попрежнему. Человек, которого воспитал отец, покинул однажды утром их дом, как будто тот никогда не служил ему кровом. Отец пережил и это разрушение. Дочь усвоила от него умение скрывать свои чувства. Она не была откровенной даже с тем сверстником, который жил с ней плечо о плечо. Революция обрушилась на их дом, как величайшее разрушение. Жизнь уплотнилась, уплотнились понятия. Кусок выпеченного хлеба на столе приобретал свою начальную сущность. Для них это была трагедия, для сверстника — естественный воздух жизни. В их квар-

тиру еще приходили по привычке просители. Даяния становились скуднее, но благотворительство продолжалось. Он скрывался при виде просителей, как бы стесняемый, что он по эту более благополучную сторону, а не там, вместе с ними. Его чувства казались ей чувствами другого, грубого порядка. Поэтому можно было над ними особенно не задумываться. Она так и поступила, и то, что он пережил, впервые открыло перед ней человека.

Сейчас они были уравнены судьбой. Не было уже того смешливого рта, который заставлял улыбаться других. Складочки пережитого отчетливо легли по его сторонам. Можно не только выслушать друг друга, но и во многом признаться на этой переключке чувств. Ей захотелось опять быть прежней, не тронутой временем. Она легко взбежала на четвертый этаж. В ручку двери квартиры было засунуто письмо. Адрес был написан карандашом. Посланный не дозвонился.

Она сидела в пальто перед туалетным столом в своей комнате. Конверт и пропуск на концерт лежали на столе. Мелкий женственный почерк. Она не помнила его, она не любила человека, написавшего это письмо, и не хотела слышать его голоса. Она может притти на концерт, и этот голос не взволнует и не напомнит ей прошлого. Но письма, которое в первую минуту хотела порвать, она все же не порвала. На ручных часах как половина седьмого. Полтора часа, чтобы переодеться, стереть с лица утомление и дойти до здания филармонии. Может быть, любопытство или испытание себя. Зеркало в трех плоскостях отразило ее побледневшее лицо. Там, в самой отдаленной его глубине, было улыбочливое существо, похожее на уменьшенный портрет в ее юности. Ни единой морщинки, ни одного следа времени, как в пору, когда по первому зову торопилась она к человеку, которого любила...

V

Сначала квартет. Знакомые лица товарищей — последнего выпуска консерватории. Их бархатные рыжеватые кур-

точки говорят о молодости, о застенчивом усилии сделать праздничным этот наряд. Пальцы знают уже технику виртуозов. Позади годы черновой работы, упражнения, Гржимали и Черни, и детство в семьях, которые не знали музыки. Здесь — задушевная одержимость первой скрипки, недорисованные параграфы на деке виолончели, нотные знаки, струнное созвучие квартета. Медлительный смычок ходит по этой бавошитой, как голос зрелой чувственной женщины, виолончели. Блистающий парад труб органа, похожих на средневековую стражу, и толпа — восторженные подростки, стриженные и с косами, на вернутыми по бокам в виде сак, молодой музыкальный мир, пришедший послушать вчерашних соучеников и питомцев...

Квартет сменяет пианист. Он выходит профессорской неторопливой походкой, в плоских лаковых туфлях, высокий и католически-иссушенный. У него оттопыренные музыкальные уши. Он садится на краешек вращающегося табурета. Кончик лаковой туфли нащупывает педаль. Два крыла фрака свесились позади, как спящая летучая мышь. Выжидание тишины. Затем первый удар сухой кистью. Это — Равель. Вступление ведется одной правой рукой, левая безвольно опущена. Затем приходит в движение и эта левая рука. Легато кончается и сменяется скерцо. Фалды начинают вздрагивать. Ноги в лаковых туфлях нажимают педали. У виска набухает синеватая жила напряжения. Рояль стонет и исторгает звуки. Нарастает концерт.

Абессаломов заехал в девятом часу. Он не стал подниматься вверх, а позвонил по телефону от портье.

— Как я и говорил — полный сбор, — сказал он торжествующе. — Питомцы ленинградской консерватории. Наша публика ценит.

На этот раз новенькая машина дождались их у входа. Она обогнула угол Исаакиевской площади и свернула на улицу Гоголя.

— Аишлаг, знаете ли, это приятно, как ни говори, — продолжал Абессаломов суетливо. — В общем, есть кому показать ваше искусство. Надо почаще

наезжать в Ленинград. Москва — столица, конечно... а все-таки музыкальная культура всегда была выше в Ленинграде.

— Мое письмо доставлено, Абессаломов? — спросил Лавровский вдруг.

— Ваше письмо? Послано с посылным в час дня.

Абессаломов принял. В машине пахло духами. «Душится, как баба», — подумал он с неприязнью. — «Тенор». — Разговор больше не завязался. Они свернули за угол и подехали к артистическому подъезду филармонии.

Все, как обычно, в этих музыкальных кулисах. Сдержанный гул далекой толпы. На столе знакомый ассортимент угощения артистов. Ваза с яблоками и виноградом. Нарезанный сливочный торт. Бутерброды с ветчиной и икрой. Глоточек остывающего чая.

— Нет ли у вас лимона?

Лимона не оказывается. Легкая проверка дыхания, звучания голоса. Есть потребность в откашливании. Виновата эта пагубная ленинградская сырость. Абессаломов подходит на цыпочках.

— Сейчас ваше выступление, Константин Александрович.

Потом он уходит и оглядывает со стороны человека. Фрак шит за границей. Лаковые туфли не тронуты ни единой трещинкой. Зато его рыжеватые ботинки разношены и напоминают о расстояниях Ленинграда. Абессаломов ощущает свой рост. Поколение портных давало мелкие всходы. Рука машинально подтягивает галстучишко из вискозы. Нарастающие аплодисменты пианисту. Затем — тишина, одушевляемая сморканьем и кашляньем. Публика использует перерыв.

Минута выжидания у двери. Это строгая минута расчета. Необходима пауза, предшествующая появлению артиста. Тогда обостряются интерес и внимание. Аккомпаниатор с нотами готовно стоит рядом с ним. Выжидательные аплодисменты. Теперь можно идти. Надо обойти рояль и встать к нему спиной, чтобы не было напряженности в позе и можно было облокотиться. Аккомпаниатор кладет на подставку ноты. Деловые переговоры в четверть голо-

са, хотя все условлено заранее. Это необходимо для непринужденности. Первое любопытство зала к внешности артиста проходит. Певец стоит вполборота, опираясь локтем о рояль. У него есть уже испытанные повадки тенора. Он знает лирическую вкрадчивость своего голоса, некую изнеженность рук, выправляющих манжеты. Затем платочек, выхваченный из кармана и прижатый на минуту к губам. Левая рука приподнимается. Зал затихает. Аккорды вступления. Глинка. Аккомпаниатор разбрасывает первые звуки, как складки ткани, на которой должен засиять сейчас голос. — «Я помню чудное мгновение...» Это как бы сладчайшее дыхание. Белый платочек сжимается в женственной руке. — «Передо мной явилась ты, как мимолетное виденье...» Теперь первые приглушенные слова вступления разрастаются. Полное дыхание, техника, игра на произношении и речитативе. Лирика влияет. Зал подчиняется высокой напевности голоса. Есть уже опыт сложного обращения с этими притихшими слушателями. Все должно быть обдуманно — ст выхода до ухода с эстрады. У аккомпаниатора роговые очки. Опытные руки перебегают по клавишам. Аплодисменты сопровождают последние, еще не доведенные до конца аккорды. Затем можно поклониться. Руки не забывают при этом ощупать манжеты и сунуть скомканный платочек в карман. Опять совещание, пианист разбирает ноты. Теперь ария Ленского.

Антракт гудит движением толпы по фойе.

— Я не был уверен, что вы захотите меня снова увидеть. Прошло четыре года. — Он задерживает в своей руке ее руку. — Здесь трудно говорить. Вы не свободны сегодня после концерта? Я подожду вас... скажем, напротив у входа в скверик.

И он ждет ее у скверика с его безлиственными большими деревьями и черной беседочкой между ними. Машина, предоставленная Абессаломовым, уехала пустой. Сеет дождь. Толпа выходит из всех дверей филармонии. Раскрываются зонты. Он ходит вдоль решетки и

ждет. Так ждал он пять лет назад смешливую, сияющую Ирину Опекушину. Она прибежала с распахнутым воротником шубки. Впадины ее ключиц темнели. Он брал ее под руку, и они шли, равнодушные к дождю, к зиме, которая секла снегом, к морскому ветру с Невы. Она приходила в его комнату на Литейном с безразсудством. Она порывала с отцом, она давала повод для сплетен. Ей было все равно. Здесь был ее мир. Все остальное было проходящим действом жизни...

Она протянула ему руку движением женщины. Безвольная покорность этой руки чувственно придвинула прошлое. И даже в ленинградском дожде было нечто от той поры их близости.

— Я боялся, что вы не захотите притти, — сказал Лавровский. Она шла молча, глядя перед собой. Он взял ее под руку. — Вы меня не забыли, Ирина?

— Мне следовало бы вас забыть. Но уже одно то, что я иду сейчас с вами...

Он сжал ее локоть. Встреча волновала его больше, чем он ожидал. С этим существом были связаны первые ощущения зрелости. Конечно, и он помнил и думал, и даже хотел написать ей. Но, может быть, лучше ни в чем не признаваться, а так идти под дождем. Это напоминает юность.

Мокрая улица мигала фонарями.

— Вы в праве меня упрекать, конечно, — добавил он походя. — Но я не хотел бы, чтобы началось с этого. Жизнь складывается по особым законам. Особенно для людей искусства: тут и несколько повышенное отношение к миру, и многое другое...

Левой рукой он придерживал воротник, оберегая горло. Были особые законы, разлучившие их. А проще — не было никаких особых законов. Было увлечение юности, которое заставляла зрелость порвать. Он так и поступил, он должен был идти налегке. Сейчас он снова здесь, и она идет с ним, как будто не было лет их разлуки.

— Люди искусства не подвержены никаким особым законам, — ответила она неприязненно. — Скажем иначе, Константин Александрович: нас учили

думать прежде всего о себе. В этом эгоизме мы были воспитаны.

Он выслушал это мельком, как неизбежное философическое вступление.

— Я бы не сказал, что меня учили только этому... Впрочем, я не склонен критиковать воспитание. Воспитал себя, конечно, я сам.

Это был чувственный и изменчивый мир, в котором они росли. Она помнила обложки журналов с головками полуобнаженных красавиц, в гостиной у них висела картина «Головокружение» — женщина, запрокинувшаяся на софе, и склоненный над нею мужчина во фраке. У мужчины были полные губы и черные усики. Закат отца был согрет женщинами. Влияли имя, утонченная небрежность природы, слава покорителя сердец. Он сохранил до сих пор красоту — в своей тучности, и даже и теперь были у него старые и сохранившие верность поклонницы. На вечерах заводились знакомства, возникали связи. Жены имели любовников, это было естественно. Мужья ужинали в отдельных кабинетах ресторанов с чужими женами, это было обычно. Сплетни сопровождали репутации, любовные связи — карьеры. Браки распадались и возникали, как очередные постановки в театре и как новинки сезона. В тринадцать лет она прочла тайком «Хоровод» Шницлера. Многозначия волновали, как подслушанные разговоры о недозволенном. Она созревала преждевременно в тепличной обстановке чувств. Но этот внутренний распушенный мир имел свои внешние правила морали. Он не прощал внебрачных детей, гражданские браки и связи с простолюдинками. Можно было грешить, но для греха были свои законные формы. Для него были построены рестораны с отдельными кабинетами, холостые квартиры, загородные музыкальные холлы и даже отдельные номера в банях... Все должно было идти в ровной линии чувственных развлечений, без грубых российских надрывов, бабьей брюхатости, подброшенных младенцев и необузданной ревности. Капризы становились законами, желания осуществлялись тотчас же, и даже в цыганских песнях, восполнявших тоску по разгулу,

говорилось о бесшабашности, о последнем денечке и о том, что хоть час, да мой...

— Вы сделали большие успехи, Константин Александрович, — сказала она снова. — Но новый слушатель ищет другого... ваше искусство может показаться ему чуждым. У вас другая культура, другая манера петь...

На этот раз он выслушал ее. Утром об этом говорил неопрятный торопливый собеседник, неудавшийся певец — Абессаломов... тогда он по справедливости оценил его неумную зависть. Сейчас в этом было нечто, упрощавшее спокойному развитию его способностей.

— Вы ведь позволите мне попрежнему называть вас по имени? — учтиво осведомился он. — Мне этот разговор не совсем понятен и неприятен. Искусство же может быть чужим или близким... искусство — это искусство!

Вступление охладило его. Они миновали широкое здание банка.

— Куда мы идем? — спросила она безразлично.

— Зайдемте ко мне. Я остановился в гостинице.

Он ждал возражений. Она ничего не сказала. Тогда они молча прошли эту темную улицу Герцена.

Номер предстал своим ковровым замкнутым миром. Широкое ложе занимало треть комнаты. Остальные предметы были подчинены его смыслу. За тюлевой занавеской окна ночная туманная площадь, колонны Исаакиевского собора, дальше мираж, Нева. Он помог ей раздеться и прошелся по комнате. Она сидела в глубоком кресле, в беретике, еще мокрым от ночного дождя. Она была снова с ним в его комнате.

— Так почему же вы думаете, что мое искусство дойдет не до всех? — спросил Лавровский не без снисхождения. Он был уже успокоен привычным окружением вещей. — Неужели я так плохо пою?

— Нет, вы очень усовершенствовались за эти годы. Но дело не в этом... — Она поглядела в его глаза. Эти глаза она когда-то любила. — А дело в том, что мы связаны еще с нашим классом, и к новому классу, который делает бу-

дущее, до конца не пришли. Я много думала над этим и пришла к заключениям совершенно бесспорным.

Он выслушал ее.

— Я, конечно, не предполагал, что в первый вечер нашей встречи мы будем говорить с вами о классах. Но что же... давайте продолжим. К каким же заключениям вы пришли? — Он сел теперь в кресло напротив в несколько официальной позе собеседника.

— Я не хочу сказать, что мы бесполезны или наше искусство не нужно. Это, конечно, не так. Но здесь нельзя останавливаться на полдороге. Если итти, так итти до конца. Ведь есть уже музыканты и певцы, и даже молодые профессора, которых целиком воспитала революция. Многие из них вышли из комсомола... они лучше понимают и чувствуют класс, для которого они будут делать свое искусство. Так же, как и мы чувствуем еще связь с нашим классом...

— У меня нет своего класса, — сказал Лавровский. — Мой отец был способный адвокат, обыкновенный интеллигент... его успех происходил из таланта — и только. У него не было майората или наследственных привилегий. Он выступал защитником в политических процессах.

— Но он обслуживал классы, которые пользуются привилегиями... это они, а не политические подзащитные, оплачивали его талант.

Он усмехнулся.

— Можно подумать, что вы изучали соотношение классовых сил... это входит в учебную программу?

— Я изучала не по программам, а по собственному опыту.

— У вас был такой опыт? — осведомился он.

— Да, у меня был такой опыт. Неудивительно, что я стала немного разбираться в понятиях. Вы не должны обижаться, Лавровский. — Теперь эти первые выщербинки лет, как следы на фарфоре, очевиднее означились на ее лице. — Мы воспитывались в революцию, в этом смысле мы полностью ее дети. Мы учились в советской школе, мы стали советскими людьми. Но вну-

тренние пристрастия и качества остались у нас все-таки от наших родительских домов... Отсюда и наши чувства, и отношение к миру. И то, что я с вами, и здесь — это тоже дань прошлому. Я не должна была больше вас видеть!

Она посмотрела в его глаза знакомыми суженными глазами. Он быстро нагнулся и взял ее за руку. Она не отняла руки.

— А я счастлив, что мы опять вместе.

Не было больше этих длительных философических вступлений. Ни беспокойного разговора об искусстве. Путь к слушателю — техника, культура, талант. Отточный инструмент его голоса покоится в надежном футляре мастерства. Классы в искусстве... эти жалкие реплики утреннего неудачника с его с'ехавшим галстучишком. Гармония возникает из качеств. Он пел, и его слушали, и вот покорная рука не делает движения, чтобы освободиться из его руки.

— Я во многом виноват перед вами. Но я не мог вас забыть.

Он хотел привлечь ее к себе. Рука, только что безвольно лежавшая в его руке, уперлась в крахмальную грудь его сорочки.

— Только не будем говорить о любви! Вы захотели меня видеть, потому что это — Ленинград, потому что вы опять здесь... потому что вы не привыкли отказывать себе в желаниях. А мне было нужно проверить себя... я не люблю вас больше. Неужели вы не почувствовали этого?

Она почти с усмешкой оглядела ночное и готовное убранство номера. Движение руки, запроваляющей прядку волос под беретик.

— Я испортила вам вечер...

— Нет, отчего же... мы отлично побеседовали по вопросам искусства. — Он стал учтив и враждебен. — Вы собираетесь уйти?

— Да, я уйду. Не сердитесь. — Она подошла к нему и женственным отчужденным движением коснулась его руки. — И не провожайте меня. Я прошу вас.

Крахмальная грудь его сорочки измята.

— Если вы так хотите...

И она уходит. Холодок ее пальцев остался на его губах. Внизу в ресторане еще надрывалась музыка. Он быстро и досадливо вправил измятую грудь сорочки. Интимность беспорядка не соответствовала разочарованию, которое осталось после ухода посетительницы. Желтая дужка лимона, омар и бокал вина — натюр-морт на стене нарочит и неправдоподобен. Художник издевался над настроением будущего созерцателя. Номер с его ковровой тишиной становится тесен. Ванная блещет кафельными плитками облицовки и никелем. Струя ударяет из крана. Она восстанавливает равновесие сил и смывает непривычное чувство обиды.

VI

В ноябрьский денек, блеснувший вдруг опальным золотом, ослепительной гусарской синью, шел некий гражданин на Васильевский остров. Он не спеша миновал сад Трудящихся и вышел на Адмиралтейскую набережную, ныне набережная Красного флота. Видимо, наслаждаясь кавалерийской этой погодкой, не торопился он к далекой своей цели. Вид был у человека обычный, петербургский. Возраст — неопределенное междулетье меж сорока пятью и шестьюдесятью годами. Финские линялые глазки, зажатые в треугольники морских морщинок. Разношенные ботинки с засаленным замшевым верхом. Фетровая выгоревшая шляпа и непромокаемый плащ морского покроя. Прошлое отбушевало над всем этим запущенным фасадом человека, но человек не сдавался. Остатки лаковых частей ботинок были начищены. Фетровая шляпа не без щегольства сдвинута набок. Самодельная папироска вставлена в янтарный мундштук. Да в картонке, похожей на шляпную, болтался вялый тортишка, пресное изделие под названием ромовой бабы. Человек дошел до моста Республики и остановился. С привычным для петербургского жителя любованием оглядел он приморский простор, дальние ростры с бронзовыми площадками,

сверкающий на ноябрьском солнце шпиль Петропавловской крепости, — весь этот нарядный и по-морскому блистающий берег Невы. Свежий ноябрьский ветерок указывал на случайность погоды и на близкую зиму. Человек миновал мост, выдул опустевший мундштук и пошел по набережной Менделеева. Не было уже летнего того оживления, с каким уносились велосипедисты вдоль набережных. Людей было по погоде и по времени года. Блеснувший денек неминуемо был должен затмиться белесым неутешительным небом и дождиком.

Полчаса спустя на одной из боковых линий острова человек подошел, наконец, к своей цели. Дом был громаден и хмур. Лифт, как некое капище, продолжал еще инерцию лет военных и голодных. Его пуповина свисала между третьим и вторым этажами. Надо было привычно измерить крутизну лестницы петербургского доходного дома. Человек стал подниматься вверх. Была у него уже сноровка преодолевать наискось это коварство ступеней. На площадке третьего этажа он остановился и приосанился.

— Это я, Каролина Ивановна... Лисков, — сказал он в щель приоткрытой двери. — Не узнали?

Его впустили. Двухкомнатная угловая квартирка, отрезанная от общей квартиры, была весела и опрятна. Веселее всего были кафли и пестрый плиточный пол бывшей кухни, ныне переделанной в комнату. Медная посуда по-голландски пламенела на полке. Пол в своей пестрой мозаике был вымыт и чист. И даже в самой женщине, в громадном ее росте, в голубом переднике с помочами было нечто от этой самой Голландии. Недоставало запаха кофе. Гость снял не спеша свою непромокаемую накидку. К нему приглядывались выжидательно и не вполне дружелюбно. Женщина не верила в бескорыстие этого прихода и ожидала просьбы. В дарственном тортишке было тоже нечто просительское. Посмаркиваясь на ходу, посетитель прошел в эту кафельную веселую комнату и сел в кресло. Кресло было теральническое, с высокой спинкой, и по-

ходило на трон. Руки с узловатыми пальцами вытянулись вдоль его локотников. Худые ноги означались под грубошерстными брюками. Постарел, постарел бывший корабельный инженер Лисков. Как ни молодится, ни держится, ни выпячивает по-военному грудь. Они пригляделись друг к другу. Один — с финскими выцветшими глазами, со сноровкой петербургского жителя в опале, с неистребимой военной выправкой; другая — высокая, в пенсне на носу, ширококостная старуха, опрятности и суровости необычайных. Молочноватые волосы разделены на пробор. Нос слегка седловат, раздвоенный на конце. Так бы и стоять ей под этими сияющими кастрюлями, как воинствующей и гремучей Палладе. Слова, складно сложенные по пути сюда, вдруг утратили свой маневренный облик. Грозный и выжидательный облик хозяйки не располагал к оживленному вступлению. Но надо было начать.

— Я ведь вас не отвлекаю, Каролина Ивановна? — спросил гость, наконец. Подагрические его пальцы даже попробовали наиграть на ручках кресла какой-то мотивчик. — Нынче ведь день выходной.

— Для меня нет выходных дней, — ответила женщина. — Для меня все рабочие дни.

— Все уроки? — осведомился он.

— Все уроки.

Вступления не получилось. Женщина не садилась. За дверью второй комнаты означилось некое движение, присутствие живого существа. Гость покосился на дверь и стал доставать портсигар.

— Разрешите?

— Вы ведь знаете, Александр Петрович, что я табаку не выношу.

И рука так же поспешно спрятала портсигар в карман.

— Вам, как будто, неприятно мое посещение... — Он даже поерзал в этом средневековом кресле.

— Не неприятно, а несвоевременное посещение, — сказала она с безрадостной откровенностью. — Предупредили бы по телефону, что ли. У меня в два урока, да и еще дела по дому...

Кастрюлечка на керосинке дрогнула крышкой. Женщина взяла ложку и помешала содержимое. Гость потянул носом и угадал манную кашку.

— Я не задержу вас. Всего на десять минут. — Тортишка стоял нераскрытым. — А это вот ромовая баба...

— Напрасно беспокоились, — ответила женщина.

Громоздкое и суровое существо. Он покосился на ее огромную спину, на мощный затылок.

— А знаете ли, Каролина Ивановна, когда-то вы были со мной поласковой, — сказал он оживленно. — Все-таки я муж... может быть, и бывший, но муж.

— Вспоминать тут особенно нечего, — ответила она неутешительно.

Манная кашка явно пригорела. Виноват гость. Неурочное время, бесполезное посещение.

— Ну, как сказать... зависит от свойства человека. Живу в прошлом. Эллизиум теней. Вам вот, например, доставляет удовольствие возиться со всеми этими вундеркиндами... а я их повидал. Таланту хватает до семнадцати лет. А потом вырастают и становятся оркестрантами или антрепренерами, что ли.

— Вы их видали? Вы? — спросила она грозно. — Вы ничего не видели. Вы видели, как вас били японцы... с тех пор вы ничего не видели. А пора оглядеться, Александр Петрович. Возраст не малый. Жизнь, знаете ли, не впереди, а давно под горой.

Подагрическая рука поправила галстучек. Галстук был бабочкой. Женщина презрительно оглядела это несвоевременное щегольство.

— Есть, однако, обстоятельства, которые могли бы нас сблизить, несмотря на разницу наших положений и взглядов. Вы — заслуженная деятельница искусств... (хозяйка ожесточенно стала мешать в кастрюлке) воспитываете юные дарования. Находитесь, так сказать, на виду. Я — ретроград... (он сделал язвительную паузу), бывший человек, фигура упраздненного класса. Существуют, как некая разновидность того круга старых специалистов, которых сохранили в заштатных должностях: архивариусами и составителями

второстепенных пособий. Не пользуюсь ни особым пайком, ни дополнительной площадью. — Некоторая аффектированность, бравирование своей ненужностью, опальным положением человека, привыкшего командовать. — Я знаю, что слово семья в наше время не много значит, — добавил он вдруг скрипучим и неприязненным голосом. — Семьи создаются так же просто, как и распадаются... сейчас мотивом для этого может служить даже разница в общественных взглядах.

Она отставила кастрюлечку и подошла к нему ближе. Руки ее упирались в бока. Пенсне на кончике носа сверкало.

— Чего вы хотите?

— Угла, семьи, счастья, — ответил он не то прустно, не то философически. — Право на личную жизнь при социализме не отвергается. Впрочем, я знаю, что если бы не некоторые препятствия, и вы бы иначе относились ко мне. — Он отвернул лицо и потянул носом в сторону манной кашки. — А кашка-то пригорела!

— А вот это вас совсем не касается...

О, старый суровый педагог! Музыкальный громовержец. Она извлекала из рояля громы. Он подпрыгивал вслед за движениями ее мужских рук. Себастьян Бах взывал, ниспровергал и тремил. Она воспитала два поколения музыкантов. У нескольких ее учеников были европейские имена.

— Вы — жалкий человек, Александр Петрович, — сказала она и даже сочувственно взгляделась в него. — Неужели вы строили когда-то корабли? Не поверю. Приходите, принесите торт... и все это скверненько, с задней мыслью. Поговорим по душам.

— Поговорим по душам, — согласился он.

Она стояла напротив него, скрестив руки, язвительная и обличающая.

— На что вы намекаете... на какое препятствие?

— Тайна, тайна... — сказал он задушевно. — Вы окружены тайнами. А я на положении человека с окраины. Однако, в свое время вы не гнушались общим кровом... хотя судьба и не наградила нас отпрыском. Впрочем, чувство

материнства вы восполняете в полной мере, — добавил он с почтительным ехидством.

— Что это значит?

Пенсне ее сверкнуло, как вспышка орудия.

— Ну, возитесь там с вашими вундеркиндами... или, как их теперь называют, юными дарованиями. Я, Каролина Ивановна, человек старомодный, прямой. Вы это знаете. Имею на вещи свою точку зрения. Позвольте же и мне разобраться, пригорела манная кашка или нет. — Он юродствовал и нарочито наигрывал сердитый мотивчик. — И почему это я должен во имя каких-то ваших гуманных намерений уступать свое место? Я стар. Я могу рассчитывать на покой. Я не желаю покрывать чужие грехи. Однако, терплю. Цените лояльность.

Он утрачивал невозмутимость. Торжественное кресло было громоздко и неудобно. Он явился не во-время. Тортишка стоял в пренебрежении. Женщина пребывала в уничижительной позе. С ним не считались. В этой веселой кафельной комнате он был лишним. Почему он обязан покрывать чужие несчастья и семейные неудачи?

— Я могу, конечно, уйти, — сказал он и привстал. — Это даже, в своем роде, удобно. Освобождаюсь от моральных обязательств.

— Подождите! — Она положила ему руку на плечо и принудила сесть. Теперь она придвинула табурет. Она сидела перед ним, высокая и прямая, как врач перед пациентом. — Что происходит, Александр Петрович? Вы же знаете сами, что жить с вами вместе мы не можем. Дело не только в разнице наших характеров... хотя и этого было бы достаточно. За восемь лет совместной жизни мы убедились в этом. Для вас революция была крушением... а я только в революцию начала жить. Если хотите, революция научила меня по-новому чувствовать музыку. У меня есть своя цель. Таланты выходят из масс... дети рабочих учатся музыке. В консерватории из тридцати семи молодых дарований больше половины приходится на выходцев из рабочих семейств.

Мы, старые педагоги, знаем, из кого составлялись прежде музыкальные кадры. Дети привилегированных классов, юристов, зубных врачей... это была классовая музыка, Александр Петрович! Мы готовим новое поколение музыкантов. Их способности никогда не могли бы развиваться, если бы не революция. Вот моя цель.

— Значит, вы поборница новой морали? — спросил он с любопытством. — Так как же это выходит... мораль новая, а поступки и обстоятельства старые? Прикрываете обывательские недоразумения. Вот пойду я к одному человеку и скажу: мы с вами, многоуважаемый, отброшены революцией. Попали под огненную колесницу истории. Давайте обсудим: как же это так... в новом обществе — и манная кашка? И не то чтобы манная кашка в какой-нибудь отсталой квартирке... а вот на этой плите! Это новая мораль? По-моему, старая мораль. Отряхаетесь от прошлого мира, так отряхнитесь полностью. Как Баха играет, Каролина Ивановна. Громы и молнии. Я это почувствую. А то ведь одной рукой в будущее занавес приподнимаете, а другой за прошлое держитесь.

Он так и остался сидеть, испытующе заглядывая в стекла пенсне.

— Вы вольны поступить, как вам будет угодно. — Чужой и металлический голос. — Убеждаюсь только, что с бывшими привилегиями вы утратили и чувство порядочности.

Она поднялась. Поднялся и он.

— Я вынуждена буду просить, чтобы вы прекратили свои посещения.

Бабочка галстука жалко покривилась и изобличила крайнее одиночество человека. Женщина стояла, прямая и несокрушимая. Она протягивает мощную руку и говорит слова назидания. Она призывает его оглянуться на свою жизнь. Музыка высекает огонь из духа людей. Она любила повторять эти слова Бетховена. Но сейчас она не протягивает руки, она не призывает ни к чему и не произносит бетховенских слов. Ее пенсне непроницаемо. Вторжение постороннего человека было не только несвоевременно. Жалкий человек намекал

и наигрывал мотивчик. Он был способен на любой поступок. Она пересилила себя и сказала:

— Я не хотела конфликта, Александр Петрович.

— Помилуйте, что вы... какой же конфликт?—Он изгибался и юродствовал. — Естественное обращение с человеком ненужным и бесполезным. Не беспокойтесь: никуда не пойду и ни с кем не разделю своих мыслей.

Великосветский жест. Бабочка галстука принимает нужное положение. Платочек выхватывается из карманчика. Лоб его запотел от беседы, от неприступности этой твердыни. Затем человек шаркает ногой и откланивается. Она провожает его до дверей. Плащ морского покроя имеет вид романтический и неправдоподобный. Потертый его обладатель со своими торчащими усиками подходит на обедневшего мольеровского дворянина. Он поднимает тощий свой палец и говорит напоследок:

— Человек упраздненного класса ищет новой морали. Может быть, это путь, чтобы стать снова пригодным для общества!

Он снимает шляпу и романтическим жестом кавалера приветствует остающихся.

Она так и осталась стоять, смущенная этим трагическим возгласом и шумным юродством, которыми прикрывал он свой обветшалый закат. Манная кашка, отставленная в сторону, остыла. Она подержала ее над огнем керосинки и понесла в соседнюю комнату.

Человек вышел из дома и остановился. Ноябрьский денек уже померк. Неслись облака. Ветер сразу рванул поля шляпы. В скучном тройном трамвае сидели, насупившись, люди. Посеял дождичек. Трамвай пересекал Васильевский Остров. Ботинки с замшевым засаленным верхом и упершимися между них концом трости разместились рядом с тупыми чиненными носами испачканных известкой сапог. Человек сидел чинно, с положительностью ленинградского трамвайного пассажира, привыкшего к расстояниям. Нева обозначилась ненастным простором. Финские выцветшие глаза глядели сквозь тусклое и про-

шитое стежками дождя окно на речной этот ход, на баржу, на дождливую ленинградскую перспективу. Вскоре обогнул трамвай площадь Зимнего дворца. Бывшая арка Генерального штаба, ныне арка Красной армии и флота, уже голубейше наливалась сумерками. На углу Невского человек покинул трамвай. Знакомая вывеска «Кужд» была лаконична и сберегала историю. История прошла сквозь этажи этого комиссионного магазина с его цветистыми и пышными витринами. Гарнитуры упраздненных классов, карельская береза и ампириная мебель дворцов, сердоликовые и нефритовые безделушки — слонята, птицы и рыбы — работы Фаберже и придворных ювелиров, фарфоровые пасхальные яйца — тысячами дворцовых христосований; поднесенные бювары с подписями сослуживцев; купеческие и генеральские чудачества — погребцы и стенные телефоны с графинчиками и полдюжиной рюмок; французские обюсоны и пыльные тугие тела ковров — текинских, бухарских, персидских; поповские горки для посуды; китайские вазы и клоазонэ с отбитой эмалью; родовые постели, сохранившие память семейственных снов и утех. А больше всего — того подлого и безвкусного хлама, которым начиняли квартиры присяжные поверенные и зубные врачи: декадентские тощие дамы со шлейфом, обтекающим ноги, склоненные над часами и вазами; розовые и фишашковые будуары на тощих ножках поганок; альбомы для открыток с тисненными головками и водяными лилиями; огромные розовые и никелированные жерла граммофонов, из которых гнусавили Морфесси и Вяльцева, басила мужеподобная Панина и грохотали жеребцовые русские хоры; терракотовые птицы на овальных досках, долженствовавшие изображать фламандский преизбыток в столовых; галереи картин в пышных и ликующих рамах бесконечных Крыжицких, Пимоненко и Клеверов, с изображениями русских проселков, закатов в лесу, боярских свадеб, украинских веселых дивчат, идущих с ведрами на коромыслах... эти трагические интерьеры чиновничьих квартир, приемных модных

адвокатов, популярных зубных врачей и опереточных див, обретших длительную мужскую поддержку. Они перемешивались с красным деревом александровских кресел, столами-сороконожками и секретерами сенаторских особняков и казенных квартир бывших чинов дворцового ведомства. За ними проходили парадами фарфоровые изделия русских фабрик, порочные чашки с трещинами и из'янами, копенгагенские серые доги и моржи; обувь диких фасонов начала века—остроносые золоченные туфли отечественных этуалей, замшевые дамские ботинки до колен и лаковые башмаки камергеров; страусовые перья, горностаевые палантины, поповские бобровые шапки, добротные купеческие шубы, сшитые на рост славянских гигантов, лисьи салопы; палки снотов с набалдашниками из слоновой кости, веера и нафталинное добро, пролежавшее в сундуках десятилетия...

Все это расценивалось, выставлялось и щупалось; граммофоны в тысячный раз начинали хриплые свои возгласения, гремели хоры, закатывались Медея Фигнер и Вяльцева, пожелтевшие клавиши роялей выбивали жидкие и неуверенные звуки, пел Морфесси, уже затмеваемый популярною песнью «Ах, эти черные глаза...» В годы нэпа началось великое переселение вещей. Извлеченные из одних хранилищ, они перекочевывали в непрочные убежища новых владельцев. Новые владельцы обставляли жилища красным деревом и карельской березой, предпочтительно павловской эпохи; скупали картины и дворцовые люстры; обзаводились библиотеками из антикварных книг и книг по искусству. К ним присоединялись опереточные актеры, популярные рассказчики и куплетисты — новые коллекционеры фарфора и книг, старинного оружия, екатерининской мебели. Вещи повествовали об истории домов и владений, о накоплениях и разорениях, о растратах и об очередной спекуляции...

Давно уже предмет за предметом пускал в испытанное русло Лисков. Все находило своих потребителей. Официанты донашивали великосветские смокинги. Крокодиловые бювары с адво-

катских столов подносились ретивыми сослуживцами управляющим делами и председателям трестов. Малиновые закаты переползали в новые жилища, обманывая неискушенные вкусы. Был и сейчас на комиссии письменный золоченный прибор в виде малахитовой палубы корабля. Чернильницы изображали пушечные башни. В щетинную поверхность командирского мостика можно было втыкать перья. Серебряная пластинка с названием корабля сберегала позабытые имена сослуживцев. Давно уже составила устойчивая клиентура из статных высокомерных старух, еще сохранивших свой фрейлинский облик, потертых людей, утративших звания и возраст, и деловых проворных перекупщиков.

Пять лет назад произошло это расторжение брака. Пять лет назад из обжитой кафельной комнаты перебрался Лисков к далекому Финляндскому вокзалу, на окраинную улочку Мира. Брак был неравный, жена попалась суровая. Он переносил ее колкости, ее требования, ее пристрастия. Революцию она приняла широко и восторженно. Он привык к ее шумной впечатлительности. Жизнь усложнялась, трудности возрастали. Он ожидал ее разочарования. Но она принимала и недостаток, и трудности. Музыка, бывшая пристанищем избранных, становилась доступна новому кругу людей. От рабочих поступали заявки на пианино. Их дети учились в музыкальных техникумах. Бетховен оказывался прав. Музыка высекала огонь из духа людей. Расхождения становились непримиримее. Совместная жизнь начинала быть источником бедствий. Наконец, все было кончено. Он покинул эту веселую комнату. Не пахло уже голландски кофе, не громил и не взывал Бах. Он даже порадовался чувству освобождения. Потом он понял, что любит эту суровую и непримиримую женщину. Ему не доставало ее седловатого носа, на котором блистало пенсне. Синего опрятного фартука с помочами. Громкого властного голоса. Сильных мужских рук с развитыми музыкальными пальцами. Стука метронома. Ее шумного дыхания. Он стал ревно-

вать ее к музыке. К композиторам, которых она любила. К этому миру юных дарований, которых она обучала... Он помнил бархатные коричневые костюмчики вундеркиндов, драгоценные скрипки Страдивариуса и Гварнери в их руках, нездоровую славу, афиши и ангажементы в Америку. Дети вырастали и становились посредственными музыкантами. Слава вундеркиндов оказывалась призрачной славой. Он заранее опорачивал всех этих музыкальных детей, которых воспитывали в консерватории. Он убеждал себя, что их преждевременные расцветы недолговечны. Но уже выросло новое поколение музыкантов. Только-что они были подростками. Сейчас они побеждали на конкурсах и становились лауреатами.

Его замкнутая жизнь обрела одну цель: он хотел возвращения в покинутый дом. Ему недоставало музыкальных звучаний. Его работа над учебниками по кораблестроению не получала нужных толчков. Он возненавидел эту уличку Мира. Уцелевшие предметы утрачивали свой смысл. У него не оказывалось пристрастий. Он равнодушно перетаскал все свои вещи в этот комиссионный магазин, вплоть до мичманского кортика. Его купили для театральной постановки — этот первый клинок его юности. Он притаскивал взамен беспо-

лезные торты, флаконы с одеколоном и даже духи в свое прежнее обиталище. Их принимали сурово и нехотя, как свидетельство его прихотей и обычного расточительства. О, бесплодные браки! Суровые речи о семейной свободе. Вольные композиции с пробегом по отзывчивым клавишам. Тонкий мир полувоспитанности Дебюсси. Его «Образы». И детское звериное изначально тепло... стершийся ватылок младенца, сына, которого он не имел! Вялый тортишка остался стоять на столе. Его просто не заметили. Пышная «Деревенская свадьба» сияла в окне магазина. Торжественная рама подчеркивала монументальность замысла. Бледная невеста с платочком в руке пускалась в пляс. Красные дружки в полукафтаньях хлопали в ладоши. В окна богатой избы заглядывали лица. Народ, бредший по проспекту 25 Октября, останавливался у витрины. Несвоевременность этого зрелища привлекала внимание. Видение мира, столь же покинутого, сколь был покинут и он, Лисков. Ручка из слоновой кости сохранилась на двери магазина. Запоздавая и тоже несвоевременная роскошь Петербурга. Он открыл дверь и вошел в магазин, равнодушный к судьбе малахитовой палубы — подарок строителю броненосного крейсера «Витязь».

(Продолжение следует)

В дрейфе

(Новые главы романа «Цусима»)

А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ

Поход на Дальний Восток был особенно тяжел для миноносцев 2-й эскадры. Каждый из них имел личный состав в семьдесят с лишком человек. Люди ютились в тесных помещениях и, за отсутствием рефрижираторов, в редких случаях пользовались свежим мясом. При небольшом сравнительно волнении, мало отражавшемся на крупных кораблях, миноносцы так качались, что нельзя было приготовить горячую пищу. Иногда это продолжалось неделю и больше, вынуждая команду и офицеров питаться одними консервами и сухарями. Еще больше ухудшалась жизнь во время шторма. Все люки наглухо закрывались, и все же во внутренние помещения проникала вода. От мокрого платья шло испарение. Нечем было дышать. Миноносцы уже не качались, а прыгали и колотились среди разъяренных волн. У людей было ощущение, что они находятся в закупоренной бочке, непрерывно поднимаемой и сбрасываемой с большой высоты. Нужно было иметь необыкновенное терпение, чтобы выносить всю тяжесть такого плавания.

С большим напряжением миноносцы шли вперед. Иногда их тащили на буксирах транспорты. Так или иначе, но эти маленькие кораблики, к удивлению всего мира, преодолели пространство в 18.000 миль и прибыли на театр военных действий. Их личный состав проявил изумительный героизм. А что требовалось от них дальше? Командую-

щий эскадрой не воспользовался ими, как боевыми единицами флота.

«Блестящий» и «Бодрый», как и другие русские эскадренные миноносцы, не отдавали себе ясного отчета о своей роли в бою. В полдень, перед генеральным сражением, по сигналу Рожественского первому было приказано находиться при крейсере «Олег», второму — при крейсере «Светлана». Зачем, для какой цели? Каждому миноносцу приходилось решать этот вопрос по-своему.

Командовал «Блестящим» капитан 2-го ранга Шамов. Он стоял на мостике и, держась за поручни, бросал быстрые взгляды то на неприятельские корабли, то на свои крейсера. В чертах его круглого скуластого лица с небрежно торчащими русыми усами ничего не было типично барского. Всем своим внешним обликом этот коренастый блондин был похож на смекалистого и серьезно землероба, почему-то нарядившегося в офицерскую форму. Никакого намека на аристократический лоск в нем не было. Может быть, поэтому и не везло ему по службе, несмотря на то, что он и дело свое знал, и служил честно, и с командой обходился хорошо. В начале сражения на нем лежала одна забота — держаться подальше от падающих японских снарядов. Около ног его, нервничая от орудийного грохота, крутились две собаки: маленький, суетливый, с крючковатым хвостом, Бобик — подарок от детей — и здоровенный, с огромной мордой, сан-бернар Банзай, купленный

щенком во время войны. Командир посмотрел на них и наставительно сказал:

— Эй, вы, воины, ведите себя приличнее.

Вдруг стоящим на мостике показалось, что с треском отвалилось все днище миноносца. Некоторые из офицеров и матросов упали. Командир только подпрыгнул, но удержался на ногах и странно закрутил головою. Обе собаки сначала испуганно взвизгнули, а потом, не видя врага, яростно залаяли в пространство: одна обрывистым басом, другая звенящим, словно колокольчик, подголоском. «Блестящий» на мгновение наполнился огнем и, окутанный дымом, свернул в сторону, но продолжал держаться на воде. Во многих местах продырявилась верхняя палуба. Казалось, не газы и осколки, а какой-то незримый многоорукий озорник поджег штурманскую рубку, выбросил из стола шлюпочную книгу и вахтенный журнал, листы которых полетели за борт, как стая белых птиц, перебил машинный телеграф и рулевой привод к паровому штурвалу, испортил турбину, вывел из строя паровой котел и безжалостно изувечил несколько человек. Кто-то из них отчаянно завопил. Кочегар Ковалев, которому оторвало ногу, ползал по палубе, кружась, словно что-то разыскивая, и озабоченно кричал:

— Помогите мне, братцы! Куда она делась?.. Я здесь стоял...

Все это произошло оттого, что неприятельский 9-дюймовый снаряд, предназначенный для крейсеров, случайно попал в левый борт миноносца. В жилой палубе от взрыва этого снаряда воспламенились два ящика с 47-миллиметровыми патронами.

По приказанию командира пробили сразу две тревоги — пожарную и водяную. С огнем скоро справились, но ничего не могли поделать с пробоиной. Наложённый на нее пластырь от быстрого хода оторвался. Вода, врываясь внутрь миноносца, быстро заполняла его носовую половину. Рулевых перевели на ручной штурвал.

«Блестящий» направился к месту гибели броненосца «Ослябя» и вместе с

другими миноносцами стал подбирать из воды людей. Это было в три часа дня. Бросая концы за борт, удалось поднять на палубу только восемь человек. Неприятельские крейсера, приближаясь, открыли по спасающим судам частый огонь. «Блестящий» полным ходом помчался к своей эскадре.

Командир Шамо́в в это время стоял на корме у ручного штурвала. Вокруг миноносца падали неприятельские снаряды. Шамо́в, увидев лишних людей на палубе, крикнул им:

— Ребята, без дела не шататься наверху! Зря может убить или ранить.

Потом он сказал мичману Ломану:

— Я поднимусь на мостик. Буду следить, как бы нам не наткнуться на плавающие мины. А вы оставайтесь здесь.

Ломан, рослый и плечистый шатен, ответил:

— Есть!

Шамо́в обычной, проворной походкой пошел вдоль правого борта, сопровождаемый двумя собаками. За ним следовал легко раненый мичман Зубов, непоседливый и стремительный юноша. Банзай и Бобик, привлеченные незнакомым запахом шимозы, обнюхивали на ходу разбитые места палубы. Против второй дымовой трубы с командиром встретился боцман Фо́мин. Крепкий телом, великолепно исполнявший свои обязанности, он никогда не унывал, но на этот раз его смуглое лицо было чем-то обеспокоено.

— Ну, что, француз, как дела? — спросил Шамо́в, который всегда при обращении почему-то называл его так, хотя и ничего в нем французского не было.

— Дела неважные, ваше высокоблагородие. Никак не можем справиться с гробоиной. Придется, видно, с морского дна пузыри пускать.

Командир остановился, удивленно глядя на боцмана.

— От тебя ли я это слышу, француз? Ты, бывая даже пьяным, ловко выкручивался из самых критических положений. Не к лицу тебе голову вешать раньше времени.

— Да как же, ваше высокоблагородие? Все меры приняли. Воду выкачи-

вают и брандспойтами, вычерпывают ведрами, а она все прибывает. Носовая переборка еле выдерживает ее давление. Сейчас под переборку ставим упоры. Я использовал для этого сходни и шлюпочные мачты.

— Мобилизуй себе в помощь еще часть команды. Ты сам знаешь, что нужно делать. Иди.

Фомин побегал от него, но не успел сделать и десяти шагов, как покатился кубарем к кочегарному кожуху. На этот раз снаряд попал в правый борт и разорвался в угольной яме. Котел № 2 вышел из строя. Из пробитой трубы вспомогательного пара с ревом повалил горячий туман, заглушая неистовые вопли ошпаренного кочегара Концевича. Боцман Фомин, не задетый ни одним осколком, торопливо вскочил и огляделся. Первое, что бросилось ему в глаза, — это пробитая во многих местах палуба и опрокинутые на ней люди. Кочегар Ермолин еле ворочался, оторванная кисть его руки была заброшена на кожух. Помощник сигнальщика, матрос Сиренков был разорван почти пополам вдоль туловища. Оба они только что стояли у 47-миллиметровой пушки. Недалеко от них неподвижно лежали командир Шамов, Банзай и Бобик, а на них, как будто играя, навалился раненный в ногу мичман Зубов. Мичман поднялся и побрел к фельдшеру на перевязку. Командир и две его собаки лежали на палубе мертвыми. Около них собрались матросы. Для команды Шамов был исключительно хорошим начальником, и каждый, глядя на него, выражал свое горе:

— Не дыхнул, бедняга.

— Где уж тут дышать... Голову и грудь пронзило.

— Дельный был командир. Пропадать нам без него.

Подошел командирский вестовой и, покачав головой, промолвил:

— Жалко, — ничего худого о нем не скажешь. А насчет собак — слава богу, что их убило. Больно пакостили много. Надоело убирать за ними.

Занятые командиром, лишь немногие обратили внимание еще на одного человека. Осколками этого же снаряда был

тяжело ранен единственный штатный сигнальщик, латыш Визуль. Он хотел бежать на перевязку, но кто-то из офицеров приказал ему сообщить сигналом адмиралу Энквисту о смерти командира. И молчаливый Визуль, зная, что, кроме него, никто из матросов не может этого выполнить, бросился к ящику с флагами и начал их набирать. В ноге у него глубоко засел горячий осколок, на одной руке не доставало пальца, на другой была пробита ладонь. Боль заставила его стиснуть зубы, искривила лицо, на фалах, при помощи которых он поднимал флаги к рее мачты, остались следы крови. Однако, задание им было выполнено, и лишь после этого он, бледный, шатаясь и хромя, направился к фельдшеру.

В командование миноносцем вступил старший офицер, мичман Ломан.

Вскоре «Блестящий» вышел из сферы огня и присоединился к своим крейсерам. Около них он держался до самого вечера. А когда показалась неприятельская минная флотилия, крейсера развили такой быстрый ход, что он не мог за ними поспеть. «Блестящий» остался один, искалеченный, в окружении тьмы и моря. При большем дифференте на нос корма его приподнялась, лопасти винтов едва достигали воды. Корабль лишился главного преимущества — скорости — и превратился из прежнего рысака в жалкую клячу. Вода стала проникать в кочегарное отделение. На том месте, где разорвался первый снаряд, получился изгиб в корпусе, и все с ужасом ждали того момента, когда носовая половина его совсем отвалится. Люди измучились в борьбе за пловучесть корабля. Кочегар Жучко, окончательно изверившись в спасении, залез в угольную яму и улегся там. Увидев хозяина трюмных отсеков Романюка, он упавшим голосом пожаловался ему:

— Нет у меня больше сил работать. Закрой меня. Вместе с миноносцем пойдешь на дно.

Романюк едва уговорил его вылезти из ямы.

Мичман Ломан, посоветовавшись с другими офицерами, направил миноносец в Шанхай.

В начале одиннадцатого часа ночи позади, справа, во мгле обрисовался силуэт небольшого судна. На «Блестящем» люди встревожились и на всякий случай навели на него пушки. Но в ту же минуту тревога сменилась радостью: по световым опознавательным сигналам установили, что позади следует русский миноносец «Бодрый». В ответ ему сообщили название своего миноносца и пошли рядом с ним.

Заместитель командира «Блестящего», мичман Ломан, сказал своим офицерам:

— Опасность для нас значительно уменьшилась. От противника мы уходим. А если будем тонуть, то нас подберет «Бодрый».

Один из офицеров, знающий хорошо характер командира «Бодрого», высказал свои сомнения:

— А не удерет от нас Иванов? От этого человека всего можно ожидать. Если его миноносец меньше поврежден, то он не захочет за нами плестись.

— Не посмеет он этого сделать. В нем слишком много трусости. И в морской карте его познания слабоваты. Он никогда не ходил самостоятелно, а все норовил за кем-нибудь увязаться.

На «Блестящем» продолжали выкачивать воду, но она все прибывала, поднимаясь в носовой кочегарке выше площадки. В эту ночь офицеры и команда не могли заснуть ни на одну минуту. И все настолько были обессилены работой, что едва могли передвигаться. С рассветом боцман Фомин доложил командиру:

— Кончается наше плавание, ваше благородие. Не миновать беды. Миноносец от зыби разламывается, как пряник.

Мичман Ломан осмотрел миноносец и, еще раз посоветовавшись с офицерами, распорядился в 4 час. 30 мин. утра просемафорить на «Бодрый»: «Миноносец тонет, примите нас к себе».

Два миноносца сошлись борт с бортом и начали пришвартовываться друг к другу. Командир «Бодрого», капитан 2-го ранга Иванов, полнотелый старик с окладистой седой бородой, стоя на мостике в такой величественной позе, словно был адмиралом, важно спросил:

— А где же Сергей Александрович Шамов? Почему его не видать?

Мичман Ломан ответил:

— Наш командир лежит на юте мертвым.

— Жаль, очень жаль. Друзьями мы с ним были. Ну, вот что: у меня мало угля.

— Мы вам свой передадим.

С «Блестящего» сначала перевели на «Бодрый» раненых, а потом стали перегружать уголь и более ценные вещи — секстанс, хронометры, приборы беспроволочного телеграфа, пулеметы, ружья, машинные материалы, вахтенные журналы. Из продуктов взяли только несколько голов сахару. Остальная провизия была затоплена водой.

Когда работа была в разгаре, к командиру Иванову подбежал радиотелеграфист Попонин и торопливо доложил:

— Ваше высокоблагородие, на нашей станции получают какие-то знаки. Разобрать ничего нельзя. Очевидно, японцы переговариваются.

Вскоре заметили на горизонте дым неизвестного судна. Заподозрев в нем противника, немедленно прекратили работу. Успели перегрузить лишь тридцать мешков угля. Людям было приказано скорее перебираться на «Бодрый». На «Блестящем» осталось только несколько человек, чтобы ускорить его потопление. По распоряжению мичмана Ломана хозяин трюмных отсеков Романюк и один из машинистов открыли кингстоны, забортные турбинные отверстия, иллюминаторы. Внутренние помещения миноносца, наполняясь водою, заклокотали, зашумели, словно кипящие посудины на огне. Тем временем боцман Фомин принайтвил мертвого Шамова и обоих его четвероногих друзей, Банзая и Бобика, к оружейной тумбе, чтобы они не всплыли на с'едение акулам. Снятое с командира обручальное кольцо он вручил мичману Ломану для передачи семье покойного. Миноносец, покинутый всеми, медленно погружался, и теперь уже никто не мог бы вернуть его к жизни.

«Бодрый», отдав швартовы, в 6 часов утра отошел от борта и взял курс на запад. С каждой минутой ход его уве-

личивался, за кормою сильнее вздувались белопенные буруны. Люди с «Блестящего» и радовались, удаляясь от опасности, и в то же время переживали печаль, оглядываясь на свой погибающий миноносец. А он постепенно уменьшался, как будто таял в утренних лучах солнца, и, наконец, совсем исчез с поверхности моря.

На горизонте не было видно ни одного дымка. Море разливно сверкало. Измученная команда могла отдохнуть.

Командир «Бодрого», капитан 2-го ранга Иванов, разговорившись с офицерами «Блестящего», начал делиться с ними впечатлениями о сражении:

— Бились мы отлично. Правда, мы, повидимому, понесли поражение, но досталось и японцам. Они потеряли два броненосца — один двухтрубный, другой трехтрубный. Один из них был головным. Надо полагать, что это погиб флагманский корабль, погиб вместе с адмиралом Того. На двух или трех неприятельских броненосцах возникали пожары. Одно какое-то судно отстало от эскадры и сильно накренилось. К нему почти вплотную подошел «Владимир Мономах» и докончил его. Кроме того, было замечено, что из восьми неприятельских крейсеров три вышли из строя и тоже, вероятно, утонули.

Один из офицеров с «Блестящего» вежливо возразил:

— А у нас осталось иное впечатление — японцы несколько не пострадали от нашего огня.

— Плохо вы наблюдали, милостивые государи. Я собственными глазами видел, как гибли неприятельские корабли¹⁾.

Командир Иванов продолжал рассказывать о потерях японского флота, но ему никто не верил. И среди своих офицеров он не пользовался авторитетом:

¹⁾ Командир «Бодрого» Иванов и впоследствии непоколебимо придерживался точно таких же взглядов о размерах потерь японского флота при Цусиме и даже выразил их документально, хоть и несколько иными словами, в своем официальном донесении. (См. «Русско-Японская война», выпуск 2-й, стр. 215—216).

они не могли получить от него какие-либо познания по военно-морским вопросам. Он обладал зычным хриповатым голосом, много шумел, иногда без всякого повода, глядя на подчиненных бессмысленными серыми глазами. В противоположность Шамову, он не ладил и с матросами. И они не любили его, отзывались о нем всегда с насмешкой:

— В нем только и есть одно — борода на две стороны, значит, никому не должен.

Неоднократно у него бывали столкновения с командой из-за пищи. Матросы заявляли ему претензии, а он ругал их последними словами и в заключение добавлял:

— Вы у меня, негодяи, вот где сидите.

И показывал рукою на свою толстую шею, сплошь пораженную фурункулами.

Провинившемуся матросу обычно грозил:

— Зад твой, — воля моя — драть буду!

Во время сражения миноносец «Бодрый», руководимый таким командиром, был для эскадры так же бесполезен, как бесполезна бородавка на теле. «Бодрый» не сделал по японцам ни одного выстрела. Даже в спасении людей ему не пришлось принять участия. Только однажды случайно заметили с него плавающего в море человека, вызвавшего о помощи. Миноносец решил спасти его, и началась суматоха. Утопающему бросали концы снастей, но все неудачно. Командир Иванов нервничал и, сбивая с толку своих помощников, хрипел:

— Ход назад! Стоп машина! Вперед! Право руля! Лево руля!

Трюмный квартирмейстер Волков, наблюдая за бестолковыми действиями командира, сказал:

— Ну, и послал же нам господь бог чадушку с бородой.

Машинный квартирмейстер Пинаев добавил:

— Сухопутный моряк.

Прежде чем подняли на борт пловца, миноносец прокружился около него целых полчаса. Спасенный был невысокого роста, толстый, круглый, как откормленный кабан. На момент он грузно

повис на руках матросов. Все тело его судорожно дергалось от порывистого дыхания, на широком побледневшем лице с остановившимися голубыми глазами и раскрытым ртом было такое выражение, как будто этого человека только-что выгнали из петли. Казалось, что он доживает последние минуты. Но он, к удивлению всех, неожиданно выпрямился, огляделся и заулыбался по-синешшим губами. Из распросов выяснилось, что это был вольнонаемный рулевой с погибшего буксирного парохода «Русь», по национальности эстонец. Он переделся в сухое платье, выпил чарку рому и, спустившись в унтер-офицерскую каюту, крепко заснул.

«Бодрый» дал полный ход, направляясь к своим крейсерам. Спустя несколько минут небольшой неприятельский снаряд попал в щит 47-миллиметровой пушки и разорвался. Кочегар Бельков свалился мертвым, комендор Царев застонал от тяжелых ран, слегка были задеты осколками еще четыре матроса. В припасенном ящике с 47-миллиметровыми патронами воспламенился бездымный порох, угрожая взрывом, но минный квартирмейстер Руднев схватил голыми руками горящую массу, и, обжигаясь, выбросил ее за борт. Осколками исковеркало элеваторную трубу для подачи 75-миллиметровых снарядов и пробило верхнюю палубу. Но вскоре все повреждения были исправлены. Однако командир Иванов самостоятельно решил выйти из сражения.

Пятнадцатого мая, приняв команду с затопленного «Блестящего», «Бодрый» шел бесперебойно, держа курс на Шанхай, и до самого вечера ни с кем не встретился. С нетерпением ждали ночи, а когда наступила она, людей опять охватило беспокойство. Им все мерещились огни справа, слева, впереди. «Бодрый», боясь наткнуться на японцев, сворачивал со своего пути в разные стороны. На следующий день началось сомнение в правильности курса, — его часто меняли. К этому прибавилось новое осложнение: стоявшая с утра благоприятная погода к полдню начала портиться. Быстро падал барометр. Южный

ветер, усиливаясь, постепенно дошел до десяти баллов. Запенилось Китайское море, вспухая буграми и забавляясь корабликом в 350 тонн водоизмещения, как лев с мышонком. Угрожала опасность, что «Бодрый», лишенный достаточного груза в трюмах, может легко перевернуться на волне вверх килем. Чтобы увеличить устойчивость судна, спустили четыре бортовых пушки в угольные ямы. Кроме того, пришлось поставить миноносец носом против ветра и, борясь со штормом, удерживаться на месте действием машин.

— Как же это так? — спрашивал у проходивших матросов подшкипер Игнатьев. — Ну-ка японцы подвернут-ся, а у нас пушки в угольной яме?

— Страхов много, а смерть одна, — ответил ему, махнув рукой, комендор Ключегорский.

К Шанхаю больше не продвигались, а между тем кочегарки с'едали последние остатки топлива. Под парами остались только два котла вместо четырех. Для корабля наступал тот момент, которого больше всего боялись моряки. Не было пробито никакой тревоги — ни боевой, ни пожарной, ни водяной, но весь экипаж, от командира до матроса, заматался, словно всем объявили о немедленной гибели. К полночи весь уголь был истреблен. По судну торопливо забегали люди с топорами и ломом, разыскивая дерево. То в одном месте, то в другом раздавался треск ломаемых сооружений. К топкам несли стеллажи продовольственных погребов, решетчатые люки, командные рундуки, коечные сетки, обеденные столы, сходни, доски для погрузки, отделку жилых помещений, паклю, масло — все, что могло гореть. Но и этого хватило не надолго. Добавили две шлюпки: двойку и восьмерку. Это было последнее топливо. Пары в котлах прекратились. Трубы перестали дымиться, не было больше слышно ритмических вздохов машин, корабль повертывало ветром, как всплывший труп кита, и несло в неизвестность.

— Лотовые на лот! — с дрожью в голосе закричал командир Иванов, едва удерживаясь на ногах от усилившейся качки.

Смерили глубину — она оказалась настолько большой, что нельзя было стать на якорь.

В эту ночь люди прощались с жизнью. А утром 17 мая ветер стал стихать. По счислению определили свое местонахождение в море: до шанхайского маяка «Шавейшан», к которому держали курс, оставалось еще около 90 миль.

«Бодрый» оказался во власти моря. Приспособили и в 10 час. 40 мин. подняли на нем паруса, сшитые из тентов и матросских коек — кливер, фок- и прот-марселя. Но миноносец не держался на курсе и медленно поворачивался носом то в одну сторону, то в другую. Ставший на вахту мичман Давыдов заглянул в вахтенный журнал и, прочитав запись предыдущего офицера, улыбнулся губами губ:

— Это называется — на ходу под парусами! Так громко величается наше верчение на месте. Следовало бы записать — карусель под парусами или танец на волнах.

Море становилось мельче. Решили продвигаться ближе к цели, пользуясь приливным течением и бросая якорь во время отлива. Однако, успех от этого был ничтожный. Корабль уподобился обезноженному человеку, пытающемуся на одних только руках проползти огромное расстояние. Впереди до самого берега тянулась отмель. Это было и хорошо, и плохо: она давала возможность становиться на якорь во время отлива и хотя медленно, но сокращать расстояние; она же и ухудшала положение миноносца, потому что в этой полосе моря, боясь аварий, не ходили большие пароходы, и нельзя было рассчитывать на постороннюю помощь. Ползком надвинулся, холмисто растилаясь по зыби, туман, серый и густой, как вата. Он тоже играл двойственную роль, скрывая миноносец не только от японцев, но и от нейтральных судов. В довершение всего продукты и пресная вода были на исходе.

На миноносце, экипаж которого удвоился, было тесно. Туман, скрывавший солнце, был теплый, как пар в бане, и действовал на всех расслабляюще. Двое из тяжело раненных умерли, трупы их

выбросили за борт. Пресная вода, случайно сохранившаяся в одном котле, была мутная, со ржавчиной, невкусная. Но и ее выдавали только по два стакана на человека в сутки под строгим контролем хозяина трюмных отсеков Волкова. У этого котла, чтобы кто-нибудь не украл драгоценной влаги, день и ночь стояли часовые. Подшкипер Игнатъев, раздражаясь, ворчал:

— Хотел бы я знать, в каком месте у нашего командира Иванова запрятан разум? Ведь должен он был сообразить. До назначенного места мы все равно не дойдем. Значит, нужно было оставить хоть немного угля для опреснителя.

— Да, работой теперь у нас опреснитель, мы бы не нуждались в пресной воде, — отозвались матросы.

— Не командир, а шляпа, да еще дырявая.

Убавили в два раза и порции продуктов. Вместо свежего хлеба люди получали по несколько ржавых сухариков. Обед готовился из соленой забортной воды и мясных консервов. Чтобы не умереть раньше времени, его с'едали, морщась и делая над собою усилие, с'едали с таким же отвращением, с каким больные принимают противные лекарства. И все понимали, что это еще не самое худшее. Миноносец «Бодрый», пользуясь приливным течением, приближался к желанной земле чрезвычайно медленно — от пяти до семи миль в сутки. Если не подвернется посторонняя помощь, то люди совсем останутся без пищи и питья. Будущее рисовалось не менее страшным, чем сражение при Цусиме.

Матросы с «Блестящего» вспоминали своего командира:

— Вот наш Шамов — это был настоящий моряк. Он знал море, как собственную квартиру. Будь он на «Бодром» — у него хватило бы и этого угля. Это вам не Иванов, который путался в море, как крученный баран. С нашим командиром мы давно уже были бы в Шанхае.

В ответ на это команда «Бодрого» могла сравнить с Шамовым только одного своего офицера:

— Был и у нас штурман, мичман Гернет. Жаль, что его перевели на крейсер «Дмитрий Донской». Таких штурманов редко найдешь. Он провел бы «Бодрого» прямо в Шанхай, как по рельсам.

Прошел день, второй. Положение «Бодрого» нисколько не изменилось. Люди устали тосковать и отчаиваться. Вся их работа заключалась только в том, что по утрам, как и в обычное время, скатывали палубу и во время отлива выбирали вручную якорь. Невольно хотелось забыть о своем бедствии и чем-нибудь развлечься. Многие из команды старательно шутили. Но все сразу приумолкли, когда заговорил боцман Фомин.

— Плыли мы Средиземным морем. Остановились у острова Крит. Наш командир отправился в гости к Иванову. Принял тот его хорошо. И даже приказал выдать по чарке рому гребцам нашего вельбота, а мне предложил разделить компанию с его боцманом Урупой. Засиделись мы долго. Вдруг в первом часу ночи слышим крики. Оказалось — два командира не сошлись мнениями насчет войны. Шамов доказывал, что война начата зря. Оголенные авантюристы из верхов нас посылают на убой. Иванов — на дыбы. «Мы, — говорит, — оба служим его императорскому величеству, и ты не смеешь при мне так выражаться. Вон с моего корабля!» Смотрю — рвет с груди моего командира медаль и, словно ожурок, швыряет ее за борт. Что тут стало с Шамовым — передать невозможно. От злости его всего передернуло, он стиснул зубы и затрясся. И в ту же секунду туша Иванова отшатнулась от увесистой затрепичины. Началась форменная драка. Наш командир, не помня себя, завопил: «Француз! Бей и ты Иванова!» Что делать? Схватил я своего командира в скапку и скорее на вельбот. Иванов выхватил револьвер и хотел стрелять. Но боцман Урупа обезоружил его, за что получил несколько оплеух. Направляемся мы на вельботе к своему миноносцу. Шамов успокоился и говорит мне: «Скажи, француз, почему ты не исполнил моего приказа и не бил Иванова?» Я ответил: «Не мог этого сде-

лать, ваше высокоблагородие. Я обладаю большой силой и мог бы с одного удара убить человека. И тогда мне пропадать за него?». Шамов подумал и сказал: «Ты вполне прав, француз. Убить его следовало бы, но таскать из-за него цепи на каторге, — не стоит он того». Впоследствии оба командира помирились и опять бывали друг у друга в гостях.

Матросы «Бодрого», посмеявшись, упрекнули Фомина:

— Разок-другой надо бы трахнуть Иванова. Конечно, не до смерти, а так себе, чтобы искры посыпались у него из глаз, как от динамомашинны. В суматохе он все равно не заметил бы, от кого получил подарок.

Не успев кончить Фомина, как начал рассказывать минный квартирмейстер Бугорков:

— Тут упомянули о динамомашине. Я вспомнил один случай. Спрашивает адмирал Рождественский у одного минного машиниста, какой он губернии? А тот привык иметь дело с электричеством, возьми. да и ответь ему: «Пензенской, ваше электричество». Рассвирепел Рождественский — и давай кулаком по темени вразумлять минного машиниста: «Я, — говорит, — тебе не динамомашиниста, а адмирал флота его императорского величества. Запомни раз навсегда: меня величают ваше превосходительство, а не электричество».

Некоторые матросы коротали вынужденный досуг на заблудившемся судне воспоминаниями детства, проведенного в далеких глухих деревнях среди лесов и степей родины, рассказывали о тех своих близких, которые сейчас томятся разлукой с ними.

Иногда машинист Котов появлялся на верхней палубе с гармошкой. Окруженный матросами, он умело наигрывал на ней, а кочегар Попов подпевал ему. Оба они получали за это по лишнему стакану пресной воды. Высокий тенор Попова залихватски извивался на верхах, напевно вплетаясь в игру гармоник. Боль и удаль звучали в трогательной мелодии, разгонявшей черные мысли матросов о грозящей смерти. Одиноким корабль, покачиваясь в непроглядном

тумане, на время как будто оживал, и тогда всем казалось, что, в сущности, не все еще потеряно, — жизнь продолжается. Солист команды, кочегар Попов, был рослый парень, пропорционально сложен, с правильными чертами лица, обрамленного кудрявой бородкой. Зная много песен, грустных и веселых, он всегда пел их без-устали, с подъемом. Матросы отзывались о нем восторженно:

— Сам красив, а поет в два раза красивее.

— Запой такой человек весной в тенистом саду — что это будет? Замолчат все соловьи. Будут слушать только Попова.

Гнетущей тяжестью давили на сердце недавние впечатления Цусимского боя. Но люди, словно сговорившись между собою, старались не вспоминать о нем, как о скверном случае в их жизни. Теперь офицеров и команду больше всего занимал Шанхай, куда все стремились скорее попасть. Невидимый и далекий, он рисовался в воображении необыкновенным городом. Недаром моряки всех стран называют его азиатским Парижем. В кают-компаниях каждый делился тем, что знал о нем. Но этот город контрастов, город ослепительной роскоши и классической нищеты, мало кого интересовал своим социальным или политическим лицом. Голод и жажда заставили офицеров все разговоры свести на ресторанные темы — чем там кормят? Собеседники, с блестящими глазами фанатиков еды, изоощрялись друг перед другом в перечислении изысканных блюд и тонких напитков. Меню воображаемых пиршеств в рассказах заканчивалось феерическими сладостями Востока и Запада — тортами, петифурами, мороженым, тропическими фруктами, черным кофе с душистыми ликерами мировых марок. Можно было подумать, что здесь собрались не офицеры, а гастрономы или официанты и наперебой читают ресторанный прейскурант, расхваливая перед кем-то кушанья и вина.

— Довольно растравлять самих себя тем, чего у нас нет под руками! — взмолился, наконец, мичман Зубов, на ранах которого повязки не менялись со дня боя, — не было чистой марли.

Некоторые попробовали перевести разговор на другую тему. Но желудок не переставал напоминать о себе. Слышший на корабле за чревоугодника командир Иванов, хватаясь за живот, первый вернулся к прерванной беседе:

— Добраться бы до Шанхая! Заберусь в самый лучший ресторан и два дня не выйду.

Он подмигнул офицерам и добавил:

— Потом уже займемся и экзотикой. Я слышал, что в этом современном Бавилоне найдешь все, что хочет восточная и западная душа.

Один из молодых собеседников, корчась от желудочной пустоты, прошептал:

— Давно мне хотелось попасть в волнующую Азию.

— Один бы только стакан зеленого чая! Больше ничего не надо! — не удержавшись, высказал свое заветное желание и мичман Зубов.

Из угла кто-то перебил:

— В Шанхае можно найти фрукты и ягоды всего мира, от брусники до ананасов. И даже есть какой-то особый сказочный фрукт, «драконов глаз», с ароматом розы. Вот бы отведать!

— К чорту «драконов глаз»! Сейчас я бы, не поморщась, с'ел китайское крысиное рагу или лепешки из саранчи, — раздался тоскующий голос.

И опять все начинали смаковать разные выдуманные яства и напитки. От таких разговоров еще больше разгорались голод и жажда. Лица некоторых судорожно передергивались от схваток в пустых желудках. Слушая других, один из мичманов бережливо прикладывался иссохшими губами к стакану, отхлебывая из него по несколько капель живительного чая. Вдруг он испуганно ахнул, и в тот же момент раздался звенящий треск. Все оглянулись. Мичман, бледный и потрясенный, молча стоял и смотрел себе под ноги, где по шалубе разлился чай и валялись осколки стекла. Все догадались, что он сам, волнуясь и жестикулируя, нечаянно столкнул со стола свою полдневную порцию чая.

О том же, но по-своему рассуждали и матросы. Но их вкусовые фантазии были проще и естественнее. Властно

прорывались у некоторых мечты о покупке любви.

— Будь у нас уголь, то через каких-нибудь три часа мы уже пришвартовались бы к трактирным столикам.

— А там — что твоей душеньке угодно.

— Распотешились бы так, что вся жизнь показалась бы сплошной каруселью.

С каждым днем затянувшегося дрейфа Шанхай все больше овладевал мыслями офицеров и команды и манил их к себе, как Мекка правоверных мусульман.

Но корабль, то бросая якорь, то крутясь под самодельными парусами, слишком медленно подвигался к цели их желаний.

Из кают-компании доносилась в тишине фраза, распеваемая то одним, то другим голосом:

— Тонн бы двадцать — двадцать пять угля.

Эту фразу, также нараспев, начали повторять матросы. Потом они придумали к ней конец. Кто-нибудь из команды подавал возглас, подражая дьякону, читающему ектенью:

Тонн бы двадцать — двадцать пять угля.

Матросы хором подхватывали:

Господи, подай, приплывем в Шанхай.

Эти невразумительные слова, распеваемые на церковный мотив, стали навязчивыми и воспринимались надломленной психикой команды, как прилипчивая болезнь.

Команда «Бодрого» и перебравшиеся на него матросы с «Блестящего» первое время как бы слились с начальством в едином желании скорее попасть на твердую землю. Но по мере того, как рейс миноносца затягивался, между теми и другими начинался разрыв. С каждым днем он все углублялся. Матросы относились к офицерскому составу все враждебнее, выходили из повиновения. Иногда с их стороны раздавались угрозы. Начальство поняло, что все это может кончиться плохо, и распорядилось снести все винтовки в кают-компанию. А в ночь на 20 мая, когда «Бодрый»,

убрав паруса, стоял на якоре (глубина 18 сажень), и рядом ничего нельзя было разглядеть от тумана, командир Иванов призвал к себе минного квартирмейстера Сергея Руднева и ласково с ним заговорил:

— Вот в чем дело, голубчик. Нас неожиданно могут настичуть японцы. А я не отдам им своего миноносца. Лучше пусть он на воздух взлетит. Поэтому на всякий случай нужно приготовить миноносец к взрыву. Займись сейчас же этим делом. Проведи провода из патронного погреба в кают-компанию и приспособь мне кнопку. Как только покажется противник, я нажму на кнопку, чтобы исполнить наш последний долг. Ну, действуй.

— Есть, ваше высокоблагородие.

Руднев истолковал мотивы командира по-своему и, покончив с работой, рассказал по секрету об этом своему другу, трюмному квартирмейстеру Волкову.

— А теперь сообрази, для чего он это затеял, — добавил Руднев.

— Ну? — спросил Волков, сдерживая свое волнение.

— Боятся офицеры, а больше всего сам командир, что мы их за борт выбросим. А японцы тут вовсе не при чем. Да разве такой трусливый командир будет взрывать свое судно? Но ведь и я не лыком шит. Провода я провел и кнопку сделал, а ток соединить он все равно не сможет.

— Молодец, друг! — похвалил Волков. — Правильно сделал. И команда скажет тебе спасибо.

К утру 20 мая туман исчез, как мутный сон. Заголубело безоблачное небо, расширился горизонт. Морская поверхность, по которой сверкающей рябью рассыпался легкий ветер, стала похожа на синий шелк, расшитый золотом солнечных бликов. Безбрежный простор наполнился блеском ослепительных красок. Появились чайки, обрадовав невольных скитальцев вестью о близости земли. Но «Бодрый», укачивая команду, попрежнему находился в своем жутком дрейфе. Ничего не изменилось к лучшему. От недостатка пищи и пресной воды, от бессонных ночей и горьких дум люди похудели, стали вялыми, словно вне-

запно пришла к ним дряхлая старость. И все же они не переставали провалившимися глазами следить за горизонтом.

— Смотрите! Смотрите! Что это такое? — не то радостно, не то тревожно выкрикнул один из матросов, показывая рукой в сияющую даль.

Головы людей сразу повернулись по направлению руки. Выкрики повторились другими на разные голоса. На горизонте, приближаясь, вырастали два белых бездымных пятна. Проходили напрядженные минуты, высказывались всевозможные предположения, пока ясно, как на акварели, не увидели надутые паруса. Это были две китайских джонки. Подгоняемые легким ветром, они, казалось, держали курс прямо на миноносец, неся истстрадавшимся морякам избавление. Но вскоре с тревогой заметили, что джонки идут мимо. На «Бодром» подняли сигнал бедствия. С палубы, с прот-мачты, с мостика матросы взмахами рук и фуражек старались позвать их к себе, а они не обращали на это внимания. Кто-то громко проговорил:

— Манза... Манза...

И тогда все матросы и офицеры, не исключая и самого командира, подхватили это слово и хоть не понимали, что оно значит, но как можно громче выкрикивали его на все лады. Это было похоже на разноголосый вопль горя и отчаяния, как будто в эту минуту у каждого человека на миноносце отнимали жизнь. Но джонки на сигнал и крики никак не отзывались. Командор Смолин обратился к командиру с просьбой:

— Разрешите, ваше высокоблагородие, спустить вельбот. Мы сейчас же одну джонку захватим на дрова. Раз они не хотят помочь нам по чести, то и нам нечего с ними церемониться.

Командир Иванов сказал:

— Мы не пираты. Нельзя этого делать. Скорее бить рынду!

Учащенно и тревожно зазвонил судовой колокол. Пропремели два холодных выстрела из кормовой пушки. Не помогло и это. Джонки, удаляясь на восток, медленно скрылись в просторе моря.

На «Бодром» уgomонились, но не

надолго. В небольшие промежутки времени один за другим показались еще два парусника. Но и они, несмотря на сигналы, крик и холодные выстрелы с застывшего на якоре миноносца, не приблизились к нему и без ответа ушли своим путем. Русский андреевский флаг, очевидно, устрашал китайцев.

В предыдущие дни для камбуза, чтобы приготовить обед, жгли изоляцию кочегарных переборок от нагревания и сдирали щепу с обшивки бортов. Но теперь и это подобралось. Матросы взяли из кают-компании три стула и передали их коку Назарову.

— Жги! А завтра офицерский диван пойдет на топку.

В полдень, взяв солнечную высоту, определили свое место в море — до маяка «Шавейшан» осталось 65 миль. Потребуется около десяти благоприятных дней, чтобы преодолеть, пользуясь только приливным течением, такое пространство. За это время многие из команды будут выброшены за борт. Но может разразиться такая встречная буря, под напором которой миноносец не удержится даже на двух якорях, — он будет отброшен от берега на несколько десятков миль. Тогда в лучшем случае, получив о нем сведения от китайцев, японцы разыщут его и возьмут в плен оставшуюся в живых часть команды, в худшем — мертвый корабль с мертвым экипажем будет долго носиться в морских просторах. Об этом теперь говорили матросы. Один из них сделал вывод:

— Как видно, без людоедства не обойтись.

— Да, по жребью будем есть друг друга, — мрачно добавил другой.

От этой страшной мысли, переглянувшись, матросы замолчали, и в зловещей тишине раздался громкий голос минера Осадченко:

— Зачем по жребью? С командира начнем! Через него мы все страдаем. Из всех офицеров он самый жирный. Его первого изрубим на котлеты.

— Правильно! — раздраженно отозвались другие голоса. — А дальше пойдет еще кое-кто без всякого жребия!

Командир Иванов, услышав это, побледнел и молча спустился в кают-компанию.

С этого дня решили выдавать пресной воды по одному стакану на человека.

К вечеру засвежел ветер, заходили волны. Миноносец, качаясь, скрежетал канатом и едва удерживался на якоре. Команда была в отчаянии. Офицеры, боясь нападения, заперлись в кают-компанию и перестали выходить на верхнюю палубу. Матросы были предоставлены самим себе и что хотели, то и делали. Одни из них по своей доброй воле следили за горизонтом, другие, точно чем-то отравленные, сонно сидели или валялись в помещениях, некоторые бесцельно, как лунатики, бродили по кораблю. Иногда кто-нибудь спрашивал:

— За что пропадаем?

Этого было достаточно, чтобы стегануть, словно бичом, по нервам команды. Начинался крик, сопровождаемый отъявленной руганью. Проклинали всех царей и богов, угрожали кают-компанию. Но на длительную ярость у истощенных людей нехватало энергии, — злоба спадла, и наступало затишье. И опять можно было услышать мирный, как в деревенской церкви, возглас:

Тонн бы двадцать — двадцать пять угля...

В ответ по-нищенски нудно тянули голоса:

Господи, подай, приплывем в Шанхай.

Говорили о пище и питье, как о чем-то недостижимом; стонали и бредили тяжело раненые.

Все это было настолько ненормально, как будто люди находились не на военном корабле, а на эстраде, и разыгрывали нелепый спектакль.

Боцман «Бодрого» заболел. Его место занял боцман с «Блестящего», Фомин, твердый и решительный человек. Он же выполнял роль и вахтенного начальника. Теперь все распоряжения по кораблю исходили только от Фомина. Он подбадривал людей, уговаривал их потерпеть еще сутки. Ночью, вступив на вахту, он без ведома командира приказал поднять на мачте два красных фанаря. Излучая красный свет, они броса-

ли в бурную тьму сигнал, что корабль терпит бедствие, они безмолвно зывали о помощи. Усиливался ветер, ревела ночь, вселяя в душу безнадежность. Море обдавало миноносец потоками шипящей воды. Но многие из матросов, не обращая внимания на это, не уходили с верхней палубы и, промокшие, всматривались во все стороны горизонта. Прохаживаясь по мостику, напрягал свое зрение и боцман Фомин. Под завывание ветра и всплески волн он думал о завтрашнем дне. Если погода успокоится, то он вместе с мичманом Ломаном или с мичманом Зубовым и пятью требцами отправится на вельботе в далекий и рискованный путь искать спасения для корабля и для самого себя. К отплытию у него уже были приготовлены бочка воды и мешок сухарей. Целый день он провозился над запайкой банок из-под парафина и прилаживанием их под сидения вельбота, чтобы этим увеличить его пловучесть.

А теперь Фомин чувствовал себя усталым. Чтобы сохранить силы для следующего дня, он в 10 часов сдал сную вахту минному квартирмейстеру Бугоркову, а сам здесь же, на мостике, завернувшись в брезент, улегся спать. Но не успел он сомкнуть глаза, как услышал знакомый голос:

— Вставай, Иван Абрамович! На горизонте — огонек!

Фомин быстро вскочил. Перед ним стоял Бугорков. Оба они пристально посмотрели вдаль, откуда приближался белый огонек. Увидели его и другие матросы и с радостью оповещали об этом друг друга. Бугорков, спустившись в кают-компанию, взбудоражил новостью офицеров. Командир Иванов, направляясь вслед за мичманами к мостику, боязливо оглядывался — не обман ли это со стороны матросов, замысливших его убить. Но когда увидел отличительные огни неизвестного судна (изумрудный и рубиновый), он взволнованно откашлялся, как артист, прочищающий свое горло. Все матросы, исключая тяжело раненых, заполнили верхнюю палубу. Слышался глухой говор. Из него можно было понять лишь одно — чей бы корабль ни приблизился

к «Бодрому», но наступает конец мучительной жизни. С мостика командир Иванов зычно командовал:

— Зарядить орудия! Приготовить минные аппараты! Пустить ракеты! Зажечь фальшфейеры!

Суматоха на палубе сопровождалась бестолковыми выкриками.

«Бодрый» сначала озарился фальшфейерами, а потом с него одна за другой взвились ракеты, пущенные комендором Ключегорским, — рассыпаясь искрами, они прорезали тьму, как две огненных змеи.

Во мраке выступали очертания приближающегося корабля. С миноносца, радуясь, разглядели небольшой коммерческий пароход. Оттуда кто-то в мегафон прокричал по-английски. Но из русских офицеров никто не знал английского языка. Ответили по-русски:

— Миноносец русский... Авария... Гибнем...

То же самое повторили по-французски. Но это не помогло. Переговоры шли впустую — люди не понимали друг друга. Что делать? Как скорее растолковать англичанам, что спасение людей «Бодрого» зависит только от них? Офицеры растерянно суетились на мостике и беспомощно хватались за головы, с палубы доносился ропот встревоженной команды. Все боялись, что англичане могут рассердиться и уйти.

В этот момент матросы вспомнили, что на миноносце находится спасенный с «Руси» рулевой, странный эстонец. В предыдущие дни, когда команда так волновалась, он один ни во что не вмешивался и держался особняком, совершенно спокойно, словно попал к себе домой. Пробовали с ним разговаривать, но он отмалчивался и невозмутимо разгуливал по палубе, как турист. От него узнали лишь одно, что до войны он много плавал на иностранных коммерческих судах. А такие моряки обычно говорят по-английски. Несколько чело-

век обратились к эстонцу. Предположения их оправдались. Он неторопливо поднялся на мостик и взял в руки мегафон. Офицеры и матросы, затаив дыхание, услышали непонятные слова, произнесенные эстонцем. С парохода что-то ответили ему. Он пояснил по-русски, обращаясь к командиру Иванову:

— Английский пароход «Квейлин». Идет в Шанхай. Спрашивает, в чем дело.

Командир приказал эстонцу:

— Спроси, может ли он снабдить нас углем? Скажи — у нас нет ни продуктов, ни пресной воды. Мы погибаем.

Волны мешали пароходу подойти ближе к «Бодрому», — они могли столкнуться. Эстонец стоял на мостике и, напрягая всю силу легких, старался перекрыть шум ветра и моря. С парохода «Квейлин» доносились только обрывки английских фраз. Разговор затянулся, нетерпение на миноносце усиливалось. Более ста человек окружили мостик, подняли головы вверх, вытянули шеи, ловили и произносили про себя каждое слово, хотя и не понимали его смысла. Случайно спасенный ими эстонец неожиданно превратился в героя и теперь выручал их из бедственного положения. Застыв на месте, все смотрели на него с такой надеждой, с какой подсудимые смотрят на своего защитника, и с нетерпением, с дрожью в сердце ждали решения своей участи. Наконец, он объявил, что пароход не может дать угля, но он станет поблизости на якорь, а завтра с рассветом возьмет «Бодрого» на буксир.

Заворочились офицеры и команда, закачали головами. На время забыли о голоде и жажде. Оживленным говором наполнилась палуба. Многие из команды подходили к эстонцу, жали ему руки, а он только молча улыбался на это и стремился скорее спуститься в нижние помещения.

Утром «Квейлин» взял «Бодрого» на буксир и потащил за собой.

Стихи об Армении

ТИЦИАН ТАБИДЗЕ

ПРОЛОГ

С лазурью неба в вечном споре
Севан, лазурью налитой.
Шахсей-вахсей ведет нагорье,
Укрывшись облачной чадрой.

Творя намаз в часы восхода,
Хребет читает Ал-Коран,
И мечет пращница-природа
На плоскогорье груды скал.

Бушуют воды, свирепея,
Но как поток себя ни тешь.
А в клинописной эпопее.
Все ж уцелеет Гильгамеш.

В ПРЕДГОРЬЯХ АРАРАТА

Зелень на склоны его не вернется,
Лавы поток их раздел и разул,
Рухнули в недра с дворцами
Звартноца
Ленинакан и глухой Зангезур.

Но не померкнуть эпохе весенней,
Ветер не будет, друзья, покорен
Ни завыванием землетрясений,
Ни всемогущей державой времен.

Только подумаю, что с Гильгамешем
Спит в этой впадине Ветхий Завет —
Сам я кажусь себе зябликом вешним,
Маленькой птичкой, поющей рассвет.

Словно могучие древние дэвы
Стерли скалистую эту межу,
И без помехи теперь из эдема
На белизну Алагеза гляжу.

Припоминая преданья былого
Под Араратом в венце облаков,
Веришь, что здесь было сказано
слово:
Ныне и присно, во веки веков.

Мир обветшалый потопом караем...
Вижу сколоченным новый ковчег...
Кто говорит, что под огненным краем
Я запеваю не встану вовек?

Может быть, был и грузинский
кедани ¹⁾
В стае ковчежных ручных голубей...
Но, о критическом помня Седане,
Рот зажимаю я песне своей.

Слышу в журнале я голос жестокий:
— Ты на опасной дороге, поэт.
Что перед стройкой седые пророки
И Гильгамеш твой и Ветхий Завет?—

Знаю, товарищ. Манили дашнаки
Песню румяную в мертвый уют...
Как же мне быть, если тайные знаки
Тысячелетия мне подают,

Если наш друг Эрзинкян Арамаис
Взорами — вылитый Сенахериб?
Но, и скользя, я опять поднимаюсь
И для сражений еще не погиб.

Дружен с «Эпическим утром»
Черенца,
Дружен с палитрой твоей, Мартирос ²⁾,
Часто у вашего солнца я грелся,
Хоть под грузинскими звездами рос.

¹⁾ Кедани — голубь.

²⁾ Мартирос Сарьян — народный художник Советской Армении.

Исаакьяновский клеток орлиный
Я перевел, полюбив, «Маари»¹⁾
И, под'езжая к Севану долиной,
Видел лучи небывалой зари.

И с горделивой гранитной осанкой
Сверху глядел на меня Арарат,
И повторяла ревушая Занга,
Что старине невозможен возврат.

КАМЕНЬ ГОВОРИТ

— Не циклопы ль мечут камни?
Не воскрес ли старый миф? —
Большевицкая кирка мне
Говорит, скалу сломив.

Сила взрыва — грозовая,
Горы он разворотил,
И, обвалы вызывая,
Кряжем шествует тротил.

Не затем горняк ярится,
Диабазы раскалив,
Чтобы в'ехали в столицу
Сераскир или калиф.

Не Гаруну-аль-Рашиду
Воздвигается Багдад:
Время скорби пережито,
Отменен былой адат.

Предводители стихии,
Укротители ее,
Рушим своды вековые,
Изменяя бытие.

И в пустыню из пробоин,
Беспокойством обуян,
Плещешь каменным прибоем
Ты, архейский океан.

И коммуна ходит в виде
Молодого горняка
И, насквозь враждебных видя,
Победит наверняка.

Саади гранитной песни,
Роз Ширази не пою,
Посвящаю серой пемзе
Песню новую свою.

И для века молодого,
Славя мощный диорит,
Написал я ныне снова¹⁾
Песню «Камень говорит».

ЗДРАВИЦА

«Отгремела битва,
Эривань сдается,
И бежит, покинув
Цитадель, сардар,

И пирует войско,
Славя полководца
И победоносный
Штыковой удар» —

Так в былом столетьи,
Радуюсь грофею,
Начал Орбельяни²⁾
«Здравицу» свою...
Песнь перенимаю
На второй строфе я
И ее потомству
Заново пою.

Пусть на время смолкло
Это плоскогорье,
Пусть была войсками
Эривань взята —
Люди безуспешно
Штурмовали горе,
И страной владели
Смерть и нищета.

В мрачном том ущельи,
Словно на погосте,
Часто попадалась
Прошлого зола,
Долго там встречали
Черепи и кости,
И непогребенных
Беженцев тела.

Был в тот век суровый
Брату брат враждебным,
Шла меж племенами
Месть из рода в род,

¹⁾ Намек на одноименный памфлет Ильи Чавчавадзе: «Вопиющие камни», против армянских националистов.

²⁾ Григорий Орбелиани — грузинский поэт начала XIX ст., автор поэмы «Здравица».

¹⁾ «Абул-Али-Маари» — поэма Исаакьяна.

И Аракс угрюмый
С галькою и щепнем
Нес к востоку слезы
Брошенных сирот.

Проклинали люди
Черный день, в который
Родились от злого
Семени отцов.
Враг разил в долинах,
А седые горы
Добивали вьюгой
Бледных беглецов.

Все смолкало снова,
Только пасть гниеня
Щелкала зубами,
Жадностью горя,
И народ в землянки
Скрылся от гоненья,
Что казалось травлей
Дикого зверья.

Встало над страной
Зарево большое,
Хищники ревели,
И Карабекир,
Вор и поджигатель,
Названный пашою,
Пыткой и насильем
Титул свой купил.

Жгли и разрушали
Не одни лишь турки.
Предавал и родич:
Деверь, зять и тесть;
И тесниной кралось
Преступленье в бурже,
С братскою улыбкой
Подходила месть.

Но явился Ленин,
И прямой, и мудрый,
И с тех пор мы братьям
Мщеньем не грозим,
И стоит горою
Армянин — за курда,
Курд — за армянина
И за всех — грузин.

Мы, страна, не брали
Неприступных Карсов,
Но стоят за нами
Лучшие дела.

Не кичимся кровью
Сумасшедших барсов, —
С лучшей — львиной — кровью
Нас ты родила.

Многих проходимцев
Мы побили карты,
И не провести им
Больше никого,
И любой ребенок,
Встав у школьной парты,
Назовет причину
Распри вековой.

Там, где войско русских
Крепость осаждало,
Где Григорий пел им
«Здравицу» свою,
Я стою с друзьями
У дворца сардара
И стране иную
«Здравицу» пою.

Это не былая
«Здравица» поэта
С чоканьем бокалов,
С переменной блюд,
Это — марш печали,
Это — горечь, это —
Всем погибшим братьям
Песенный салют.

Слышен пионерских
Барабанов рокот,
И сердцам поэтов
Этот голос мил.
Дом у нас единый
И одна дорога,
И в горах Кавказа
Поселился мир.

Вечно не проснутся
Ханы Эривани,
Как Ираклий-Тапа¹⁾,
Как преданья бред...
Так пускай же грянет
Песня ликования
И на песню горя
Ляжет, как запрет!

Да цветут Советы!
Я провозглашаю

¹⁾ Гора Ираклия, близ Эривани

Здравицу за новый
Светоч и за то,
Чтоб от нас узнала
Смена молодая
Обо всем, что в прошлом
Здесь пережито.

Те, кто жил нечастной
Закавказской ночью,
Не влагавшей шапки
Никогда в ножны,
Те, кто годы мрака
Видели воочью, —
Те об этом миру
Рассказать должны,

Чтобы даже лирик
Пламенного края
Все сердца надеждок
Яркою зажег.
Песня утешает,
Бодрость порождая,
Даже если трубят
Маленький рожок.

ПОЕЗДКА НА АЛАГЕЗ

Не столь уж далек
Маяк моих скитаний,
Белеющий во мгле
Папахою бараньей,
Которому поклон
Я с севера привез,
Но не привык грузин
Кидать края родные,
И я дорогою
Кривой бреду впервые
С арбой случайною
На древний Алагез.

Поет аробщик мой:
— На Алагез поеду
И привезу я соль
Хрустальную к обеду.
Мать поцелую я,
И сына, и жену...

По воле радуешь,
По воле и печалишь
Ты, песенной руды
Неведомая залежь,
Тревожа пропастей
Отвесных тишину.

И чудится душе,
Что вновь воскресло счастье
Открылись небеса,
Рассечены на части,
И в сердце с высоты
Вонзились сотни стрел.
И звуки песни той
Меня расшевелили,
Как будто тысячей
Вано Сараджишвили¹⁾
Мрак, наполняющий
Расселины, запел.
Умолк аробщик мой,
Перед ярмом бредущий.
Блестит внизу волна
И путь на Вавилон,
Чей пир отбушевал,
И вижу я вдали
Закат лучей кровавых,
Уже хладеющий
На медных моуравах,²⁾
Что цепью длинною
Идут за перевал.

И вновь мне чудится,
Что буйволом с упряжкой,
Скучая и томясь
О кладь самой тяжкой,
На светлый Алагез
Поэзии всхожу...
Так дай же мне, страна,
Порадоваться ноше
И с безразличного
Житейского подножья
Подняться к самому
Большому мятежу!

Перевел с грузинского
Борис Брик.

¹⁾ Знаменитый грузинский певец.
²⁾ Статуи древних полководцев.

Пятая армия

Книга первая

МОСКВА 1918 ГОДА

Роман

РАИСА АЗАРХ

(Продолжение ¹)

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

I

Июльский вечер был тих и прозрачен — ни дыма фабричных труб, ни грохота транспорта, ни многотысячных потоков толпы. Москва была похожа на обычный провинциальный городок Средней России.

Сойдя с полупустого трамвая у Таганки, Марина указала Вимбе на пучок травы, буйно пробивавшейся из-под камня мостовой. Они не сказали друг другу ни слова, но каждый из них понял, что это — прозный сигнал запустения.

У Совета омытые недавним дождем тополя тоже глядели по-загородному. Только у штаба формирования рабочих полков и у районного комитета партии стояли патрули, район же выглядел обычно и мирно.

Первыми, кого они увидели в Совете, была группа незнакомых людей в коридоре. Это оказались делегаты Съезда Советов; они радовались, что попали в рабочий район. По Совету суетился Пятницын. Получив телефонограмму Ленина, он уже дал всей организации приказ готовиться, собирать рабочих, направлять вооруженные отряды в Совет.

Только сейчас Лерс почувствовала, какой богатейший опыт они накопили за это время — с октябрьских дней. Без сутолоки, без суматохи каждый занимал свое, отлично им проверенное место, будь то в руководящей пятерке, в организационном аппарате, или в боевом отряде.

Скоро стали подходить вооруженные. Ближайшие заводы наладили связь; выключенные телефоны были заменены людьми, и роль связистов выполняла молодежь, районные комсомольцы, радовавшиеся возможности быть полезными.

В небольшой комнатке против лестницы был развернут штаб. Делегатам отвели комнату рядом; там было поставлено несколько больших столов — на случай, если товарищам придется здесь переночевать. С гостями обращались бережно и почтительно. Пожалуй, они были единственными, не сумевшими сразу найти своего места. Чужой район, новая организация, незнакомые люди. Ни Лерс, ни Вимба, ни Пятницын не могли дать им, как гости того хотели, боевое, опасное задание по той простой причине, что противника в районе не было и вся мобилизация сил была только подготовкой.

Больше всех волновался товарищ лет тридцати, среднего роста, в форменной

¹ См. «Новый Мир», кн. кн. 5, 6 и 7 с. г.

фуражке, с зеленым околышем и двумя молоточками спереди. Лерс заметила его сразу: так непривычно было присутствие инженера или техника в рядах борющегося пролетариата в те дни.

Обладатель фуражки с зеленым околышем, подойдя к Лерс, снисходительно наблюдал, как она вместе с Лагофетом намечала разграничительные линии района, пункты возможного появления неприятеля, и тут же давала распоряжения, куда и сколько отправить вооруженных, которые уже шли и шли к Совету. Фонари во дворе освещали притекающие отряды, и часам к одиннадцати вечера двор превратился в вооруженный лагерь.

Человек в фуражке иронически улыбался, слушая, как Лерс отдавала распоряжение о том, чтобы заняты оборонительную линию до Язузы; до получения соответствующего приказа вперед не соваться; выслать крепкие отряды с пулеметами к Земляному валу и Андрониевскому монастырю; сосредоточить силы у рынков и базаров; охранять подступы к Совету...

— А людей вы тоже здесь намечаете? — спросил ее обладатель фуражки с молоточками.

Марина подняла на него спокойные и сосредоточенные глаза.

— Моя фамилия Абельман, я председатель Ковровского совета Иваново-Вознесенской губернии. Это крупный рабочий район. У себя дома я такой же хозяин и руководитель, как вы здесь.

Ему хотелось сказать, что он — лучший руководитель, потому что он считал руководство, которое видел здесь, недостаточно быстрым и гибким.

Лерс сдержала невольную улыбку:

— Что же делать, товарищ. Ведь восстание эсеров произошло в Москве, а не в Коврове...

— Я хочу, — перебил ее Абельман, не проявляя никакой почтительности к районному руководству, — я требую, чтобы вы меня немедленно использовали. Не сидеть же нам, сложа руки, когда все товарищи под ружьем! Пошлите меня в разведку, в наряд, если не доверяете командованиям...

— Но ведь вы не знаете района. Как

в случае стычек, — а крупные бои вряд ли будут на нашей территории, — сможете вы маневрировать, не зная ни людей, ни улиц? Нет, дорогой товарищ, мы вас используем по назначению, как представителя верховного органа страны, как делегата Съезда. Когда рассветает, вы поедете на заводы и расскажете рабочим о предательском мятеже...

— Говорить вы не хуже нас умеете. Мы присланы сюда воевать, защищать Советы, — возразил Абельман.

— Но поглядите сами, от кого здесь, в районе, вам защищать Советы? Вы в самой гуще рабочих масс, уже ставших под ружье. — И Марина указала на запруженный людьми двор.

— Тогда надо идти на выручку в центр, — продолжал настаивать Абельман.

— Когда это понадобится, нас позвут. У нас есть опыт Октября, и мы знаем, что надо не толкать друг друга в затылок, а ждать приказа от общего московского руководства. А пока — принять бой на своей территории.

— Когда вы получили такие указания?

— Мы одиннадцать дней дрались в Москве с юнкерами и имеем опыт борьбы, — вмешался в разговор Вимба.

Но Абельман не удовлетворился объяснениями и, недовольный, вернулся к своим товарищам, число которых к тому времени наполовину растаяло. Часть делегатов без особого разрешения взяла винтовки, сложенные в козлы посреди коридора, где рабочие вооружались, чтобы затем вклиниться в ряды патрулей и уйти в ночь. Оставшиеся делегаты, сидя на столах, тоже критиковали районное руководство. Один из них, в очках, в солдатской шинели, знающий Москву, рассказал товарищам, что главный рабочий центр не здесь, а в Симоновке, где крупнейшие заводы района.

— Почему же нас не посылают в Симоновку? — негодовали делегаты.

Они не знали, что Марина мысленно вся в Симоновке, но не может урвать и полчаса, чтобы попасть в рабочую слободу.

— Думаю, что сейчас можно уехать, —

сказал Вимба. — Я здесь с товарищами и сам справлюсь, а вы сумеете незаметно на месте всем распорядиться.

Они оба чего-то недоговаривали. Их тревогу не могли подметить не только посторонние товарищи, поминутно входившие и выходившие из штаба, но даже друзья из рогожского руководства.

Оставляя Вимбу на дежурстве, Марина ласково пожала ему руку, стараясь успокоить его и подбодрить.

2

На улицах, по которым шла машина, Лерс проверяла стоянки патрулей. В иных местах о наличии патрулей можно было только догадываться, так как они старались занять скрытые пункты. У Спасской заставы было тихо. Охраны не было.

«Неужели товарищи рогожцы по старой памяти считают это чужим, Симоновским районом?» — подумала Марина.

Спали и Крутицкие казармы.

«Пулеметчики связаны с Горловым. Как-то будет держаться он и все мои соседи?» — промелькнула у нее тревожная мысль.

Далеко обехали Пустую, чтобы не разбудить сонную улочку и, наверное, чуть дремлющую, как всегда поджидающую няньку. Лерс была совершенно спокойна за сына: «К утру эсеры, как испуганные бараны, разбегутся». Преодолимо хотелось взглянуть на спящего ребенка, — как он, подложив ручки под щеку, спит, тихо посапывая носиком...

У Окружной ветки еще лежали колья, опутанные проволокой, и глянцевиные гончарные трубы, — все материальное имущество октябрьских окопов.

— Окопы можно сразу восстановить, — заметил шофер. Оказалось, он был водителем одной из амовских машин, так прославившихся в Москве в октябрьские дни.

Ночь стояла безлунная, но светлая. Миром веяло от симоновских пороховых складов. Часовой спокойно ходил вдоль насыпи, фигура его была отличной мишенью...

«Надо, чтобы посты на таком важном участке были защищены», — подумала Марина.

У комиссариата, обнесенного оградой из плоских, окрашенных в зеленоватый цвет, дощечек с садиком внутри, тускло горел небольшой электрический фонарь. В школе, потом общежитии милиционеров, — в боевом штабе Октября было пустынно и темно.

«Хоть комиссар милиции своей, большевик, но, клички милиционеров Горлов, все пойдут за ним»... — Это сомнение больно прошло в Марине.

Показались деревянные, покосившиеся кабоки, с маленькими оконцами, домики. Лерс знала, что там, разметавшись по полу, на старом тряпье спят дети, а на деревянных скамьях — родители, в большинстве электрики рабочие. Марина отчетливо представляла, как в одно мгновение, по тревоге, загорятся здесь огоньки керосиновых лампочек, как жены начнут собирать мужей, а многие пойдут и вместе с мужьями.

Вот почта, аптека, — важные места в слободе, а напротив — глухой, с как бы замороженной белой стеной Симоновский монастырь.

— Нам куда, к «АМО» или к Электрическому? — тихо спросил шофер.

— К домику Семена Потаповича Смирнова, что у реки, за огородом.

— Что у лесенки? После дождя сейчас туда не проехать. Грязь, овраги...

— Я там была. Не знаю только, как ночью проберемся. Подъезжайте как можно ближе. Лучше, если нас никто не увидит...

По Симоновке ехали осторожно, тихо.

Дождь прошел с вечера, на огородах было вязко и мокро; у лесенки, ведущей к жилью Смирнова, стояли лужи.

Старик-сторож, который сдавал в наем амовцу свою хибарку, завидев автомобиль, негромко постучал в окно.

— Семен Потапович, а, Семен Потапович.

За окном молчали. Ирина Ивановна проснулась первая и напряженно ждала.

— Семен Потапович, — опять раздалось у окна, вставайте, да поскорее. Какая-то барыня вас спрашивает.

Марина стояла в стороне от старика. Но, увидев выглянувшую Ирину Ивановну, она смело подошла к окну, в котором уже показались усы самого Семена Потаповича.

— Пошлите-ка Ирину Ивановну к Ефимцеву, к его «дворцу» никак не проедешь, — сказала Марина просто, как будто ночное появление над рекой было ее обычным занятием.

— Зачем Ирину Ивановну? Петрунька мыгом смахает да по дороге забежит к Зыкову, Быкову, Карандееву. У меня он нычего не боится, даром, что ночью...

Через несколько минут по огородам мчалась фигура в белом. Это и был Ефимцев, секретарь заводского комитета «АМО», на котором Семен Потапович исполнял обязанности директора. Ефимцев держал брюки в правой руке и никак не мог решить, где же их удобнее надеть. На виду у смирновской хибарки он остановился, оглянулся: слева неслась тень, за ней вторая, третья...

— Мобилизационный аппарат работает без перебоев, — дружески встретил Семен Потапович уже приведших себя в полный порядок и аккуратно оправалявших пряжки поясов.

Все отошли вглубь маленькой площадки, к сторожевой будке. Марина, к величайшей гордости Семена Потаповича, пригласила и Ирину Ивановну. Петрунька остался в доме занимать сторожа.

Сообщение Лерс было принято сдержанно, только у Ефимцева задержалась нижняя губа. Ему казалось, что хулиган пришел и зубилом сбил тончайшие нарезы на шайбах, над которыми он, токарь по металлу, так долго и напряженно трудился.

— В четыре часа дня случилось, а мы в два ночи узнаем. Да нас голыми руками взять могли — обиделся Карандеев.

— Бывают такие положения, когда лучше не спешить, — отвечала Марина и, нежно поглядев на друзей, добавила: — давайте, товарищи, условимся — не волноваться. Где склад оружия?

Все ахнули от неожиданности. Растерянно, наперебой сообща выяснили, что совсем недавно последние два ящика винтовок были свезены на Прессовый.

«Централизовали снабжение оружием, как добивались эсеры».

— В каком положении заводы? Как с охраной? — спрашивала Марина.

— Могу сказать твердо: на заводе тишина. Вчера был праздник, никто на работу не пришел. Мы их, эсеров, все-таки с прицела не снимаем, хоть и дали маху, за что должны ответить перед партией.

— Об ответственности, товарищ Смирнов, после. Все отвечаем, — сказала Марина. — Сейчас вопрос о том, как спасти оружие, как мобилизовать Симоновку. Нельзя поднимать тревогу, пока у них все оружие. Его нужно взять без столкновения, умно взять. Сейчас надо решить, куда вывезти: в Совет, или оставить здесь, в надежном месте. Вы как думаете, Семен Потапович?

— Вывозить в район опасно. Мало ли что по дороге случиться может. Мы эту операцию сами здесь отлично делаем...

— Я думаю, вам куда показываться не стоит. Мы пришлем надежный отряд, эсеры и ахнуть не успеют, как оружие будет за воротами. Вы здесь всех соберете, подготовите... Так и решим, — сказала Марина.

Спускалась она вниз одна, чтобы не привлекать ничьего внимания. Выхав, оглянулась: в одиночку, обычным шагом, как на утреннюю работу, амовцы подходили к деревянным воротам Автомобильного завода.

3

На Большой Алексеевской было оживленно. У Таганки старший по охране, остановив автомобиль, рапортовал о полном спокойствии в районе, о том, что посты протянулись до Яузского моста и заняли правый берег Москва-реки.

Автомобиль шел мимо больших групп вооруженных людей, с которыми Лерс здоровалась на-ходу. У военного комиссариата она задержалась. Ей хотелось посоветоваться с Мойсеевым и вместе отобрать надежных, крепких людей, которых не знали в Симоновке и которые могли бы там сойти за посторонних.

Отряд подбирали долго и осторожно. Каждому хотелось попасть в серьезную

операцию, где требовались храбрость и ловкость.

Наконец, сорок человек с различных предприятий района были отобраны. Труднее было найти руководителя: выдающихся товарищей знали в лицо по всему району.

В эту минуту в комнату штаба уверенно вошел обладатель фуражки с молоточками. Его смуглое продолговатое лицо было оживленно и радостно. От счастливых, попавших в четыре десятка, которые уже грузились во дворе, он узнал о предстоящей поездке и надеялся, что у членов штаба хватит благородства самим предложить ему эту почетную обязанность.

«Чем плохой руководитель? Делегат Съезда, хорошо разбирается в обстановке, — подумала Лерс. Но тотчас сама себе ответила: — Нет, он не знает района, не проверен в боях». В основном же (она не хотела даже себе в этом сознаться) все дело заключалось в том, что у Абельмана был заметный еврейский акцент, и при столкновении это могло бы стать предлогом к антисемитской агитации.

— Ну, чем плохой руководитель? Делегат Съезда, председатель Совета рабочего района, отлично умеет обращаться с оружием! Прямо и назначим его начальником отряда, — как бы угадав ее мысли, сказал Моисеев.

— Товарищ Абельман нужен здесь, — возразила Лерс. — Сейчас поедem по заводам и фабрикам, соберем митинги и обо всем расскажем рабочим. Это самая почетная роль для делегата Съезда.

Абельман глядел на нее почти с ненавистью, — «опять эта женщина!» — и, стараясь сдержать негодование, ответил:

— Для почта возьмите кого-нибудь другого. Решайте, буду ли я полезен и нужен там. Меня-то ведь никто в лицо не знает. А об остальном можете не беспокоиться. Ораторствовать же сумеете и без меня, — с'язвил он по адресу Марины.

Она улыбнулась, но продолжала настаивать на своем.

Отряд между тем уже сидел в пятитонной грузовой машине и торопил шофера.

Лерс не хотелось обижать порывистого Абельмана, несомненно отличного боевого руководителя, ей уже успели донести о его ночной умелой разведке в районе Курского вокзала.

— Ладно, поезжайте, только будьте осторожны, — сказала, наконец, она. — Охране заявите, что вы чиновник интендантских складов, тогда и инженерство ваше пригодится. Но за воротами завода командование сразу передайте Семеду Потаповичу Смирнову... И, пожалуйста, — уже просяще закончила она, — пожалуйста, не суйтесь вперед.

Но этих слов Абельман уже не слышал, так как машина тронулась.

«Как бы поступил Сергей? — думала Марина, разговаривая с вооруженными рабочими, подходившими к Совету. — Послал бы? Нет, не послал. Он тверже меня».

В комнате президиума на Лерс со всех сторон посыпались вопросы по поводу продовольствия, и в эту же минуту, сутулясь, в двери показался Николай Орлов.

Представителем Московского совета он уехал с первым продовольственным отрядом, повез крестьянам мануфактуру, железо, гвозди, галантерею. Отведенный ему район Воронежской губернии не был затронут кулацкой агитацией, их приняли хорошо, товарам были очень рады.

— Два эшелона зерна и вагон мяса! — ответил он на немой вопрос Лерс.

Она крепко пожала руку Орлову и заботливо его оглядела:

— Устал? А на вид ничего, посвежел даже.

— Подкормился маленько, — сконфузился Орлов. — Серьезное восстание? — тревожно спросил он, когда в комнате осталось только трое: он, Лерс и Пятницын.

— Трудно определить. Эсеры всю ночь не проявляли инициативы, хотя у них преимущество вероломства и концентрации. Мы стягиваем части, но, повидимому, в соприкосновение с врагом не вступили. Это по донесению разведчиков. Ну, а в районе сам видел... — И Марина показала в окно.

— Сейчас митинги начнем, — гордо добавил Пятницын. — Я думаю, товарищи, надо будет объявить о продоволь-

ствии и для поднятия настроения оба эшелона в районе оставить.

— Может быть, один все же центру отдать? Такая минута, — нерешительно предложила Марина.

Орлов знал, чего стоил каждый пуд хлеба. Уезжая из отряда, он обещал немедленно по приезде раздать семьям оставшихся товарищей отчисления от их пайков. Он видел перед собой голодных ребят — своих собственных и детей других рабочих, но, не задумываясь, просто сказал:

— Мы с Курского вокзала оба эшелона переправили на Николаевский.. уполномоченный Наркомпрода даже и не просил. Я с остальными товарищами посоветовался.. мы сами предложили.

Марина пристально глядела в окно, как будто увидела что-нибудь диковинное. Орлов вряд ли понял бы ее, если бы она не сдержалась и здесь же на людях вдруг обняла его..

— Марина Михайловна, — заглянул в дверь районный врач, делая ей какие-то знаки.

Уже много врачей, поняв бесполезность и подлость саботажа, работало с советской властью. Выделились и наиболее преданные. В эту ночь никто не посылал за доктором Шабаром, — он сам на рассвете, заслышав о тревоге, пришел в Совет. Его встретили с полным доверием. Он послал за нужными людьми и быстро организовал перевязочный пункт и санитарные летучки по отдельным отрядам.

— Нянька явилась с сыном. Наверху в лазарете сидит, вас требует, — сказал врач.

— Сейчас иду. Займите ее как-нибудь, но ни о чем не спрашивайте. У меня с ней особый разговор.

Она закончила беседу с Пятницыным и Орловым, выслушала еще несколько донесений и, стараясь казаться веселой и безмятежной, поднялась наверх.

Посреди комнаты на столе, среди ваты и бинтов, в белом фланелевом чепчике и таком же платице сидел ее малыш. Он чувствовал себя, повидимому, отлично и с интересом разглядывал не-

привычную обстановку. Завидев мать, он что-то залопотал и настойчиво потянулся к ней ручонками.

Подле него стояла нянька, очевидно, уставшая, так как ораторствовала уже давно. Она на мгновение затихла, а потом с новой силой обрушилась на Марину:

— Воюете! Доправились-таки! Какое вам пришел. Не буду с вами погибать. Забирай своего сына... — И она неожиданно заголосила. — Маленький.. Как же я тебя брошу?.. Али сердце у меня косматое?

Марина знала, что Аннушке нужно дать выговориться и что плачет она от бессилия и горя.

— Что ты, Аннушка, — сказала Марина, когда нянька замолкла, — кто нас свергнуть может? Ну-ка, покажи неприятеля. Ведь это только так, маневры, подготовка на всякий случай.

— А лазарет почему открыли?

— Так на маневрах полагается. Лазарет-то ты видишь, а вот раненых найди.

— Тебя разве переговоришь! — Крестьянка недоверчиво оглянулась вокруг. — Так, значит, маневры? Вроде занятий? Еще держитесь? А я-то все глаза проплакала, чуть утра дождалась... Ксюша, старшая горничная, — уже наставительно пояснила она посторонним, — мимо шмыгнула и так промежду прочим говорит: «Полетели большевики». Дома сейчас все в церковь собираются, благодарственный служить.

— А соседи? — внешне спокойно спросила Лерс.

— Никого нет, тоже, видать, на маневрах.

— А ты, няня, как сюда шла?

Из только-что полученных донесений Марина знала, что на Таганке и Спасской появились подозрительные субъекты, шмыгают в очередях, собирают группы.

— Нашей дорогой, через проходные ворота, сквозным переулком, прямо к Совету.

— Так ты этой же дорогой и обратно отправляйся.

— Без тебя домой итти? — забеспокоилась нянька. — Может, я тут подо-

жду... Что мне дома делать, — уже просительно обратилась она к Марине.

— Сегодня мое ночное дежурство, а кормить мне его к двенадцати часам. Ты молоко по бутылочкам разлей. — Это был акт величайшего доверия, так как Марина всегда сама занималась кормлением сына. Она, действительно, была уверена, что к 12 часам вся операция с эсерами будет закончена.

Аннушку это окончательно успокоило. К ней сразу вернулась утерянная уверенность и, увидев Орлова, она уже самоуверенно протянула ему руку со словами:

— Вернулся? Хорошо, что на маневру поспел. Видала твоих ребят, совсем обглодали. И нашу подкорми. Глянь, какая.

Марина видела, как Аннушка деловито прошла двор, задержалась у пулеметов, на-ходу сорвала лист с тополя и дала его играть ребенку, затем перешла дорогу и скрылась в Товарищеском переулке.

5

— Гром, а небо ясное, — выглянув в окно, сказал Орлов.

— Над городом опять что-то грохнуло.

Во дворе все стояли, запрокинув головы и напряженно всматриваясь в небо. Несколько человек мгновенно взобрались на крышу.

— Бьют из шестидюймовки, — сообщил Лагофет, глядя в бинокль. — Разрывы в районе Красной площади...

Новая оглушительная очередь... одна... две...

Канонада стихла.

— Похоже, ответили наши из района Страстной, — с облегчением сообщили наблюдатели.

Было 5 часов 30 минут утра.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Лидак прошел молчаливую Красную площадь. Вдоль Кремлевской стены на парашете, за зубцами, через одинаковые промежутки стояли часовые. Выходы на улицы Китай-города и спуск к Замоскворечью тоже были заняты.

Старший по караулу у Спасских ворот внимательно проверил подпись на путевке, спросил у Лидака партийный билет и сразу оживился, узнав, что от симоновских рабочих к латышским стрелкам пришел делегатом большевик-латыш. По случаю Съезда Лидак надел свое довоенное пальто и шляпу, в которых до эвакуации щеголял по Риге, конечно, в редкие свободные от тюрьмы дни. Латышские рабочие одевались по-европейски, а Лидак был модельщиком высокого разряда.

Очутившись в Кремле, он на минуту задумался. Задачи свои он уяснял себе смутно. «Прежде всего надо с людьми на производстве познакомиться», — и он решил обойти караульных, которых видел еще в площади.

Поднявшись на стену, он хозяйским глазом осмотрел открывшиеся перед ним купола церквей, дымящиеся кое-где трубы, крыши домов, приземистые строения Замоскворечья, уже окутанного вечерней дымкой, и гряду холмов на горизонте, образующую как бы естественное укрепление города. Он искал за рекой свои заводы, и ему казалось, что он видит водонапорную станцию Электрического и бараки Автомобильного в прогалине Тюфелевой рощи. На западе тянулись парки Нескучного сада, переходящие, все повышаясь, в Воробьевы горы. Было еще совсем светло, девять часов июльского вечера.

Вдруг он увидел, что впереди него твердой, неспешной походкой идет человек в штатском. Что-то знакомое и близкое было во всей его фигуре, в манере держать голову, в стремительной походке.

«Ленин», — еще не узнав хорошенько, сразу почувствовал Лидак и остановился в нерешительности.

Ильич шел прямо к первому часовому. Красноармеец стоял вполборота и заметил вождя только тогда, когда тот подошел почти вплотную. Часовой вытянулся и застыл, только пальцы, сжимающие винтовку, чуть заметно дрожали.

— Здравствуй, товарищ, — услышал Лидак.

— Здравствуй, Владимир Ильич! — почтительно ответил часовой.

— Вы давно на карауле? — спросил Ленин.

— С восьми часов, со времени вечерней смены.

— Знаете, что в городе делается? — Ильич показал рукою вниз.

— Знаю, Владимир Ильич, у нас в шесть часов информация с подробным разъяснением была.

— Что вы об этом думаете? — чуть прищуривая правый глаз, продолжал Ленин.

— Думаю, карать изменников жестоко надо.

— Почему карать? — опять раздался вопрос.

— Карать потому, что они хотят Советскую республику втянуть в новую войну.

— А может быть, они честно думают, что воевать надо?

— Нас не интересует, что они думают, нам важно, чью они волю выполняют.

— Чью же волю? — не прекращались вопросы Ильича.

— Волю буржуазии, волю кулаков, волю держателей хлеба... Простите меня, Владимир Ильич, но я вчера ваш доклад слушал, моя рота занимала караул на сцене, я сбоку стоял, — доверчиво улыбаясь, сознался часовой.

— Так, так, хорошо, товарищ. Что же, по-вашему, надо предпринять сейчас?

Сдвинув повыше фуражку (закрывавшую по форме весь лоб), как будто она мешала ему обнаружить его оперативные дарования, латышский стрелок немного подумал и сказал:

— Надо, не давая врагу опомниться, окружить его с трех сторон.

— А если имеются четыре стороны? — улыбнулся Ильич.

— Два фланга и центр, в войне больше не бывает... Владимир Ильич, — и стрелок просительно посмотрел на Ленина, — пошлите нас, пожалуйста, в дело! Стоит на них хорошенько нажать, и они тотчас же разбегутся. Кто у них? Отряд Попова, черноморские матросы со старых калош, которые за всю войну ни одного боя хорошего не приняли...

— Вы, товарищ, противника недооце-

ниваете. Если они решились на выступление, значит, силы стянули, подготовились...

— Сколько бы у них сил ни было, разве они могут устоять против нас? — с запальчивостью отвечал стрелок. — Ведь главное — за что бьешься.

— А за что вы бьетесь? — опять, улыбаясь, сощурил глаз Ильич.

— За Советы, за рабочую власть, за мировую революцию, за новую жизнь. Я не только от себя говорю, все товарищи настроены так. Когда в наряд шли, только об этом и разговор был. Походатайствуйте, Владимир Ильич, чтобы нас поскорей в дело послали.

Так беседовали они, председатель Совета народных комиссаров и стрелок 1-го латышского полка, 5 июня 1918 г. на Кремлевской стене в Москве, над Красной площадью.

Ленин слушал, склонившись к стрелку. — Хорошо, товарищ, — ответил он, — я еще с вашими товарищами потолкую, и потом решим. — И, дружески приподняв кепи, он пошел к следующему посту.

Лидак решил, что ему после Ленина агитировать не пристало. Со всем нарядом в количестве тридцати пяти человек он познакомился через полчаса. Это был первый брошенный против эсеров отряд, с которым Лидак занимал почтамт.

В так называемой «зоне влияния» противника, — а это были Лубянка, Сретенские ворота, Чистые пруды, Покровские казармы, Трехсвятительские переулки, — эсеры легко захватили почтамт, прибегнув к своему излюбленному приему — провокации. Они арестовали проезжавшего мимо Подбельского и на его машине подехали к зданию на углу Мясницкой и Чистых прудов. Охрана, думая, что едет народный комиссар, немедленно пропустила в здание почтамта Карелина с группой вооруженных.

«Рыцари на час» немедленно же распорядились передать «всем, всем, всем» приказ: «Не доверять распоряжениям Совета народных комиссаров, ибо эти распоряжения и предписания вредны для правящей ныне партии левых эсе-

ров», и попытались вызвать к прямому проводу Муравьева, командовавшего Волжским фронтом против чехов. Но комиссар почтамта, телеграфист из Смольного, сделал вид, что всему подчиняется, сам сел за аппарат Бодо — выстукал приказ таким образом, что лента, вертясь холостым ходом, дальше Мясницкой не пошла. Провод, связывающий Москву с Симбирском, в часы хозяйничания эсеров на углу Мясницкой и Чистых прудов оказалась безнадежно испорченным. Однако, связь сразу наладилась, когда латышские части, курсантские взводы, штурмовые отряды и красногвардейские пикеты обложили здание и заняли его почти без боя. Первая прокламация «ныне правящей партии левых эсеров» так и не увидела света. Ленин знал, что означает связь в такой стране, как Россия, с ее многомиллионным населением и огромной территорией, и бросил к почтамту лучшие части.

Не менее плачевно кончились попытки захвата электрической станции; встреченные залпом рабочих, поповцы сразу же удалились.

2

Когда Грицевич добрался до Ходынки, все поле было занято выравнивающимися первым и вторым латышскими полками. Командиры обходили подразделения, стрелки хлопотали у орудий. Артиллерийский дивизион наскоро проверял свое имущество. Уход за орудиями был отличный, все хозяйство полков, до последней веревочки, было на образцовом учете.

Не в боевом порядке, а как на смотре, вышли латышские стрелки. Впереди — знаменосцы, командный состав. Командующий дивизией Дубельман, которому Ленин поручил разработку всей операции, шел в головной колонне.

Уже с Петроградского шоссе, все усиливаясь по мере приближения к Тверской заставе, стали прибывать рабочие пополнения; подходили красногвардейские отряды Пресни, Бутырского района. У Триумфальной арки, четко отбивая шаг, отдали честь латышским стрел-

кам и пошли почетными взводами на их флангах курсантские роты Первого и Второго училищ.

— Как научились ходить, — подумал Грицевич, — не то, что в Октябре, когда мы и винтовку держать не умели! — И он горделиво шагал за громыающим дивизионом.

На Страстной площади в полутьме (фонарей было мало, и горели они тускло) перестроились. Вышли вперед и потекли вниз по обе стороны бульвара части 2-го латышского полка. Бесперывно прибывали рабочие отряды, которые теперь текли уже снизу, со стороны Скобелевской площади. Подошли новые пополнения: две курсантских роты. За ними загрохотала артиллерия.

На Страстной остались 1-й и 3-й полки, занявшие позиции от памятника Пушкина вдоль всего Тверского бульвара. Площадь давала возможность маневрировать, и, в случае необходимости, было откуда разворачиваться. Здесь сходились основные русла улиц. Уже стягивались от Замоскворечья 7-й, 8-й и 9-й латышские полки с приданной им артиллерией. На Брянский и Александровский вокзалы, ввиду возможности прибытия с пограничной полосы подкрепления эсерам, были посланы сильные взводы смешанных войск. Рабочая кепка, курсантская шапочка, защитная фуражка латышских частей чередовались в каждой группе.

Грицевич шел с 1-м полком. Миновали Цветной бульвар, прошли «птичий торг» и двинулись в гору бесшумно, без огней. Бульвар слился в сплошную тьму, тени скрадывали просветы, ночь обтекала деревья, придавая им причудливые формы.

Приблизясь к Сретенским воротам, пошли походным маршем, выдвигая вперед разведывательные цепи. Было известно, что Лубянка занята эсерами, что Всероссийская чрезвычайная комиссия в их руках, — Александрович в этот день поставил в охрану отряд Попова, захватил пятьсот тысяч рублей денег и арестовал Лациса.

Боевая группа имела задание занять позиции у Мясницких ворот, выдвигаться к Чистым прудам и взять По-

кровские казармы, где эсерам удалось укрепиться. В Покровских казармах находились мобилизованные унтер-офицеры, в большинстве деревенское кулачье, с радостью выступившие против Советов. Материал был под-стать и целиком отвечал классовой сущности политической партии так называемых левых эсеров.

Эсерам удалось обмануть и финские отряды, которые размещались в большом угловом доме на Солянке. Они захватили Варварку, Варварские ворота, часть Зарядья, установили на церкви возле Высшего совета народного хозяйства несколько пулеметов. Пулеметы были и на Деловом дворе. Отсюда намечалось движение на Кремль. Это был третий пункт, против которого сосредотачивались крупные боевые силы Советов, имея ядром 4-й, 5-й и 6-й латышские полки.

Уже к 2 часам ночи, вместо предполагавшейся угрозы основным центрам — Кремлю и Съезду, вместо захвата главных нервов — вокзалов, почтамта, электрической станции, эсеры оказались в тесном, постепенно смыкавшемся кольце советских войск. Район влияния мятежников ограничивался неправильным треугольником с основанием по Китай-город, от Яузских ворот до Покровского бульвара с Покровскими казармами, с наискось идущей линией по Лубянской улице. Углы этого треугольника занимали основные группы вооруженных сил трудящихся, с пулеметами, артиллерией, бронемашинками.

За линией войск шла вторая линия огня — вооруженные рабочие районы, готовые выставить немедленно тысячи, десятки тысяч бойцов.

И всем руководил до деталей Владимир Ильич Ленин.

У Мясницких ворот боевую группу встретили отряды, занявшие почтамт. Немедленно устроили небольшой митинг. Грицевичу показался знакомым голос рабочего, выступившего перед латышскими стрелками и говорившего, к всеобщему удовольствию, на латышском языке. Он подошел ближе и сразу узнал Лидака.

— Ко мне только-что подошла какая-

то личность, — говорил амовец, стоя на зарядном ящике, — и спрашивает: «Это что? Красногвардейские отряды?» — Да, говорю, как видите. «Значит, только одни рабочие и остались, а латыши все к левым эсерам перешли!»

— А к нам, у Сретенки, женщина какая-то пристала, — вышел вперед молодой стрелок. — Идет рядом и так жалобно говорит: «Бедные товарищи латыши! Тяжела ваша участь! Отдали вашу Латвию в аннексию Германии! Теперь большевики распродают всю Россию! Русские это хорошо поняли, все перешли к левым эсерам, одни только латыши у большевиков остались!»

Оба рассказа были встречены дружным, веселым смехом.

Лидак обрадовался Грицевичу. Поговорив о районе, где все, видимо, судя по расположению наших частей, обстояло благополучно, они решили действовать вместе.

Видя, что командование медлит с обстрелом, хотя с наблюдательного пункта — с колокольни Ивановского монастыря, — как на ладони, виден был весь двор Покровских казарм с копошащимися на крыше пулеметчиками, симоновские друзья отправились для обследования улиц, прилегающих к Лубянке, 11, где помещалась ВЧК.

3

Они шли по Сретенке, как случайные прохожие. Улицы были безлюдны и молчаливы. Только у Сретенских ворот стояло несколько сбившихся в кучу вооруженных матросов.

— Пикетчики! — засмеялся Грицевич. — На миру и смерть красна, а в одиночку боязно.

Вдруг двое стоявших впереди матросов сорвались с места и побежали вниз по улице. За ними, не оглядываясь, пустились и остальные.

— Своя своих не познаша! — продолжал издеваться Грицевич, поняв причину поспешного отступления: сверху, от Сухаревских ворот, шел на средней скорости грузовик с вооруженными матросами.

К удивлению симоновцев, шофер от угла свернул в сторону, об'ехал бульвар и в'ехал в соседний переулок.

— Балтийцы! Отряд Полякова! Питерцы! — Лидак, волнуясь, схватил за руку артиллериста. — Бежим! Как-раз успеем к делу!

И они бросились следом за еще видевшимся автомобилем.

Это действительно были балтийские матросы Особого отряда Чрезвычайной комиссии. Накануне с полудня с сотней отборнейших товарищей начальник отряда, Поляков, отправился за город на операцию против бандитов, которые хозяйничали в пригородах. Вернувшись поутру и ничего не зная о случившемся, Поляков немедленно заснул, да так крепко, что его еле растолкал Визнер, несколько раз повторивший над его ухом: «Вставай скорей! Мирбах убит, Дзержинский арестован!»

Поляков открыл глаза и увидел, что в комнате, кроме Визнера, еще Басов, Владимиров, Шифринцев.

Все они подтвердили, что ВЧК захвачена, что видные товарищи в плену на Трехсвятительском и что эсеры об'явили себя властью, правящей партией.

Надо было действовать. И через несколько минут 35 человек матросов-большевиков, которые промелькнули мимо Лидака и Грицевича, остановились на углу Лубянки, 11. Усиленные патрули финнов на тротуаре приняли их за своих. Во дворе Поляков приказал матросам выстроиться для атаки, и с бомбами в руках отряд ворвался в караульное помещение. После рукопашной борьбы поповцы были разоружены. Не давая врагу опомниться, балтийцы ворвались в вестибюль, заняли проходы и с криками: «Руки вверх, сдавай оружие!», согнали поповцев, которых было в три раза больше, в боковую комнату, пригрозили им бомбами, установили пулеметы, закрыли выходы.

Ошеломленные люди жались друг к другу; некоторые вынимали маузеры и снимали предохранители с бомб.

— Кто сдается, отходи направо, кто не сдается, отходи налево! — гаркнул Поляков, и руки с оружием немедленно поднялись вверх.

В то время, когда Поляков очищал здание, расставляя своих, раздался звонок из Кремля. Поляков в полушутливой форме отрапортовал, что советская власть на Лубянке, 11, восстановлена. Не успел он закончить, как снизу закричали о том, что на броневиках подходит Попов.

Действительно, у главного под'езда стояли машины, в которых сидел новый, самозванный состав ВЧК. Приехавшие с недоумением расспрашивали о том, что случилось.

Поляков приказал запретить разоруженных, сошел вниз и деликатно осведомил прибывших, что советская власть продолжает существовать на Лубянке, 11, как и во всей стране, и что полномочия здесь вручены ему, Полякову, а если кем-нибудь это оспаривается, то он предлагает разрешить спор дуэлью и просит прибывших выделить своего представителя.

Поляков смутно слышал, что дуэль очень чтится буржуазией, что существует для дуэли правила: вымеряется место, выбираются секунданты, да и стреляет он метко, а тем временем подоспеют наши, он уже послал за подкреплением к Чистым прудам. Предложение было необычным. Эсеры стали сощещаться.

Артемьев, матрос с «Авроры», помощник Полякова по отряду, добродушно взяв начальника за плечи, отстранил его со словами: «Брось, брат, Ваньку вальть! К оружию, братва!» И через несколько минут новое руководство ВЧК было присоединено к поповцам, сидевшим под дулами пулеметов, в караульном помещении.

4

Грицевич и Лидак вернулись к Чистым прудам. Здесь шла лихорадочная подготовка к атаке, но артиллерийского обстрела еще не было.

— Верно, ждут, чтоб в одно время с попами службу начать, — шутили в цепях, которые все ближе и ближе продвигались к Покровским казармам.

Командование правильно рассчитало, что лобовая атака опромного здания, с крыши и из окон которого можно стре-

лять в упор, стоила бы многих жизней. Уже несколько раз начальник дивизиона хотел открыть огонь по казармам, но ему запрещали это делать.

— Я имею приказ Ленина открывать оружейный обстрел, как только части займут исходные позиции, — горячился у телефона начальник дивизии Дубельман. «И какой чорт надоумил их включиться в нашу сеть!» — ругался он про себя.

В провод, идущий от Ивановского монастыря, где помещалось командование, включился Склянский. Он-то и давал категорические приказы — артиллерийского огня не открывать. Операция, рассчитанная на стремительность, на молниеносность, затягивалась. Эсеры, занимавшие хорошие позиции, могли получить подкрепления со стороны воспрянувшей духом буржуазии и всякого городского отребья. На площадях появлялись все более и более наглые группы, откуда-то получившие оружие.

Ждать дальше было невозможно; это чувствовал каждый, кто находился среди частей, на улицах, в отрядах. Но Склянский, сидя в кабинете, продолжал ежеминутно телефонировать: «Как можно меньше жертв, избегайте кровопролития», — и на артиллерию был наложен строгий запрет.

Инициатива перешла к эсерам. Шесть шестидюймовок, стоявших в одном из дворов Трехсвятительского переулка, начали обстрел Кремля. Гром их гулко разнесся по притихшему городу.

Выстрелы слышали и на Большой Алексеевской. Стреляли по Кремлю.

Ответную канонаду по Покровским казармам, по Трехсвятительскому, канонаду в несколько очередей подряд, с облегчением услышали сотни тысяч московских рабочих, вся трудящаяся Москва. Но мало кто слышал иступленные добавления к этой канонаде, посланные по адресу Склянского и его шефа начальником латышской дивизии, всегда таким корректным тов. Дубельманом, мало кто слышал разноязычные крики красновардейцев — венгерцев, литовцев, латышей, бросившихся на Покров-

ские казармы, под меткий пулеметный и винтовочный унтер-офицерский огонь.

В 10 часов утра Покровские казармы были взяты. В упор Трехсвятительскому на руках подтянули орудия и били картечью. Не приняв боя, эсеры бежали беспорядочно, выбирая ближайший путь.

Грицевич стоял у орудия, когда с наблюдательной вышки передано было приказание прекратить огонь ввиду занятия нами Покровских казарм. Он тотчас же вспомнил о Козловском, poslanном туда для связи. «Уцелел ли он?» — подумал Грицевич, крупно шагая через Покровку.

Навстречу, с места боя, шел санитарный автомобиль. Пропуская артиллерию, машина остановилась. В окно выглянул человек с перевязанным глазом и неистово забарабанил в дверь. Через минуту человек выпрыгнул из автомобиля. Это был Козловский. На заботливый вопрос о том, тяжело ли он ранен, Козловский отвечал, что нет, пустяки, «дали прикладом по голове, но череп цел», и пошел в строю, радуясь своим после двенадцатичасового плена.

Обычно неразговорчивый, он подробно рассказал, что с ним за это время случилось.

— Прихожу прямо со С'езда, как мы с тобой расстались. У ворот — караул из матросов. — «Стой, куда? — «Служащий, к семье». — «Проходи, проходи», — и в зад легионки коленкой. Ну, думаю, сочтемся, братишки. Иду в казармы, — пусто, все во дворе слоняются. Попробовал за советскую власть говорить, так один мне в ответ: «А что мне твоя власть дала? Я в старой армии три георгия имел, все сняли...» Ну, думаю, моя апитация здесь не поможет. Походил, послушал. Под вечер митинг в большом зале собрался. Наши пришли. Комиссар городского района Шорычев уж как уговаривал: «Не поддавайтесь вражеской авантюре, слушайте своих командиров, что поставлены советской властью!» Эсеры говорили прямо курам на смех: «Мы, говорят, немецкого палача убили, а большевики нас за это расстреливать хотят». Из толпы кричат:

«Не гоже дело за немецкого палача русских людей обижать!» А эсеры дальше: «Кто против немецкого палача?» Тут я и крикнул: «Да ведь он же мертвый!» Рассердились, схватили за грудки и ну молотить! А эсеры все же добровольцев человек сорок набрали. Шорычев благополучно ушел. Уже потом ночью я слышал, что его домой пошли арестовывать. Вот тут, подле ворот, я и пролежал, — показал Козловский, когда они подошли к казармам, — а как они разбежались, выполз...

5

Когда стало известно, что эсеры бегут повсюду и что главные силы отступили по направлению к Рогожской заставе, приятели поспешили к себе в район.

У Яузского моста они задержались. Мост был хорошим прицелом, а по обоим берегам реки, за прикрытием домов, стояли наши и эсеровские патрули, еще не знавшие о полном разгроме в центре. По тем, кто показывался на мосту, открывали пальбу. Приятели решили перейти ниже, у электрической станции, но и там остановил их окрик — не подходить. Решили переправиться вброд, благо Яуза почти пересохла.

Когда они подползли к другому берегу, Козловский обратил внимание Грицевича на бугорок, где виднелась какая-то фигура.

— Пьяный, что ли? И на самом видном месте! Угодят в него наши или эсеры!

Когда они подползли близко, то увидели человека, который сидел, опустив голову, обхватив руками колени, и изредка покачивался из стороны в сторону, действительно, как пьяный. Снизу приятелям видны были только щегольские сапоги, потом они разглядели маузер через плечо и браунинг у пояса.

Козловский громко зашептал ему: — Товарищ, товарищ, слезай, скорее! Убьют тебя свои же!

— И пусть убьют! Только этого и жду, — ответил тот, не подымая головы.

— Иван Васильевич, — укоризненно сказал Грицевич, — в своем ли ты уме? Идем домой или в штаб! — Он сразу узнал Горлова.

Горлов тоже узнал симоновцев.

— Арестовывать пришли? Нет, живой не дамся, — закричал он, выхватив револьвер.

Грицевич потянул его за ногу, и Горлов, барахтаясь, скатился вниз. Артиллерист поднял уроненное оружие, бережно отряхнул его и, обращаясь к Горлову, добродушно сказал:

— У вас наверно горячка! Чего ради вы на берегу устроились? Что делается в районе? Где эсеры?

Горлов опять закрыл лицо руками:

— Не знаю! Ничего не знаю и ничего не понимаю! Революционеры против революционеров, рабочие против рабочих!

— Что вы мелете! — уже начал сердиться Грицевич. — Откуда у эсеров рабочие?

— А я буржуй, что ли? Ничего не понимаю! Вот вы, — он показал на левый берег, — и там они, — он сделал жест в сторону правого берега, — мне родные... С кем же мне и против кого? Пришел и лег между цепями. Решил: пусть какая-нибудь пуля меня прикончит. Все равно какая! Все родные!

Слезы катились по щекам Горлова.

Приятели помолчали.

— Зря ты, Иван Васильевич, так по-эсеровски, хлюпаешь! А еще рабочий! Идем домой, выпись, передохни. Если хочешь, так еще подумай. С нами пойдешь, как шел в Октябре! Другого пути нет рабочему.

Грицевичу жаль было Горлова. «Хороший человек, а вот эсеровщина попутала», — думал литовец.

Все трое пошли от реки боковыми улочками и вышли в район. Уже за мостом город выглядел по-иному. Было заметно движение; у ворот толпились любопытные; через два-три дома стояли патрули, с интересом опрашивающие, кто идет и откуда. На Пустой Грицевич и Козловский дружески простились с Горловым, который немного повеселел, и, наказав ему покуда не выходить, быстро направились в Совет.

В Совете расспросов было немного: всех взволновала отправка вооруженных отрядов вдогонку эсерам, по Владимирскому шоссе и к станции Москва-II, где, по донесениям самокатчика, были обнаружены их силы. Неожиданно району выпала честь добить взбесившегося мелкого буржуа. Усиленные наряды двинуты были на площади.

Приятели заметили, что в Совете все чего-то напряженно ждут. Заметили, что даже обычно сдержанная Лерс подбегает на шум каждой подехавшей машины. Нахмурившись, выслушала она сообщение запыхавшихся комсомольцев о том, что в районе Покровской заставы — огромная толпа народа. А прибежавший вслед доложил, что слышна перестрелка...

6

— Что случилось? — спросил у рванувшихся к окнам одноглазый Козловский.

Марина вихрем пронеслась мимо и через мгновение уже была во дворе, подле лежащего навзничь у самых ступенек окровавленного человека. Под изорванным платьем виднелось крепкое тело. Глубокая рана пересекала лицо.

— Семен Потапович! Семен Потапович, родной! — повторяла Марина, нежно глядя руку. Дрожащий Шабад уже впрыскивал раненому камфору. Второй врач перевязывал Смирнову голову.

Врачи работали с чудесной ловкостью и быстротой. Смирнов открыл глаза. Увидев Лерс, белое здание Совета, он понял, что добежал, что кругом свои, двинулся чуть заметно и вдруг вспомнил все:

— Там, у Покровской заставы... Они окружили, стреляют... Грузовик с оружием...

Он приподнялся было, потом упал, вновь вскочил и бросился к воротам.

Секунда, и все, кого можно было снять, уже мчались на вырубку к Покровской заставе, оставляя в караулах по одному, по два человека.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

На Прессовом заводе в нерабочий день оставались только сторожа да дежурный член заводского комитета, когда Абельман постучался у ворот, прося впустить машину с охраной, прибывшую из центральных военно-инженерных складов.

Дежурному он объяснил, что наступило время по-хозяйски все запасы свезти в одно место.

— Надо все пересмотреть, починить, ненужное выбросить в клам, — добавил он, когда мимо них, стоявших у открытого амбара, Ермилов с двумя товарищами, натужась, тащили пулемет (спокойные движения секретаря партийной ячейки таможни ничем не выдавали его волнения).

Вертя свою форменную фуражку с зеленым бархатным околышем и двумя молоточками посредине так, что эсер все время видел эмблему его инженерского звания, Абельман жаловался на тяжелую работу, к которой-де он, чиновник военного времени, не привык. Завкомовец знал, что оружие положено на время; не сегодня — завтра его, по словам Мухина, должны были забрать. Начальник был, несомненно, свой человек. Рабочие, приехавшие для погрузки и перевозки оружия, выглядели апатичными и ленивыми; часть из них лежала на дне грузовика и курила. «Ночные сторожа», — объяснил Абельман. Эсер просил их поторавливаться, так как ему надо было скоро уходить.

— Это барахло куда ставить? — спросил Радзивилов, загоразивая пулемет, в который он в амбаре уже успел вложить ленту.

— Между ящиками, чтобы не мешало, — небрежно ответил Абельман.

Все до единой винтовки было уложено в грузовик и тщательно замаскировано.

— Поехали, что ль? — сказал Абельман, когда на докот мотора как бы сами собой распахнулись ворота.

На глазах у оторопевшего эсера машина плавно выпорхнула со двора, а находившиеся на ней люди вскинули неизвестно откуда вынырнувшие синеватые стволы винтовок.

Эсер выглянул наружу. У проходной будки ходили вооруженные люди, несколько таких же вооруженных стояло вдоль забора и у ворот.

— Здравствуйте, — поклонился он знакомому (это был слесарь с «АМО»).

— Доброго здоровья, — ответил тот. — Дежурили?

— Пошабашил, домой иду.

— А вы не спешите! Погостуйте.

— Да вы что, на чужой завод в сторожа нанялись? — спросил совсем уже изумленный эсер.

— Нет, на своем хозяином стал, — отвечал аموвец. — Говорить мне что-то неохота, и вам не советую, — добавил вдруг он. — Вы вроде как под домашним арестом. Ступайте обратно!..

2

Машины шли полным ходом. Впереди — в роли разведки — на легковой ехали Смирнов, Карандеев, Белов и Зыков. На некотором расстоянии от нее шел грузовик, нагруженный доверху; люди сидели, свесив ноги. Сзади — санитарный автомобиль, — для связи и, если понадобится, для помощи.

По спокойным полупустынным улицам, через окружную ветку, миновав казармы, вехали на Крутицкий вал. Здесь уже чувствовалось оживление; к Спасской шло несколько человек, крича и показывая вперед руками. У заставы легковая машина замедлила ход; через площадь много народа бежало вверх, по скверу, мимо часов к Покровской заставе.

Смирнов оглянулся. Грузовик шел у бань, ровно, без боя, не привлекая внимания.

Чтобы не нарушить установленное расстояние между машинами, дали полный ход под гору и сразу очутились у Покровской заставы.

Ехать дальше было нельзя: огромная толпа преградила дорогу. На Семеновской было большое движение; беспорядочно, целыми толпами шли вооруженные, громыхали орудия, ржали кони.

Посреди широкой улицы, на перекрестке, был митинг. Оратор, стоя в экипаже, что-то громко кричал, но

слов нельзя было разобрать. В толпе на белой лошади разезжал человек, на груди его перекрещивались пулеметные ленты.

— Начальник милиции Рогожского района, — сказал Карандеев. — Я его по лошади сразу узнал.

— Кому же здесь быть, как не нашим, — ответил Смирнов. — Ну-ка, наддай, браток, поближе, — попросил он шофера, и они вехали в самую гущу толпы.

Верховой подлетел немедленно.

— Кто такие? — хрипло заорал он. — Вылезай! Куда едете!

— В Совет, — удивляясь, но все еще спокойно ответил Смирнов.

— В Совет? А, сукины дети! Большевистские комиссары! Замучили нас! Видите, братцы, как барствуют! На машине! Наша кровушка!

И не успели амовцы даже выхватить оружие, как лавина хорошо одетых людей, мальчиков в форменных фуражках, торговцев с заставы и визжащих женщин ринулась на поднявшегося Смирнова.

— Бей! Бей! — кричал сидящий на лошади.

— Товарищи! Товарищи! За что вы нас бьете? Ведь мы... свои... рабочие...

— Свои? Рабочие? — наклонился к Смирнову озверевший, с налившимися кровью глазами, с перекошенным лицом человек, — хозяин Спасских бань. — Рабочие, разорви вашу мать! Нароботали! — И он полоснул Семена Потаповича сапожным ножом по лицу.

Смирнов не слышал, как грянул залп, как бросилась врассыпную толпа, как вся масса вооруженных ринулась вниз. Когда он пришел в себя, кругом было пусто; только у сквера шла правильная стрельба. Он успел разглядеть остановившийся грузовик...

3

Отряд ехал бодрый, веселый от удачи, радуясь выглянувшему после дождика солнцу. Парило. Многие растегнули ворота рубак. Когда головная машина подошла к заставе, две других только подымались от сквера. И Абельман, и

Ефимцев, ехавший на положении его помощника, толпу и вооруженных приняли за своих.

На повороте у поворота грузовую машину застопорило. Абельман и несколько человек спрыгнули наземь. В этот момент послышались крик Смирнова и вой толпы. Ясно было — товарищи в беде.

— В ружье!.. Отряд, над толпой врассыпную—пли!—раздалась команда.

Толпа разорвалась, словно мыльный пузырь от сотрясения воздуха.

Но, став на автомобиле, Абельман видел, как вооруженные, сначала тоже разбежавшиеся, собираются вновь, выстраиваются, как сидящий на белой лошади принимает команду, и человек четыреста по другой стороне сквера начинают обходное движение на грузовик.

Отряд стоял сомкнутым кольцом. Радзивилов устояв на пулемет, но годен ли он — этого никто не знал. Несколько человек вместе с шофером возились у мотора. Машина пыхтела, цокала, но не шла.

Абельман решил разделить отряд. Часть людей осталась возле машины, чтобы под ее прикрытием стрелять до последнего. Другая часть и сам Абельман должны были, отвлекая внимание противника, делать вид, что бросают ненужный грузовик, как слишком видную мишень, отступить к стене (напротив была стена Покровского монастыря) и принять бой!

— Надо продержаться, — твердо сказал Ефимцев. — С Симоновки подоспеют. Наверно санитарка уже в слободе. Совет подаст помощь. Услышат стрельбу, все будут здесь.

И они, стреляя только по команде, стали отходить к стене. Поверх грузовика образовалась ружейная завеса. Били метко; видно было, как эсеры легли и поползли несколькими рядами.

— Идут на нас, надо отвести их подальше! — сказал Ермилов, который был тоже во второй группе.

— Далеко отходить нельзя, — возразил Абельман. — Стена — хорошее укрытие. Тем временем, может быть, заведут мотор.

Медленно отступая, они подошли к стене и залегли. Эсеры, не видя цели,

стреляли плохо. Перестрелка заметно слабела.

Из соседних ворот, из-за монастырской стены, из боковых улочек стали вылазить, сначала в одиночку, потом погуще, перепуганные стрельбой лавочники и всякий сброд. Видя, что рабочих горсточка, они заметно осмелели. Двое мальчишек подошли совсем близко. Их не тронули. Они отбежали назад, потоптались и сразу же обросли гроздью всякой базарной шпаны.

Разбежавшаяся толпа, пока еще нерешительно, с опаской, но начала приближаться. Видимо, кто-то руководил ее движением, потому что правое крыло стало заворачиваться, заслоняя собою ползущие цепи эсеров.

— Пугнуть бы кулачье, напирают сволочи! — сказал Ефимцев.

— По толпе не стрелять! — ответил строго Абельман.

Толпа приближалась все ближе и ближе; уже можно было различить отдельные лица.

— Граждане! — крикнул передний справа, в длинной рубашке, волосы в скобку, витой шнурок в опояску. — Гляньте! Вот крест святой, жид командует!

— Взаправду, жид! Глядите, православные! — истошным голосом завизжала какая-то монашка, тыча обеими руками в сторону Абельмана.

— Большевики, они, как есть, все жиды! Потому и мучают христиан голодом, душат православных заградилками! — кричали с другой стороны.

Толпа угрожающе напирала; отряд оказался стиснутым с трех сторон.

— Товарищ Абельман, разрешите пальнуть? — попросил юноша, с виду комсомолец.

— Поверх толпы нельзя, они теперь не испугаются. В толпу — ни в каком случае; видите, там женщины, дети!

И Абельман, посоветовавшись с Ефимцевым, отдал приказ выбираться и стрелять только по наступающим цепям.

Отряд чуть заметно стал отходить к грузовику.

— Бегут! Держи их, братцы! — опять закричал стриженный в скобку. — Жидка чернявого не пускайте!

Он попытался выскочить вперед, но под дулом винтовки Ефимцева снова зарылся в толпу.

— Отступайте быстрее, — сказал Абельман, но сам задержался.

— Вы что? — строго посмотрел на него Ефимцев и тоже остановился.

— Вперед! Вы мне ответите за оружие! Что же вы стали, чорт вас возьми?! — крикнул Абельман, видя, что Ефимцев сделал движение в его сторону.

— Мы вас не можем оставить одного. Продержимся еще несколько минут, — настойчиво сказал Ефимцев.

— Кто здесь командует, я или вы? — тихо, но внятно спросил Абельман. — Они играют на мне, разве вы не видите?.. Я их задержу... Отходите к автомобилю.

— Нет, — твердо сказал Ефимцев, — это не годится, идемте вместе...

— Толпа сомнет нас через минуту! Не рассуждайте! — последовал повелительный ответ.

Отряд, сделав шаг вперед, оглянулся. Абельман стоял впереди с винтовкой наперевес.

— Нет, я не могу! — вырвалось у Ефимцева.

— Ослушание в бою?! Неповиновение командиру?! Приказываю: отступайте! — сурово крикнул Абельман.

Раздалась частая трель заработавшего мотора. Отряд продолжал отходить шаг за шагом. С грузовика махали руками, кричали.

— Вперед! Передаю командование Ефимцеву. Я сейчас буду с вами, через минуту! — громко сказал вслед отряду Абельман.

Но клещи толпы сдвигались все ближе. Он поднял винтовку, взял на прицел. Толпа шарахнулась, разомкнулась. Слышно было, как работает мотор, как взвизгивают пули; неожиданно со стороны по верхам грузовика застрочил пулемет.

«Без меня не уйдут, успею», — думал Абельман и шел на толпу, зная, что не успеет, не может успеть.

— Полный ход! — звонко отдал он машине последнюю команду...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Они бежали переулками, пересекали проходные дворы. Марине казалось, что улицы несутся впереди, возвращаются обратно, липнут к ногам непроторными глыбами, что все стоит на месте. Семеновской не будет конца...

Но вот уже виден спуск улиц к Калитникам — хорошо знакомая дорога! Издали донесся неуловимый говор. Выстроено не было слышно. Неужели все кончено?

— Отряд, сто-о-й! — крикнул бежавший сбоку Моисеев.

Передние задерживались на углу, сдвинулись вместе, выстроились, подравнивали ногу и вышли на площадь.

Кругом было пусто; настороженно притихли дома, дворы, монастырь. Отдаленные звуки доносились только слева, со стороны Калитниковского кладбища.

— Эсеры отступают, оружие захватили! За мной, товарищи! — И, еле держась на ногах, с тюрбаном перевязок на голове, Семен Потапович ринулся в боковую улицу. За ним бросилось несколько человек.

— Разведать, донести! — приказал им вслед Моисеев.

Они стали медленно спускаться к скверу. И тут только увидели, что навстречу им, от Коллежско-Симоновского вала, затопив уже всю Спасскую заставу и растекаясь двумя молчаливыми потоками, идут рабочие колонны.

Вот первое звено задержалось. От него отделились женщины, подошли к самой стене, у поворота остановились, склонились к земле. По рукам быстро-быстро побежало знамя, одно, другое, свернулись и легли скорбно вниз.

— Кто? — спросила Лерс Ефимцева, который вытянулся у тела с примкнутой к ноге винтовкой.

— Делегат Сезда, — был ответ.

И вдруг она увидела фуражку, зеленый околыш в крови, два молоточка. Она бережно подняла ее и положила поверх знамени.

Рабочие все прибывали. Передние бросились вдогонку отступившим эсерам, а с Симоновки шли новые отряды. Задумчиво и строго останавливались у тела.

— Куда понесли Семена Потаповича? — медленно выговаривая слова, спросила Ирина Ивановна.

Она подошла в отряде изолировщиц. Рядом с ней, вскинув винтовки, шли Воинова и Орлова. Глаза женщин просили сказать правду, глаза женщин уверяли, что Ирине Ивановне можно и нужно здесь же сказать все.

— Вон куда его понесло, за эсерами бросился, — не к месту шутливо ответил Кузьмичев.

Ирина Ивановна, изолировщицы продолжали строго смотреть на Марину. Она кивнула головой и показала рукой в переулок.

Судорога свела лицо Ирины Ивановны. Но потом, как бы прогоняя собственную радость, лицо стало еще горестней...

— И у него, поди, дети остались! — так же мучительно сказала она.

И, опустившись наземь, припала к покрытому знаменами телу...

По Пустой улице шел хромо́й мальчик. Он, видимо, очень спешил: зачистит правой ногой, а левая отстает. Кругом было тихо. Шум, многолюдье, убитые, раненые (о которых, запыхавшись от радости, оповестили весь дом Ксюша и Кинашка) — все это было у заставы. Там же, по словам Ксюши и Кинашки, они видели и Лерс, свою личку.

Коле нужно было немедленно найти Марину. Он ничего не понимал. Белые, красные — до сих пор тут все для него было ясно. Белые — это он сам, его дом, Боря, Зимины, батюшка, все, у кого руки не замараны. Красные — это те, кто хотят их крови, потому и красные. Так объясняла мамаша. Но что происходит сейчас? В их дом пришли люди с винтовками, красные, и хотят арестовать квартиранта, что с пулеметчиками, тоже красного. Горлов заперся и прозит стрелять. И не боится! Надо позвать Марину!

Стена монастыря примыкала к Шляпниковскому саду. А вот и Лерс. Она наклонилась над чем-то, но Коля ее сразу узнал.

— Марина Михайловна! — позвал мальчик.

При звуке знакомого детского голоса Марина вздрогнула и оглянулась.

— Марина Михайловна, — продолжал, подходя, Коля, — Ивана Васильевича хотят... К Ивану Васильевичу пришли, а он угрожает стрелять. Не хочет арестовываться...

Вскочив с Ефимцевым на ходу в машину, — «почести павшему воздаст все человечество», — строго сказала она себе, — Лерс через несколько минут была уже на Пустой. Дом стоял белый, спокойный. Внизу никого не было. Двери в квартиру хозяев были плотно закрыты, наверху же все было нараспашку. По коридору ходили вооруженные.

Нянька, стоявшая у двери с ребенком на руках, завидев Марину, завопила:

— Лешаки!.. Непутевые!.. Друг на дружку!..

— Закрой двери, ступай к себе и не выходи, покуда я тебя не позову, — спокойно, но твердо сказала ей Лерс, и Аннушка сразу же покорно исчезла.

— С Гужона, товарищи? Кто начальник? Чье распоряжение? Подписал Емельянов? Он не знает симоновцев! Горлов — преданный человек, рабочий, против своей власти он не пойдет...

Марина говорила нарочито громко. Подъезжая к дому, она видела мелькнувшее в окне лицо Горлова, изнеможенное, осунувшееся, и знала, что сейчас он у двери напряженно слушает.

— Товарищ Ефимцев, ты Горлова знаешь и по Октябрю, и по заводу. Скажи товарищам, честный ли он рабочий, способен ли предать он рабочий класс? — обратилась Марина к Ефимцеву.

Ефимцев подошел к комнате Горлова и постучал:

— Иван Васильевич, открой, это я, Ефимцев, Кондрат Григорьевич.

Раздался шорох, но никто не откликнулся.

— Иван Васильевич, — продолжал Ефимцев, — выходи, бери винтовку,

идем драться... Они убили Семен Потаповича.

— Неправда! — крикнул голос за дверью.

Горлов знал Семена Потаповича, их станки были рядом. Смирнов провожал его на каторгу, помогал семье, был старшим советчиком, отцом.

Ефимцев стоял, прислонившись к косяку двери. За дверью слышалась какая-то возня. Там не то плакали, не то сморкались.

— Я не могу, чтобы меня, как врага, арестовали! Я не враг... У меня нет сил сдать боевое оружие! Я честно, в бою заслужил его. Пусть Лерс скажет.

Горлов, видимо, ждал, что ему ответит на это Лерс. Она ведь понимает боевую честь!

— Вы должны сейчас же, немедленно сдать оружие. В такую минуту мы не можем оставлять его в руках колеблющихся, — сухо, как чужому, ответила Марина.

— Теперь я колеблющийся, а как надо было власть брать, не спрашивали! — истерически крикнул Горлов за дверью. — Не сдам оружия! Ломайте двери, арестовывайте, встречу как следует!

Марина посоветовалась с товарищами.

— Теперь не сдаст. Пусть успокоится, — сказала она. — А двери ломать нельзя, он многих уложит, стреляет отлично. И ему нельзя отрезывать путей к нам, человек он ценный. Подождем, сам сдаст... Вы уходите, — шепнула она Ефимцеву и гужоновцам, — я здесь останусь и все улажу...

Так и случилось. Через полчаса Горлов, держа в руках карабин и несколько револьверов, вошел вместе с Колей в комнату Лерс. Она сидела на диване, у окна, и кормила сына. Ребенок сладко причмокивал губами. Струйка молока сбегала по его щеке.

Горлов бережно положил оружие на стол, разгладил ремни, поправил кобуры.

— Только вам его отдаю, потому, что знаю, вы не обманете, не обидите, — сказал он.

— Не мне сдаете, а моей партии, — ответила Марина. — А насчет обиды, — она передала ребенка няньке и протянула Горлову руку, — «Тит Титыч, кто тебя обидит?..»

Коля весело засмеялся.

Краснополянское шоссе

БОР. КОРНИЛОВ

I

ДОРОГА

Я в жизни не видывал этаких круч...
Ущельями,
лесом,
долиной
проходим путями распаренных туч,
несемса дорогой орлиной.
Отчаянный ветер сечет по лицу,
и бешено свищет движенье...
Ущелье Аштырь
и ущелье Ахцу —
тоска,
головокруженье.
Дорога опасна,
узка,
высока, —
и силы,
и смелости проба,
а где-то внизу
клокочет река —
о камни разбитая злоба.
А туча лилова,
а сбоку скала
качается зверем белесым,
местами плешива,
от солнца бела,
местами покрытая лесом.
Наверх не взобраться —
нехватит мне рук.
хоть камень ногтями царапай,
но в эту громадину
яростный бук
вцепился орлиною лапой.
Отвесно,
опасно,
голо,

бело,
покатая бы,
другая, —
все время держаться ему тяжело —
он плачет, изнемогая.
Но выше,
но дальше
грохочут мосты,
поют и шумят, пролетая,
вода
и самшитовые кусты,
и солнца струя золотая.
И вот над моей головою висит
оскаленной смерти виденьем
огромная «Господи, пронеси»,
скала, угрожая паденьем.
И я останавливаюсь под ней
в смятении,
с дрожью морозною —
мне страшно,
но ближе и лучше видней
ее — легендарную,
грозную.

II

СКАЛА «ПРОНЕСИ, ГОСПОДИ»

С печалью глубокой,
с одышкой,
с трудом
историю эту начну я,
как в камне отвесном,
от горя седом,
дорогу рубли вручную.
Висели на люльках,
вгрызаясь в гранит,
ступеньку ноге вырубая, —
под ними могила

ревет и гремит,
и манит,
и тьма голубая.
Срывались и падали —
смерть горяча,
секундою жизнь пролетела...
И долго ворчала вода, волоча
о камни разбитое тело.
Никто не поможет,
ничто не спасет,
и страшно,
и холодно им там —
и пляшет,
и к Черному морю несет
река сумасшедшая — Мзымта.
На место убитого
встанет другой, —
их много, голодных, на свете! —
за хлеба кусок,
за короткий покой,
за то, чтоб не плакали дети...
Судьба — до чего же не хороша...
Откуда они? Спроси их —
ответят вполголоса,
тяжко дыша:
с Украины,
из России...
Армяне и турки...
И все, как один,
различья искать не стану:
что этот старик —
с украинских равнин,
что этот —
из Дагестана.
И кто-то из них,
невеселый и злой,
придумал, как песню, такое —
высоко два лома,
под самой скалой,
вонзил разъяренной рукою.
Казалось, какая от этого статья?
Но сердце сдавила тоска мне,
что их никому, никогда не достать,
не вырвать,
не вынуть из камня.
Навеки застрявшие в белой скале
(сегодня их доля иная),
о счастья, о ненависти на земле,
о славе напоминая,

орудие только бессмертных людей —
о нем наша песня любая,
которому верь
и которым владей,
дорогу себе прорубая.

III

А склон у горы
ледниками расшит —
внизу под горою
и бук, и самшит,
река прорычала медведем,
и где-то внизу пробегают леса,
и скоро, наверное, мы —
в полчаса —
до Красной Поляны доедем.
И облако в гору гремит, как прибой,
и песня со мной молодая —
мы бегаем,
воздух, такой голубой,
высокогорный глотая.
Звенящему солнцу
поем дифирамб,
и лесу, и морю, —
недаром
мы плаваем в море,
идем по горам,
покрытые синим загаром.
Пойдем,
мимоходом с тобой говоря,
что наши и лес,
и река,
и моря,
и горы до самой вершины,
что наши
на нашу планету права —
уверены, это не только слова! —
вовсе ненарушимы.
Но скоро стемнеет —
поедем домой,
не зная ни скорби,
ни горя,
обрызганы пылью смешной, водяной,
по берегу Черного моря.
И плавай,
и радуйся,
и хохочи,
и плечи твои загорели...

Мастера

Роман

Г. НИКИФОРОВ

(Продолжение ¹)

VIII

Турурок — сын кузнеца, и вообще у него вся родня ремесленная: дед плотник, дядя маляр, брат литейщик, и сам он, Митька, будущий токарь, но сейчас ему всего лишь пятнадцать лет, и он еще только мечтает быть блестящим (обязательно блестящим) мастером. Он готов претерпеть все, хотя в сердце его много обиды и совсем некому пожаловаться. Мать у него «блажная», соседи говорят — из-под угла мешочком ударена, зовут ее Прасковья Ниловна. Если ей скажешь что-нибудь этакое, вроде жалобы, она тут же примется причитать: «Ох уж, нет уж, наказал меня господь!» Митка Турурок молчит и мечтает, чтобы только утешиться. Мечтает он давно, с той поры, когда принес однажды брат Викул затрепанную книжицу, рыцарскую повесть: «Гуак, или непреборимая верность», чорт его знает кем сочиненную.

Митька долговяз и тощ, но у него большой задумчивости глаза; они часто останавливаются в одной точке и как бы замирают; тогда Турурок становится чуточку потерянным каким-то и не сразу откликается, когда его называют, а если и откликнется, то уж очень испуганно, будто спросонья: «А-а-а!» Над этим его испугом часто смеялись. «Ты что, или умом тронулся?» — спрашивали его,

и Митька мучительно краснел тогда, хотя ничего стыдного за собой не чувствовал, но стыду причина все-таки была. «Только не говорите об этом, ах, сделайте такую милость, не говорите!» Вот именно так и стал бы упрашивать Турурок проникшего в его тайну.

Было в коричневом домике том, где проживала семья Лепихиных, две комнаты, а через кухню, за большой русской печью, находилась еще коморка, совсем крошечная (три шага туда и обратно), в ней и помещался Турурок, в чудесном таком уединении, где стены, выбеленные вразмах мутным раствором извести, казались разрисованными совсем уж непостижимыми для простого ума разводами. Здесь-то вот и познакомился Митька с очарованием рыцарской повести и мечтаниями. Чтобы разбежаться в мечтаниях, достаточно было взять книгу, сесть у окна и, ухватившись за буквенную паутинку, в бездумьи и тотчас же заблудиться в неведомых краях.

«Среди сада находится на двадцати столбах из черного мрамора свод, которого выпуклость состояла из сандального и алоэвого дерева, между столбами была двойная решетка из чистого арабийского золота. Это прекраснейшее здание не что иное было, как клетка (Турурок закрыл глаза, чтобы лучше видеть клетку), наполненная множеством различных птичек, которые прекрасным своим пением улаждали слух...»

¹) См. «Новый мир», кн.кн. 6 и 7 с. г.

Во дворе действительно посвистывали птицы, но двор был пуст и обычен, как всегда. Прямо перед окном еле держался на столбах и как бы давно уже утомленных подпорках сарайчик. Упитанная свинка лежала в прохладной грязи под крылечком флигелька. На этом, глубоко знакомом пейзаже и следовало Митьке остановиться, чтобы, еще раз удостоверившись в неизменности окружающего, больше окружающим не интересоваться, но опытная и не словоохотливая житейская мудрость опаздывает всегда. Митька Турурок поднял глаза и увидел на крылечке Алевтину; сидя на приступке, она высвистывала что-то необычайно жалобное, а поодаль расположился, окружив себя клетками, птицелов Алфей; прибирая птиц, разговаривая с ними, он плакал обильными слезами впервые выпившего человека.

Над крышами флигелька стояло пустое и жаркое небо. Митька приоткрыл окно, — запахло помоями, проквашенной капустой и пылью.

Так близко и так хорошо видел Турурок Алевтину в первый раз. Он вышел в окно и примостился на завалинке. Освещенная солнцем Алевтина казалась необыкновенной. Рядом с крылечком топорщился криворукий тополек, единственная отрада всего двора. Алевтина перестала свистать, Алфей поспешно стер слезы.

Митька Турурок откинулся к стене, хотел показать: дескать, вышел на солнышко погреться, и никакого нет мне дела до того, что на дворе происходит. Глядел исподлобья и опять-таки мимо людей.

«Господи, хоть бы обернулась ко мне Алевтина!» — думал Турурок, чувствуя, как покалывает сердце и горит лицо. Думал и пугался, как бы действительно не произошло то, чего так хотелось ему. И сидел Митька, притаив дыхание, ибо мечта его была почти рядом с ним, стоило только подойти и прикоснуться к мечте; но прикосновение пугало его, как действие разрушающей силы. «А ежели она позовет?» — встрепетулся Турурок и вдруг почувствовал, как ослабели ноги, опустилось тело и отяжелела голова. Он обернулся и по-заячьи

прыгнул в комнату через окно и рыцарскую повесть рассыпал по полу.

Кто-то засмеялся весело и безобидно. — Вот это и есть сын ваш Дмитрий?.. Ну что ж, поднимайся, Дмитрий. — Человек поднял Митьку, чуть приподдержал за ворот, улыбнулся Прасковье Ниловне. — Ничего, ладный сын, и комната отличная. Разговаривать нечего: остаюсь, и кончено. Извольте получить три рубля, Прасковья Ниловна, вперед за месяц, мне все едино.

Митька, запрокинув лицо, поглядел вверх. Голова незнакомца едва не достигала потолка, вместительная такая голова: пышные волосы отброшены назад, просторная улыбка и веселые зубы. Подмышкой держал он футляр, точно детский гробик, через плечо перекинута была вместительная сумка.

— Чемерицын Леонтий, — назвал он себя, присаживаясь к окну. — Фу-ух, чорт подери, да у вас тут еще соседи.

— Птичник один, Алфеем зовут, — уведомила Прасковья Ниловна, — пропащая душа.

— Почему же пропащая?

— Ох уж, нет уж, говорить тошно, — заохала Прасковья, — наказал меня господь.

— Так, так, — улыбнулся Чемерицын. — Господь — он на то и придуман, чтобы наказывать. Что скажешь, Дмитрий? — Нагнулся, поднял с полу рассыпанную книжку. — Да уж так, Прасковья Ниловна, я убедился в этом.

Прасковья Ниловна сложила губы личком, отвернулась.

— Располагайтесь тут, — сказала и, повздыхав, ушла.

— Будем располагаться, — охотно согласился квартирант. — Да почему же и не расположиться? — Перелистал книгу. — Э-хе! Кто же это такую дрянь читает? «Гуак, или непреоборимая верность». Заманчиво, и даже весьма. Твоя? — спросил Митьку.

— Нет, — отрекся Турурок, покраснев. — Так валялась...

— Ужасно у меня левый сапог давит, — сообщил Чемерицын. — Значит, книжица не твоя? Ну, и очень замечательно, я ее и выброшу.

Высунулся в окно и замер.

— Это и есть, который Алфей с птицами, — поспешно объяснил Митька, — ну, только не пропащая душа. Мамка — она всегда так. А на крыльце Алевтина, злодейская любовь Полуденова.

— Чего ты бормочешь, Дмитрий? — обернулся Чемерицын. — «Злодейская любовь Полуденова!» Откуда ты знаешь?

— Я все знаю, — доложил Турурок, — на заводе говорили...

Чемерицын обнял Митьку, посадил на колени.

— Работаешь?

— Токарный ученик.

— И книжки читаешь?

— По воскресеньям.

Чемерицын задумался.

— Почему же только по воскресеньям?

— Некогда, — вздохнул Турурок, — целый день работаем, до самого поздна.

— На заводе Ланге?

— А то где же? — подивился Митька. — Вот он, завод-то, тут за трактором, через большак.

— Да, да, да. Так, так, так, — раздумчиво повторял Чемерицын. Спустил Митьку с колен на пол и начал, чудак, ходить из угла в угол по тесной митькиной клетушке, как будто находился во дворе, где можно без стеснения размахивать руками и не опасаться, что вот-вот стукнешься головой о потолок.

Чемерицын держался по-хозяйски, можно было подумать — от роду здесь и жил, а когда стал разуваться и произнес: «Э-э-хе-хе!», то уж совсем показался близким и окончательно своим. Потом этот человек развязал свою сумку и вытряхнул из нее кое-какое белье и книги, целую охапку книг. Разбирая все это, он раздумчиво, ни к кому не обращаясь, говорил:

— Хотел бы я знать, как эти люди живут? Завод, работа, семья, водка, церковь и... Хотя что же это я? Что же может быть еще? Другого не приходилось видеть. Как все-таки хитро обставлено: работа, кабак, церковь... — Обернулся к Митьке. — Правду говорю я? Ах, ты не знаешь? Ну, что же с тобой сделать! Когда-нибудь узнаешь.

Чемерицын собрал книги в стопку, по-

ложил около на стул, сам лег на койку, уперся босыми ногами в стену, так был длинен.

— Вот видишь, — сказал он Митьке, — я всем интересуюсь, хожу тридцать лет по земле и все время интересуюсь. Между прочим, ты мне очень нравишься. Может, мы с тобой и подружимся. Хочешь?

— Хочу, — отозвался Турурок.

— Тогда ходи сюда, — заговорщицки подмигнул Чемерицын. — Вот, держи книжицу! Дарю, брат. Помни тожаря Чемерицына. — И покуда помалкивай. Говорить потом будешь, я тебя научу, что говорить...

В присутствии Чемерицына Митька ощутил необыкновенную прочность своего существования, как будто до этого он болтался где-то, ненужный и лишний для всех, а сейчас вот осознал вдруг всю значительность своего пребывания на земле. По совести, Митьку никто за полного человека и не признавал. В семье был он на побегушках, на заводе считали его «околотышем» (каждый об него руки околачивал), так и шло, и все знали, и Митька тоже, что он еще не зацепился как следует в жизни, не успел сесть на шпонку. Раза два он собирался скрыться из дому и часто заглядывался на картину, купленную братом на базаре за привенник. Картина была веселая: игрушечный кораблик убежал в море, синее, точно остывающая сталь, и гладкое, будто шаберная плита. На яркозеленом берегу стояли женщины с белыми платочками в руках. «Должно быть, родственники», — думал Митька Турурок, втайне завидуя отплывающим.

Бегство не состоялось, хотя и попрощался Митька и с домом, и с городом, даже поплакал разок в своей клетушке; потом все прошло. К берегам Яузы не приставали корабли, а железная дорога проходила стороной, к стати Митьку отдали в ученье на завод, и сразу мечтания о бегстве исчезли. Он поднимался поутру со всеми вместе, его качало спронежья. Зимой завывала снежная метель, осенью хлестал холодный дождь, летом, чуть только проглядывало солнце, все равно до гудка нужно быть на ногах.

Он слушал, как по утрам побрякивал с похмелья отец и ругался, натягивая сапоги, брат Викул. Пахло в комнатах керосином и портянками. Всклоченная мать, придерживая локтем юбку, шлепала по кухне и все охала: «Ох уж, нет уж, наказал меня господь! Вот скоро ноги протяну, тогда узнаете». Это обещание Митька слышит очень давно, как себя помнит, и всё остается попрежнему: залитая оплесками кухня и тараканы по углам, картина с резвым корабликом (паруса засижены мухами) и пыльный за окном двор, где топорщился, всегда одинакового роста, все тот же криворукий тополек, скудное душевное утешение обитателей.

Митька Турурок принял из рук Чемерицына книгу, в чайнике отыскать в ней некое откровение, которое сразу изменит будничное течение его недополетней жизни, уныло прогудевшей, как ветер в самоварной трубе. Он почувствовал себя взрослым (раз с ним так обращаются), сел на подоконник, ближе к веселой голове Чемерицына. Спросил:

— Всю читать?

— Обязательно, — приказал квартирант, — от корки до корки. Или нет, погоди, — Чемерицын приподнялся, сел, свесив босые ноги. — Эх, не трянуть ли старинной! — Нагнулся, выволок брошенный в угол футляр, открыл, и в руках весельчака зазвенела гитара. — Ты только послушай, какие в книге песни есть...

Не гулял с кистенем я в дремучем лесу, —

запел Леонтий Чемерицын далеким, как бы оброненным за стеной, голосом, —

Не лежал я во рву в непроглядную ночь...

То ли для форсу, или, может, действительно от больших чувств, все крался и припадал голос, будто шапкой накрытый, и вдруг вымахнул, точно гулкое пламя из вагранки:

Я свой век загубил за девицу-красу,
За девицу-красу, за дворянскую дочь.

Митька даже откинулся и чуть было не вывалился через подоконник во двор.

Грудь певца развернулась во всю ширину, гитара наотлет:

Я в немецком саду работал по весне,
Вот однажды сгребая сучки да пою,
Глядь, хозяйская дочка стоит в стороне,
Смотрит в оба да слушает песню мою...

— Эх ты! Ну и водки под эту песню выпить можно — страсть сколько!

Викул, заслонив дверь, раскланялся.

— Доброго вам здоровья, родителям царство небесное! Полдня нынче сверхурочных оттяпал, угорел, как сурок, и хочу веселиться. — Подал руку Чемерицыну, примостился на подоконнике рядом с Митькой. — Давай работы — день мал. Приехал нынче сынок к нашему Генриху Иванычу, Яков, значит, Генрихович. Говорят, заграничные науки проходил, лоботряс во какой, голова с хорошей чугунок, и прямо к нам в литейную, понюхал, поморщился и ушел.

Викул был чуточку навеселе, но говорил совсем отчетливо, и немытое лицо его было свежо, особенно глаза. Сообщив новость о приезде сына Генриха Ланге, он, однако, в ту минуту и забыл о нем, а может быть, и вообще забыл, что хотел сказать, потому вдруг и оборвался так.

— Как это дальше, дальше-то как? — притронулся он к руке Чемерицына. — Ты пой, друг. Эх, до чего я люблю песню! Турурок, — рванул он Митьку, — беги за водчонкой... Ах, и выпьем же мы!

— ... И вот, значит, стою я и слушаю, и никто меня вроде и не видит, — пробормотал тусклым голоском за спиной Викула птицелов Алфей. — Господни чудеса в горлышке твоём, ваше степенство, — похвалил он певца. — Даже слеза прошибла.

— Ну вот, — отбросил гитару Чемерицын, — какие там, к чорту, господни чудеса! Что у вас за привычка такая? Просто благой мат, то есть голос вопиющий (он неистово захохотал), и больше ни чорта! Ты пролезай сюда, и хоть я не пью по-настоящему, но для первого знакомства отчего же.

Бросил Митьке рублевку и запел снова:

По торговым селам, по большим городам
Я недаром живал, огородник лихой.
Раскрасавиц-девиц посмотрелся я там,
А такой не видал, да и нету другой...

Алфей пролез в окно. Митька прика-
тил с водкой.

— А что ты, ваше степенство, ручкой
на меня махаешь, вроде ты начальство
и, значит, вроде я тебе всякие прият-
ные слова?

— Брось, дяденька, я насчет бога
махнул. Давай выпьем. Одну рюмочку
я могу.

— Ты погоди, пожалуйста, погоди!—
взволновался Алфей. — Рюмочка для
тебя что? Вроде блоха на чужом теле.
Тебя кружкой не споишь. Ах ты, господа!
Я про начальство с умыслом на-
мекнул.

— Выпей лучше, — предложил Ви-
кул, — выпей, божий птичник. Новое
начальство прибыло на завод.

Алфей выпил и уже совсем по-свой-
ски подошел к Чемерицыну.

— Хе, новое начальство! Хошь, я
тебе про начальство сказку расскажу.

— Уймись, Алфей, — посоветовал
Викул, — дело сурьезное: я работаю, и,
вроде, я же, выходит, разбойник, потому
за спиной у меня сто глаз, повеситься
можно.

Викул выпивает еще рюмку и сви-
репо произносит:

— Начальство! Послушай, Алфей,
божий птичник: начальство!

И Алфей смеется, как ребенок, обна-
жая красные десна, где уже нет зу-
бов.

— Я про начальство, про начальство
сказку имею. Только у меня вопрос
один к тебе, ваше степенство, — обра-
тился он к Чемерицыну: — Зачем ты
цел? Ты для Алевтины цел?

— Для Алевтины? — переспросил
Чемерицын. — Ах, да, действительно, я
цел для Алевтины. Это и есть твоя
дочь? Очень хорошо. Тогда ты король,
а я так просто так, прохожий. Я погля-
дел через забор и увидел ее, и действи-
тельно стал петь.

Чемерицын схватил гитару, такой ве-
сельый и помрачневший вдруг человек.

... Черноброва, статна, словно сахар, бела!
Стало жутко, я песни своей не допел.

А она — ничего, постояла, прошла,
Оглянулась: за ней, как шальной, я глядел.

— Ты ее с птичек рисовал, Алфей, и,
ей-богу, она не твоя дочь. Ты ее разгля-
ди как следует.

Чемерицын выпил по нечаянности еще
рюмку, ловко пододвинутую Викулом.
Он отшвырнул гитару, как уже не нуж-
ную ему в эту минуту.

Алфей вдруг отрезвел, и вся компания
неожиданно приумолкла. (Любили очень,
когда Алфей что-нибудь рассказывал.)

— Ко мне сказки сами идут, — улыб-
нулся Алфей. — Бывает, сижу с тайни-
ком, птиц ловлю, и вокруг меня одна
пустынная тишина, только птицы звинь-
кают. Мысли тогда сами по себе коло-
бродят, безо всякой помехи...

— Да ты прямо начинай, — понук-
нул Чемерицын птичника, — прямо без
заезда.

— Прямо так и будет, — ответил
Алфей, — про начальство. Было это,
когда еще люди по-простецки жили: ни
обмана тебе, ни услужения, и каждый
по своему душевному закону существо-
вал, так до окончания века будто бы
предписано в старинных книгах. Только
вдруг, во время грозы было, разверз-
лась земля, и выскочил оттуда Асмодей,
злой такой дух. Видит он, больно уж
люди попросту друг с другом обходятся,
а простота, известно, хуже воровства.
Притворился Асмодей сиротинкой не-
счастливым, прямо в душу к любому вле-
зет и все со слезой да с жалобой на
свою участь...

— Стоп, тормози давай! — нежи-
данно зашумел Викул. — Это я знаю,
об ком ты, такую сказку я сам расска-
жу: ты в Карпуху Полуденова ме-
тишь.

Викул заорал так оглушительно, что
все разом засмеялись, как бы радуясь
его счастливой догадке, не смеялся толь-
ко Чемерицын.

— Ты чего же, дядя? — обратился
он к Алфею. — Кто такой Карпуха?
Чего ты остановился?

— Угадал, прямо в самую точку по-
пал, — бесхитростно веселился птич-
ник. — Угадал, а вот конца-то сказки и
не знаешь.

IX

Конца Алфеевой сказки так и не услышали, сказка эта потом сама по себе раз'яснилась.

Утром, еще до гудка, забежал к Лепахину бригадир по установке лесопильных рам, Борбашев Сергей Лукич, волшебник-мастер, попросил у Ниловны огуречного рассолу, выпил с похмелья два ковшика и сразу почувствовался.

— Хм, вот черт! Где это я вчера надрызгался? — вслух удивлялся он. Улыбнулся всем сразу, потрепал себя за волосы. — Главная заковыка в том, что у меня кумовьев много. Недавно в Клину был, раму лесопильную с ребятами ставил. Пробираюсь этак улочкой, и вдруг, скажи на милость, шумит кто-то: «Эй, Лукич, обернись, я тебя поцелую!» Обернулся. Действительно, точно, кум Гаврюшка Фирмосов. Ах, черт! Ну и, конечно дело, урезали два полштофа.

Заметил Чемерицына, прищурился. Обратился к Ниловне.

— А ну, плесни, кума, еще рассолу.

Из каких глубин России пришел Борбашев, было неведомо, но стоило только показаться ему на заводе братьев Ланге, как все тотчас же узнали, что человек этот великолепный мастер своего дела и не менее великолепный пьяница. Высокий и худощавый, костылем нос, был он шумлив и подвижен, говорил на «о». После трех ковшиков огуречного рассола он уже мог разговаривать по-настоящему.

— Чей такой? — спросил он Чемерицына. — Не кума ли моего, Мирона Чемерицына, сын?.. Нет? Чудно даже. А похож, ей-господи, похож.

— Ты на работу пойдешь ли нынче, Лукич? — посмеялся Викул, отирая полотенцем лицо. — Давно тебя ждут. Новый хозяин приехал, анжинер, Яков Генрихович. Слыхал?

— Анжинер? Ты чего, смеешься? Или нарочно? Анжинер! Это, на заводе у Ланге — и, вот тебе и на, анжинер!

Как прекрасно и ужасно
Любить сердцем и душой. —

запел вдруг Борбашев. — Чорт с ними, с анжинерами! Мы сами себе анжинеры.

Глухо занял заводский гудок. Борбашев заторопился, как будто бы только и ждал гудка.

— Ну, вы чего же, «тютели-вятели», пошли-поехали!

— Очень уж ты ретив, дядя, — заметил Чемерицын.

— Э-э-хе! Не знаешь ты, ангелок мой, Сергея Борбашева: я люблю, когда около меня люди возьтятся.

На завод пришли во-время. Карпуха Полуменов, откинув полы пиджака, сунув руки в карманы, стоял у дверей проходной.

— Карпу Серафимычу наше нижайшее!

— Шагай, шагай...

— Другу честь-почтение! — подошел Семякин. — Дозираешь?

— Нельзя без этого, Капитон Иванович, на то и приставлен Дрижсом Иванычем...

Прищурился, заметив токаря Чемерицына.

— Откудава?

— Токарек, Карп Серафимович. Чей, откуда — не знаю. Сказывал — саратовский. — Подшагнул ближе. — Видал сынка-то у Генриха Иваныча? Говорят, вострый больно?

— Не знаю, сам обявится, — лукаво обнадежил Полуменов, — тогда увидишь.

Отступил, пропуская Семякина с Чемерицыным, и снова закаменел у дверей, гордый, важный и благополучный.

Мастер Семякин провел Чемерицына в свою цеховую конторку. Снял картуз; обернувшись в угол, закрестился, широко, во весь размах руки, кланялся усердно, не часто и с выдержкой. «Перед богом торопиться не подобает», — думал он при этом. А сейчас, когда за спиной стоял новичок, хотелось еще и показать степеньность свою и особую душевную серьезность. Сделав последний поклон, сказал:

— Теперь и поговорить можно. — Заметил на голове Чемерицына фуражку. — Ты чего же, молодой человек, перед божьим ликом и в картузе? А-ах ты, дорогой мой, сизый голубь, как это нехорошо! На новое место поступаешь, тут бы у господ-бога и благословенья

попросить, а ты — на-ко тебе! По душевной жалости своей напоминаю тебе дело. — Заметил постороннюю, к его словам, улыбку токаря. — Чего же ты молчишь? Выбери какую тебе пробу.

— Любую, — вызываясь об'явил Чемерицын. — Мне все равно.

— Так уж и любую? — подивился Семякин. — А двухзаходный червячок с тремя уступами и с гаечкой?

— Могу и с гаечкой, — охотно согласился Чемерицын.

Токарь улыбался совсем уж открыто и как-то особенно беззаботно, так что Семякин, большой поклонник чистого искусства, залюбовался даже, хотя про себя держал настороженную мыслишку: будто бы новичок этот обязательно надуть его должен и, может, в самый последний момент сбежит, лишь бы не сразиться (такие случаи бывали).

Чемерицын не сбежал. Он взял резцы, пошел в кузницу и сам, на особый свой фасон, отковал их. Напевая и улыбаясь, он работал над пробой с уверенным спокойствием, а когда стал нарезать двухзаходную ленточную резьбу, то вовсе и не подсчитывал, какие нужно было ставить шестерни на водящий винт, у центра и на гитару, он держал подбор шестерен в памяти, — такой был замечательный этот веселый токарь. Полюбоваться и поглядеть на работу Чемерицына пришел сам Семякин и даже, чорт его возьми, прослезился от удовольствия.

— Сокрушил, подлец, прямо говорю, сокрушил! — говорил он потом, принимая пробу. — Тютелька в тютельку пригнал, мошенник! Два с четвертью поденщина такому молодцу. — Поглядел в далекие глаза Чемерицына. — Ладно, что ли, два с четвертью? И ученика выбирай себе любого: к такому токарю обязательно ученика приставить нужно, пусть перенимает.

— Что ж торговаться, пускай будет два с четвертью, — совсем уж безразлично согласился Чемерицын. — И ученика возьму. — Подумал немного, — Митьку Лепихина возьму.

— Турурка-то? — подивился Семякин. — Вот уж выбрал диковину! Ша-

лава, истинно говорю тебе, шалава. Дубиной его не выучишь.

— Я вучу, — весело пообещал Чемерицын.

И ушел этот самонадеянный человек к своему станку.

День был солнечный, знойный. За окнами механической легковейный ветерок поднимал пыль. Позванивала во дворе смрадная кузница, тяжело вздыхала за стеной паровая машина. В этот день и пришел на завод Яков Генрихович Ланге, молодой инженер. Шел он скучной такой походкой, а перед ним, саженой этак за двадцать, бежал Карп Полуденов, и все видели, как он ловко и услужливо бежит, мелко перебирая ногами, пританцовывая на носках, — шею вытянул, голову чуточку набок; и побегка была особая, левым плечом вперед, правая рука откинута, точно птичье подбитое крыло, весь корпус брошен навтыжку, так что можно подумать, будто Полуденов руководствовался одним чутьем, не доверяя глазам своим. Изгибались мастера и другие почтенные старички, только не перед Карпухой. Все смиренные поклоны и улыбки принадлежали другому:

— Наше вам почтение, Яков Генрихович!

Томительное молчание. Посвистывают передаточные ремни, ноет где-то сверло, преодолевая крепкий чугунок, урчат переборы токарных станков.

Инженер Яков Ланге останавливался перед согнутой спиной, снисходительно и кратко спрашивал:

— Кто?

— Токарный мастер, Капитон Семякин. Весьма приятно-с лицезреть...

— Очень хорошо, господин Семякин. Не задерживаю. Продолжайте, работайте.

Едва прикасался к строгой фуражке своей, проходил дальше размеренным, почти военным шагом.

В слесарной мастерской встречает Якова Ланге все тот же, хотя и постаревший, но еще достаточно бойкий Донат Перелькин. Картуз свой, пропитанный до блеска нефтью и потом, Перелькин держит, как горячую сковороду, перебрасывая с ладони на ладонь.

— Низкий поклон, Яков Генрихович!

— Кто?

— Перелькин, слесарный мастер. Пятнадцать лет, почитай, с самого начала, верой-правдой...

Глаза Якова Ланге покрываются мутной ласковостью.

— Пятнадцать лет на заводе? Очень похвально. Наденьте фуражку, Донат Евстигнеевич. Да, да, я уже знаю вас, мне говорили. — Подал руку, круглая ладонь была необычайно крепкой. — Работайте, Донат Евстигнеевич.

Бегут слова от станка к станку, от верстака к верстаку:

— Чей будет?

— Генриха Иваныча сын. Директором, сказывают, поставлен...

— Поди ж ты, как все обзаконено: одни работают, другие начальствуют.

— Главное дело, привычная жизнь хорошо обмозгована, на всякий час, на каждую минуту. А вчера птичник наш, Алфей, сказку рассказывал. Сначала будто про Карпа Полуденова подвел, потом вышил и разошелся: «В некотором царстве-государстве, в нашем городе-селе будто всех непокорных велено было по указу начальства в дикую пустынь вывозить. Сто годов вывозили, и под конец всех, до единого вывезли, так что один царь с начальством остались. Живут не тужат, отродясь не служат. Может, их тоже когда-нибудь вывезут, только некому куда вывезить»...

— Скинь картуз-то, — к нам, никак, подвигается.

— Ладно, я сейчас кран притираю и никого будто не вижу...

Яков Ланге направляется в заводскую контору к дяде своему, Фридриху Ивановичу. Лицо у Якова просветленное, даже тихое, и уж совсем не директорское, только нижняя губа, слегка выпяченная, свидетельствует о некотором презрении к окружающим. Лоб широкий, такой отчетливый, с зализанами, и совсем невинная борода.

Дядя, Фридрих Иванович, влюблен в племянника; неумело улыбаясь, спрашивает:

— Ну-ка, скажи, что видел?

Спросил и стал ждать достойной по-

хвалы, может быть, лести, уже привычной и необходимой теперь. Гляди, дескать, вникай и учись, как нужно работать.

Яков помолчал — умно и необыкновенно деловито.

— Что ж, — ответил он, скупо расходя слова, — все видел и ничего... Азиатчина.

— Как?

Фридрих оголил было глаза (был он вспыльчив и гневен), но тут же и согласился:

— Так, так... Дело, дело... Послушаем, что у тебя за мысли.

Племянник кратко и категорически:

— Необходимо изменить систему.

— Какую систему? — не понял Фридрих.

Племянник еще решительней:

— Систему эксплуатации завода. А главное — к чорту деревянные сараи! Завод обязан иметь вид.

— Иметь вид, иметь вид... — Фридрих изобразил что-то в воздухе, растопырив пальцы. — При наших порядках, слава богу, работа не плохо шла. Многолько, Яшенька, хочешь. — Подумал. — Ведь это выходит, как ни суди, тысяч, может, сто из оборота вытрясти. Поразмыслить нужно.

Очень уж соблазнительные картины одолевали Фридриха, покуда он думал обо всем этом. Завод в воображении был таким, что на деревянные корпуса было тошно глядеть.

Братья думали, прыкидывали, рассчитывали.

— Задал нам задачу сынок твой, нечего сказать! — весело упрекал Генриха Павел. — Испортила его граница, ой, как испортила!

— Ну? — рассеянно спрашивал Генрих. — Что ты хочешь сказать?

Павел пожимал плечами.

— Да ведь что скажешь? Говорить больше нечего.

— Ты и не говори, ты думай, — внушал Фридрих, — лучше будет.

Шли в цеха, оглядывали низкие потолки, прокопченные стены.

Павел (на этот раз с глубоким вздохом):

— Уютно как-то, тепло уж очень, сроднился я с этими стенами. Смешно, конечно, а все-таки...

Проходят дальше, то-и-дело спотыкаясь о чугунные трубы, муфты, цилиндры.

Генрих, с глазами, широко открытыми, немигающими, выйдя во двор, припоминает вдруг жалостливые павловы слова.

— О чем ты говоришь там, Павел? — спрашивает он. — Ну?

Фридрих, тяжело двигая ревматическими ногами, отодвигает Павла. Неопределенные разговоры ему не нравятся; он объявляет решительно и почти строго:

— Склоняюсь к тому, чтобы строгиться.

Огляделся, подумал: «Азиатчина!.. Чорт его знает, может, оно и правильно».

Как бы в подкрепление фридриховых размышлений, заскочил во двор бригадир Борбашев: выписывая ногами вензеля, слюняво улыбаясь, зашумел еще от ворот:

— Благословляй, хозяин, в Соратов еду, лесопильные рамы становить! Га-га!

Яков Ланге, ученый инженер, оттопырив нижнюю губу, глядел в сторону; плечи его были приподняты, руки глубоко в карманах тужурки. Может быть, он думал о том, что за границей такое явление невозможно совершенно. И вообще все это чорт знает на что похоже.

Борбашев косым шагом проковылял в механическую. Высокий, худой и растрепанный, он шел собирать бригаду.

— Видал, дорогой племяш, какие у нас мастеровочки?

Фридрих вернул Борбашева, сунул ему рублевик, сказал милостиво:

— Езжай, Сергей Лукич, да гляди там: Волга-то — она размашистая... Заказы будут, депешу подай, мы тут не задержим.

— Толкуй еще! Поди-ка, я не знаю. Чай, не впервой, — снисходительно и совершенно трезво отозвался Борбашев. — А за рублевку бог спасет, опохмелюсь ладно...

Уходя в контору, Фридрих говорил в гордую спину племянника:

— К человеку, если он того стоит, нужно особый подход иметь, да и язык тоже. Ты, Яшенька, рассуждай по-российски, действуй по-заграничному. Когда надобности в человеке не будет — выгонишь, только и всего.

Заметил вспорхнувшую на лице Полуденова улыбку, оскалился:

— Ты чего еще?

— Внимаю-с, Дрикс Иваныч, — почтительнейше отвечивал Карпуха.

Х

В легком настроении опохмелившегося человека Борбашев собирал бригаду. Посмеиваясь, он пьяно лепетал, все время окая, отирая рукавом потный лоб, отшлепываясь:

— Вы, робята, распологайтесь на меня, со мной не пропадешь. Я, робята, всю Росею исколесил, у меня в любой местности кумовья за мое здоровье пьют. Мы хозяевам деньгу зашибать поедем, ну только я в обиду вас не дам, потому мне хозяева наплевать: на мои руки сто хозяев найдутся. Мать их чебурах, потом на пароходе побежим в Сомару, из Сомары в Козань, оттуда в Нижний, из Нижнего в Ярославль. Мы копейчку с коньком зашибать поедем. Только, робята, у меня чтобы ни гу-гу! Надо так делать: и хозяевам, и нам, и господу-богу нашему.

— Ты молчи, Лукич, — предупреждали Борбашева, — а то как бы не того... Новый хозяин объявился, он, брат, строгий, у него, брат, за каждым углом свои уши имеются. Один Полуденов чего стоит!

— Да, это конешно. Ну все-таки, ежели что — харкну и розотру! — петушился Борбашев. — Только я человек совестливый, а то бы...

Разговор поблек. Борбашев, раскисая, слезливо мигал и все порывался облобызывать Степана Побыткина.

— ... Эх! Но погоди! Я, Степаша, ко всем городам дорогу знаю, два раза в море мырлял, у меня мозги играют, я подметные письма читал. Ого-го, Степаша, крути-верти, подвертывай!..

Рокотали передаточные шестерни сверлильных станков, скрежетали резцы, сдирая шершавую поверхность с огромных маховиков и поршней, надрывался истошный голос все того же Капитона Семякина, мастера токарной:

— Разбойник, сюкин сын, погубить меня хочешь!..

Голос Семякина такой пронзительной высоты — во всех углах слышно.

— Талант гибнет у человека, — замечает токарь Чемерицын.

— Собака лает — ветер носит, — говорит не в меру осмелевший Турурок. — Вот хайло, так хайло!

Чемерицын нарезал водящий винт к токарному станку, — работа тихая, но интересная, Леонтий Чемерицын весело подпевал, прислушиваясь к однообразному говорку перебора, Турурок смазывал «центр» задней бабки и с любопытством следил за тем, как, почвиковая, лилась из-под резца, извиваясь и меняя цвета, тонкая стружка, и лилась еще песня токаря:

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я,
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилась моя.

Митька Турурок облокотился на каретку. «Глубокая еще дымилась рана», — мысленно повторяет он и чувствует, как нещадное солнце бьет прямо в глаза и тишина кругом, будто опустился человека на дно глубокого оврага.

Лежал один я на песке долины:
Уступы скал теснились кругом,
И солнце жгло их желтые вершины
И жгло меня, но спал я мертвым сном.

«Господи, господи, вот уж тоска-то: желтый, как пшено, песок, голые скалы, ни кустика, ни травинки! Кричи, выплесни душу, разорви сердце, кто же услышит? — холодея, думает Турурок. — Никто не услышит, даже и надеяться нечего».

И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне..

«А сон еще тоскливей, потому что в родимой стороне происходит пир. Ну да, нашли время веселиться, когда человек умирает и около него — никого».

Песнь, сначала звучная, стала чуть слышной, — должно быть, Чемерицын ушел заправлять резцы. И слова: «Меж юных жен, увенчанных цветами», заблудились в ремнях трансмиссий.

— Хм! Ведь это что же такое? — услышал Митька умильный чей-то голосок за спиной своей. — Ты что же, ангелок мой пресветлый, спать сюда пришел или работать?

Рука, ловкая и цепкая, захватила горсть митькиных волос, захватила поособому, впереверт, так, что Турурок сразу увидел склоненное над ним лицо мастера Семякина.

— И кто ж тебя учит, кто об тебе печется, сюкин ты сын! — жалостливо заплакал Семякин, выволакивая Митьку на простор, чтобы все видели и получались. — Препоручил тебя, стервеца, хорошему токарьку, печалился насчет судьбы твоей. Жалости ты моей не понимаешь, сердце у тебя, разбойника, закоченело! Эх, горе мое горькое! — Дернул Турурка влево, дернул вправо, потянул книзу. — В ножки кланяйся, на колени становись... (Семякин плакал подлинными слезами, так он увлеклся игрой своей).

Не встречая сопротивления, токарный мастер накалял себя злым своим причитанием. Утомившись, он хотел было переменить руку, чтобы уж вдосталь наиграться, но рука его, совершив нелепый разлет, неожиданно замерла и, хрустнув в суставах, повисла. Пятипудовое тело Семякина необыкновенно легко подняли, положили на платформу вагонетки. Веселый голос приказал:

— Отдохни, Капитон Иванович, эка ты запыхался как, сердца не жалеешь, душа моя.

Тяжелая рука придавила плечо. За спиной, на платформе, сидел токарь Чемерицын Леонтий, гневно веселясь, внулшал с упрощающей почтительностью:

— Считаю необходимым доложить вам, милостивый государь мой, что ученик Дмитрий Лепихин находится в моем распоряжении и неприкосновенен. А ежели вы, паче чаяния, возьмете желание побить его, то в тот же день я сокрушу вам ребра и учиню многие для вас, Капитон Иванович, неприятности.

Чемерицын поднялся и, уходя к станку, зашел под сдержанный хохоток мастеровых:

Но, в разговор веселый не вступая,
Сидела там задумчиво одна...

Гудки голосисто возвестили об окончании работ. Туго натянутые ремни трансмиссий мгновенно соскочили со шкивов (их было приказано снимать, чтобы зря не обтягивались), замер утомительный рокоток шестерен, и в наступившей тишине отчетливо было слышно одно лишь слезливое причитание мастера Семякина:

— Совесть померкла у людей, руку на старших поднимают. Как жить будут? Какому богу молиться? Неведомо... Владычица пресвятая богородица, воззри на дела людей и вразуми суюких детей этих.

Семякин поднял руку для крестного знамения и тут же, заметив полное безлюдье, перестал ломаться, губы его передернула злая судорога.

— погоди, я на тебя найду управу! — погрозился он. — Найду, окаянная твоя душа.

Он выбросил кулачок перед лицом своим, кулачок был волосатый и совсем круглый; полюбовавшись упрощающим его выражением, Семякин обнаружил стоявших в отдалении, за сетью обвисших ремней, Фридриха Ланге с племянником Яковом; кулачок мастера мгновенно развалился, пальцы разбежались и вновь сошлись, — Семякин, молитвенно закатил глаза, перекрестился, обходя хозяев.

— Видишь ты, — кивнул в сторону Семякина Фридрих, — у меня каждый мастер на свой фасон, мы с такими дело начинали, им доверять можно, душевно работают, но, между прочим, люди с большим умыслом, так что ты не особенно пугай их обхождением, норови попроще. В зубы ткнешь — стерпят, а ежели по-ученому — остолбенеть могут.

Яков соглашается молчаливым наклоном головы.

«Уменье жить — большое уменье, — думает он. — Но разве можно сказать, что братья Ланге могут жить? Нет, этого нельзя сказать, — решает моло-

дой инженер. — Они даже не имеют собственного выезда и продолжают (смешно сказать!) пользоваться конкой и в редких случаях услугами извозчика!»

— Ох, как еще далеко нам до Европы! — нечаянно выговаривает Яков. — А казалось бы...

— Нет уж, дорогой племяш, — обиделся Фридрих, — ты как хочешь, а я как желаю. Мы без Европы покудова обходимся, и ничего, слава создателю, живем. У нас покудова натура не такая, чтобы Европа произрастала. От Европы-то, если ее к нам без ума-головы пустить, все жители зачахнут. Я людей вот как знаю! — Фридрих Ланге развернул широкую ладонь, сказал, усмехаясь: — Вот они где, наши рабочие, умещаются. Дуну — и...

Внимательный племянник зрительно представил, что могло поместиться на ладони его сурового дяди. Молодой инженер задохнулся от восторга и удивления.

В Саратове, Ростове-на-Дону, Петербурге, Казани, Воронеже, как бы прыгнув с ладони Фридриха, звенели молотками рабочие завода братьев Ланге.

Скрипят телеги, переругиваются ломовики, надрываются лошади. В далеком Саратове, пыльном и душном, разгружаются вагоны со станками завода Ланге. Столичные слесаря ходят, как боги: они командированы заводом Ланге, и они тем самым как бы получили некое право на профессиональную гордость (столичные слесаречки, не какие-нибудь). Чернорабочие устанавливают по их указаниям станки на цементный постамент: станки особые, не выданные в провинции; у станков имеются такие приспособления, с которыми не умеют еще обращаться местные рабочие.

Вечером на Камышинской улице гордые москвичи пьют вино и ведут зазнайскую беседу с рабочими железнодорожного депо.

— Как у вас насчет работенки? — спрашивают провинциалы.

— Работенки — завались. Была бы шея, хомут найдется.

— Зарботки как?

— По-разному... До сотни, бывает, зашибаем, — небрежно отвечают москвичи.

Минуты две-три пьют молча, кое-кто вздыхает, другие курят в горделивом самозабвении.

— Поехать бы, — вслух мечтают саратовцы.

— Хы!.. — снисходительно ухмыляются москвичи. — У нас мастера — держи, а то вырвусь. Учиться надо.

— Да-а... Где уж нам уж выйти замуж! — признаются саратовцы. — Вам что! Вы короли.

Через неделю «короли» садились на пароход и бежали в Самару. И в Самаре та же работа и тот же разговор. К осени возвращались в Москву.

— Ну что, хорошо ли погуляли? — ласково спрашивал мастер Перелыкин. — Хорошо, говорите? Ах, Сань-Ваня! А ведь я вам тут недельку командировочных похерил. Больно уж длинно ехали...

— Расея, эх, Расея! — восклицал который-нибудь из обиженных «королей».

Видения отошли; они криво и несколько неуклюже проплясали сторонкой, уступив место будничной яви. Яков Ланге, старательно приукрашая европейское свое воображение, упустил многое из того, что обычно являлось неизбежным в действительности.

— Россия — страна с большими возможностями, — определил он, проходя в литейную следом за дядей своим.

— С большими, а развернуться трудновато, — насмешливо заметил Фридрих. — Заказы на литье со всех сторон, тут бы самый разгон взять, хватать-похватать — чугуна нет. То-есть, видишь ли, Яшенка, государство не отвечает коммерческим замыслам, или, наоборот, коммерческие замыслы превосходят, и вообще тут я не постигаю чего-то...

Племянник, вежливенько покашливая (копоть литейной щекотала нежное горло), ждал прямого обращения и, не дождавшись, сказал:

— На южных заводах заказать можно.

— Хм! На южных заводах? Дело говоришь.

Фридрих искоса взглянул на племянника: нежная бородка, чуть оттопыренные уши, неподатливые волосы, твердые глаза.

Улыбнулся скупой, еле заметной улыбкой (такую улыбку многие считали большой милостью), чуть было не похвалил племянника вслух за находчивость, но во-время сдержался (избалуешь, пожалуй), сказал:

— Ты это обмозгуй, чугу́н дозарезу нужен, кстати я литейщика приманил одного. Не литейщик — золото!

Конечно же, дядя требует одобрения себе или похвалы, и вообще слова его заключают определенный смысл: «Мы хотя не ахти какого образования люди, а делами заправлять умеем не хуже других высокоумных. Так-то вот».

Племянник прекрасно понимает это. — Вы умеете подбирать людей, дядюшка, — говорит он, — у вас на людей особое чутье.

Поговорили еще, играя ловкими словами испытанных артистов, поговорили и разошлись. Один, помоложе, что-то запомнил; другой, постарше, черкнул в потрепанной записной книжечке, в карманной бухгалтерии своей, где каждая цифра горделиво отвечает за себя полновесным золотом.

Ах, как уважали записную книжечку Фридриха Ланге мастера, директора банков, предприниматели! И, казалось все деловые письма, поступавшие в контору завода, нежненько шелестели:

«К вашим услугам!»

«Имеем честь почтительнейше предложить...»

«Сделайте одолжение, окажите внимание...»

Внимание на этот раз было оказано южным заводам и уж совсем незаметному, но чрезвычайно ценному в чугунолитейном производстве мастеру Никодиму Мямлину.

— Мужик, сказывают, ничего будто? — осведомлялись рабочие.

— Ничего... Для нас как-раз ничего, это уж, будь здоров, правильно, Фокеич, говоришь. Я Никодимку знаю: на три сажени в землю видит. Гляди вон...

И глядели.

Шел Мямлин кошачьей поступью, как будто котел быть невесомым, говорил миролюбиво, только трепетный нос его, крючковатый и тонкий, свидетельствовал о ехидном замысле человека, который поставил целью своей всех обойти и устроиться в благополучном углу, откуда виднее суета жизни.

Вот перед ним, среди моделей, опок и приготовленной для литья земли, копошатся рабочие. Откуда они, дай бог памяти?

Мямлин оглядывает литейную, и на лице его играют веселые морщинки. Ах, он очень хорошо осведомлен, откуда они. Ведь это же крестьяне, набранные его агентами из деревень Тульской, Смоленской, Рязанской и Московской губерний. Мужики со смешными прозвищами: Аржак, Дударь, Телепега, безавшие из разоренных деревень, с тощих полей.

Выпятив живот, обтянутый засаленной жилеткой, Мямлин шествует по литейной. Он то-и-дело наклоняется, испытывая наощупь просеянную землю и песок. Чуткие пальцы мастера играют, и голос тоже играет ласкающими доверчивый слух переливами.

— Жирен песочек, больно жирен, душа моя, подсудить надо.

Голосок этот оказывает удивительное воздействие на литейщиков, и как-то случилось, что всякий, дерзнувший возражать Мямлину или высказать мнение свое, немедленно и без шума исчезал и уже не появлялся на заводе.

— Талан у человека! — говорили завистники.

— Цены нет мастеру! — восторгался Фридрих.

— Действительно, дядюшка, богата русская земля самородками, — подтверждал Яков.

— Секретный человек литейный мастер, — удостоверяли опытные рабочие, — он, брат, досконально знает, сколько нужно примешать к глине конского навозу или, скажем, рубленой шерсти. У него формовка, хоть ты ее, как хочешь, суши, трещинки не окажет.

Прославляемая деятельность Никодима Мямлина имела сокрытые источники. Хитроумный мастер знал тайные тропы покорности, которые приводили

к нему каждого рабочего. В дни праздников благообразный Никодим, умастив лампадным маслом кудри и расчесав их, садился у окна в строго прибранной комнатке своей в доме Халаявина. Он сидел и потихонечку гнусил «божественное», поглядывая на улицу, любясь красотами окружающей его жизни. Гомонили детишки, поднимая на большаке седоголовую пыль; без штанов, голопые, они играли «в чугунку». Неистово орали петухи, пахло пеленками и неразгулявшимся сном. Возвращался от ранней обедни мастер сборочной, Тарас Бузун, степенная личность, с длинными усами и сивой бородой. Мастер шел, сияя глубоко спрятанными глазками, очистившись от заводских грехов. Высокий (дядя, достань воробушка!) Бузун, отпятив по-бабьему зад, шел, широко размахивая руками, и все встречные, рабочие завода и жены их, завидев мастера, кланялись ему еще издали, а ребяташки спешили улепетнуть в первый закоулочек.

«Хм, — ухмылялся Мямлин, — что-то больно смиренный вид сегодня у Тараса Ильича, не иначе морду раскровянил кому-нибудь».

Вставал у окна и кланялся проходящему:

— Доброго добра, Тарас Ильич!

Смиренно поджав руки под грудь, отвесив Мямлину глубокий поклон, Бузун шествовал к своему дому.

На улицу снова выпархивали ребяташки, они деятельно принимались пылить, а Мямлин продолжал любоваться красотами жизни. Прислушиваясь к беззаботному звону детских голосов, он в то же время сожалительно вздыхал о судьбе подрастающей молодежи. От одолевающей сердце доброты и умиления глаза мастера как будто взопрели даже.

В комнату, тихонько приоткрыв дверь, входил слесарь Никита Шугай, вставал у порога, хмыкал как-то особенно многозначительно.

— Ты что, друг? — вопрошал Мямлин, награждая вошедшего щедрой улыбкой своей. — Проходи, садись.

— Да я, это самое, на Павелецкий вокзал направился, Никодим Варфоло-

меевич, так что мне рассиживаться некогда.

— Земляков встречать?

— Во-во! — утвердительно кивал Шугай. — Таких ли работничков наметил для тебя, Никодим Варфоломеевич, прямо любо-дорого. Хе-хе!

— Ну, ежели ты для меня стараешься, значит я тоже должен для тебя постараться.

Мямлин, кряхтя, поднимался и шел в угол под иконы, присаживался на корточки перед угольником, приподнимал скатертку.

— Держи, друг...

Шугай улыбался, потом гыгькал и, разойдясь, «надрывал животики». Мастер доставал из-под угольника бутылку водки, десяток печеных яиц, шматок сала фунта на два.

— Дары? — спрашивал Шугай и тут же вышибал пробку из горлышка бутылки, приложившись, долго сосал, отирая потом заросший усами рот, тяжело вздыхая, выпучив глаза.

Мямлин не отвечал на прямой вопрос. Все передавалось кривой усмешкой, кивком головы, иногда подмигиванием. Слесарь Шугай спрашивал так только, лишь бы не молчать в эту минуту душевного благополучия и торжества.

Провожая Шугая, Мямлин задерживал его у самого порога, совал в заскозную ладонь слесаря рублевик, говорил с усмешечкой:

— Держи-ка болванчика, твоя доля.

Проводив Шугая, Никодим Варфоломеевич снова присаживался к окошечку. Но не проходило часа, и у порога появлялось новое лицо — баба с объемистым узлом в руках и с мальчонкой тринадцати- или четырнадцатилетнего возраста. Баба молча отвешивала поясной поклон, мальчонка прятался за спиной матери.

— С чем пришла, матушка? — осведомлялся Мямлин, скосив глаза и зевая в ладошку. — С какой докукой?

Женщина, не переставая кланяться, развязывала узел, выкладывала содержимое. На столе появлялись полфунта чаю, фунта четыре сахара, горшок масла коровьего и сверх всего десятирублевка.

— Не обессудьте, Никодим Варфо-

ломеевич, — говорила женщина, пятась к двери, выводя перед собой подростка.

— Который годок-то? — любопытноствовал Мямлин. — Пододвинь его, пододвинь, не бойся...

— Пятнадцатый, батюшка, Никодим Варфоломеевич, пятнадцатый, с Миколы зимнего...

— Гм! Пятнадцатый, говоришь? Ой, что-то, кажется мне, прибавляешь ты, мать, ей-господи, прибавляешь. Поди-ка, и тринадцати нет. А? Так, что ли? Строго у нас насчет малолетних...

— Да ведь семья, Никодим Варфоломеевич, восемь ртов.

— Семья-семьей, а мне отвечать придется. Малолеток, скажут, в обучение принимаешь... Под суд угодишь, вот оно какое дело образуется. Ничего, матушка, не придумаешь, лета не вышли пареньку.

Мямлин вздыхал, красноречиво поглядывал на приношение; баба шмыгала носом и, отвернувшись, лезла в пазуху, на десятку ложилась еще пятишница. Баба просительно моргала, мастер почесывал ногтем щеку, проходили в молчании томительные минуты, наконец, Мямлин медлительно и как бы сокрушенно говорил:

— Ну, что ж с вами делать, душа у меня мягкая. Другой, на моем-то месте, может, и говорить бы не стал. Нет, и конченное дело! А вот я не могу, душа не позволяет... Ладно, так и быть уж, пушай завтра к воротам приходит, приему. Одному, видно, перед господом отвечать придется.

Баба, кланяясь, уходила. Мямлин убирал приношение, выпивал для-ради праздничка стаканчик вишневки и, закусив, опять шел к окну.

Солнце светило теперь во всю улицу, в церквах гудели колокола «Достойную». Мямлин, блаженно улыбаясь, наблюдал, как мастер сборочной Бузун возвращался от поздней обедни. Наблюдая, Мямлин догадывался, что Бузун раскровянил вчера не одну, а две морды, потому очень уж усерден в молитве сегодня.

Голубело просторное небо, ярилось жаркое солнце, и в сердце копошилась неизреченная «любовь» к ближнему.

Мямлин выпивал еще стаканчик вишневки. «Нет, что бы там ни говорили, — удовлетворенно думал он, — жить все-таки нужно уметь...»

XII

Тепловейной весной начали выкладывать кирпичные стены новых корпусов завода; выкладывали их, по остроумному замыслу Якова Ланге, окружая бревенчатые стены старых цехов, не нарушая и не прекращая работ самого завода.

На Дунькином лугу собирались теперь каменщики, маляры, штукатуры; они жгли по вечерам костры, пели протяжные песни свои, ходили в дни получек вместе с мастеровыми в веселенький домик бандарши Колпачихи. Тут, обильная телесами, девица Авдоха снисходительно принимала каждого, унимая любовный пыл гостей ремесленной покорностью своей и равнодушием, давно прищабренным к человеческим страстям. Тупые будни высовывались отовсюду и, не рая, умерщвляли любое сердце. Находились, однако, люди, склонные к страстям высоким, чувства коих постоянно пребывали в подогретом состоянии, вскипая иногда выше указанного буднями предела.

Ошеломленный печальной красотой Алевтины, токарь Чемерицын всю прошлую зиму занят был мыслями самого крайнего философского направления, где встречались вопросы, которые даже с большого разбега невозможно было преодолеть; тогда Черемидин брал гитару и под разговорчивый перебор струн принимался ругать и уговаривать себя, выдерживая при этом изысканно-издевательский тон, — так пытался он разрушить помыслы свои об Алевтине, поглядеть на себя издали, как на балаганного скомороха.

«Она все-таки совсем другая, милостивый государь мой, Леонтий Никанорович. Ей, может быть, лучше всего подойдет степенный приказчик, у которого душа вроде смиренной мышки, помыслы не шире чуланчика. Ну-с, а что вы, Леонтий Никанорович, скажете насчет любовника Алевтины, Карпа Полудено-

ва? Можете ли вы простить ей любовника? Ха! То-то вот и оно!»

Чемерицын еще отчаянней, еще веселей брэнчал на гитаре, и струны резали пальцы, точно лезвия ножей. Тупоглазый зимний вечер, кряхтя, перелезал через забор двора и, прислушиваясь, намертво примерзал к стеклам окон.

«Однако все это ерунда и чепуха! Да чем же я лучше Карпухи или Степана Побыткина, который из ненависти к этому самому Карпухе не женился на Алевтине? Значит, видел он в глазах этой женщины не стертого еще Карпуху. Вот ведь к чему может привести темная ревность! Теперь Алевтина одна, ну и слава богу, оно, пожалуй, так-то и лучше. Хотя у нее есть пьяненький отец и птицы, но это еще хуже. Ох чорт!..»

Что она мне ? ни жсна, ни любовница
И не родная мне дочь.

Так отчего ж ее доля проклятая
Спать не дает мне всю ночь?..

В комнату непременно вваливался Викул, садился рядом на койку, подмигнув, спрашивал:

— Тоскуешь? Ну, ну, тоскуй, запрету нет. Я тоже тоскую: спина болит, в костях ломота, денег нет, и выпить охота. Не найдется ли рублевки?

Так вот и прошла зима, а Чемерицын все еще продолжал философствовать. Потом братья Ланге начали строить новые корпуса завода. Кирпич был густокрасным, и оттого сразу как-то стало тягостно, будто строили тюрьму. Весной Чемерицын встретил Алевтину; она шла и глядела под ноги, у нее на спине был огромный мешок с клетками, где попискивали птицы. За Алевтиной брел подвыпивший Алфей; он улыбался и что-то убедительно доказывал, молча, одними руками, которые взлетали у него, точно начисто опиленные крылья, временно прикрепленные к туловищу.

Еще издали заметив Алевтину, Леонтий Чемерицын подумал было перейти на другую сторону улицы, он даже похвалил себя за непоколебимую решимость, и вдруг сбоку, одним только плутующим, непокорным взглядом, поймал ее лицо, тихое, опечаленное длинными ресницами. «А-а, дурак, куда тебя пб-

несло?» — попытался он остановиться и сейчас же побежал к ней, чувствуя удивительную расслабленность в ногах и задыхаясь от охватившей его необыкновенной усталости. Через минуту он шагнул рядом с Алевтиной и тащил на спине своей огромный мешок, а позади, разбросав руки, тихонько посмеивался Алфей.

— Хе, дочка у меня золотое горлышко. Вы думаете, Алфей дурак? Не-ет! А Тиночку никому не отдам. Чудно даже, как же я жить-то без нее буду? — Хитровато кивнув в сторону Чемерицына, крикнул: — Ты ему не верь, Тиночка, они все спервоначалу ласковы. Хе-хе-хе, вот оно какое дело! Не приближайся, смотри, к нему...

Прежний Алфей был великодушен, спокоен и доверчив; теперь птицелов хотел быть хитрым и произительным человеком, который каждого видит насквозь и чует за версту. Голос его погрубел, слова обесстыдели, он старательно подражал всем беспутным и давно потерянным пьяницам окрестности.

— Вы его не слушайте, Леонтий Никанорович, он оконфузить хочет вас, чтобы вы не подходили ко мне. Его люди отравили, он тихий. Он придет сейчас и будет плакать, жаловаться будет, будто его обмануть хотят, все обмануть хотят. — Алевтина раскрыла необъятные глаза свои. — Вы, Леонтий Никанорович, отдайте мешочек, я сама его понесу. Смеяться будет надо мной. Что вы так поглядели с обидой? Нет, вы не обижайтесь, — чуть прикоснулась к руке Чемерицына. — У каждого ворот люди, и все будут говорить: Алевтина полюбовника завела.

— Фу-ух, чорт! — не выдержал Чемерицын. — Я тоже знаю, что говорить они обязательно будут, знаю, а вот все-таки иду рядом с вами, Алевтина. Господи боже ты мой, какое мне дело до того, что они будут говорить! Каждый хочет жить по своему правилу, только все их правила ни к чему, потому что они человеческих правил не знают, Алевтина, никто их не учил человеческим правилам жизни.

Чемерицын говорил и сознавал, что так может говорить только малограмот-

ный учитель плохой школы. Язык выговаривал изношенные слова, которые звякали совсем уж не торжественно (Чемерицыну непременно хотелось торжественности). «Любовное поглупение, должно быть, обязательно для всех, — думал он, беспомощно озираясь по сторонам. — Всю зиму подбирал слова для Алевтины, подобрал — и всё перепутал».

Свойственная Чемерицыну решимость и особая, еще не развеянная огорчениями веселость вдруг покинули его. Мускулы этого человека всегда расpirала простая физическая сила, чуждая всяким, хотя бы и самым высоким, размышлениям. Говорливая весна разливалась бесчисленными ручьями, ручьи прыгали в овраги, ластились к ногам, сталкиваясь, звенели насмешливо и ядовито, будто все живое на земле заслуживало осмеяния. Выпирали на деревьях почки, тугие и яркие, точно мелкие, хорошо выбитые медные заклепки, и дышала земля, окончательно распаренная, рассыпчатая на бутрах и на припеке. Взлетали хлопотливые горстки мошкары (толкунчики) над каждым навозным возвышением. Верещали скворцы, запрокинув в самое солнце вороненые свои головки, беззубо скалились на завалинках и на скамеечках около ворот заплесневелые старики и старушки, — они оттаяли, молчаливо делясь далекими воспоминаниями. И вообще в природе происходило чорт знает что, неизменно повторяясь из года в год, из века в век, чего нельзя было обойти и чему не хотел подчиняться токарь Леонтий Чемерицын.

— Возьмите ваш мешок, Алевтина, — сердито сказал он, — мешок с птичками. Чорт с ним, с этим мешком и с птичками! Действительно, все глядят на нас и смеются... Ну, чего же вы остановились?

Тут он увидел ее глаза: они провалились вдруг, оставив на ресницах искристые осколки.

Обессилив, теряя всякое управление над волей, Чемерицын ползл следом за Алевтиной. И опять верещали скворцы и оттаивали на скамейках у ворот старики и старушки, ощерив беззубые десна, и снова закружились хлопотливые горстки мошкары; даже Алфей, оберегавший дочь свою, окончательно разо-

млея, и смешок его был на этот раз ободряющим.

Неизбежность подчинения всему, что окружало Чемерицына, сделало его покорным, он шел теперь охотной и веселой поступью. Чемерицын отдал мешок Алевтине у порога сеней. Заголосил гудок завода Ланге,—было, значит, начало второй смены.

— Не обижайтесь на меня, Алевтина, — сказал Чемерицын, просительно улыбаясь.—Ну да, я ведь совсем плохой кавалер,—сердито признался он.—Я постарел, должно быть, мне тридцать два года, а вы девчонка, совсем еще девчонка.

Он хотел еще сказать что-то и не придумал. Гудок на заводе Ланге перестал глосить. Было пусто кругом и тихо.

Алевтина развесила по стенам сеней клетки с птицами, повернула лицо свое на свет, засмеялась тихо.

— Я только на два года моложе вас,—призналась она.—Какая же я девчонка?

Алевтина подошла ближе, чтобы лучше было разглядеть ее.

Чемерицын шагнул через порог. За его спиной, на улице гудела весна.

— Отец, должно быть, опять заблудился где-нибудь,—сказала Алевтина, пропуская Чемерицына в комнату.

XIII

В глухое село Веневского уезда на пасхальную неделю приехал погостить слесарь Никита Шугай. Хапуга и горчайший заливуха, в особенности за чужой счет («ваша водка, моя глотка»), он проводил пасхальные праздники у кого-нибудь из многочисленных родственников своих, будучи твердо уверен, что на пасху даже мертвые, и те пьют, а уж живым-то и сам бог велел.

Умиленный картинами родной природы, рассолодевший от близкого соприкосновения с ней, шел он кособокой улочкой, созерцая хилые плетни, взломаченные шапки крытых соломой хат, речку-промотуху, облупленную часовенку у «святого» колодца. День, обильный солнцем и ароматной прелью земли, бедрил шугаевское сердце сладостной ис-

томой. Конечно же, Шугаю хотелось быть добрым и обнять если не весь мир, так хотя бы жителей родного села. Шаггал пьяненький слесарь разгульной уличцей, а встречные кланялись ему и зывали в гости.

Через полчаса или меньше того, сидя за столом в тесной избе знакомого односельчанина, отирая обильный пот, осоловело поглядывая на опорожненный до половины штоф с водкой, он разглагольствовал насчет того, какое счастье жить в большом городе, работать на заводе и состоять другом мастера литейной, Никодима Мямлина.

—... А завод — это же тебе, Корней Ульяныч, цельный город, клянусь богом! Такие ли корпуса занесли — все наше село в одном цехе уместится.

Корней восторженно ахал, ребятишки разевали рты, хозяйка взволнованно шумурчала носом, то-и-дело сморкаясь в подол многосборчатой юбки.

— Конечно... Оно что же... Знамо дело... — бормотал Корней и, не задерживая руку, наполнял водкой рюмку дорогого друга.

«Друг» как бы невзначай останавливал отяжелевшие глаза на сыне Корнея, тринадцатилетнем парнишке. Разглядывая подростка, Никита Шугай мычал, невнятно шлепая губами.

— Э-это что же? — выговаривал он, наконец. — Па-а какому случаю дома сидит? Не понимаю...

— Да ведь куда ж его теперь, касатик? — слезливо моргала жена Корнея.—Мы и то думали: не попросить ли, мол, Никиту Петровича, тебя то-есть, нельзя ли пристроить нашего Васятку куда-нибудь у вас там? Уж мы, кажется, вот как были бы благодарны тебе, слов не найду...

— Оно ежели, само собой, беспременно даже... — милостиво соглашался Шугай.— Похлопотать — это мы можем, отчего не похлопотать? — Многозначительно помолчав, добавлял: — Только, думаю, большой расход с вашей стороны потребуется. Сами посудите: к Мямлину с пустыми руками, прямо вам сказать, соваться нечего, рублей двадцать, а то и вся четвертная понадобится на такое дело. Ну, да ведь, и то сказать: свой

своему поневоле брат. Для иных прочих я, может, пальцем не шевельну, а для Корнея Наживина, по сватовству нашему, куда хошь.

Корней Наживин, по душевной простоте своей, лобызал друга, Васятка кувыркался доброму дяде Шугаю в ноги.

— Хм, да... И все такое, и потому что,—ласково бормотал Шугай,—старайся, Васятка, человеком будешь.

До отъезда в Москву оставалось всего два дня, а Шугай еще продолжал бродить по домам знакомых, и как-то случалось так, что здесь непременно были налицо подростки, или сам хозяин претерпевал нужду и сейчас же выражал желание по одному только намеку пойти работать хотя бы у чорта и за любую цену. Так не хотелось людям подыхать с голоду. Продавали всё и предлагали свои коров, дочерей, последние пожитки свои, ехали в купецкую Москву, на завод братьев Ланге.

После пасхальных праздников рабочие сходились и с'езжались со всех сторон. Встречаясь, разговаривали:

— Будя, братья, погуляли, сейчас еще очухаться не можем...

Было такое чувство, будто шли на незнакомый завод, где все ново и неожиданно, однако, действительность была все той же. Братья Ланге применяли одну игру, процеживая человеческий материал, делая строжайший отбор, и, как всегда, сидели в конторе напыщенный Епимах Киндеев и важный сверх меры Карп Полуденов. Зная всех по фамилии, имени и отчеству, они встречали проходящих. Полуденов заглядывал в особый список, составленный мастерами цехов и проверенный Яковом Ланге, Епимах разговоры разговаривал:

— Здравствуйте, господин Петров, Василий Поликарпович! Ну, как погуляли? Все ли в полном благополучии в жизни вашей?.. Тек, тек-с. Вот и слава богу, что хорошо всё,—изгибал гусачью шею свою, глазел поверх очков на Полуденова.

— Ежели касаясь жизни со стороны благополучия, Епимах Лазаревич, говорить не приходится,—с изысканной любезностью подтверждал Полуденов.—Однако, расписание, промежду прочим,

к осведомлению господина Петрова, изменяет сама капризная судьба-с.

Пододвигал список конторщику.

— Гм! — произносил Епимах и направлял очки: улыбался рабочему, говорил опечаленно-приветливо, — получите, Василий Поликарпович, вид на жительство, сиречь паспорт ваш: увольняйтесь вы, по повелению главного инженера завода, в бессрочный отпуск... Да, да, так точно-с, господин Петров. Хе-хе! Паки, реку, радуйся, ибо свободен будешь, яко ветер.

Ошарашенный рабочий долго топтался перед столом, бормотал растерянно:

— Может, ошибка, Епимах Лазарич? Вы меня допустите с самим поговорить, с Фридрихом Ивановичем. Как же так? Я никому, и мне никто ничего... Чудно больно получается!

— Тут, ангелок, ничего чудного нет, тут все в согласии с высшим разумением,—об'яснял Полуденов.—А не веришь, сам погляди. Дрикса Иваныча я не допущу зря беспокоить.

Совал под нос Петрова список, где значилась фамилия рабочего в числе уволенных:

— Вот-с, явственно обозначено: «Василий Поликарпович Петров, литейщик»... Никакой ошибки быть не может-с.

В такие дни бывал особенно весел трактирщик Сидор Семенович Халявин: уволенные рабочие пропивали остатки своего заработка.

— Ну, скажи на милость, какой народ легкий,—посмеивался Халявин:—ни печали, ни заботушки...

— Совершенно верно-правильно, Сидор Семеныч! Что нам, малярам! Деревья сгорела, взял сумку — и в другую...

— Кланяйся, Вася, нашим, когда своих увидишь. Может, на другую паску и нас турнут. И-эх-ты, калина-малина. черная смородина!

Ах, дербень, дербень Калуга...

— Стой, ребятки, Леонтий Чемерицын показался!.. Подходи, Леонтий! Чтого больно невесел, нос повесил? Сыгран на гитарке, повесели душу. Вечерок-то: синь море-озеро.

— А идите вы к дьяволу!

— Здорово, кума, не хочешь ли еще? Чего ты больно сердитый нынче?

Чемерицын молча валился на траву, в кружок собравшихся рабочих, брал недопитую четвертную, долго рассматривал и, размахнувшись, швырял посудину в реку.

— Ты чего? Ты что? С ума соскочил, чортова орясина!

Чемерицын поднимался. Тяжелый, спокойный, чуточку медлительный. За его спиной вскакивал, точно гвоздок, Митька Лепихин.

— Ну, что же?—спрашивал Чемерицын.—Драться будем, или как? Ты чего, Побыткин, кулаками без толку машешь? Подходи, бей, начинай... Э-эх вы, люди-человеки!

— Да ведь, Леня, друг перепелесовый, что делать будешь, куда пойдешь, кому скажешь?— шумели рабочие.— У бедного Ванюшки везде кумушки.

— Счастье водкой не заманишь, воли тоже не найдешь,—внушал Чемерицын.—Вы поближе друг к другу жмитесь, тогда, глядишь, хозяева не так уж легко будут вышвыривать вас с завода.

Рабочие насмешливо переглядывались.

— Что говорить, кабы да ежели. Разговоры одни! Соберешься раз, соберешься два, потом за штанами щупать будешь: где болит, где саднит...

— Пойдемте, Леонтий Никанорыч,—убеждал Чемерицына Митька Турурок, дергал за подол блузы,— все равно без толку...

— Погоди!—отмахивался Чемерицын.—В позапрошлом году рабочие в Харькове всю полицию из города выгнали, с губернатором вместе, а мы с одним Фридрихом Ланге справиться не можем...

— С одним ли, Леонтий?

— Нас тысячи,—доказывал Чемерицын.—Стоит начать только...

За рощицей, в монастырьке, бьют часы, десять мерных ударов проносятся над притихшим городом, подобно притяжному стону.

Расходясь, рабочие смеялись утрумо:

— Наговорились, будто меду напились. Заворачивай, Степа, к Халявину!

Ночь лунная, небо прозрачное, и такая «благополучная» тишина вокруг, будто бы только сейчас вот пробежало живое счастье по земле, наделив всех щедрой милостью своей.

Токарь Чемерицын шагает в убогую конуру свою, за ним бредет ученик его Митька Турурок, прислушиваясь к бормотанью мастера.

— Хм! Посмотрите на мое лицо, приглядитесь к нему. Что вы скажете? Вы скажете, что человек с таким лицом проживает в самой лучшей стране. Кто может сказать, что человек порабощен, голоден, нищ, бесправен? Хе, какая чепуха! О государстве можно судить по глазам человека. Ну что же, судите. Вот мои глаза, они смотрят прямо на вас, в этих глазах живет любовь к Алевтине. Вы не знаете Алевтины? Что же я могу сказать? Господи-боже, ведь я тоже не знаю ее. Кстати, какое вам дело до литейщика Петрова? Литейщик Петров пропьет с горя последние гроши свои, потом очувствуется и будет искать работу... Хе! Попробуй поищи, когда у тебя нет никакой рекомендации и вообще таких много, которые работы ищут! Что же сделает Петров? Очень просто! Когда придет последняя точка, он повесится или утопится здесь вот, в Яузе, только и всего. Больше ничего не могу сказать. Каждый счастлив по-своему. Один оберегает добро (а добра у братьев Ланге теперь, должно быть, через большие тысячи перевалило), другой благодарит судьбу за то, что имеет кусок хлеба, третий напивается в дни праздников до чортиков. Хе! Жизнь милостива ко всем...

Чемерицын шагает крупнее, как будто его преследует кто-то, так что Турурок едва поспевает за ним.

Придя к себе, Чемерицын сейчас же ложится на свою тощую койку; он повертывается к стене, укрывается лоскутным одеялом и засыпает.

Утром, когда уже шли на работу, Чемерицын схватил вдруг Турурка за вороток, тряхнул, так что у парня лязгнули зубы, и, наклонившись, прохрипел в самое ухо:

— Уволили, понимаешь ты, Митька, сорок человек выбросили за ворота...

Эх, ничего ты не понимаешь, Турурок! Плохо, очень плохо!..

Митька таращил глаза и не мог сообразить, почему человек так беспокоится.

— На чугунке работы сколько хочешь, — попытался он утешить Чемерицына, — теперь, говорят, во все стороны поезда бегать будут. Кто хошь, приходи, каждого принимают, и жалованье хорошее.

— Хо-хо! Жалованье хорошее?.. Ну, значит, я дурак, я про чугунку-то и позабыл. Значит, есть еще местечко, где можно продать себя. Спасибо тебе, Митя, утешил ты меня, ей-богу, утешил!

Работал Чемерицын без песен. Нарезали конусные полдьюмовые метчики; два раза ковырнул резец, и метчик вылетал из центров.

«Слава богу, никто ничего не видел, — думал Турурок: — засмеяли бы».

День этот был удивительно несуразным. В самый разгар неожиданно взвыл гудок; взывал он с особым, надрывным прихлебыванием.

«Пожар! — по-мальчишески обрадовался Турурок. — Вот тебе и отстроились».

По механической пробежал мастер Капитон Семякин, он размахивал картузом, пряс седеющей головой и причитал:

— Братцы, сокрушенные мои други-недруги, за что же такое наслание божие на ваши и на мою голову?! — Семякин зарыдал, обнимая заднюю бабку токарного станка. — Благодетель наш, Генрих Иванович, упоительная душа, в бозе почил, стремительно и бесповоротно...

Субботний день этот был отмечен многими, как праздник; лошаташили в двенадцать.

На квартире встретил Чемерицына развеселый Викул.

— Христос воскрес, Леонтий Никанорыч! С андел-онделом!

— Ты что, выпил, что ли, где?

— Ни зинь-зинь, только еще думаю клюнуть, и тебя соприглашаю по случаю радостного дня кончины врага и супостата. Сначала сходим в баньку, потом пропустим по махонькой и в картишки перекинемся, в козла; страсть

люблю игру эту: кровь полирует и мозги освежает.

— В баню можно, — согласился Чемерицын, — а насчет выпить — погожу, аппетита нет.

— Не компанейский ты человек, Леонтий, — хмуро говорит Викул, разглядывая на свет залатанное белье; — гляжу на тебя, понять не могу, — с виду будто веселый мужик, зато походка вроде не нашинская, сторонкой норовишь пройти.

Приятели вышли на улицу. С крыш ползли длинные предвечерние тени. Пробивалась у заборов густозеленая щетинка травы, попискивали в кустах бузины воробьи: Прасковья Ниловна, в новом ситцевом платье, проплыла сторонкой в церковь ко всенощной.

— Походка у меня настоящая, Викул, — чуточку приподдав, оправдывается Чемерицын, — только не в ту сторону, не в халаяинский кабак.

— Ага! значит ты вроде метишь капитал нажить и в кубышку положить.

— Да уж мы капитал-то нажили.

— Чего же ты, где ж он у тебя? давай выкладывай, — насмешничал Викул.

Они подошли к дверям бани и остановились.

— Для друга я все сделаю, — сказал Чемерицын, — и капитал могу показать. — Повернул Викула за плечи, вытянул руку: — Видал? Да не туда глядишь, чудак-рыбак, прямо гляди, не в забор, а на корпуса завода Ланте, хорошие корпуса, новые... (Он помолчал, испытывая, должно быть, понятливость друга.) Вот это и есть наш капитал.

Толкнул дверь, пропуская Викула в баню, и уж совсем тихо разъяснил:

— Отнять нужно капитал этот, только и всего, Викул!

В предбаннике шумная толча и блаженное посасывание выпарившихся. Под ногами весело похрустывала свежая солома.

Разговоры:

— Ходил, брат...

— Ну тебя?

— Ей-богу! Ведь куда меня черти носили — на Царицынские пруды... Эх, шуки, ну и шуки! Меня одна водила (на

блесну ловил), сказать не соврать, часа два. В лодку тащить боязно, опрокинет, дьявол, и к берегу подгрести не могу.

— Это, действительно, да...

Чемерицын раздевается медленно (слава богу, завтра не на работу): скинет рубаху, потрет сухой ладонью могущественную грудь, стащит один сапог, поглядит на изношенную подметку, стащит другой, о чем-нибудь подумает...

— Пропадай, будь ты проклята, — продолжает рыболов, — лучше на базаре купить, чем так мучиться. Выхожу на работу в понедельник, конечное дело, с обеда. Вдруг наш Никодим Варфоломеич подкрадывается этак со стороны тихим манером: я, говорит, перевел тебя со сдельной-то работы на поденную, а то, говорит, некогда рыбки тебе положить. Понял, как загнул?.. Не-эт, у наших не погуляешь, мать их богородицу!..

Чемерицын идет по свежей соломе в баню, держа перед собой шайку, точно шапку, протянутую за подающим. Его преследуют слова:

— А кума Васена умерла от чахотки, убралась, брат. Вот какие дела... Остались со мной трое ребятишек — мал-мала меньше. Я молчу, брат...

Первое отделение было самым оживленным. Здесь можно услышать веселую шутку, острое словцо и тонкую издевку над самой жизнью.

Кто-то широко мыслил, философствовал, писал книги, спорил по вопросам искусства или вздыхал о бедном народе, кто-то наживал миллионы...

— Тит, а ну, наподдай!

Тит, наполнив ковш квасом (не просто водой, а квасом, чтобы пробирало человека до простуженных костей), выплескивал его в раскаленную пасть каменки, облака жгучего пара взметывались к потолку.

— Го, го, го-о! Тит, иди молотить! — Брюхо болит. — Тит, иди кашу есть! — Где моя большая ложка... Го-го-го-о! Плесни, Тит, еще ковшичек.

Возвращались домой разморенные, вялой походкой; еще подходя к дому, кричали: — Матрена, самоварчик нам, чайку по стакашку. — Артельный самовар, ведра на два, опорожняли в один дых, не сходя с места, потом садились играть в «козла». Играли с чувством, с толком, с расстановкой.

— Чортова орясина, как ты ходишь, матери твоей пирога с горохом! С хлопя надо было выходить.

— С хло-опя! Поди-ка я не знаю с твое-то. Больно умен, поп Семен.

— А то нет, скажешь? Конечно, с хлопя! Тебе не в умственную игру играть, тебе мух ловить, да в гашнике вшей давить...

Шлепали просаленные карты, гудели голоса игроков, плавал над головами сизо-синий дымок «махры».

(Продолжение следует)

Гремит барабан

Роман¹⁾

ШАНДОР ГЕРГЕЛЬ

1

Скоро весна... Она стоит у порога. Еще две-три недели — и последние остатки льда исчезнут с улиц. Небо будет сверкать голубизной, деревья нальются соком, дороги высохнут.

Маленький школьник. Аспидная доска. Грифель. Как трогателен был этот маленький крестьянский мальчик в прошлом году! Он стоял где-то на окраине города и горько плакал. Крупные слезы катились по лицу. Стоял и ревел. О чем ты плачешь, малыш? Всклипывая и запинаясь, он рассказал, что мимо только-что пробежала большая собака и облизала его аспидную доску. А ведь на доске он написал свою задачу. Собака слизнула всю задачу целиком. Маленькая предвесенняя картинка.

Дорогу с обеих сторон окаймляют гигантские тополя, вздымающиеся к небу. За чертой города, уходя вдаль, тянутся ряды акаций. А дальше — ровные, бесконечные, монотонные поля. Огромным простором в тысячи, десятки тысяч йохов лежат поля.

Человек, погруженный в свои мысли, с устремленным вдаль взглядом, шел медленно.

В книге одного вернувшегося из России военнопленного он прочел, что в Сибири не огораживают дома заборами. Но о том, не сторожат ли тамошние

крестьяне с ружьем или с топором в руках свои участки, автор ничего не написал. Интересно: что там сейчас совершается? Правда ли, что жизнь у них теперь улучшается? Там под'ем, в то время как здесь все разваливается... Странно, странно...

Границы той страны далеко обходит чума, и только здесь, над полями умирающих стран, каркает, предвещая смерть, черный ворон. Почему? Какая там теперь жизнь?.. Самому надо бы посмотреть. Собраться бы, поехать туда, а на границе представиться:

— Явился, господа, сам, собственными глазами, поглядеть на ваши дела...

Он широко раскинул руки. Длинное, до щиколоток, желтое кожаное пальто натянулось на его крупном теле. Накрытая меховой шапкой голова откинулась назад. Так стоял он долго. Потом повернулся и той же дорогой пошел назад. Он шел окраиной города. На улицах ни души. Зажигались уличные фонари.

Навстречу ему шел молодой солдат. Тюремщик, судя по мундиру.

Это был круглолицый, загорелый крестьянский парень. Солдат отдал честь и остановился.

— В чем дело? Что тебе нужно, сынок?

Солдат стоял, как вкопанный. Он снова приложил руку к шапке.

— Имею честь представиться: Янош Мештер, ученик военной школы. — Рука его одернулась и, опустившись, хлопнула

¹⁾ Перевод с венгерского.

по бедру. Тихим, несколько хриплым голосом он спросил: — Вы не изволите припомнить меня, ваше высокоблагородие?

Янош Мештер... Ну конечно... мальчишка из Керестура. А теперь — ученик военной школы янычар. Их еще младенцами отрывают от семей и запирают в это заведение. Тогда, в далеком прошлом, много говорили об этой школе. Давненко это было. Тогда казалось, что эта затея будет удачным выходом из положения. Устроить школу для подготовки унтер-офицеров наподобие офицерских учебных заведений. Юнкера, учащиеся в военных училищах, становятся офицерами, а эти крестьянские парни — унтер-офицерами, кадровиками. Они могут дослужиться до подпоручика и получить золотую португую. С двенадцати до восемнадцати лет они живут там в школе, эти пятьсот крестьянских ребят. Каждый год сотня кадровых унтер-офицеров, с артиллерийской, кавалерийской, пехотной или военно-технической подготовкой, пополняет ряды войск. Мысль была неплохая. Когда-то, во время гражданской войны, этот малый целыми ночами трясся на повозке своего отца, выехавшего в ночной поход. Телеги громыхали, мальчишка взбирался на запряженную в телегу лошадь и ехал так, без седла. Настоящий волченок...

Ученик военной школы все еще стоял, вытянувшись, словно перед начальством.

— Здравствуй! — произнес наконец человек.

Будущий унтер-офицер отдал честь и, стоя навытяжку, пожал протянутую руку. Потом отступил назад и, щелкнув каблуками, снова отдал честь. Он благодарил за оказанное ему расположение.

— Куда ты идешь, Янош Мештер?

— Я искал вас на квартире, ваше высокоблагородие. Там мне сказали, что ваше высокоблагородие изволите гулять. Вот я сюда и пришел.

Выжидательно улыбаясь, он смотрел на собеседника.

— Ты — славный малый.

— О да, — ответил он скороговоркой, — господин комендант тоже говорил это. Я был первый в роте по поведению.

— Так, так, — произнес господин в кожаном пальто. — А как поживает твой отец?

— Ничего, живет. Он сказал мне, чтобы я не забыл зайти к вашему высокоблагородию.

— А ты сам конечно позабыл бы?

— Ах, нет! Я много раз думал об этом. Мы в школе часто говорили о вашем высокоблагородии. Но я не знал, дозволяется ли.

— А почему бы это не дозволялось? — в вопросе звучало раздражение.

— Позволю себе доложить, что господин офицер — всегда господин офицер. А мы только унтер-офицерами будем. Господин комендант внушал нам: «Не вздумайте только воображать себя кадетами. Не смейте мечтать об офицерстве...»

Господин в кожаном пальто успокоился, вынул папиросу и направился к городу.

Янош Мештер рассказывал о Мэзэхедеше, о военной школе. Вот, к примеру, ему задали на экзамене вопрос, как командир роты должен решить следующую задачу: в одной деревне начался бунт. Крестьяне, вооруженные лопатами, косами, кирками, овладели всей деревней и даже почтой. Некоторые из них были вооружены охотничьими ружьями. Были и рабочие, взявшие динамит на шахтах, заводе, в городе. Эту бунтующую деревню предстоит занять и усмирить...

Глаза парня блестели.

— А ну, скажи мне, почему же деревня взбунтовалась?

— Потому, что ее к этому подстрекали, — улыбаясь, ответил солдат.

Господин в кожаном пальто остановился: он глядел на юное сияющее лицо. Янош твердо выдержал взгляд. Казалось, он хотел сказать: ты меня можешь испытывать, и доверять можешь. Я исполню свой долг.

Он продолжал излагать свою задачу: бунтовщики нашли себе в деревне союзников, членов Левенте¹⁾. Правда, не вся Левенте перешла на их сторону, а

¹⁾ Левенте — фашистская полувойсковая организация в Венгрии.

только часть ее: дети бедняков и батраков. Сыновья кулаков шли вместе с солдатами¹⁾).

— А скажи-ка мне, что произойдет, когда крестьянин достанет себе оружие? Не какое-нибудь охотничье ружьишко, а манлихер? И не только манлихеры, а много оружия. Что тогда будет?

— Революция, — быстро ответил Янош Мештер.

— Революция? — барин поглядел на юношу. — Так, так... революция. Но тогда крестьянин начнет стрелять. Стрелять в вас. До сих пор вас учили, что только вы стреляете. А тебе разве не приходило на ум, что они вздумают отстреливаться?

Солдатик ничего не ответил.

— Мы... мы — не крестьяне: мы солдаты.

— Есть много солдат, у которых отец или брат находятся среди бунтовщиков. Как тогда?

— Ну, так что же? Мы не имеем ни отцов, ни братьев.

— А кого же?

— Родину и его светлость, господина верховного правителя.

— Значит, ты пойдешь против отца?

— Да, если он станет бунтовщиком.

— А что же крестьянам-то делать?

— Пусть сидят на заднице. — Впервые губы солдатика растянулись в улыбку.

— Но как же быть, когда у крестьян уведут последнюю корову?

— Ведь ее уведут по приказу. Как содержать государство, если никто налога не платит? У моего отца тоже описали хату.

Теперь они шагали по асфальтовому тротуару и скоро вышли на угол большой площади. Впереди, отливая красным огнем, сверкали зеркальные витрины ярко освещенного кафе. Шелковые занавески слегка смягчали резкий свет. Люди входили и выходили, через вращающуюся дверь вырывались на улицу обрывки цыганской музыки. Мимо кафе проходили роскошно одетые женщины и мужчины.

— Как красива, как хороша беззаботность этих людей! — сказал барин солдатiku, а может быть, самому себе.

— Видишь, столько здесь богатых, а твой отец, может быть, поддыхает с голоду. Его тебе не жалко? Им не завидуешь?

Солдатик хитро улыбался, словно хотел сказать: ладно, ладно, понимаю, это ты меня испытываешь, на каждый твой вопрос отвечаю... И сказал громко, что нисколько не жалеет отца. Нет времени, чтобы жалеть. Не стоит господам завидовать, никакой пользы от этого. Богатые всегда были, всегда будут. Также и бедные. От создания мира бедные ворчали на богатых беспрестанно, а верные солдаты укрощали бунтовщиков.

— Хозяин в деревне не сегодня — завтра станет нищим, — сказал раздраженно господин.

— Бережливость приносит достаток! — Парень засмеялся и подмигнул своему спутнику. — Легко ничего не дается. Через четыре недели я вернусь в свою часть и стану унтер-офицером. Кончается двухмесячный отпуск! После шести лет два месяца отпуска. После шести лет ученья — унтер-офицер. Верный кусок хлеба — на всю жизнь. Но все это даром не дается: частенько и меня угощали палкой. А то, бывало, стоишь, привязанный к столбу, на солнце, пока не закружится голова: тогда отвяжут, обольют водой и опять привяжут. Да, даром-то ничего не дается.

— Но ведь твой отец...

Будущий унтер-офицер остановился и, забыв о чиновничестве, поднял руку по направлению к барину. В этом детски-доверчивом жесте не было и следа военной муштровки. Казалось, юноша хочет открыть какую-то важную тайну.

— Прошу прощения, ваше высокоблагородие. Но верьте мне, вы, ваше высокоблагородие, ближе мне, чем даже родной отец. А ведь я давно вас не встречал. Почему это так? Потому что вы — барин: а ведь потому-то вы и понимаете меня так хорошо, что вы барин. Много лучше, чем мой отец.

Он стал навтыжку, словно ожидая приказа. Преданные, собачьи глаза его неподвижно уставились на барина.

¹⁾ Солдатик — условный перевод. Этим словом мы обозначаем учеников военных унтер-офицеровских школ.

Несколько ослабив напрягшиеся мускулы, он продолжал:

— Его преподобие, полковой священник, не раз внушал нам: «Берегитесь, чада мои, тех, кто твердит вам о бедности. Нужда, зависть и вкрадчивая красная пропаганда вскружили им головы. Все они ждут спасения от красных. И хоть многие из них не сознают этого, но их душа уже отравлена красным ядом. Придет к вам агитатор, наудит вам в уши, вот беда и пришла...»

Он умолк и взглянул на своего собеседника.

— Дома, в деревне,—продолжал он,— я во время отпуска вытаску парочку таких молодчиков за ушко да на солнышко.

— Красных?

— Ну, да.

— А разве есть такие?

— Найдется несколько.

— А сейчас куда идешь?

Юноша несколько смутился. Он отвел глаза и сказал, что до полуночи ему делать нечего. Поезд его отправится только на рассвете. У поста на шоссе он выпрыгнет из вагона—тут поезд еле-еле ползет,— а оттуда только два часа ходьбы до дому. Теперь ему до четырех часов утра нечего делать.

— Ну, так желаю тебе всего хорошего.

Солдатик вытянулся в струнку, отдал честь и смущенно протянул руку.

— Покорно благодарю!—по-военному повернулся и быстро зашагал по улице.

Потомственный и почетный дворянин, витязь витязей¹), Матэ Дулаи-Дула долго смотрел ему вслед. Солдатик давно уже исчез из глаз, а высокий господин все еще стоял у под'езда своего дома.

Четыре окна этого дома выходили на улицу. Они не были освещены.

За тяжелой, обитой железом, дверью под'езда—никаких признаков жизни. Казалось: Матэ Дулаи-Дула стоит на

часах у ворот мрачного замка, тюрьмы... Он медленно повернул голову.

Позади него, прижавшись к стене, молча стоял крестьянин в черном платье, в сапогах и меховой шапке. Когда Матэ Дула повернулся к нему, крестьянин вытянулся, поднял широкие плечи. Правая рука его дотронулась до шапки. Так он стоял молча,— красивое смуглое лицо его улыбалось, большие черносиние усы вздрагивали от радости.

— Добрый вечер! — тихо произнес он.

— Здравствуй,—и, схватив словно ла, подойдя вплотную и внимательно всматриваясь в крестьянина. Устремленный преданный взгляд словно согрел его: мрачность витязя рассеялась. Улыбаясь, он повторил:

— Здравствуй—и, схватив словно приросшую к шапке руку крестьянина, он потянул ее вниз и крепко пожал. — Ты ко мне пришел, сын мой?

— Честь имею доложить...

— Оставь! — отмахнулся тот и, помолчав, сдержанно-ласково промолвил:— Значит, ты пришел ко мне, потомственному и почетному дворянину, витязю витязей, Матэ Дулаи-Дула, ротмистру в отставке...

Отбарабанив иронически свой длинный титул, он вынул папиросу, а другую предложил гостю. Но крестьянин отказался,— он не курил.

Задумчиво попыхивая папиросою, Матэ Дула старался что-то вспомнить. И вдруг у него вырвалось громкое радостное восклицание.

— Господи! сын мой! Бенце!.. Шандор Бенце! Я едва вспомнил, как тебя зовут.

От крепкого пожатия хрустнули у обоих руки.

— А ведь я не узнал тебя, сын мой...

— И не удивительно. Ведь господину ротмистру приходится иметь дело со столькими людьми...

— Приходилось.. А теперь редко когда кого-либо увижу.

И когда взгляд господина встретился с преданно глядевшими на него черными глазами, лицо его снова просветлело.

— Так, значит, ты ко мне пришел?

¹ Витязь, правильнее, витэз, — по-русски герой, — старый, средневековый титул, после революции венгерские фашисты вновь ввели его в обиход.

— Так точно, если я вас не беспокою.

Матэ Дула, взяв гостя под руку, повел его в под'езд. Они прошли через длинную стеклянную веранду. В передней старая служанка помогала хозяину снять кожаное пальто. Бенце снял только шапку. Ковры, мебель, покрытая чехлами, и тишина, холодная, сырая тишина комнат...

Неожиданно дом наполнился людьми. Застучали шаги, какие-то непонятные слова донеслись из-за открывшейся двери. Старая служанка в белом переднике ввела посетителей.

На пороге появился жандармский офицер, — щелкнул шпорами.

— Здравствуйте! Что угодно? — сухо произнес хозяин.

Офицер смущенно улыбнулся и протянул бумагу.

— Прочти вслух сам! — отмахнулся Матэ Дула.

Офицер посмотрел на крестьянина.

— Читай же! — настаивал хозяин.

В бумаге было сказано, что жандармскому управлению предписывается проинвестировать обыск в этом доме. Обыск имеет целью обнаружить будто бы скрываемое здесь оружие.

Офицер вышел и тотчас вернулся с каким-то человеком. Стоя в дверях, он представил хозяину своего спутника, старшего инспектора будапештской политической полиции. Оба они стояли в ожидании.

Матэ Дула сел и сделал знак Бенце последовать его примеру. Он взял книгу и начал ее перелистывать. Офицер обернулся к нему.

— Итак, мы, согласно приказа, приступим...

— Пожалуйста, — перебил его хозяин. — Тебе дадут ключи от пристройки.

— Можно процедуру упростить. Скажите сами, имеется ли в доме оружие, и если да, то где оно? — спросил сыщик.

Матэ Дула встал с кресла и вытянулся во весь свой огромный рост. Крупное тело его напряглось. Худощавое, бритое лицо дрогнуло. Он с ног до головы окинул презрительным взглядом сы-

щика. Потом, ничего не сказав, снова уселся, и глаза его погрузились в страницы открытой книги.

2

Ворота паровой мельницы распахнулись. Медленно выкатился тяжелый воз и остановился у тротуара. Ворота снова закрылись. Привратник, лениво передвигая ноги, подошел к нагруженному возу и стал его осматривать. Белые мешки с мукой лежали правильными рядами. Возчик долго возился, поправляя сбрую на паре штирийских тяжело-возов.

— Слушай-ка, хорошо бы прикрыть воз-то. Не пошел бы снег, — сказал привратник.

— Снег вряд ли пойдет. А вот дождик — пожалуй...

— Тем хуже.

— Я тоже так думаю. — Возчик вытянул из-под сиденья огромный брезент и, накинув его на воз, крикнул: — Не беспокойся. Я сам привяжу.

— Ну, спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Оставшись один, возчик крепко привязал все четыре конца брезента к углам телеги. Потом оглядел свою работу, почесал голову, отвязал веревки и, не спеша, отдуваясь, начал все сызнова. Кончив, он свернул цыгарку, медленно зажег ее и в третий раз принялся прикрывать мешки. Ругался. Лошади нетерпеливо переступали с ноги на ногу. Целый час возился около телеги, приготавливаясь в путь. Наконец встал на козлы и взял в руки бич. Но тотчас же слез на землю. Надо было привязать к задку телеги и к дышлу сигнальные фонарики. Это предписывалось правилами дорожного движения. В конце концов тяжеловозы тронулись.

Возчик надвинул шапку на уши. Сменив цыгарку на трубку, он поглядывал на улицу, на спящий город, на озябших прохожих.

Было уже за полночь. От'езд с мельницы задержался на целых полтора часа. К счастью, дорогу только слегка запорошило. Надо было во-время вернуться домой.

Пара гигантских коней пошла рысью. Топот огромных копыт гулко раздавался в ночной тишине. На окраине с возом повстречались и скрылись верховые полицейские.

Возчик был огорчен опозданием... Кто-то должен был притти, но не пришел. Чтоб его чорт побрал! Как видно, испугался. Эх, уж эти горожане! Никогда не знаешь, чего от них ожидать... Этот, ясное дело, струсил, а теперь вот неизвестно, что сказать тому, кто ждет дома. Да еще поверит ли? А вдруг подумает, что это Антал Пустай труса спраздновал и не привез пакета.

Воз громыхал уже по шоссе. Не было видно ни зги. Даже деревья, стоявшие по краям дороги, тонули в черной тьме. Дул слабый ветер.

— Нанесет-таки снегу... — подумал Пустай.

— Чтоб чорт забрал этого прощаль-гу! — Он несколько раз сплюнул и, с'ежившись, уставился на мощные, равномерно вздымающиеся и опускающиеся зады лошадей.

Внезапно сбоку из тьмы выступила черная тень. Она бесшумно бросилась к возу, побежала рядом на цыпочках, хотела влезть на него сзади, но, попав в полосу света фонарика, тотчас же отскочила. Потом тень стремительно подалась вперед и, крепко ухватившись за грядку телеги, крутым прыжком взметнулась на воз. Неожиданный человек дал знак возчику не останавливаться. Он шопотом произнес какую-то нелепую фразу. Кажется, пароль. Возчик, успокоившись, ответил несколькими условными словами, весь день и весь вечер обжигавшими ему язык. Теперь эти слова прозвучали освежающе и успокоительно.

— Да где ж ты, у бога в душе... — начал он.

Человек улегся на животе. Голова его почти касалась возчика.

— Не ворчи, братец! Сейчас все расскажу.

Он вынул два пакета и, передавая, попросил их спрятать. Надо спрятать порознь. Он подержит вожжи, лишь бы не останавливались лошади... Пустай, пыхтя, возился под сиденьем: ему при-

шлось поворачивать тяжелые мешки, чтобы засунуть под них пакеты. Покончив, он снова уселся на место и взял вожжи.

— Так где же ты, у бога в душе, так долго замешкался? — сказал он снова. Он ничуть не сердился, но надо же было что-нибудь сказать, а просить было не о чем: только и оставалось, что выругаться.

— Ладно, братец, — засмеялся незнакомец: — скажи-ка мне лучше, не хочешь ли тебе попасть в лапы жандармам?

— Этого только божий конь захочет...

— Божий конь. Что у тебя бог с языка не сходит?

— Бог-то?.. А божий конь это — осел. Когда я про божью коня говорю, я про того осла думаю, на котором Иисус в Иерусалим в'езжал.

Оба засмеялись. Пришелец все еще лежал на животе. Наконец он тихо произнес:

— Слушай. Я потому не пришел на мельницу, что видел, как там шныряют какие-то подозрительные типы. Понимаешь? Видел я там одного солдата. Он носит форму, как тюремная стража, но только он молодой. Слишком молод для тюремщика. У него круглое загорелое лицо. Я видел, как он перед этим прогуливался вечером с Матэ Дула. А ты знаешь, кто это такой? Он когда-то палачом был. Так вот с ним-то и гулял этот солдат. Еще несколько подозрительных типов заметил около мельницы. Должно быть, сыщики... Правильно, что не пришел?

— Еще бы!.. Чорт побрал...

— Так вот. Расскажи об этом дома. Не забудь ни солдата, ни остальных. Скажи, надо быть на-чеку.

— Будет сделано...

— Хорошо бы один пакет, — тот, что покрупнее, — отдать кому-нибудь по дороге: именно большой пакет. Или, может быть, ты сможешь где-нибудь спрятать его, не доезжая до дому?

— Будет сделано.

Они умолкли. Незнакомец тяжело дышал рядом с возчиком. Что это он вдруг помрачнел, этот веселый дру-

жок? — думал Пустай. — Если бы не так темно было. Тут такое чудное дело обделываешь с незнакомым, и даже лица не рассмотреть...

— Слушай, ты знаешь Андраша Кираля? — вдруг спросил незнакомец.

— Знаю, — ответил возчик.

— Передай ему большой пакет или скажи, где он спрятан. — Он минутку молчал. — Понимаешь? Только ему, никому другому.

— Понимаю.

— А маленький пакет ты отдашь тому, кто направил тебя ко мне. Если кто-нибудь, может, даже жандарм, спросит у тебя о большом пакете, ты скажешь, что ничего не знаешь.

— Жандарм? — Пустай вздрогнул.

— Да, жандарм, — твердо звучал ответ. — А что, испугался?

— Я? Чорт возьми! — И схватил бич.

Незнакомец, смеясь, обнял возчика за шею и притянул к себе.

— Ладно. Значит — никому. Кто тебе говорил о пакете — Пали?

— Ну да, он...

— Так вот, отдашь ему маленький. О большом не говори ни слова. Ну, покойной ночи! — незнакомец резким прыжком соскочил с телеги. — Не оставляйся!.. — И исчез во тьме.

Дорога змеилась, пробираясь сквозь чащу леса, подступавшего к ней с обеих сторон. Ветер выл в деревьях, раздирая ветви. Пошел снег. Сначала он падал отдельными, медленными хлопьями, потом сильнее, гуще.

Штирийцы бежали по белой дороге. По ней убегали вдаль и блуждающие глаза Пустая.

3

Обыск продолжался несколько часов. Полицейские разрыли все, простукивали стены, полы, потолки, бегали на чердак. Большой, мрачный дом сотрясался от тяжелых шагов. Около полуночи все стихло.

В комнату вошел жандармский офицер и отчеканил:

— Обыск окончен. Результат вполне оправдал мои ожидания. Ничего не найдено.

Матэ Дула, развалившись в кресле, смотрел на офицера и ничего не ответил. Ротмистр приблизился к креслу и уже менее официально сказал:

— Дружице, не сердись на меня, пожалуйста. Приказ есть приказ...

— Ладно! — Матэ Дула закусил губы. — Передай мой привет твоим хозяевам.

Проводивши жандарма, старушка в белом чепце вновь заняла свое место в передней. Ночью она оставалась единственной служанкой во всем доме. Остальная прислуга приходила только днем. Круглое, морщинистое лицо ее было напряжено, глаза бегали по буквам казенной бумаги. Это был протокол обыска, составленный жандармским офицером.

Войдя в кабинет, она отдала бумагу хозяину. Спросила, что подавать ему и гостю. Он приказал принести хлеба, колбасы, вина. В комнатах царила тишина. Старуха, выполнив приказание, вернулась в переднюю, достала белье для починки, нацепила на нос очки и вдела нитку в иголку. Вдруг все огни потухли. Служанка встала. Заковыляла к выключателю. Несколько раз повернула его. Электричество не загоралось.

В переднюю гулко отдающимся шагами вошел хозяин.

— Принеси свечу!

Матэ Дула подошел к телефону. Снял трубку. Подождал, прислушиваясь. Телефон был глух и нем. Дело ясное: электрические провода перерезаны, телефон выключен. Чистая работа!

В течение некоторого времени собеседники сидели молча при мерцающем свете свечи. Крестьянин первый нарушил тишину:

— Не могу понять, как они смеют...

— Что смеют, сын мой? — Хозяин внимательно посмотрел на гостя.

— Вот все это... — проговорил тот, тербя усы. — Входит такой вот.. сюда. А ведь у него несколько лет тому назад дух бы захватило, если бы господин ротмистр только взглянул на него... А теперь...

— Давно это было...

— Но и будет еще...

— Да, но не для нас.

— Нам только руководство нужно. Я только за этим пришел. Господин ротмистр, на селе есть еще наши братья. Мы только покинуты на произвол судьбы. Потому я и пришел... Только единственность...

Хозяин махнул рукой. Все это напрасно. Своей судьбы не изменишь.

Крестьянин вскипел, бешено застучал по столу. Напомнил о многих сотнях разорившихся крестьян, о бунтующем народе. Налоги давят, судебный исполнитель в гроб вогнать готов крестьянина, разгораются страсти. Только бы найти вожака, и люди опять вскочат на телеги, как в двадцатом году. Появится зарытое в землю оружие, только теперь повернут его против действительных врагов, против жандарма, сельского начальства, помещика... Только вождем нужен. Вся округа сюда смотрит: отсюда ждет сигнала...

— Нет, — сказал тихо Матэ Дула, — нет. Сегодня время другое. Бетлен хитро довел до конца свое дело. Крестьян оставили ни с чем, а банки снова стали хозяевами. Вожжи в их руках. Пикнуть смеешь — дюжина шпиков хватит за горло. Банки не шутят. Каждый хозяин — банковский должник, каждое хозяйство — банковская колония. И они охраняют свое добро — им нужны порядок, спокойствие, чтобы капиталы с процентами были в безопасности. Крестьяне, хозяйство нужны только для умножения банковского богатства, государство служит помощником в уничтожении крестьян. Безбожно аккуратно сделал свое дело Бетлен. Последнюю винтовку вырвал из наших рук, а мы даже не заметили. Одни что мы можем предпринять? Пустыми руками, одни! Подождем!

— Вы не один, — взволновался крестьянин. — Вся округа...

— Ладно, сын мой, — вся округа... Но только крепкие хозяева. А ведь имеются и другие. Мы и их должны принять в расчет. Землекопы, сельскохозяйственные рабочие, батраки, поденщики...

— Они тоже не на господской стороне.

— Это правда, но дай оружие им в руки, и вернется господство красных. Пришлось бы опять их раззвать. — Он взглянул на бледное лицо крестьянина, смутился, попробовал улыбнуться, шуткой сгладить вспышку гнева.

Хозяин встал и зашагал по комнате. Мягкий голос его звучал все жестче и резче. — Тогда бы скоро наступил такой день... Как ты думаешь, сын мой?.. Теперь, теперь дать оружие в деревенские руки! Разве ты не видишь, что даже у меня они ищут оружие. Они думают, что и я тоже... Ослы! Они не знают, что я, мы, вы были бы лучшей плотинкой против красных. Эти ослы обыскивают меня, но придет время, когда они сами принесут ко мне оружие. Ко мне, к нам. Но до того они успеют испакостить всю жизнь — эти скаредные слепцы. Теперь они забирают все себе, а сельские хозяева подыхают. А когда уже нельзя будет продолжать эту политику, тогда снова позовут нас. Но тогда мы не только красных уничтожим, а схватим за шиворот и картели и банки.

— Господин ротмистр, — перебил Бенце, поднявшись, но Матэ Дула только отмахнулся.

— Пусть отбирают у меня оружие. Пусть и у тебя отбирают. Ничего... Придет день, когда мы опять пойдем сомкнутым строем.

Тяжелыми шагами подошел он к письменному столу, взял с него книгу и высоко поднял ее.

— Видишь ты эту книгу? Это коммунистический роман. Один пештский писал. И этакое разрешают! Этим управляют народ. В конце концов пропаганда и вам голову вскружит. Берегись, сын мой, не потеряй головы. Власти хотя и наши враги, но главная опасность грозит слева. И если мы не будем держать ухо востро, коммунисты нас уничтожат. До последнего человека. Нас в первую очередь. Они не забыли, что наши в двадцатом году сделали с ихними.

Худощавое, бритое лицо ротмистра окаменело. Морщины легли вокруг рта. Брови насупились.

Они долго молчали. Наконец Бенце встал... Часы указывали час пополудни, ему нужно на вокзал... Хозяин молча открыл окно, высунулся наружу и, опустив занавеску, вынул маленький карманный фонарик. Дремавшая в передней старушка испуганно вскочила и в смущении нагнулась над лампой.

— Нет... не сюда. — Матэ Дула потянул Бенце назад от окна.

Они прошли через двор, потом через сад. Матэ Дула открыл маленькую железную калитку в каменной садовой ограде. Шандор Бенце остановился, почтительно повернулся к хозяину дома и, сдвинув ноги, приложил руку к шапке. Матэ Дула наклонился к нему, обнял его и тихонько вытолкнул в калитку.

4

Заря уже занималась, когда воз под'ехал к железнодорожной насыпи. Непромокаемая крышка кое-где уже обвисла складками — по дороге Пустай выгрузил несколько мешков муки в одном из отделений потребительского общества. Он пропустил два стаканчика водки и поехал дальше. Лошади пошли веселее.

Он боялся. И не о себе беспокоился Пустай, а о пакете. А также о Маргит. Хорошо ли он поступает, впутывая девушку в такое дело, через которое она, пожалуй, попадет в беду? Стоит только жандарму отвесить ей пару пощечин, как она все выдаст. А то и так, без рукоприкладства выдаст. Ведь этих баб нетрудно согнуть в бараний рог.

Пустаю хотелось спать. Бездумно смотрел он вперед. Колокольчик позванивал. Деревья по краям дороги были окутаны паром. Снег кое-где раскис, и из-под конских копыт брызгала грязь.

— Ты спишь? — Пустай вздрогнул и со сна схватился за бич. Лошади остановились. У воза стояла Маргит, закутанная в толстый черный платок. — Ты спишь? — повторила она, смеясь.

— Чорт... — Пустай не мог прийти в себя. Тело его очоенело от дремоты и холода.

Девушка хохотала, как будто ее щекотали. Пустай ударил по лошадям, но,

опомнившись, снова натянул вожжи. Вытащив из сумки буханку хлеба, отдал ее девушке. Это был его обычный еженедельный подарок. В соседней деревне за провоз и выгрузку муки он получал, кроме двух стаканов водки, еще буханку хлеба. Маргит ждала хлеба на дороге каждую субботу утром. Маргит... закутанная в толстый платок, обутая в сапоги, краснощекая... Пустай не мог дожидаться весны. Только тогда девушка, словно из скорлупы, вылупится из этих толстых тряпок, сапогов... Тогда будет славно здесь ранним утром на безлюдной дороге, одному с этой девушкой. Пышной травой обрастет придорожная канава. Деревья покроются густой листвой. Хутор лежит далеко от дороги, сюда ни один взгляд не проникнет... А то может и так случиться: он пойдет в гости на хутор. Почему бы батраку и не навестить бедных хуторян? Ведь она девушка на выданьи, да и ему тоже пора жениться. Только бы улучшилось времячко! Имре Пензеш-Варга не для того держит работника, чтобы пускать на гулянье. Эх, чтоб его божий конь лягнул. Вот уж полгода, как продолжаются эта игра с Маргит и минутные разговоры на большой дороге... Парень соскочил на землю и с неудержимой радостью запрыгал вокруг воза, словно стараясь отогреться. Размахивая руками, он ухитрился шлепнуть девушку пониже спины и схватить ее за грудь. Маргит визжала, жеманно посмеивалась, но не отстранялась. Чтоб чорт унес эту зиму. Вместо груди только толстый платок... Эх, весна бы, весна поскорей приходила...

Рассерженный, он сильно хлестнул по лошадям и попридержал.

— Слушай... — начал он, рассеянно оглядываясь по сторонам. Но вдруг он заметил на снегу следы двух пар сапогов. Парень крикнул и сплюнул, всматриваясь в следы. — Слушай... кто тут был с тобой?

— Мой отец.

— Отец? А где же он сейчас?

— Он пошел в село. К сельскому начальнику. А потом он зайдет на мельницу молоть пшеницу.

— На телеге?

— Пешком, — улыбнулась Маргит. — Всего смолоть-то десять кило! Последнее. Где ему взять телегу?

— Почему он не подождет меня?

— Ты его и так нагонишь. Он сказал, что незачем ему дожидаться. Ведь ты все равно не к нему на свиданье идешь. — Платок сполз на затылок девушки. Русые завитки дразнище вились над лбом. Улыбаясь, она ждала, преданная и покорная.

— Ведь ты не ему это даришь, — промолвила она, указывая на торчащий у нее подмышкой хлеб.

— Ах, чтоб его божий конь... — Лицо парня исказилось. Он опять вскочил на козлы, схватил в обе руки вожжи и хлестнул по горячившимся лошадям. Колокольчик заплясал, как бешеный, загромыхали колеса.

Девушка долго глядела ему вслед. Она плотнее закуталась в платок и укрыла им хлеб. Искаженное волнением лицо парня стояло, как живое, перед ее глазами. Прошлой осенью сын Имре Пензеш-Варга повалил ее на землю за стогом сена. Она защищалась когтями и зубами. Только тем и спаслась. Да и другие ушли от нее ни с чем. А вот этот парень... И почему это так?.. Да, он... он хороший. Он порядочный парень. Что ж, дочь бедного хуторянина как-раз ровня батраку.

Отойдя несколько шагов, Маргит встретила мать. Она везла пустую тачку. Поровнявшись с дочерью, остановилась и взглянула на нее.

— Маргит, — в испуге воскликнула она, — а хлеб-то?

Девушка приподняла платок. Драгоценное, хорошо укрытое сокровище отливало золотой корочкой.

— О чем ты говорила с ним? — спросила, успокоившись, мать. Она уже улыбалась.

— Что-то с ним не ладно, — смущенно краснея, промолвила девушка.

5

Кэрако ожидал в прихожей. Он сидел на длинном деревянном диване, устремив глаза на пол.

Ему хотелось сплюнуть, но не смел. Чтоб чорт побрал эти благородные дома. И зачем только тебя заставляют сидеть здесь? Начищенные полы, картины сельского начальника раздражали его.

Кэрако громко крикнул, подошел к двери и сплюнул во двор.

В прихожую вошел общинный служитель; он должен был дежурить в канцелярии, но сейчас рано, только половина девятого.

— Доброе утро.

— Доброе утро, — ответил Кэрако, взглянув на него.

У служителя были белокурые усы и круглый животик.

Смотри-ка, он уже стал смахивать на старшего общинного служителя. Через полгода их будут принимать за родных братьев. Оба хорошо упитанные, с жирными лицами, с обвисшими усами. А ведь этот Габор Шош лет на десять моложе своего товарища. Он всего три года служит в общинном правлении, а брюхо уже отрастил.

— Вы ждете господина сельского начальника? — спросил общинный служитель.

— Да, да! — ответил Кэрако, посмотрев на дверь.

Служащий, тупо глядя перед собой, сосал свою трубку.

— А что вам от него нужно? — спросил он вдруг.

Нет, это сельскому начальнику что-то нужно от Кэрако. Это он велел передать ему через человека с соседнего хутора приглашение явиться к нему на квартиру. Сегодня в восемь часов утра. Зачем? Наверное дело касается работы. Начальник уже месяц назад спрашивал его: «Послушайте, Кэрако, сможете вы нанять человека сто для земляных работ?..» Почему бы и нет. Кэрако сам был землекопом, да и теперь им остается, хоть и стал батраком на хуторе у Имре Пензеш-Варга. Сто человек? Да хоть пятьсот! Так он и сказал тогда сельскому.

— Дело есть к нему, — загадочно бросил он служителю.

Они снова помолчали. Кэрако похлопал пустой трубкой по ладони и поко-

тился на Габора Шоша. Если этот толстопузый не понимает столь ясного намека — пусть сам дьявол отсыплет ему табаку. Кэрако еще плотнее уселся в своем углу. Служитель сел на другом конце дивана. Он крикнул, вынул свой огромный красный носовой платок, плюнул в него и оглушительно высморкался.

— С работой вряд ли что-нибудь выйдет, — сказал он.

— С какой работой? — невинно спросил Кэрако. Но сердце его сжалось, когда он глянул на насмешливое лицо собеседника.

— Да с той, на которую вы рассчитывали.

Кэрако уставился в пол. Так, так, значит, с работой не ладится? Дело идет о проселке. Широкий, в шесть метров, проселок должен будет соединить две параллельные дороги и разделить на две части четыре тысячи йохов господской земли. Нужно набрать сто человек рабочих. Работа теперь дешевая. Сорок хеллеров за кубометр. Но даже за эти деньги народ прибежит. Почва тут легкая; человек в день шесть кубометров может вынуть, значит, с рассвета до ночи можно заработать два пэнге сорок хеллеров. А за организацию всего дела он просит только мешок пшеницы да поденную работу на всю зиму. Не на эту зиму конечно, ведь уже февраль на исходе, на будущий год... Так, значит, что-то не ладится?..

Кэрак молчал. И снова вынул пустую трубку из рта.

— Там сейчас Ференц Йоярт, — указал на дверь служитель. И вокруг глаз его легли веселые морщинки.

— Йоярт? — переспросил Кэрако и беспокойно ткнул трубку обратно в зубы.

Значит, действительно плохо дело. Уж если там этот Йоярт, пожалуй, все пропадет.

Голубоватый дымок медленно вился из трубки служителя вверх к потолку. Он чмокнул, затянулся и с удовольствием чихнул. Молчание его дышало чувством неизмеримого превосходства. Ни с того ни с сего он вдруг ощутил потребность облагодетельствовать своего соседа.

Вынув кисет, он осторожно похлопал по нему ладонью и поднес к носу Кэрако. — Вот, набейте-ка себе трубку.

Большая жилистая рука Кэрако нервно рылась в табаке. Набив трубку, он поглядел на собеседника. Что он может знать? Ничего. Не сообщает же начальство свои решения каждому подчиненному. Ему, Кэрако, начальник велел явиться сюда, и вот он пришел. Но горничная велела ему подождать. Кто-то, мол, уже сидит у господина начальника.

В пять часов утра Кэрако ушел, не позавтракав, из дому, только в сумку положил кусок хлеба и взвалил мешок на плечи. Последние десять кило пшеницы. Он отнес их на мельницу и попросил смолоть зерно после обеда, тогда он придет за мукой.

Может быть, он неправильно сделал? Эти господа какие-то странные. Для сельского начальника, может быть, доставляет удовольствие вставать вместе с коровами, на рассвете... Уж раз ты барин, так нечего тебе вставать в шесть часов, дрыхни... Кэрако начал сердиться на сельского начальника за такое негосподское поведение и вдруг почувствовал, что ему страшно, что сердце его испуганно бьется... Будто услышал, как Ференц Йоярт говорит ему: вы слишком поздно встали... Кэрако сидел в грустной задумчивости.

Если бы он не пошел сперва к Андрашу Киралю с этим пакетом, то пришел бы раньше и не опоздал. Но мог ли он отказать Пустая в просьбе? Парень, ведь, заслужил этого. Разве он не дарит девочке каждую неделю по ковриге хлеба? И не одной Маргит дарит хлеб, а всей семье. Так можно ли ему отказать? А как он погонял лошадей, чтобы догнать его!

Кэрако вспомнил покрасневшее от волнения лицо Пустая. Возчик остановил быстро бежавших лошадей. Кэрако влез на телегу, поглядел на парня... Положил своей мешок с пшеницей, развязал. Пустай засунул в него длинный, завернутый в бумагу, пакет, так что пшеница совсем скрыла его.

— Скажите Андрашу Киралю, что я послал этот пакет. Но никому другому

не отдавайте. Потом скажите ему, что из города велели передать: может случиться беда. Будьте на-чеку, надо быть осторожным.

— А что в нем? Что-нибудь...

— Сам чорт не знает, — растерянно ответил парень.

Не доехав до села, Кэрако слез, свернул с большой дороги и прошел по лугу на другой конец села. Медленно плетясь, тихо повторял про себя то, что ему было поручено сказать. Внутри у него все кипело от злости. А вдруг он опоздает, и эта жирная свинья позовет кого-нибудь другого? Да нет... с чего ему опаздывать? Ведь он, по-крайности, полчаса выиграл, проехав на телеге. Иди он все время пешком, так сейчас эва где еще был бы!

— Эй, браток!

Во дворе стоял высокий, смуглый парень. Голый до пояса, он натирался снегом.

Анраш Кираль посмотрел на него, вытерся досуха и, поманив его за собой, прошел в дом. Озираясь, Кэрако вытащил пакет из мешка и заботливо вытряс в ладонь приставшие к бумаге пшеничные зерна. Потом тихо пробормотал:

— Весть от Пустая.

И ушел.

Выходя со двора, огляделся по сторонам. Только парень глядел ему вслед из глубины кухни.

— Эй, Кэрако, заснул, что ли? — насмешливо спросил общинный служитель, отбирая у Кэрако кисет.

Дверь отворилась. На пороге появился, держа шапку в руках, здоровенный Ференц. Костлявое лицо его со светлыми, как лен, усами сияло довольством. Пронирливые глазки искали встретиться с печальным взглядом Кэрако.

Теперь все равно, Йоярт слизнул у него работу из-под носа. Это так и есть. Напрасно он здесь сидит. Но нельзя же ему бежать отсюда, не сказав ни слова. Этак не годится. Кэрако медленно поднялся и старательно вдавил в трубку недокурный табак. Постучал в дверь и, услышав: «Войдите», переступил через порог.

Кэрако очутился в большой, устланной ковром, комнате. Посередине стоял большой стол, у стены — огромный резной шкаф, диван, много стульев. На диване с сигарой в руке сидел Имре Пензеш-Варга. Он смотрел на вошедшего, поглаживая рыжие, пышные усы. На поклон Кэрако не ответил. Сельский начальник сидел у окна в кожаном кресле за столиком, уставленным едой и вином. Руки его были сложены на огромном животе, жирное лицо с двойным подбородком блестело. Маленькие запявшие глазки добродушно улыбались.

— А вы проспали, Кэрако! — сказал он немного погодя.

— Ах нет, уверяю вас. Я здесь уже целый час, — сказал Кэрако, стоя в ожидании посредине комнаты. Мог ли он проспать? Да найдется ли во всей округе более трудолюбивый отец семейства, чем он? Да хоть бы само небо провалилось — он в жизнь не позволит себе опоздать на работу. Нет, нелегко это... Кэрако смотрел на жирную тушу, вложив в свои слова всю силу убеждения.

— Здесь был Йоярт. Работу взял он, — небрежно уронил он.

— А что можете предложить вы? — неожиданно спросил сельский начальник и покосился на Кэрако. — почему бы вам не назвать своей цены?

Имре Пензеш-Варга зашевелился. Тяжелые сапоги его вытянулись вперед по блестящему, как зеркало, полу.

— Да вот еще что, — произнес сельский начальник, — мы заключаем договор не сдельно, а поденно, я плачу два пэнге.

— Работать от зари до ночи? — спросил Кэрако.

— От зари до ночи — подтвердил сельский начальник. — Ведь в марте дни еще не очень длинные. И когда человек работает поденно, он ведь не станет убиваться на работе.

— Ладно, — согласился Кэрако, медленно поднимая глаза.

— И еще я вам говорю: вы получите не центнер пшеницы, а полцентнера.

— Как же, ваше благородие? — умоляюще начал Кэрако. Он почти зады-

хался. Глаза его испуганно перебежали с толстого угловатого лица Имре Пензеш-Варга на ковер, потом на сельского начальника. — Ладно, — простонал он наконец.

— Так вот значит: два пэнге.

— И поденную работу на зиму, — робко напомнил Кэрако.

— Какого еще дьявола? — загремел вдруг Имре Пензеш-Варга. — А что же будет с хутором! Может, мне тебе и помещение, и корову, и целый йох кукурузного поля задаром отдать? Так, что ли? Тебе и там на зиму работы хватит. За харчи.

— Да... ну хорошо... — жалобно пробормотал Кэрако. — Уж пусть так. Ладно...

— Вот видишь, — произнес сельский начальник, — понятливый мадьяр ты.

Кэрако вспыхнул: целую зиму ему придется корпеть за харчи, за какие-то об'едки. А семья? Четверо детей, жена... Еще не прошло и шести месяцев, как нанялся к Имре Пензеш-Варга, на честное слово, без договора, а теперь этот скряга хватает его за горло.

— Два пэнге в день. В день не меньше шести кубометров выработки, — продолжал сельский начальник.

— Шесть? Ваше благородие...

— Шесть, и ни на палец меньше, — повторил сельский начальник. — Йоярт на это согласен. А уж если он согласен... Ты ведь знаешь, он социалист.

— Ты мой работник, и получишь эту работу, — вмешался Пензеш. — Я за тебя хлопочу.

— Выходит, тридцать три хеллера за кубометр, — с трудом произнес Кэрако. В груди у него кипело, глаза были сухи. Он поднял голову и, почти задыхаясь, простонал:

— Это невозможно! За эту цену я не возьмусь вербовать рабочих. Это же будет, — это будет настоящее... — он подыскивал подходящее слово, — живодерство. Ведь я тоже, извините, землекоп. Что же, нам подыхать, что ли, извините за выражение? А кто ж тогда будет на господ работать? — Он тяжело выжимал из себя слова.

— Ну так и убирайся к чорту, — отрезал сельский начальник. Но, когда Кэ-

рако повернулся, он издевательски крикнул ему вслед:

— Не хотите ли выпить с нами стаканчик водки?..

Взвалив мешок на плечи, Кэрако молча вышел во двор. Ладно, хлеб у него еще есть.

6

Жена Кэрако отвезла пустую тачку на конную мельницу и среди грохота жерновов прокричала в ухо старому мельнику, что за мукой она придет после обеда.

На обратном пути она в замешательстве остановилась на улице. Ей хотелось пройти на базарную площадь; наверное, муж ее там. Но пройти по главной улице она не решалась. По обеим сторонам улицы протянулись еврейские лавки, и у каждой она в долгу... «Клянусь вам богом, господин Ликли, я все выплачу к рождеству... Да поможет мне господь, сосед Ориштен, потерпите еще разок, до нового года... Теперь ведь уже конец февраля...» Да и откуда ей взять денег? Ведь муж ее никак не может достать работы...

Неукротимый гнев на мужа овладел ею: «Этот вислохвостый каждому позволяет издеваться над собой... Но, чорт возьми, уж и вцеплюсь же я ему в вихры! По горло я им сыта, остолопом этаким...» Стоя перед домом сельского начальника, она мысленно видела поседевшие виски и грустные глаза своего мужа. Нет, он не виноват. Он хороший, он человек работающий. Нельзя жаловаться на него. Только тугоумен он немножко. Позволяет себя одурачивать. Каждому верит на слово...

Покинув свой сторожевой пост, она пошла по улице вниз, подальше от лавок. Навстречу в нижнем переулке, еле двигаясь, ехала телега.

— Спишь, что ли? — окликнула она возчика.

На телеге сидел Пустай. Он натянул вожжи. Штирийцы стали. Женщина спросила парня, почему он сердится на ее дочь. Пустай покраснел и пробормотал:

— Нисколько я не сержусь. Она мне очень по нраву. — Потом, поглядев на

женщину, Пустай хрипло пробормотал с высоты козел. — Мне хотелось бы нынче вечером притти к вам... Можно?

Женщина улыбнулась, глядя на смущенного парня. Ну, точь-в-точь, как ее муж. Такой же неуклюжий, прямо осел... Мужчина! Все они такие. Потом сказала ему ласково:

— Приходи уж.

Парень, повернувшись на козлах, глядел ей вслед и почесывал затылок... Жена Кэрако обернулась и громко рассмеялась. Заботы выскочили у нее из головы.

Базарная площадь кишела народом. Люди в овчинных шубах без толку слонялись, сдвинув шапки на затылок. Солнце сияло, сверкали лужи. По небу плыли легкие облака. Воздух был чист. Дымилась трубы. Было так, как перед пасхой... Женщина оглядывала базарную площадь. Она видела прямые линии голых, рассаженных четырехугольником, тополей, видела солнечные блики, пляшущие на стеклах двухэтажных домов... В ее глазах еще отражалось воспоминание о глупом смущении парня.

Муж стоял с трубой в зубах у больших весов, несколько отделившись от толпы. Видя его таким с'ежившимся, она вдруг почувствовала к нему жалость. Ускоряя шаги, она ослабила узел платка под подбородком. Подняв голову, Кэрако увидел свою жену и даже глазом не моргнул. Стоял и ждал чего-то. Толпа окружала Михалю Петраша, молодого человека с круглым, гладко выбритым лицом. Когда приблизилась женщина, люди неловко замолчали, потом продолжали оборванную беседу. Прислушавшись, она нервно выкрикнула:

— Так, значит, Йоярт получил работу? Вот как! Да...

Кровь бросилась женщине в голову. Но ведь этот Йоярт социалист. Социалистический вождь. Так вот они какие? Как часто, за эти двадцать лет, муж ее приходил домой и говорил, что социалистическая партия постановила бойкотировать хозяев. А теперь этот Йоярт... Ведь это же подлое дело. У него есть земля, корова, целых пять лет он не ходил на земельные работы.

— Так, так, — произнес Андраш Кираль, молодой человек в длинном полушубке и меховой шапке. — Так, так. Да он и сейчас не собирается работать. Он только взял подряд на эту работу.

Кэрако стал рассказывать, как все произошло.

— Работа еще будет, — прервал его дядя Лиханий, один из стариков. — Ты можешь у него работать.

— Это за тридцать-то? Никогда.

— Йоярт уже вербует людей, — произнес Лиханий, поглаживая седые усы, — уж набирает.

— Это просто безбожно. Чтoб чорт забрал этого Йоярта! А болтает то да се... Как же после этого ему верить? Социалист! Заведующий партийной кассой! И разве он нуждается в этом? У него есть земля. Корову, правда, у него тоже описали, но ведь описывают только там, где есть что... Но только долго ему придется ждать. За тридцать хеллеров ни один дурак не возьмет лопаты в руки. Лучше с голода подохнуть. Нет, не пойдем на это. Пусть сам работает...

Так толковали в толпе. Петраш вдруг поднял голову, и огляделся по сторонам. Близ него стояли только дядя Лиханий, Андраш Кираль и Кэрако с женой.

— А все-таки нам нужно взяться за эту работу, потому что, если мы откажемся, ее возьмут другие. Пока за тридцать. А там видно будет, — оглядевшись по сторонам и подняв голову, сказал Петраш.

— Что же мы там увидим? — Лиханий сплюнул и растер ногою плевок. — За тридцать нельзя.

— Можно, — настаивал Петраш. — А потом сможем заново торговаться.

Площадь пришла в движение. Из переулка саженными шагами приближался Йоярт. Небольшие кучки людей уплотнялись.

Собралось до сотни человек. Некоторые, что побойчее, быстро уходили с площади. Другие спешили привести сюда своих приятелей и кумовьев. Наклеивается работа. Крупное дело. У каждого найдется двое-трое знакомых...

Ференц Йоярт был ростом на голову выше толпы. Длинные развевающиеся усы его свисали на шею. Сапоги блестя-

ли не хуже, чем его торжествующее лицо.

— Ну, подходи, — произнес он так тихо, что только стоящие вблизи поняли его слова. Остальные подались вперед, становясь на цыпочки. — Я добыл работу. Плата два пэнге в день.

Люди уже обо всем знали, но все-таки восприняли новость так, как будто слышали в первый раз. Одобрительный ропот вторил рослому Йоярту.

— Социалисты смогли этого добиться, — продолжал Йоярт рассказывать о радостной новости. — Секретарь окружного комитета партии заявил обергешпану¹⁾, что позор, мол, обречь такое множество народа на нищету... Обергешпан говорил с помещиком, — ну, помещик и решил проложить новую дорогу. И это не общественные работы, за харчи, а настоящая поденная работа. Два пэнге в день. Сто человек нужно. Договор заключать со мной. Эту работу добыла социалистическая партия, и только она одна. Имению дорога совсем не нужна. Жесточкой борьбою добились мы работы.

— Два пэнге, — рассуждал теперь дядя Лиханий. — Это немного, но все-таки деньги.

— Тридцать хеллеров за кубометр, — послышался голос Кэрако.

— Откуда же тридцать? Наберется и до сорока, — промолвил Игнац Рошташ.

— От ранней зари до темной ночи, — Кэрако испуганно оглянулся, — вот именнс, слышите вы?

Но Рошташ только отмахнулся. На широких плечах его болталась сумка. Он рассеянно порылся в ней, но ничего не нашел.

— Почва тут хорошая. Копать легко. Да и дни сейчас не то, чтобы уж очень длинные. Не помрешь. В день можно выработать, скажем, четыре кубометра. Ну, по сколько же это выйдет? По пятидесяти хеллеров... — Он захохотал и, резким движением приподняв сумку до уровня глаз, заглянул в нее. Хлеба в ней не было... Но и пятьдесят хеллеров, это — уже хорошая цена. Он громко,

по-детски, рассмеялся. Остальные тоже развеселились.

Кэрако стоял у больших весов и смотрел на толпу. Два пэнге все-таки деньги, хотя речь идет о шести кубометрах. Придется записаться! А что, если этот Йоярт не захочет записать его, конкурента... Нет, этого и сельский начальник не позволит, да и Пензеш-Варга замолвит за него словечко.

Кэрако посмотрел на свою жену и вздохнул:

— Ну как?

Глаза женщины были печальны. Она смотрела себе под ноги, а муж глядел на ее лицо. Что-то незнакомое было в ее чертах... Что-то вроде... бог его знает... Она не сердилась, скорей, казалась грустной и решительной. Нос ее как-то выдавался вперед, веки были опущены, носком башмака она скребла землю... и вдруг, подняв глаза, заулыбалась... Иштван Кэрако глубоко вздохнул. Жена не сердится на него. Знакомо и в то же время как-то особенно она повела глазами направо и налево и промолвила:

— Там видно будет, Пишта, а?

Чего же, собственно, хочет его жена, и что у нее на уме? И вдруг молодцевато, бодро, почти краснея, он повторил:

— Там видно будет...

7

Денеш Бицо, управляющий господским именем, проснулся около двенадцати часов ночи от дребезжанья телефонного звонка. Звонил не конторский аппарат, а другой, с секретным номером, висевший в спальне над кроватью управляющего. Вызывал глава «Союза витязей» из окружного города.

Он сообщил, что по приказу из Будапешта у Матэ Дулаи-Дула произвели обыск. Искали оружия. Через несколько дней начнутся обыски по всей округе. В комиссии уже готовы списки с точным указанием, где и сколько оружия припрятано. Да, вот еще что, дабы избежать неприятностей, придется разрешенные центром и сложенные в господских сараях пулеметы, винтовки и ящики с боевыми припасами перенести куда-нибудь в другое место. Но к этой работе

¹⁾ Обергешпан — главный чиновник в венгерских комитетах.

надлежит привлекать только самых надежных людей.

Денеш Бицо поинтересовался результатом обыска у Дулы. Услышав, что ничего не нашли, управляющий расхохотался в телефон. Само собой разумеется, что у Дулы есть оружие, но конечно он достаточно умен, чтобы хорошо его припрятать. Собеседники рассмеялись. Приятель добавил, что во время обыска в квартире Дулы находился крестьянин, по имени Шандор Бенце. Управляющий свистнул в телефон и выругался.

Повесив трубку, он послал в село верхового с приказанием вызвать в замок Михала Лани, Кароля Часара и Габора Шоша. Все трое скоро явились. Старый замок, окутанный непроглядным мраком, спал в тишине. Толстые стены окружали его. У ворот стояли часовые. Управляющий велел ворота запереть и всякого, кто покажется во дворе, — будь то батрак или служанка, — возвращать назад. Чтобы никто не смел шляться по усадьбе.

Люди работали с часу ночи до пяти утра. Перетащили в соседний огромный амбар двадцать пулеметов, две тысячи винтовок, патроны и заботливо укрыли мешками с зерном. В шестом часу люди устало сидели в конторе управляющего, пили водку, пожирали огромные куски сала и курили толстые сигары. Потом управляющий отослал их домой.

Денеш Бицо-Коростурский растянулся в грязной одежде на диване в конторе. Он проспал до восьми утра. Позавтракав, спросил у горничной, где его жена. Жена его уехала кататься верхом. Одна? Нет, не одна. С молодым господином доктором, с полчаса тому назад. Горничная с неподвижным лицом еще раз повторила эти слова.

Управляющий взглянул на долговязую белокурую девушку. Голубые глаза ее почтительно глядели на барина, но в уголках рта легли чуть-чуть насмешливые складочки.

— Убирайся к чорту, — грубо крикнул ей Бицо.

Он встал, потянулся. Это был крупный мужчина в спортивном костюме и кожаных крагах. Через всю левую половину его лица, начиная от подстрижен-

ных черных усов и до уха, тянулся глубокий шрам — след дуэли. Когда Денеш Бицо сердился, шрам этот краснел, а худощавое, смуглое лицо искажалось гримасой.

Подумать только, у Матэ Дула придется делать обыск! Он все еще, верно, мечтает о своей демократии. И это был вождь? Осел! Пожалуй, неплохо, что ему сделали это последнее предупреждение. Авось, он хоть после этого образумится. А крестьянство его теперь получает хороший урок. Настоящий, основательный урок. Что за свиньи! Слова главы окружного «Союза витязей» пронесли у него в голове... Матэ опять понадобится родине... Пусть только он научит приличиям своих мужиков, эти свои «тележные отряды», если он действительно патриот.

— Скотина! — сердито выругался Денеш. Выплюнув папироску, он отшвырнул ее носком сапога к стене и стал смотреть через окно во двор. Он увидел охотничий костюм агронома-практиканта. Ну, этому жена, кажется, успела дать отставку и не с ним уже катается верхом по утрам.

Зазвонил конторский телефон. Жандармский унтер-офицер сообщил, что Янош Пали, подойдя к приехавшему из города возу, вытащил из-под мешков с мукой маленький завернутый в белую бумагу пакет... Согласно инструкциям, воз не задержали, пакет отобрали позже. Однако расследование не дало ничего положительного. В пакете было около пятисот листов чистой белой бумаги...

— Сейчас приеду, — сказал Бицо и, бросив трубку, ринулся вниз по лестнице. Конюх уже выводил оседланную лошадь.

Конь галопом вылетел со двора, летел, как птица. В селе прохожие при виде его испуганно шарахались в стороны.

У жандармского участка управляющий соскочил с седла и бросил поводья одному из жандармов. Прапорщик, высокий, со светлыми подстриженными усами, человек, выслал жандармов в переднюю, открыл перед управляющим дверь во внутренние комнаты.

Пали, в короткой овчинной шубе, в сапогах и в шапке на голове, сидел спи-

ной к письменному столу. Он обернулся и пошел навстречу управляющему. Бледное, осунувшееся лицо его покраснело, маленькие голубые глаза испуганно мигали. Редкие белокурые усы вздрагивали.

— Где листовки?

— Здесь. — Пали, вздрогнув, показал на стол. Управляющий развернул пакет.

На стол полетели листы белой канцелярской бумаги. Денеш Бицо наклонился вперед и снова спросил хриплым голосом.

— Где листовки?

— Да вот... вот то, что я получил.

Управляющий поднял руку и отвесил парню звонкую пощечину. Пали качнулся в сторону. Денеш Бицо стал трясти его за плечи.

— Где листовки, кому ты их отдал?

— Никому я не мог их отдать. Это белая бумага...

— Я тебя не об этом спрашиваю. Листовки где?.. Стервец!

— Ваше благородие... — Пали задыхался.

— Говори, каналья, или я из тебя кишки выпущу.

Перепуганный, трепеща и запинаясь, Пали начал докладывать.

Что-то тут не ладно, он и сам не понимает, что именно... Ошибка произошла, должно быть, еще в городе. Когда воз подъехал, он во время выгрузки нашел пакет под мешками. Пустай сказал ему, чтобы он был осторожней, там, мол, пакет лежит. Он отнес его в комнату... Подождал с час времени, но никто не пришел, хотя с Петрашем был договор, что кто-нибудь придет за листовками. Тогда он решил, что задержит посланца до прихода жандарма. Ровно в десять жандарм пришел, пакет лежал на столе нераспечатанный.

Пали смотрел на дрожащий нервной дрожью кулак управляющего. Кончив, он согнулся в три погибели и отвел глаза.

— Кому еще известно, что к тебе попали листовки?

— Только Петраш один знает... Право же, я ничего больше не знаю. Петраш говорил, что за ними придут ко време-

ни выгрузки. Я выгружал целый час. Они не пришли.

— Убирайся к дьяволу! Марш! — заревел управляющий и, открыв дверь, изо всей силы двинул парня коленом в зад. Пали вылетел на середину прихожей.

Бицо сорвал телефонную трубку и машинально назвал номер имения. Ему ответил голос практиканта. Управляющий растерялся. На какого чорта ему сейчас нужна его собственная квартира.

— Это ты? Эх, да, скажи-ка, моя жена вернулась? Нет?.. — Он положил трубку, пожевал усы, распахнул дверь и промчался через комнату. Жандармы щелкнули каблуками, только начальник их остался сидеть на месте, мрачно глядя вслед управляющему. Бицо вскочил в седло. Перед домом Иштвана Мештера он сдержал коня. Из дому к нему вышла хозяйка.

— Твой сын дома?

— Да.

— Вышли его сюда...

Лицо у женщины загорелось, она посмотрела на всадника, медленно повернулась и вошла в дом.

— Что случилось с этими мерзавцами?.. Они вот-вот, кажется, убьют тебя взглядом. — Он громко расхохотался. Да, в двадцатом году Иштвен Мештер был одним из лучших в его тележном отряде, щенку его тогда еще не было шести лет, а он уже гонял на неоседланной лошади. И баба тоже не отставала от прочих...

В воротах, одетый в синюю форму, прямой и слегка фатоватый, появился солдатик. Твердыми шагами он подошел и отдал честь.

— Имею честь доложить...

— Брось это.

Янош Мештер взял в руку поводья и повел лошадь. Молча выбрались они из села.

8

Было около трех часов дня. Село погружалось в полусумрак. Еврей-лавочник с главной улицы уже зажег лампу. В трактире тоже мигал свет. Там считали деньги. Но темные окна остальных

домов слепо глядели на окутанную мраком улицу.

Керосин дорог. Вернее сказать, никогда он не был так дешев, как теперь, но зато деньги стали до чорта редкими. Где же это видано? Цена пшеницы — шесть пэнге, а никто ее не покупает. Осенью литр виноградного сусла по пяти хеллеров предлагали, но никто не покупал. Вся деревня пила сусло. Во всей округе, да, пожалуй, и во всей Венгрии, люди неделями бегали, держась за животы. И старый, и малый хлебали виноградное сусло, никто не хотел давать ему перебродить в вино... К чему? Если оставить его у себя на вино, то одного налога пятнадцать хеллеров пришлось бы платить. Да еще бочки купить надо. Откуда же деньги-то взять?

И так все. Скотину хоть даром отдавай барышнику. Больше тридцати хеллеров за кило живого веса он не платит. «Вы, батенька, сначала бумажку принесите, что скотина ваша не описана за недоимки». Вот как стал говорить нынче маклер! Чтобы не была описана! Но описано всё. Теленок в коровьем брюхе, и тот уже у судебного исполнителя на заметку взят. Невиданно всё дешево, а купить... Должно быть, в городе там хотят что-нибудь новое выдумать. И куда это приведет? В один прекрасный день крестьянину станет ясным, что он пашет, сеет, жнет, скот выращивает не для себя. За все свои труды, за кровавый пот он ни гроша не получает. А вместо денег он получит бумажки с печатью: поросенка отобрать за подорожное обложение, вино — за местный сбор, последнюю подушку — за подоходный налог, шкаф — за налоги на заработок. Скоро так и будет. Говорят, что мир идет к коммунизму наизнанку... Так уж порешили господа. Все ихнее будет...

Так думали люди на конной мельнице.

Они забирались сюда еще до обеда. Ворча и жалуясь, проводили они здесь целую зиму. Одни приходили сюда молоть зерно, другие — излить душу приятелю. Старый мельник запрягал лошаденку. Кляча трогалась и трусила, трусила по кругу. Жернова вертелись. По-

мещение наполнялось глухим, дребезжащим гуденьем. Лошаденка едва переступала ногами. Голова ее болталась из стороны в сторону. Люди кругом сидели на своих мешках или стояли прислонившись к стене. Изо дня в день повторяли они шутя: что лошаденка родилась от козы, что раньше, чем попасть на мельницу, она конской колбасой подвизалась.

Люди старательно плевали под копыта лошади. На вытоптанном кругу постепенно вырастал целый венок плевков.

Мельник, глухой старик, уж тридцать лет сидел у жерновов... Тринадцать лет назад — на-днях исполнится годовщина — он так же сидел на корточках перед ковшом. Кулаки с диким ревом ворвались на мельницу. Волосы мельника уже тогда были седые, но жернова были тогда чуть поновее, да и слепая лошаденка бойче крутилась. Старый мельник встал. Кулаки схватили его за ноги. Он рухнул на землю. Голова его стукнулась о жернов. На этом месте еще до сих пор остались выцветшие пятна от удара. Кулаки искали его сына, но, не найдя его нигде, выместили свою злость на отце. Только через несколько месяцев узнал он, что господа офицеры вместе с кулаками из соседнего села поймали и зверски убили его сына. Они не знали, кто этот парень и откуда... По глазам узнали, что перед ними коммунист...

«Не будет он уже больше председателем совета. Так же, как и диктатуры пролетариата в Венгрии не будет» — так думали господа, получив весть об убийстве сына мельника.

Правду о сыне мельник осознал туго. После ранения старик оглох на всю жизнь. И он стал еще скупее на слова, чем прежде. Да впрочем, для чего же слух на мельнице? Над мельничным ковшом царит оглушительный шум, человеческая речь здесь ни к чему... Мельник смотрел в ковш. Пшеницы становилось все меньше и меньше, все глубже уходили зерна внутрь. Мельник поднялся и схватил лошадь за упряжку. Из-под жернова, через дрожащее сито, поток пшеничной муки хлынул в бадью. Счастливый обладатель подбежал к бадье с

мешком. Жена его возилась с отрубями. Вся семья собралась перед мельницей. Тут же стояла и тачка. Опасаясь густого тумана, они притащили целую кучу платьев и тряпок, чтобы укрыть от непогоды сокровище.

Жена впряглась спереди, сзади толкал тачку муж. По правде сказать, груз был не слишком тяжел. Муж и один отлично справился бы с ним, но всей семье хотелось участвовать в этом торжестве. Дети прыгали вокруг тачки, забегали вперед и, ощутив набитый мукой мешок, заботливо укрывали его лохмотьями.

Мельник занял свое старое место. Глаза его отыскивали нового помольщика, он взял у него мешок и высыпал в ковш. Лошаденка тронулась. Большие жернова завертелись, и под их скрежет мельник затыкнул под нос старую песенку:

Я батрак, я батрак, батрак от рожденья.
 Год прошел, — уезжай в другое именье.
 Вы прощайте, волю, и плаги, и упряжка.
 Ты прощай навсегда, смуглая милашка.

Песенка гулко звучала, покуда все содержимое мешка не высыпалось в ковш. Тогда мельник поднял глаза на усевшихся в кружок и попыхивающих трубками крестьян. Взгляд его с интересом следовал за полетом их плевков. Иногда он одобрительно кивал головой: хорошо нацелился, кум, попал в точку. И крестьяне улыбались, переминались. Молчали по получасу, потом опять заговорили о керосине, о виноградном сусле, о пшенице, о государственной хлебной монополии, о судебном исполнителе, о низких ценах. От этих новых порядков прямо невтерпех. Никакая сила теперь не помешает принудительной продаже коров за недоимки. Господа издали такой закон, по которому все добро бедняков пускается на ветер. Но откуда же господа черпают свою силу? Откуда, как не из бедняцких плеч? На них-то барин и сидит. Сидеть он будет долго, пока народ не стряхнет его с себя. Именно. Когда господа чересчур зазнаются, или... скажем так... когда бедняку надоест быть вьючной клячей и он как следует тряхнет плечами... Вот — вот... так!

Так горячились многие из них, как бы призывая Шандора Бенцо выска-

заться. Рослый крестьянин с темным лицом и густыми усами спокойно слушал все эти жалобы, и только изредка поднимал тяжелые веки на собеседников... Прошлой осенью он впервые присоединился к мельничным завсегдатаям. Имея двадцать йохов земли, он уже год назад так выражался о хорошем урожае:

— Господь бог послал нам дождя. Да толку-то мало от него.

И, когда от него требовали объяснений, он добавлял:

— Теперь время такое, что хороший урожай для нас проклятие. Чтoб чорт побрал такую мудрость божию!

И он был прав. Весной он уже не стал засеивать всех своих двадцати йохов. Обработал только восемь, остальные оставил пустовать. Невозделанными остались все десять йохов, полученных по земельной реформе. За последний год в церковь тоже перестал ходить.

— Вот, когда священный отец будет молиться за град, засуху да хорошие заморозки, тогда я опять присоединюсь к пастве, — говорил он и перестал платить церковный сбор, не платил вообще никаких сборов и налогов.

И, когда к нему явились из города описывать имущество, он надвинул на уши засаленную шляпу и мрачно смотрел, не говоря ни слова, как приезжий горожанин ощупывал в хлеву его лучшую молочную корову, Лизу. Молчанием встретил он также присланное банком извещение, что ему выдается ссуда в размере пятисот пэнге на покрытие его недоимок и погашение долга за полученный по земельной реформе участок. Эти пятьсот пэнге ушли в налоговое управление.

И вот Шандор Бенце тоже стал подпирать стены старой мельницы. Он так же смотрел на осыпанное мукой лицо старого мельника, на неровную трусцу слепой лошаденки. Тринадцать лет тому назад, в такой же пасмурный зимний день, истекая кровью и лежа на жернове, мельник заметил среди орущих кулаков взбешенные лица Шандора Бенце, Мештера, Пензеш-Варга... Да, да, в то время Бенце был правой рукой управляющего, другом господ, руководите-

лем карательных банд, вожакom окрестных кулаков... А теперь вот Шандор Бенце другой, а мельница все та же.

Люди пережевывали керосиновый вопрос. Сельский начальник и тут ухитрился набивать себе карманы. Общинный совет выделил средства на освещение улиц в селе, но деньги на керосин прикарманили в канцелярии сельского начальника... Редко увидишь, чтобы в доме теплился свет. Где взять сорок келлеров на керосин? Конечно, его хватило бы на целых три дня, да откуда возьмешь такую большую сумму? В газетах пишут, что в Америке нефтяные источники засыпают землей, чтобы не упали цены...

— А насчет пшеницы газеты проповедуют, что ее побольше сеять нужно, — с раздражением проговорил Йоярт, радуясь, что сумел перевести разговор на другую тему. Все молчали, наверное думали о словах Йоярта. Этот человек всегда говорил умные речи. Худой, костлявый, белобрый человек этот много читал и водил компанию с политическими людьми. После разгрома диктатуры пролетариата он два года просидел в концентрационном лагере. Там он многими мудростями набил свою голову. Только сам чорт мог разобраться, когда он говорил о двух партиях красных. Его партия, это та, что к социализму стремится, а другая стоит за коммунизм. Но сначала, вишь, нужно социализм ввести, потому что такой порядок будет правильный. В учебнике истории так и написано, что современем пролетариат заберет власть. А что он ее заберет, это уж верно, сколько бы господ ни противились... Это само собой выйдет. А когда пролетариат введет социализм, тогда власть от него перейдет к коммунизму...

На этом Йоярт обычно кончал свои объяснения. Некоторые из слушателей считали, что рассуждения его немножко хромают, например социализм еще не родился, а коммунисты уже появились. Больше того, коммунизм был уже в девятнадцатом году. Да и самого Ференца Йоярта господа хорошо проучили, когда думали, что он коммунист. А когда оказалось, что он социалист, у него и волоса на голове не тронули. А кем

бы теперь был сын старого мельника, если бы господа и кулаки не убили его тогда?.. Над этим вопросом они тоже долго ломали себе головы...

После длинного перерыва Янош Фило, низкорослый, широкоплечий, и горбоносый, — за это его евреем называли, — вернулся к старому разговору.

— Побольше пшеницы сеять? Чтобы побольше налогов драли? — проговорил он. — Умеют господа шкуру сдирать. Было у меня двадцать четыре центнера пшеницы. Считаю по шесть пэнге — выходит сто сорок четыре пэнге. Ради этого мы со старухой гнули горб с зари до ночи? Из ста сорока четырех пэнге сорок пэнге ушло бы на налог. За четыре йоха реформенной земли — восемьдесят пэнге. Значит, осталось бы нам двадцать четыре пэнге. Осталось бы... — и Фило принужденно рассмеялся...

— Ну, а я продал шестнадцать центнеров и получил девяносто шесть пэнге. А продай я в казну, под квитанцию, я получил бы дополнительно по шести пэнге, но их зачли бы за налоги. А наличные деньги казна удержала бы за прежние недоимки. Вот и вся тут.

— Зато у тебя тлою Юльку единственную описали, — хриплым голосом сказал Мештер, поднимая волосатое лицо.

— Но, но, — все, что ответил на это Фило.

Огромный нос его дрожал от усиленного сопенья. Покосившись налево, он скользнул взглядом по неподвижному, как статуя, Шандору Бенце. И вдруг он резко откинул голову назад, как бы отпугивая от себя докучливые мысли, и быстро спросил:

— Нет ли у кого табачку на трубку?

Бенце протянул ему свой кисет. Кисет пошел по рукам. Дым потянулся вверх. Лошаденка остановилась. Новая порция пшеницы посыпалась в ковч. Снова загудела песенка мельника.

Время приближалось к четверем часам. На жернов посыпалась пшеница Иштвана Мештера. Рыжая пестрая мештерова Лиза тоже была уже описана. Удивительно, здесь собрались одни недоимщики. А где же теперь в деревне найдешь незаклейменного крестьянина? Та-

кого, что сумел избежать судебного исполнителя? Только одни кулаки не тронуты. Еще поп конечно, сельский начальник да помещик. Правда, эти на конную мельницу не придут...

Застывший было словесный поток медленными, но ровными струями потек опять. Но о самом тяжелом, скрытом в глубине души, — об описи имущества, — почти не говорили. Как во время пронизывающего осеннего дождя человек прячет свое лицо от холодного мокрого ветра, так и сейчас люди спрятали свои думы поглубже.

— Говорят, что на всем белом свете люди живут в такой же бедности, как и мы. Неужто это правда? — спросила, стоя в дверях, жена Мештера.

— Одни только бедняки так живут, — заметил Фило.

— Говорят, что другая жизнь будет, когда придут красные, — снова начала жена Мештера, единственная женщина среди присутствующих.

— А придут ли они? — неожиданно спросил Бенце, высоко поднимая брови. — Откуда они придут-то?

— Говорят, что они уже в Карпатах. — Эти слова произнес Фило.

— Карпаты далеко, — Бенце опустил густые брови.

— Это хорошо, что не близко, — произнесла жена Мештера, завязывая тугим узлом концы головного платка под подбородком. — Говорят, будто бы все они безбожники.

— А судебный исполнитель набожный, а? — спросил Йоярт. Он не любил, когда речь вертелась вокруг красных.

Жена Мештера подошла ближе. Это была круглолицая женщина, лет сорока. Несмотря на полумрак, было видно, как дрожали ее губы. Напоминание о судебном исполнителе взволновало ее. Приехали тогда городской барин, адвокат и общинный служитель в сопровождении жандарма. Они прошли в хлев. В нем корова мирно жевала жвачку. Единственное сокровище.

Подальше, в стороне, стояли лошади. Куда он потянется, безбожник проклятый? Неужели он на Лизу нацелился? Или лошадь запишет?..

Все равно... Все равно... Муж ее, словно онемев, стоял у кормушки, поглядывая на господ, которые шопотом переговаривались с вооруженным жандармом и служителем. И вдруг судебный исполнитель начал что-то писать. Женщина вскрикнула. Она рухнула к ногам богатого одетого барина и, обняв его выутюженные брюки, упала лицом в навоз.

— Не надо... не надо отбирать. Если верите в бога, не забирайте, повремените. Мы живем молоком. Каждый день мы продаем несколько литров молока.

— Ладно, тогда запишу лошадь.

— Не надо, — проникаясь надеждой, закричала женщина и протянула вперед морщинистые руки. — На лошади мы работаем.

Рассмеявшись, один из них произнес:

— Ну так остановимся на корове.

Женщина заметалась по земле. Господин рывком высвободил свою ногу.

— Ну, так отелитесь сами, — сказал он с усмешкой и вышел вон.

Открыв рот, женщина тупо глядела вслед ушедшим, хорошо одетым господам. Муж ее все еще стоял у кормушки, левую руку держал на корове, а правую сжал в кулак. Глаза его горели диким огнем...

Случилось это осенью. И с того дня жена Мештера пестовала свое горе. Она все говорила и говорила с каждым встречным. Она уже не выносила тишины, интересовалась только красными, этими страшными, но все же желанными людьми, которые теперь скопились у подножья Карпат. Идут, безбожники, идут... Слова Йоярта снова напомнили ей насмешливую гримасу судебного исполнителя. Опять резнуло ее, как по живому мясу. «Так отелитесь сами»... Тихо, запинаясь, она спросила:

— Эти Карпаты... Да где же они лежат-то? Далеко ль отсюда? Если красные под Карпатами, так когда же они сюда подойдут?

— Никогда, — рассмеялся Йоярт.

— Ну, ну, — проговорил Фило.

— Они уже раз были здесь, — махнул рукой Бенце, — да плохо кончили.

— Недолго были, — вмешался Фило, глядя в упор на мельника, — только совсем короткое время.

— Достаточно долго пробыли, — проворчал Бенце, передернув широкими плечами.

— Нет, слишком мало, — сплюнул Фило.

— Для судебного исполнителя хватит. Они с корнем вырвать успели бы его, — усмехнулся Бенце.

Нерешительная улыбка пробежала по людским лицам. Мельник ничего не слышал, он видел только, как непривычно растягивались губы людей. Согнув ладонь воронкой, он приложил ее к уху.

Усталый, медленный бег лошади прекратился. Старый мельник бросил на нее взгляд и покачал головой. Сегодня молоть долго не придется. Устала скотина.

Все взгляды вдруг с любопытством устремились ко входу... В дверях появился Михаль Петраш. Он стоял спиной к собравшимся и, пристально глядя на улицу, обтирал сапоги о порог, потом повернулся и вошел внутрь. Среднего роста парень, со смуглым, гладко выбритым лицом. Люди глядели на него долгим, испытующим взглядом, как будто ждали чего-то.

Петраш не спеша свернул цыгарку и стал в ряд с остальными к стене. Он впервые очутился в этом кругу, с тех пор как стал взрослым... Ребенком он часто шнырял вокруг слепой лошади и даже иногда взбирался на ковш. Подросши, покинул село. На соседних хуторах стал батрачить, а скоро и вовсе уехал из провинции. Работал землекопом в Пеште. Кто мог рассказать, как он попал в лапы жандармов, с какими людьми якшался? Четыре месяца назад его под охраной жандарма провели через село в канцелярию сельского начальника. Вскоре разнесся слух, что пештская полиция выслала его на родину за бродяжничество.

Петраш стоял у стены. Конечно он заметил любопытные взгляды крестьян... Сорвавшись с места, он вдруг ни с того ни с сего выглянул наружу, в темнеющую улицу.

— Слушай-ка, — окликнул его Йоярт, — почему ты к нам никогда не приходишь?

— Запрещено, — ответил Петраш.

— К нам приходит не запрещается. К социалистам каждый может ходить.

— Знаю. Но я и с ними водиться не должен.

— Кто же тебе запрещает? Никто. К нам каждый вправе приходиться. Только мужское сердце нужно иметь. Храбрость требуется. А есть ли она у тебя? Вот в чем вопрос. — Йоярт с насмешливой улыбкой оглядел всех присутствующих.

Робко перебирала ногами шатающаяся лошаденка. Янош Фило торопливо водил своим упрямым носом направо и налево, как бы принюхиваясь к чему-то. Иштван Мештер с мешком в руках стоял на коленях у жерновов, он поднял голову. Все прислушивались к зазорным, вызывающим словам парня. Только Ференц Йоярт стоял спокойный и самоуверенный, вытянувшись во весь рост и самодовольно улыбаясь.

— Есть ли в тебе мужская кровь и храбрость, вот в чем вопрос? — повторил он, меряя Петраша насмешливым взглядом.

— Когда-нибудь да увидим, — уклончиво ответил парень и опять выглянул наружу.

Что-то стесняло людей... Лошаденка плелась тихим шагом. Мельник смотрел на пустеющий ковш. Жена Мештера повернулась к выходу. Люди без слов глядели на обоих противников, на двух красных, по-разному красных, социалиста и коммуниста. Хотя никто и не знал на верное, но про Петраша шла молва, что он коммунист и притом из настоящих.

В дверях появилась жена Кэрако. Она вошла, приветствовала всех «добрым вечером», оглядела полутемное помещение и, взглядом поздоровавшись с мельником, схватилась помогать Мештерам, которые тащили мешок. Спустя немного времени она вернулась с женой Мештера, которая ей приходилась сестрой. Мужья их были одинаково неповоротливыми. И сейчас они, как немые, стояли позади своих жен. Кэрако смотрел на Петраша настойчивым, ожидающим взглядом.

— Мой муж тоже хотел бы записаться, — в голосе жены Кэрако звучало раздражение. Она подождала, но, не по-

лучив ответа, резко проговорила. — Вам я говорю, Йоярт, вам, батюшка.

— Ну, ну, — отозвался тот, — до послезавтраго еще целый день.

— Конечно, но его вы должны первым записать. Ему так полагается. Первым запишите, — упрямо повторяла женщина, — понимаете?

Йоярт беспокойно завертелся. — Ладно, ладно, будет сделано. Кэрако зачем даже самому ко мне приходите для записи... — Он повернулся к Петрашу. Он тоже мог бы получить работу. Может спокойно притти, хотя там и будет большое сборище. Человек до ста, пожалуй, скопится.

— На работу я могу поступить, — сказал Петраш, скользя глазами по Фило и женщинам. Почувствовав на себе острый, испытующий взгляд Бенце, он смутился. Поспешно выйдя на улицу, Петраш посмотрел вокруг себя и, сделав несколько шагов в сторону, оперся на дерево. Немного погодя вернулся.

— Хорошую охотничью собаку достал себе управляющий, — сказал он, обращаясь к крестьянам, и, повернувшись к жене Мештера, добавил: — вы ему родили! О сынке я говорю.

— Ах ты, чорт...

Петраш схватил женщину за руку и заставил ее выглянуть наружу. Через два дома, прислонившись к дереву, стоял солдатик.

— Янчи! — крикнула женщина.

Парень вздрогнул было, но сделал вид, что не слышал голоса матери, и пошел в противоположную сторону.

— Он уже целый час шныряет вокруг

меня, — громко сказал Петраш, занимая свое прежнее место на мельнице, — господским псом нанялся.

Полумрак сгушался. Изредка вспыхивал огонек трубки. Только откашливанье выдавало беспокойство собравшихся. Старый мельник безмолвно сидел на своем месте. Тяжелые жернова устало вертелись...

Внезапно у входа послышались старческие, жалобные причитания. В дверях стоял нищий. Обернутые тряпьем ноги его были до колен забрызганы грязью. Седые волосы покрыты инеем. Просунув голову внутрь, нищий запел усталым, почти умоляющим голосом.

Люди стали развязывать свои мешки и горстями черпать из них пшеницу.

Слепая лошадь стала. Гул затих. Подняв сморщенную морду, коняга внезапно рухнул рядом с приводом. Ноги животного вытянулись вперед из-под брюха... Старый хозяин бросился вперед, протягивая руки к своей умирающей лошади. Копыта ее дрогнули в последний раз.. Старый мельник, плача, старался при трепетном свете лампочки приподнять веки своего умершего помощника. Слепые, тусклые белки туло усталились на него. Старик плакал. Промокший, измученный нищий поковылял поближе и опустился около труп.

— Найми меня, — сказал он, запинаясь, — я слепой, и она была слепая.

Пока убирали труп, совсем стемнело. Кэрако и Петраш впряглись в привод. Они топтались по кругу. Жена Кэрако держала мешок, в который медленно сыпалась мука.

(Продолжение следует)

Недра

Роман

ПАВЕЛ НИЗОВОЙ

(Продолжение ¹)

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Коренев стоял уже одетый, собираясь уходить в клуб, когда зашла за ним Митрейкина.

— Здравствуй, Андрей! Ты удираешь? А я за тобой: Степан Гаврилович зовет нас сегодня к себе, — сказала она от самой двери обычным своим грубоватым голосом. — Говорит, соскучился, да и о многом хотелось потолковать... Как — пойдешь?

Коренев развел руками:

— Милая Елена Андреевна, никак сегодня не могу: у меня весь вечер загружен. Скажи — благодарит, мол, и придет в другой раз. Через несколько дней.

— Жалко. А мы наметили сегодня. Нина Алексеевна тоже обещала быть. Если рано освободишься, приходи, подождем.

— Не-ет! Какое рано! Я сейчас должен к ребятам итти: обсуждаем план работы наших культурно-бытовых ячеек. Потом надо забежать в цехком — летучее заседание должно быть. А после этого — в редакцию, там ждут от меня заметку. Сам поднял всю эту историю, значит, надо теперь крутиться.

Митрейкина все-таки не унималась.

— Нина Алексеевна просила тащить тебя, ты ей зачем-то нужен. Она очень

хочет видеть тебя. — Этим добавлением, сделанным с особенным ударением на слове «очень», Елена Андреевна надеялась подействовать на него. Но Коренев нетерпеливо сделал категорический жест: — Не могу... Ну, идем, мне некогда.

По дороге поговорим...

А около двенадцати он широко распахнул дверь в комнату Дородного с дружеским восклицанием:

— Вот и я! Ухитрился вырваться сверх всякого ожидания. Кажется, еще не поздно...

Степан Гаврилович с хозяйской учтивостью поднялся навстречу.

— Вы совсем стали забывать своих земляков. Это нехорошо, молодой человек! Ну, да ладно, я не сержусь. Не могу сердиться. Такой уж у меня заячий характер. Вспыхнешь — и сейчас же отойдешь... Ну, а вы горите? Отдыха себе не видите, бедняга.

— Ничего не поделаешь, Степан Гаврилович. На каждом шагу прорывы и аварии. А помимо всего, как вам известно, тиф еще объявился. Работать приходится днем и ночью.

— Да-да. Сыпняк — это страшная штука. Но, я думаю, с ним скоро справятся. А вот прорывы — это потруднее. Мы на плотине два месяца работали хорошо, а потом скисли. Да как еще скисли-то... Видно, закон природы: после под'ема упадок сил, реакция неизбежна. Надо только, чтобы это проходило скорее и безболезненнее. В этом вся суть.

¹ См. «Новый мир», кн. 7 с. г.

Коренев заметил, что у инженера под левым глазом знакомо запрыгала жилка. «Все так же нервничает. Повидимому, старика не перестают трепать» — подумал он сочувственно. А Дородный продолжал:

— Третьего дня я поехал на плотину — хотелось взглянуть на места недавних наших боев. И знаете, какую увидел сцену? У одного из бычков разложен костер, и возле него пятеро рабочих дуются в карты, тут же валяются опорожненные бутылки. А работа стоит. И это на бывшем моем участке. Люди тут работали по пояс в ледяной воде, падали от усталости, но работу не бросали. Каждый кубометр скальной выемки зубами выгрызен, каждая шпунтина забита с кровью... Я хотел проломить им головы первым попавшимся камнем, не мог вынести этого позора. — Степан Гаврилович взволнованно отвернулся.

В разговор вмешалась Митрейкина.

— Лучшие силы перебросили на другие участки, а тут оставили только мелкоту... От успехов нос задрали. Говорят: «Основное одолели, а доделки — плевое дело, в два счета свернем...» Ну, вот и свертывают. Если так пойдет дальше, то всю строительную головку надо прямым маршем под суд! Заслужила!

Митрейкина взволнованно поднялась с табуретки.

— То горами ворочали. Чорт-те что делали! А сейчас на мелочах мозги спотыкаются... Строители!.. — Она протянула руку к остывшему чаю и, не отвываясь, выпила всю чашку.

Степан Гаврилович, опустив голову, прошелся по комнате, поправил на книжной полке неаккуратно положенный журнал и, повернувшись, произнес, точно успокаивая самого себя:

— Все это понятно. Все имеет свое оправдание. Не стоит больше об этом... Я почему-то вспомнил сейчас нашу прошлогоднюю прогулку на Шарташское озеро. Помните, весной?.. Вот здесь нет таких мест, куда можно было бы поехать встряхнуться. Да и времени для этого не выберешь.

— О-о! Чудесное воспоминание! — оживилась Елена Андреевна. — А я тогда неизвестно почему расплакалась.

Начал человек читать про собаку, а я плакать... Вот фефёла!..

— Теперь тебя этим не проймешь, — засмеялся Коренев. — Слезы теперь у тебя клещами не выгнешь. Кончено.

— Да, плакать об этом уже не буду. — Митрейкина вдруг покраснела, вспоминая, как вчера ночью почувствовала... первый раз ясно почувствовала в себе другую, близкую ей жизнь. — Выпила тогда лишнее, вот нюни и распустила, — дополнила она в свое оправдание. — Теперь ни рюмки больше. Шабаш!..

— Я на-днях от Зои письмо получила, — сообщила Нина Алексеевна, до сего времени не принимавшая участия в разговоре. — На Механическом — целый ряд новостей. Во-первых, снят инженер Вейс, во-вторых, Зворыкин назначен помощником главного инженера. В-третьих...

— Подожди, подожди, не торопись! — остановил Коренев. — Расскажи все по порядку. За что снят Вейс?

— Да, да, за что он снят? — спросил Дородный несколько взволнованным голосом.

Нина Алексеевна повернулась в его сторону и отдельно произнесла:

— В его прежней деятельности нашли какие-то... ну, темные пятна, что ли...

— Понятно, понятно... А вот как Зворыкина назначили помощником? Что же с Шухаевым? Или тоже в чем попался?

Дородный, нервно барабая по столу пальцами, выжидающе смотрел на Бобкову. Та неестественно засмеялась.

— А Шухаев так и остается попрежнему. Антип Игнатич назначен вторым помощником. Я очень рада за него.

— А кто же за него не рад? — поднял голову Коренев. — Мы все за него рады. А я в первую очередь и больше всех. Замечательный человек.

— Шухаев, значит, остается, — проговорил, как бы про себя, Степан Гаврилович, и эти слова у него произвольно вышли значительными. Нина Алексеевна обратила на это внимание. Все, что касалось Шухаева, ее настораживало. Совсем еще недавно он почти

всцело владел ее вниманием, заставляя на многое глядеть его глазами. Теперь она изжила этот период, надуманная жертвенная любовь казалась ей уже смешной и детски-сентиментальной, но девушка продолжала еще повышенно реагировать на всякое напоминание о Шухаеве.

Нина Алексеевна повторила:

— Да, Шухаев остается пока на прежнем месте. А назначение Антипа Игнатьевича вторым помощником очень удачно. Он человек больших способностей, с ясным умом. Новая работа для него будет как-раз подходяща.

Степан Гаврилович, не глядя на молодых товарищей, тихо и как бы смущенно произнес:

— К инженеру Вейсу я присматривался. Какая-то неясная фигура. Всегда вызывал у меня некоторую настороженность. Он, кажется, дружил с Шухаевым... — Дородный поднял взгляд на девушку. — Я удивляюсь, что их связывало? Люди, как будто, совершенно различные... Бы как — не замечали этого, Нина Алексеевна?

Та пожала плечами.

— Я мало обращала на это внимания.

— ... Конечно, бывает, — заключил он свою невысказанную мысль. — Посмотрим. А Зворыкину давайте пошлем коллективное письмо: поздравляем, мол, желаем и прочее. Как, согласны?

Все четверо принялись сочинять письмо в шутовском, приятельском тоне.

II

Степан Гаврилович по своему обыкновению проводил гостей до главного шоссе и обратно пошел другой дорогой, в обход, — торопиться некуда; приятно пройти по морозному воздуху, разобратись в хаосе мыслей и чувств.

Вокруг разлита была тишина. Нельшне входила невидимой ширью, глубоким снежным дыханием степь. Только изредка слышались паровозный гудок и приглушенный грохот металла, донесенные ветром. Вдалеке на темном небе сверкала густая россыпь светящихся точек. Это — Казачья и Безрудная,

а налево — домны и ЦЭС. К ним тянулись длиннейшие нитки звездных ожерелий — шоссе и железнодорожные пути. Поселок спал. Покрипывал шест антенны над женским баракком. Над входом в клуб лениво полоскался красный флаг.

«Вейс снят... Темные пятна в прошлом. Хм... А Шухаев все еще остается... — всплыло у Дородного. — Его темные пятна в прошлом, а быть может, и в настоящем... не обнаружены. Их заслоняет чей-то блеск...»

Степан Гаврилович ярко вспомнил одно обстоятельство, доставившее ему в свое время много неприятных переживаний. Ночью в номер гостиницы ему принесли записку. Мало знакомый человек под величайшим секретом сообщал:

«... Обращаю ваше внимание на инженеров Вейса и Шухаева. События, происшедшие на Механическом, несомненно связаны с ними. Но они не одни, есть кто-то еще. Присмотритесь и примите меры...»

Он присматривался. Но принять меры? К этому у него не было достаточных оснований. А кроме того, какое же он имеет право распоряжаться человеческой жизнью? Где вопрос идет о жизни, он никогда первым не поднимет руки.

Степан Гаврилович тогда сжег уличающее письмо. Теперь он пытается снова разобраться в этом сложном, темном вопросе. Думает долго. Припоминает разговоры с тем и другим, сопоставляет многие мелкие факты, делает умозаключения, и выходит, что сказать про того или другого прямо: «да, виновен в срывах, в авариях, во всем том, что называется страшным словом вредительство, у него нет неопровержимых данных. Но утверждать обратное он не может, — много подозрительного в поведении, в фактах, в отдельных психологических черточках...»

Придя домой, Степан Гаврилович неторопливо разделся и погасил свет. В постели, в привычной обстановке, стало думать о привычном: о строящемся заводе, о знакомых инженерах и рабочих, о героической молодежи. Мысли

незаметно перешли на первые дни революции, заставшей его в Туруханске. Какие были радостные эти дни!

И неожиданно, неизвестно из какого тайника, выплыл давно похороненный женский образ, прозвучало забытое имя.

С этой женщиной Дородный познакомился при необычных обстоятельствах. В доме одного приятеля он рассказал происшедший с ним случай. Это произвело большое впечатление. Его попросили рассказать что-нибудь еще. Он рассказал. Потом прочитал несколько своих стихов, наивных, юношеских стихов. А после этого снова говорил: о своих путешествиях, об увлечениях, овеянных ароматом юношеской застенчивости, о якобы пережитых им любовных драмах. Ему все хотелось говорить и говорить. Выходило хорошо. Даже тембр голоса был сочнее и богаче обычного.

А выходило складно потому, что одна из слушательниц смотрела на него по-особенному, с восхищением и благодарностью. Когда он кончил и выслушивал похвалы, эта женщина, — звали ее Аня... Анна Павловна, — подошла к нему и восторженно произнесла:

— Вы своими рассказами доставили мне... Вот вам...

Она порывисто обняла его и поцеловала. На минуту — аплодисменты, смех, шутки, и... снова стали говорить о другом. Сделались все теми же, какими были раньше, — буднично-серыми и скучными.

Но нет, не все. Он, Дородный, остался плененным чудесной сказкой. У него горел мозг, билось сердце и ныли, сладко ныли колени. А та женщина почти уже не обращала на него внимания. И только, когда он незаметно от других стал одеваться, она подошла к нему, положила ему на плечи руки и тихо сказала:

— Я к вам обязательно приду, и вы мне что-нибудь расскажете. Вы умеете так увлекательно рассказывать... — Повернулась и быстро ушла.

Степан Гаврилович потрясенно глядел ей вслед. «Почему он не притянул ее к себе? Даже не поцеловал ей руки? И как она может притти, если не знает

моего адреса? Какой же я болван!..» Он чувствовал себя влюбленным подростком, хотя ему в то время было тридцать два года.

И эта женщина все-таки пришла, когда он потерял всякую надежду увидеть ее, когда прошли десятки дней и вечеров в бесплодном ожидании.

— Здравствуйте! Вот как вы живете! Один, никто не мешает. Я люблю такую жизнь. — Лицо ее горело восторженно...

Происдела она ровно час, — он хорошо это помнит. За это время много было прочтено и много рассказано, с истинным творчеством, вдохновенно.

Она поднялась, протянула ему руку, и прежде, чем он мог ответить, порывисто прикоснулась губами к его небритой щеке.

— В благодарность за доставленное удовольствие, за ваш чудесный дар...

Степан Гаврилович сделал движение обнять ее узкие манящие плечи, но женщина проворно отстранилась.

— Не надо, милый, в другой раз!.. И не провожайте. Я одна пойду. До свиданья!

Дверь за ней захлопнулась...

И еще раз встретил он великолетнюю, чудесную Аню. Встретил в фойе театра. Под руку держал ее пожилой мужчина.

— ...Познакомьтесь: Степан Гаврилович, а это...

Дородный никак теперь не мог вспомнить имени человека с продолговатым лицом немецкой складки.

Оставшись тогда на несколько минут вдвоем, Степан Гаврилович с юношеской страстностью выложил перед ней всю свою тоску, какую пережил за это время, и добавил, что ругает себя за упущенную возможность обнять и поцеловать ее.

Анна Павловна подняла на него взгляд и тепло, с сожалением, улыбнувшись, проговорила:

— Я тоже вас ругала.

— Вы? Меня?

— Да, когда я пришла к вам на квартиру... Вы так были несмелы... Нельзя же так вести себя с женщиной, которая приходит к вам сама!..

В это время появился немец, протягивая ей грушу дюшес. Она в благодарности кивнула ему и снова повернулась к Дородному.

— Вот и пеняйте на себя. Вы сами во всем виноваты... — Она поднесла грушу к своему маленькому роту...

Сейчас, лежа в постели, старый инженер неожиданно вспомнил это, как далекий обидный сон, в котором все радостное и красивое смазано им своей неуклюжестью.

«Как все это глупо, а могло быть иначе, совершенно иначе».

Он досадливо повернулся на другой бок...

Утром Степан Гаврилович получил записку, приглашавшую его явиться к одиннадцати часам в управление. Подпись стояла начальника строительства.

«Зачем я ему понадобился? Может быть, новую работу хочет предложить? Более ответственную? — раздумывал он, вертя в руках записку. Но сердце тоскливо ныло: — Нет, это не так. Не для хорошего вызывает его начальник...»

Вызову Дородного в управление предшествовал ряд несчастливых для него обстоятельств: последние прорывы на ведущих участках, чье-то анонимное сообщение о будто бы готовящемся большом вредительстве и, наконец, письмо.

Письмо это имело двухмесячную давность, но своевременно на него не обратили внимания. Одному из сотрудников управления сообщали из Свердловска, что у них, на Механическом, на несколько месяцев задерживается пуск кузнечно-прессового цеха. Предполагают злоумышленность. Виновники не обнаружены, но в связи с этим негласно снят с работы один старый инженер, протезируемый высоким лицом. Он откомандирован на «Пятилетку».

Перед тем как вызвать к себе Дородного, начальник имел по поводу него продолжительную беседу с главным инженером, разговаривал также и с бывшим начальником плотины.

Все это было, конечно, неизвестно Степану Гавриловичу, когда он в назначенный час входил в приемную начальника строительства.

Почти в самых дверях инженер столк-

нулся с высоким человеком, имевшим тяжелое продолговатое лицо, разграненное продольными складками. Память моментально подсказала: «Видел его в Свердловске в кабинете у Зверева». И еще страницу перевернул он: «Это тот самый немец, который был тогда в театре с Анной Павловной... Кто он? Как же его фамилия? Зачем он здесь, на строительстве?»

Все эти вопросы мелькнули в течение нескольких секунд, пока не захлопнулась за немцем дверь. Из кабинета выглянул Лундин.

— Верните, пожалуйста, Обермана, — сказал он секретарю.

Тот метнулся в коридор.

Через минуту Дородный снова увидел ставшее теперь таким знакомым, характерное лицо немецкого инженера.

«Так это и есть самый Оберман, немецкий консультант!» — подумал он с каким-то особенным, острым интересом к нему...

Начальник строительства сначала задал Степану Гавриловичу несколько вопросов о плотине по его специальности, потом — общих; даже улыбнулся, когда услышал, что многие рабочие и инженеры после окончания спали по целым суткам.

— Ну, как вы находите наши темпы в сравнении с работой на Механическом? — спросил он.

В это время вошел главный инженер Зулима и, сев по другую сторону стола, начал раскуривать тонкую сигаретку.

— Там производительность была тоже высокая, но сравниться со дешевой, в особенности с плотинной, конечно, не может, — ответил Дородный и добавил: — Работать, как на плотине, долго нельзя...

— Почему? — вскинул голову начальник.

— Слишком тяжелы условия, и едва ли это... выгодно.

Главный инженер, посмотревший на Дородного в упор, тактично спросил:

— Вы говорите — едва ли выгодно. Очевидно, вы имеете в виду переутомляемость организма и неизбежную вследствие этого реакцию. Так я вас понимаю?

— Да, верно. Но отдельные случаи, разумеется, в расчет не принимаются, — пояснил Дородный, насторожившись: в тоне главного инженера ему послышалось что-то враждебное.

Начальник достал из кармана портсигар и, раскрыв его, любезно протянул Степану Гавриловичу. — Не угодно ли?.. Кстати, вы хорошо знакомы со Зверевым?

— Благодарю, не курю... Павла Кондратьевича я знаю по ссылке, мы жили с ним в одном селе.

— Так. Отлично. Вы сейчас в химкомбинате работаете?

— Да, после плотины туда перевели.

— Работа как — удовлетворяет вас?

Дородный привычно дернул плечом, не находя, что сказать.

— Я привык ко всякой работе, — ответил он неопределенно.

— Если не удовлетворяет, то можно перевести на другой объект: на гору, на домну или еще куда. — Начальник, не стесняясь, изучал его лицо.

— Благодарю вас. Я отлично себя чувствую и здесь. — Степан Гаврилович поднялся, хотелось скорее уйти.

Начальник также встал, подавая ему руку.

— Да, Павел Кондратьевич приятный человек. Я тоже близко его знаю, — проговорил он и, точно спохватившись, поспешно и не совсем удачно добавил: — А вас я приглашал затем, чтобы предложить другую работу, но вы, оказывается, не желаете...

Дородный на это ничего не ответил. Выходя из кабинета, он мрачно думал:

«Снова собираются над ним тучи...»

III

Институт стоял на границе территории будущего социалистического городка и заводской площадки. Город «Пятилетки» — зеленый оазис в песчаной степи — еще только планировался. Растительность для озеленения бульваров, садов и улиц покамест пребывала в младенческом состоянии в больших питомниках, бережно охраняемая от губительных степных ветров. Многоэтажные здания втузов, техникумов и всевозможных

курсов, готовящих кадры специалистов, представляли собою первую улицу будущего города.

Тысячи юношей, девушек и пожилых рабочих ежевечерне направлялись сюда для учебных занятий. Нужно было крепко овладеть знаниями: как добывать из недр руду, переплавлять ее в чугуны, из чугуна делать качественную сталь, ковать ее и прокатывать; как уголь перерабатывать в доменный кокс и из отходов делать многочисленные химические продукты; как обслуживать завод электроэнергией, водой, воздухом, транспортом и, наконец, как управлять этим гигантом тяжелой промышленности.

Всему этому тысячи юношей, девушек и пожилых рабочих ежедневно учились.

Однажды Корнев ушел с курсов раньше времени, почувствовав себя нездоровым. Было еще светло. Шел, раздумывая по поводу полученного сегодня от Зои письма. Зоя Славичева между прочим сообщила:

«... А ин... Д... не вредитель (Корнев понял — инженер Дородный), у меня есть для этого вполне обоснованные данные... Его несчастье в том, что за ним из самой Москвы тянется «хвост» — знакомство с подозрительными типами. Если этот «хвост» дотянулся и до вас, то постарайся обрубить его. Ребята, наверно, тебе в этом помогут, только по-настоящему объясни им...»

Корнев размышлял не столько о содержании самого письма, сколько о его авторе.

«Неугомонная девица. Вечно с чем-нибудь носится, открывает всякие несуществующие заговоры и вредительства и сама же первая ликвидирует их. Всегда о ком-нибудь печется и на кого-либо негодует... Чего теперь беспокоиться о Дородном? У него все идет отлично...»

У спуска под гору, на камне, отдыхая какой-то человек, рассеянно ковыряя палкой землю. Корнев, подойдя ближе, к удивлению, признал в нем Степана Гавриловича.

— Вы что же, разве сегодня не занимаетесь во втузе? — спросил он, здороваясь.

— Да вот, видите, не понимаю, в чем дело?.. — развел руками Дородный. — Две недели назад меня пригласили читать лекции. Директор института сам приехал ко мне на квартиру упрашивать. Говорил, что если я не соглашусь, то у них некому будет читать по праздничному строительству. Ведь это моя основная специальность. Я сначала не хотел, но пришлось уступить. И вот теперь... — он сделал недоумевающую гримасу и опять развел ладони в стороны.

— Неужели отказали? — вспыхнул бригадир от бессильного гнева.

— Отказали. Без всякой мотивировки. Извинились за беспокойство — и всё... Положительно не понимаю, в чем дело.

«Значит, «хвост» дотянулся...» — Коренев почувствовал на лице краску стыда, словно он сам являлся виновником всех злоключений инженера. Надо было успокоить старика, поддержать, но нужных слов не находилось.

Не глядя ему в глаза, он что-то пробубнил, сочувственно сжимая его руку, и поспешно пошел под гору. Всего пронизывало отвратительное состояние. Накипела злора и решимость.

«Надо драться. Со всей силой драться за него!..»

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Стояли звонко-морозные декабрьские дни с ярким, заледеневшим солнцем и густосиним, негреющим небом. Снег под ногами туго скрипел, и если брали его в руки, то долго не таял, казался сахарной пылью. Со степи время от времени налетали короткими зарядами смерчи, заволакивая на несколько минут небо и все людские сооружения крутящимся жгучим месивом.

Плотина с сухим речным ложем сверкала девственной белизной. В снегу тонули железо-бетонные арки, пустующие материальные склады, многочисленные людские помещения. Давно ли здесь все кипело, горело, безумствовало непреклонной волей?

Сейчас на плотине было тихо. Изредка посвистывал паровоз, развозящий остатки материалов, кой-где копошились кучки людей. Одинокие механизмы стояли без движения...

Казалось, строительная жизнь здесь уже никогда не вспыхнет. Происходит медленное умирание. Но это только казалось.

Армия открывает наступление, как бы внезапно, — где-то невидимо в своих штабах предварительно изучает по картам, по сводкам пути своего движения, плацдармы будущих действий, силы врага, — и, все это подытожив, в какой-то час отдает приказ о наступлении. Так было и здесь. Соответствующие комиссии невидимо для посторонних изучили поле предстоящих действий, учли силы врага — стихии, — наметили командарма, командиров и отдали приказ:

— Наступать!..

И сразу все ожило...

Работ по флутбету оказалось в полтора раза больше, чем на самой плотине, и теперь, зимой, они были неизмеримо труднее.

С января холода усилились, и начались снежные бураны.

Фронт, как и раньше, разделили на участки.

Прежде всего нужно было построить два новых бетонных завода и пустить один старый. В первых двух требовалось установить четыре бетономешалки, провести водопровод и паропровод, сделать подъемник, поставить шесть паровозов.

Начальник плотины, Петров, призвал в полевую конторку инженера Бобкову, посмотрел на нее исподлобья острыми маленькими глазками, неожиданно поднялся с табурета, зачем-то провел пальцем по висевшему на стене рабочему плану и снова сел. Движения его были быстры, но неуклюжи, похожи на медвежьи, и сам он несколько напоминал этого зверя своим внешним видом и взглядом.

— Товарищ Бобкова! Вы назначаетесь прорабом по постройке двух бетонных заводов. Вот проект. Познакомьтесь.

— Слушаю, — коротко ответила девушка, принимая свернутую в трубку бумагу.

— В ваше распоряжение выделяются две комсомольские бригады. Приступать сейчас же. Срок на постройку — десять дней, — чеканно дополнил свой приказ начальник.

— Десять дней? — переспросила с удивлением Бобкова, предполагая, что он оговорился. Ей было известно, что точно такой же завод на домне строился больше месяца.

Но Петров посмотрел на нее все тем же острым взглядом маленьких медвежьих глаз и подтвердил:

— Да, в десять дней построить оба завода! Если какие будут недоразумения насчет материалов, обращайтесь непосредственно ко мне... Всё. Можете идти!

Нина Алексеевна спустя полчаса об'яснила своему рабочему отряду, какая на него возложена задача и как он должен приступить к ее разрешению. Потом назначила старших и расставила всех по местам.

Петров пришел на второй день утром, молча обошел помещения, внимательно вглядываясь, как работала молодежь, Бобковой торопливо сунул руку и сейчас же отдернул ее, привычно пряча в карман, словно чего боялся. Сурово спросил:

— Материал весь на местах?

— Труб нехватает. Сегодня обещали доставить.

— Помните срок — пятнадцатого вы должны оба завода сдать готовыми.

— Помню! — резко ответила, несколько обиженная, девушка-инженер. Она видела, что начальник сомневается и этого не скрывает. Может быть, он и вообще сомневается в ней как в инженере? Тогда зачем же ей поручили это дело?

Она не знала, что выбор Петрова пал на нее почти случайно. Начальник плотины перебрал в уме с десятков имен инженеров, еще не расставленных на ответственные участки, и ни на одном не мог остановиться. В это время кто-то случайно назвал ее фамилию, тогда он живо вспомнил энергичное женское ли-

цо, уверенный голос и быстрые движения. Работу ее он почти не знал, но в таких случаях всегда полагался на свое острое чутье. Когда призвал в конторку и разговаривал с ней, то в первую минуту еще колебался — можно ли доверить это дело? Пронизав ее взглядом, он ответил себе: можно. Теперь пришел проверить: ошибся в своем выборе или нет? Ушел удовлетворенным. К вечеру еще раз заглянул и успокоился: будет сделано.

Молодежные бригады, разбившись на две смены, работали день и ночь по двенадцати часов каждая.

Первые дни для Бобковой были еще тем мучительны, что угнетали сомнения: вдруг не закончат к сроку или сделают недостаточно хорошо? Иногда казалось, что она уже провалилась с этой работой: сколько ни гони, все равно не осилишь.

Десятки раз в день девушка подходила к каждому рабочему, вникая во всякую мелочь. Часто сама брала инструменты и, не разгибаясь, работала наряду со слесарями и водопроводчиками. Сделать к сроку и хорошо для нее, помимо всего, было и вопросом самолюбия, — значит стать на уровень с высокими специалистами...

Бригадир Митрейкина монтировала под'емник. Делала все, будто неспеша, но под короткими, сильными руками работа горела. Появилась Бобкова.

— Елена Андреевна. А мы к сроку все-таки окончим. Работа идет неплохо. Ребята стараются. Я не сомневаюсь, окончим, — сказала она с подчеркнутой уверенностью: хотелось укрепить себя, разогнать сомнения.

— А как же иначе? Если сказано — кончить, значит, и кончим. — Митрейкина, не оборачиваясь, продолжала в такт движению инструмента покачивать верхнюю часть своего по-мужски сложенного тела.

— Да, я все рассчитала. Обязательно закончим...

Девушка пошла к паропроводной установке. И вдруг позади — шум и чьи-то испуганные выкрики. Она обернулась. Там, где работала женщина-бригадир, суетилась кучка людей. Сразу мелькну-

ла догадка: «С Еленой Андреевной дурно. Работать ей теперь много нельзя. Как же быть? Кем заменить?..»

Через несколько минут Митрейкина пришла в себя. Увидав склонившееся над нею взволнованное женское лицо, она виновато проговорила:

— Это ничего. Голова только закружилась. Все уже прошло... Кончим к сроку. Обязательно кончим. — Поднялась и потянулась за инструментом.

Нина Алексеевна молча направилась к другой бригаде.

«Нет, не закончат они. Не справятся...»

Сутки казались необычайно короткими. Не успеешь оглянуться, как дня уже нет. Так же стремительно пролетает и ночь...

«... А если авария или несчастный случай?.. Если она сделает какой-либо промах?.. Вдруг выпадет из работников самый главный — Митрейкина?..»

Девушка-инженер ни на минуту не ослабляла своего упорства. Под конец ей стало казаться, что она выросла, — взгляд сделался острее и пронизательнее. Даже почувствовалась какая-то новая, еще не совсем понятная сила...

Было тяжело, но приятно...

... В конце девятого дня инженер Бобкова явилась к начальнику плотины с докладом:

— Заводы готовы, можете принимать.

Петров посмотрел на нее несколько недоверчиво.

— Готовы, говорите? Отлично! — Он взялся за телефонную трубку.

— Срок нам был дан — десять дней. Мы сделали в девять, — добавила она лаконически. В тоне голоса чувствовался вызов.

— Хорошо. Вы сегодня получите новое назначение. — Начальник как будто не понял тона, не удивился быстроте выполнения и не поблагодарил...

Двадцать четвертого января в штабной палатке земельного участка заседал треугольник совместно со старшими бригад, с десятиниками, техниками и инженерами. После доклада первое слово взял бригадир землекопов, Сулим-Оглы:

— ... План по планировке ячеек мы должны кончить не к первому марта, а к двадцатому февраля. Наша бригада выдвигает встречный, — заявил он. — Мы обязуемся плановое задание администрации перевыполнять на тридцать пять процентов. Прогульщики из бригады выгоним...

Вызов был принят. По плотине пронеслось:

«Закончить постройку флютбета к двадцать третьему февраля»...

Партийная и комсомольская ячейки и рабочком ввели дневное и ночное дежурства своих членов на всех участках. Работы развернулись сразу по всей ширине реки.

Нужно было спешить. Нужно во что бы то ни стало закончить все работы до разлива весенних вод. Иначе — снег, разрушит. Пропадет гигантская работа двух с половиной месяцев, десятки тысяч рабочих дней.

Дородный снова столкнулся с героями плотины.

— Степан Гаврилович, опять, значит, заколачивать гвозди в землю? — засмеялся, встретив его, маленький черныи Бронштейн.

— Опять с вами. Теперь у нас за спиной уже опыт. Знаем, что и как, — весело ответил Дородный. Настроение было великолепное, обида смылась новым назначением на ответственную работу.

В снежно-ледяном русле реки снова бухают копры, лязгают цепи экскаваторов, звенит железо и деловито переключаются паровозные гудки. Но, кроме этих знакомых звуков, время от времени слышатся и другие, более мощные, все покрывающие. Это взрывы промерзшей земли, в которой бурятся скважины и закладываются динамитные патроны.

Прорабы правого и левого берегов, Струков и Бронштейн, как два полководца в своих полевых штабах, проверяют, высчитывают, записывают, то-и-дело звонят по телефону на строительные фронты. На стенах, на столе — чертежи, проекты, графики с возрастающими кривыми.

— Алло! Третий участок? Инженер Дородный?.. Алло! Дородного мне!..

Сколько в первую смену забито шпунта?

Прораб Бронштейн, маленький, подвижной, — через край льется из него энергия, — поворачивает голову к сидящему за столом технику:

— Скворцов! Запиши: двадцать девять... Опять, лешманы, на одну спустили!

В дверь неожиданно врывается охапка упругого свежего воздуха, и маленькое помещение сразу наполняется морозом. Перед прорабом — высокий, с обледеневшими усами, человек, в белой от инея папахе. Сдернув варежки, он протягивает скрюченные руки к раскаленной железной печке.

— Товарищ прораб! Это ни на что не похоже: свищевцы воруют у нас опалубку. Мы с ними соревнуемся, они не победят, вот и занимаются воровством. Это никуда не годится!

— Всё?

— Всё.

— Отлично! Иди! Пойдем меры... Алло! Первый участок? Дайте мне первый участок!.. Так-так! Сто девяносто замесов? Хорошо! А бригада Васина?.. Сто семьдесят два? — Вешает трубку: — Тоже ничего... Ну, я сейчас побегу к плотникам. Что это у них там?

Спустя две минуты юркая фигура прораба Бронштейна, в рыжем полушубке, ватных штанах и валенках, проворно ныряет между стоек и арок лесов, неся с собой неиссякаемую энергию.

Никто не знает: как прораб Бронштейн, двадцатипятилетний инженер-путеец, живет в домашней жизни? Чем увлекается помимо непосредственной работы? Каковы его привычки? И откуда он появился на строительстве?

Забросили его на «Пятилетку» обстоятельства чисто житейского свойства. На его родине, в Минске, с ним жили мать и сестра с ребенком. Заработка для четверых было недостаточно. Тогда у него мелькнула мысль поехать сюда. Он знал — на «Пятилетке» будет получать вдвое больше.

Вместо постройки железнодорожных путей его заставили строить речную плотину. Как будто даже немного обидно. Приближает. Но спустя несколько дней

он увидел, что здесь очень интересно. Он был молод, честен, мог по-настоящему увлекаться работой. И он увлекся. До сего времени было две любви: к матери и маленькой племяннице, теперь появилась третья, более сильная и подавляющая — любовь к своему делу, к плотине. Бронштейн юношеской легкой походкой пронесится по своему участку. Сунет нос к опалубщикам, заглянет в скальную выемку, потрогает упругую сеть арматуры.

— Вы отстаете, товарищи! Как бы вам хвост не ущемили соседи! Подтягивайтесь...

— ... Эй! Друг! Разве так держат аппарат? Можешь зубы себе выбить! — Он выхватывает бур из рук рабочего и налегает на него сам. — Вот. Видал? Так и орудуй!

И дальше летит молодой инженер Бронштейн, все окидывая своим хозяйским, любовным и всезнающим взглядом.

— Товарищ Бобкова, здравствуйте! — Остановился. Голос уже более мягок. — Как, — не замерзли еще? Чортовский холод и ветер. Проклятая сторонка!

— Почему проклятая? А мне эти места очень нравятся, — улыбается девушка.

— Да, пожалуй, и мне нравятся. Но вот холод, понимаете, холод. Он не только руки и ноги, — он замораживает мозг.

— Ну, вы преувеличиваете. Если бы он замораживал руки и мозг, то едва ли бы мы могли это сделать, — показывает Нина Алексеевна на бетонный гребень плотины и на далекие постройки будущего завода.

— Это вы верно, — смущенно соглашается прораб. — Я просто для общности так выразился. А что касается мороза, так сегодня тридцать восемь по Реомюру... — Вдруг лицо его расцветает. Он с хвастливой гордостью сообщает девушке: — Вон там у меня работает на копре сквозная комсомольская ударников-энтузиастов. На основной плотине четыре награды получили. Так им ни мороз, ни буран нипочем. Некоторые копры до этого забивали всего по пять-шесть шпунтин, не достигая

нормальных восьми. Тогда они выдвинули встречный. Знаете, сколько? Двенадцать шпунтин. А норма — восемь. И выполнили, получив знамя горсовета. Это еще до вас было... Правобережные решили знамя отобрать — забили двенадцать с половиной. Тогда наши налегли и дали тринадцать штук. А мороз был во!.. — Бронштейн поднял крепко сжатый кулак.

Нина Алексеевна улыбается. Горячность молодого инженера ей нравится.

— Да, замечательные у вас ребята. С такими приятно работать.

— Вон и бетонщики так же, — продолжает прораб. — Бригада Скворцова. Метель, мороз, а они точно... ну, стальные. И укладывают по семьсот-восемьсот кубометров в сутки, тогда как на других участках не превышают пятисот. А вот еще позавчера один паренек-плотник, — и не знаю, чей он, откуда, — обморозил себе лицо. Бригадир хотел его отправить в амбулаторию, так он категорически отказался. Я, говорит, комсомолец... Ну, и так дальше... Потер щеки снегом, и кончено. А на второй день выйти уже не мог — положили в больницу... Вот!.. — Бронштейн посмотрел рязмягченным взглядом на молодую девушку и неожиданно заключил: — Ну, счастливо вам!..

Дальше прораб идет уже медленно. Эта девушка нарушила размеренный ход его мысли. «Вообще неудачно это назначение. Почему она попала именно на его участок, а не к Струкову? — думает Бронштейн. — Хотя это и приятно, хотя и можно быть спокойным за ее работу, но лучше было бы, если бы она работала у Струкова... Меньше беспокойства с собой...»

На том и другом берегу круглые сутки пыхтят девять паровозов, подогревая в «силосных» башнях и прямо на воздухе песок и щебень для бетона. Заводы выпускают бетон, дышащий белым паром. После укладки его закрывают толем и тремя рядами соломенных настилок.

Большинство иностранных специалистов определенно утверждало:

— Никуда не будет годиться бетон. Без тепляков строить зимой нельзя.

Кое-кто пессимистически каркал:

— Не выдержит весенних вод.

— Размоет...

— Опрокинет...

Инженеры с других участков при встрече с начальником плотины, Петровым, язвительно спрашивали:

— Ну, как, готовишь харчишки?

— Для чего? — притворялся тот непонимающим.

— А вот весной в половодье узнаешь, для чего... когда от твоей плотины останутся рожки да ножки.

— Ну, весны мы не боимся, — весело отвечал Петров. — Она другое покажет. Весной приходите кататься на лодке: озеро будет...

II

Развернувшиеся работы требовали со стороны технического руководства усиленного внимания. Управление строительством нашло необходимым прораба левого берега, Бронштейна, сделать помощником начальника плотины. На освободившееся место был выдвинут Дородный. Начальник, инженер Петров, призвав его, заявил:

— Степан Гаврилович, я возлагаю на вас обязанности прораба левого берега. Вы — ближайший помощник Бронштейна, вы работали с ним осенью. Он рекомендует вас. Надеюсь, что справитесь.

— Хорошо, — коротко ответил Дородный и, подумав, добавил: — Только разрешите ввести некоторые новшества по учету работы.

— Делайте все, что находите необходимым... — Начальник сунул ему руку и опять принялся за дело.

Система повседневного учета была разработана Дородным еще на Механическом. Но по многим причинам применить ее он до сих пор не мог.

В тот же день вечером Степан Гаврилович собрал десятников и бригадиров своего участка и стал объяснять им, что от них требуется. По окончании каждой смены десятники должны производить обмер работ и составлять особые рапортики с точным указанием числа людей и количества работ, произведенных каждой бригадой за свою смену.

В любую минуту, — говорил он, — рабочий может видеть, сколько он и его товарищ в соседней бригаде заработали и какие обстоятельства способствовали повышению или уменьшению заработка. Введем мы также показательные таблицы и для механизмов. Машина заговорит с каждым мотористом понятным ему языком. Расскажет ему, сколько она сделала и сколько могла бы сделать, если бы ей не мешали такие-то и такие обстоятельства.

Результат нововведения сказалося быстро. Особенно показательной явилась работа одной, систематически отстающей бригады бетонщиков. После устранения незамечаемых раньше недостатков производительность ее резко увеличилась.

Эта бригада работала ночью. Дородный сам наблюдал за нею. Непрерывно, без лишней суеты подкатывались ручные тележки к затворам, выпускавшим из желобов густую бетонную массу. Размеренно опускался и поднимался ковш бетономешалки, ровными порциями шел в нее подогретый материал. К концу смены таблицы показывали небольшие отклонения от нормы.

— Ну как, товарищи, по скольку нынче придется на брата? — спросил Дородный по окончании смены.

— Заработок сегодня ладный, товарищ прораб. Почти по червонцу на рыло. За эту цену и мороз не страшен, — ответил один, ухмыляясь.

— Ведь вот простая как будто штука, а для дела полезна.

— Она и нашему брату не вредит...

— Может, еще что ни то придумаете, товарищ прораб, чтобы нам на руку было. У вас это складно выходит, — весело делали замечания рабочие.

Начало было великолепное.

Бой с мертвой природой — с хаосом камня, ледяной земли, степных, сокрушающих бурянов и жестоких, мертвящих холодов — ни на минуту не прерывался и не ослабевал. Побеждая слепые силы стихии своей настойчивостью и разумной силой, люди неустанно творили, создавая преграду другой стихии на будущие долгие времена. Степную, коварную реку они обуздывали и запря-

гали, как необъезженного коня, чтобы взять ее энергию себе на потребу.

Ночь. Она не над плотиной, а там, дальше, в необозримой степи, сейчас проглоченной свистящей морозной чернотой, за туманными холмами горного кряжа, за поселками и заводскими сооружениями, которые призрачно выплывают из густых ночных потемок.

Над плотиной не ночь, а настоящий день. Даже лучится дерево строительных лесов, опутавших своим плетением тонкий бетонный хребет наклонно-сплошных арок. Только небо кажется слишком низким и не светится синевой. На протяжении километра от берега до берега повисло ожерелье из электрических негнущих солнц. Концы его загнулись далеко по обоим берегам. Тысячи больших и малых огней — над машинами, над людьми, над строительными деталями, над курганами взорванной и вскопанной земли. Они всюду, все ошупывают, все проверяют.

Дородный подходит к одной из самых больших бетономешалок. Она безмолвна.

— В чем дело, товарищи?

— Да вот поломка. Чинить надо.

— Как поломка? Почему? — Дородный встревоженно приближается к механизму. Над ним трудятся монтер и механик.

— Какой-то дьявол железный болт бросил. Серьезная поломка, — заявляет монтер, оборачиваясь к прорабу, и сейчас же начинает тискать и колотить кисти рук, застывшие от прикосновения к металлу даже в рукавицах.

— Это — вредительство. Надо выудить этих жуков.

— За это голову оторвать мало... — негодуют рабочие.

Дородный мрачно думает: «Да, настоящее вредительство, мелкое, гнусное. Два дня назад вывели из строя на целые сутки электрический экскаватор, днем раньше на левом берегу загорелся склад с лесоматериалами. Если бы не удалось во-время потушить, то пожар мог бы наделать много бед. Расследование обнаружило поджог».

Прораб, кусая губы и в волнении напрягая мускулы, идет в конторку, что-

бы позвонить о случившемся начальнику плотины...

... Другая ночь. Небо безоблачно, воздух коварно спокоен, степь спит. Ртутный столбик показывает сорок семь градусов. В амбулаторию то-и-дело приходят люди с обмороженными лицами, с заледеневшими ногами и руками.

Мороз налетает исподтишка, как злобный и трусливый враг. Как будто и не так уже холодно, а он цап ледяной, невидимой лапой — и кусок тела мертв. А после этого опять терпимо.

Захватывает дыхание, губы стягивает, ноздри горят. Фонари поблескивают мутными шарами.

Покрытый инеем, похожий на снежную бабу, Дородный медленно идет по своему участку. Ноги и руки одеревятели и едва подчиняются; он то-и-дело оступается, не чувствуя под собой почвы. Ломит концы пальцев.

На середине реки, у стыка двух участков, стучат паровые копры, хрустит и звенит железо. У одной из арок столпилось несколько человек. Приглушенно слышатся отрывки непонятных фраз.

— Что тут такое? — втискивается Дородный.

Часть людей молча принимается за работу. Двое оставшихся копошатся над третьим, лежащим.

— Сорвался с эстакады, вместе с тележкой, — говорит один из них и выпрямляется. Оказывается женщиной — бригадиром Митрейкиной.

— Елена Андреевна, как это случилось? — спрашивает прораб, с трудом овладевая смерзшимися обескровленными губами.

— Кто его знает, как. Повидимому, мороз виноват... Ребята! Живо носилки!..

— Елена Андреевна! Но вы, вы сами!.. — Он только сейчас обратил внимание, что лицо ее было мучнисто-белое, и она едва стояла. — Эй! Двое сюда! Ведите ее на берег! — приказал инженер.

— Я — ничего! Пустяки. Я сама дойду. — Женщина шагнула и тут же, покачнувшись, беспомощно упала на кучу снега.

Под утро Дородный возвращался в конторку. Пальцы на ногах уже перестали ныть, казались ватными. Он пробовал прыгать на месте на носках, пробовал при шаге делать на них нажим больше, чем нужно, — они не отходили. Главным образом были нечувствительны большие пальцы на обеих ногах.

«Неужели окончательно погибли? Придется отнимать? Вот гнусная история, — думал он, с усилием подвигаясь вперед. — Как приду, так сейчас же надо денатуратом, может быть, отойдут. В амбулаторию обращаться с таким пустяком неловко».

Попрежнему гремели цепями экскаваторы, бухали копры, разрывали ночь бледные электрические луны. В разных местах двигались, мелькали, копошились человеческие фигуры.

И вдруг разом наступила тьма и тишина, точно ночь одним глотком проглотила всю стройку с людьми и с машинами.

Дородный стукнулся о какой-то твердый предмет, оказавшийся потом телефонным столбом. Охватив его, он пристыл на месте. Ночь ожила: заревели гудки, завывали сирены, слышались отчаянные человеческие голоса с бранью, с призывом о помощи, с выражением внезапной боли. Полторы тысячи людей, охваченные тьмой, в бессильи застыли в котлованах, на эстакадах, на тесных площадках лесов, с тачками земли.

Электрические провода оказались перерезанными в нескольких местах... Дородный ползком дотащился до амбулатории. Одним пальцем ему пришлось пожертвовать...

... В двенадцать часов ночи пятого апреля комсомольским копром была забита последняя шпунтина. Положен последний кубометр бетона между первым и вторым рядами шпунта.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Над Безрудной горой вторую неделю крутились метели, степь посылала их короткими вихревыми зарядами. Внизу, у подножья, где располагался поселок,

ветер был тише, он только наматывал су-пробы или же до черноты оголял мерз-лую землю, грыз, точно голодный пес, телефонные столбы и деревянные заборы, рвал провода.

Наверху пурга бесновалась всеми ветрами, трудно было понять, откуда они дуют. Белые вихревые столбы с воем носились по склонам и террасам, пытаясь подхватить, сбросить штабеля досок, пустую цементную тару, легкие подсобные сооружения. Снег был ледя-ный и всепроникающ.

Начальник участка горы Безрудной, инженер Кутасов, одетый в овчинный полушубок, высокие валенки и мерлушко-вую шапку, с усилием поднимался по откосу. Ветер налетал сбоку и сверху, осыпая тучей снега, залепляя глаза и рот. Кутасов отплеивался, тер рукави-цей щеки и, изгибаясь, боком, с отчаян-ным напряжением ввинчивался пригну-той головой в упругую ветровую волну.

«Чорт бы побрал эту проклятую по-году. Как теперь правый бункер осим-лим? Сколько раз говорил Шеину и Оберману. Это все от них» — мыслен-но негодовал начальник, хотя в уголке сознания копошилась мысль, что ни прораб, ни консультант здесь не при-чем. «Сколько раз говорил, что начи-нать следовало не с этого. И опять же этот Черняк, да и бригады бетонщиков. А главный, конечно, Шеин». Послед-нюю фразу Кутасов выкрикнул вслух, отвертываясь от налетевшего шквала. Ему во что бы то ни стало нужно было найти сейчас виновника.

Отставание началось со скальных ра-бот. Закончить выемку котлованов тре-бовалось еще к июню, но она затяну-лась до половины августа. Затем про-рыв получился и с бетонным сооруже-нием. В результате — отставание против плана больше чем на два месяца. Шеин ссылался на ряд объективных причин: в течение месяца состав рабочих сменился на семьдесят процентов; потом недоста-ток механизмов, потом плохой подвоз материала.

«Да, все это так. Но почему же на других объектах нет такого позорного отставания? — мысленно задает Кута-сов вопрос себе и прорабу. — На той же

Казачьей отстали от плана всего на две с половиной декады, а там были такие же условия. Значит, у нас есть нечто и помимо этих причин...»

Начальник участка останавливается, чтобы передохнуть и смести с лица и груди налепившийся снег. Тропинки, по которой он поднимается на среднюю площадку, уже не видно, о ней напоми-нают только лежащие по обочине кучи щебня, сверкающие сейчас белыми хол-мами. Немного выше, под навесом, сту-нит камнедробилка.

«Оберман скоро, вероятно, совсем уедет, — вспоминает Кутасов. — Дого-ворный срок кончился. Потянула роди-на. Здесь ему скучно. У вас, говорит, бескультурье, я затосковал по хорошей музыке, по театру, по уютному кафе... Вы, говорит, из каждого дела выводите подвиг. К своей будущей радостной жизни идете через неоправдываемые ли-шения. Аскетствуете. Для того, чтобы в своем строительстве из десяти лет вы-гадать два года, вы несете огромные жертвы...»

— Ха! Ни чорта он не понимает в нашей математике, — неожиданно про-износит вслух начальник участка, инже-нер-большвик Кутасов. — Ровно ни дьявола не понимает! Два года, вырван-ные русскими большевиками у расточи-тельного времени, герр Оберман, при-близят человечество на два года — на целых два года — к новой, еще невидан-ной жизни, доступной для сотен мил-лионов людей! Да и откуда вы взяли эти жертвы? Высокое сознание своего долга перед социалистическим отече-ством и желание во что бы то ни стало преодолеть трудности, приблизить сро-ки, — разве это так губительно для че-ловека?..»

Кутасов незаметно для себя очутил-ся возле группы рабочих, долбивших откос скалы. Тут же стоял и Шеин в высокой шапке, сплошь заметенный сне-гом. Из белой рыхлой маски сурово сверкали черные зрачки. Он держал кирку, которой только-что пробовал ру-бить сам.

— Из рук выбивается. Ветер, того гляди, собьет с ног, — спокойно пожало-вался начальнику прораб.

Кутасов потрогал меховой рукавицей скалу и спросил, обращаясь к рабочим:

— Никто не обморозился?

— Покамест как будто никто.

— И не устанет, леший его возьми! Крутит и крутит!

— Вот, может, что с нового месяца изменится: завтра будет нарощение, — вставил человек с белой, обледеневшей бородой, заноса кирку для удара.

— Какое нарощение? Кого? — не понял Кутасов.

— А месяца, говорю. Завтра в ночь должен появиться. Тогда и перемена погоды.

— Федор насчет погоды у нас до-тошный: знает, когда пойдет дождик, когда снег, когда будет, когда — нет.

— Он что твой барометр!

— У моего дедушки грыжа была, так он тоже хорошо погоду угадывал, — сообщает молодой паренек, с'еживаясь от налетевшего ветра. — О-о! Чорт бы его!.. Снегом прямо кожу сдирает... Как, бывало, к перемене погоды, так он и начинает метаться. Кила величиной с горшок выпирает наружу.

— Выходит, значит, и у Федора того... кила?

Ветер срывает хохот.

Удары инструментов о мерзлый камень почти беззвучны, их сминает воем метели. Где-то пронзающе скрипит отдираемое ветром железо.

— Переведите рабочих на пятый откос, на южную сторону, здесь совершенно невозможно работать, — предлагает начальник прорабу и сам отправляется дальше, увидав на повороте мелькнувшую фигуру Обермана.

Кутасов идет в ряд с консультантом. Немец в желтом кожаном меховом пальто, крепко стянутом широким ремнем. На руках — большие рукавицы раструбом. Тыльная сторона их из кожи нерпы, а нижняя — лосевая, нежная. Внутри — мягкий собачий мех. Кутасов пробовал их надевать — приятно. Взглянув сейчас на них, он сразу представил себе их теплоту. «Буржуй долговязый», — мысленно, без злобы, выругал он немца и тут же крикнул ему простуженным голосом, сияясь преодолеть вой пурги:

— Кирсанов приехал! Скоро, вероятно, будет у нас!

Оберман безразлично мотнул головой, и трудно было понять, что он этим говорит — то ли, что знает, мол, о его приезде, или то, что, дескать, для меня это безразлично.

— Вчера в управлении заявили, что если мы к концу месяца не закончим, то нам зададут взбучку. Мы обязательно должны закончить.

Немец вместо ответа опять безразлично помотал головой. Взгляд его был пуст.

Из глубины туннеля медленно выползала, груженная камнем, вагонетка. Двое толкавших ее людей отчаянно боролись с ветром. Тучи снега и ледяных крупинок обжигают били в лицо, звенели по железу, пытались сбросить тележку с людьми снова в черную дыру коридора.

За первой вагонеткой двигалась вторая. И опять то же чрезмерное напряжение мускулов, борьба со стихией и медленное, медленное одоление ее, — тележка подходила к намеченной точке и опрокидывалась.

На лесах, окружающих левый бункер, темневшие человеческие фигуры взмахивали руками, наклонялись, двигались, — казалось, они просто вели бессмысленную борьбу с метелью. А метель белыми крутящимися полчищами, с воем и присвистом неслась снизу, со степи, неслась сверху, с невидимого неба, неслась отовсюду. Огромное сооружение бункера, как и самая гора, расплывалось в белой пене беснующегося скеана.

В туннеле почувствовалась неожиданная пустота. Голос сразу стал необычайно громким.

В боковой выемке сидели на корточках трое рабочих.

— В чем дело, товарищи? — сдерживая вспыхнувшее раздражение, остановился возле них Кутасов.

— А в том, что мы совсем заledenели! От такой погоды инвалидом станешь!

— Десятник! — закричал Кутасов в сумрак коридора, заметив вдали идущего человека. — Фролов! Сейчас же

отправить их в конторку и разуть! Если ноги обморожены, свезти в амбулаторию и потом сообщить мне!..

В подземной зале будущей рудообогатительной заканчивались бетонные работы. Здесь было тихо и тепло, пахло сыростью. Десятки электрических лампочек, висевших на временных проводах, спокойно освещали все углы огромного помещения. Но в нем все-таки было мрачно. Серые массивы стен, потолка и пола давили своим однообразием. Звуки и голоса разносились гулко. Кутасов и Оберман молча прошли возле длиннейшей, недавно возникшей стены, внимательно осматривая ее.

У выхода к незаконченному бункеру работала бригада бетонщиков. Вдалеке мутно белело круглое пятно неба, гудевшее приглушенным воем пурги. Оттуда несло холодом. Двое бетонщиков сильными голосами пели:

Мироедская рать
Хочет нас покарать,
Руки-ноги связать нам веревкой.
Но то в холод, то в жар
Раз'ярившихся бар
Перед красной кидает винтовкой...

Начальник участка и консультант, обойдя их, направились в гудящую трубу навстречу метели.

II

К полдню метель стихла, небо прояснилось и засверкало нежной лазурью, а внизу лучились, слепили глаза непорочные, удивительно мирные снега.

На паре гнедых лошадей, в плетеной бричке, утопая в снегу, к окнам конторы под'ехали начальник строительства Лундин и член правления «Крайметалла» Кирсанов. Они сначала попробовали было добраться на автомобиле, но с полпути пришлось вернуться: встретились такие баррикады свеженаметенного снега, перед которыми машина вынуждена была бесславно отступить.

Начальник участка оказался на горе. Приехавшие, не заходя в контору, отправились туда же. Не привыкший ходить пешком, коротконогий и грузный Кирсанов отставал от проворного Лундина. Он вязнул, оступался и часто тер

себе мерзнувшие нос и уши, мысленно ругая себя за то, что согласился подниматься в такой мороз по плохо утоптанной тропинке на гору. «Можно было дожждаться Кутасова внизу, к чему это ненужное геройство? У него и так сердце стало никуда негодно, а тут давать ему такую нагрузку. Глупо...»

Начальник строительства то-и-дело останавливался, поджидая и по-товарищески подтрунивая:

— Да, брат Кирсанов, в следующий раз придется нам брать лебедку, чтобы тебя подтягивать. Без нее не обойдешься.

— Ничего-ничего, заберусь. Вот потренируюсь немного, тогда за мной не утонишься, — отшучивался тот, чувствуя, как под коленками от непривычного напряжения дрожали мускулы. — Я ведь когда-то на ногу был легок. По семьдесят верст в сутки делал.

— Ну, это было, да сплыло. А теперь жирок мешает. Поживи у нас недельки три, мы тебе его сгоним.

— Не жирок мешает, а не в порядке сердце. Как изношенный мотор, стало делать перебои. Боюсь — в один прекрасный час трахнут сосуды, и — каюк! Поминай, как звали!

— Ничего. Жир спустишь, и сердце поправится. Воздух у нас для сердца питательный. Климат — что надо. Степь.

На горе мороз оказался более коварным, чем внизу: нет-нет, да и щипнет за щеку или за нос так, что сразу белые пятна появляются. Кирсанов хотел уже тащить начальника книзу, но тут они как-раз и натолкнулись на Кутасова, стоявшего у бурильного станка. Механик и двое рабочих возились с машиной, пытаясь пустить ее, но машина не слушалась.

— Вот так и работаем! — взволнованно развел руками Кутасов, увидав приблизившееся начальство. Он был раздражен неудачей и забыл поздороваться. — Вот, кройте нас за прорывы, за отставание, за срыв плана, — за все кройте! И надо крыть! Шей мылить! Заслужили!.. Раньше надо было!..

Голос его звучал необычно, как необычен был и весь вид: полушубок

смерзся и казался лубяным, лицо от мороза и ветра распухло, над левым глазом краснел незаживший шрам от падения в недавнюю гололедицу.

— Ну, ты, брат, истерику-то не производи, это скучно! Говори, в чем дело? — оборвал его еще не успевший стыдшаться Кирсанов, бывший с Кутасовым по старой совместной работе в дружеских отношениях. Он протянул ему руку. — Здорово!

— Вот машину никак не можем пустить: масло стынет, вода мерзнет, ничего не выходит, — сказал уже спокойнo Кутасов, снимая рукавицу.

— А еще что?

— Еще? А еще — во-время не дают материала. Но главное, конечно, люди. Как вода сквозь решето — не удержишь.

— Да, плохо, — согласился Кирсанов. — Лундин, это от тебя. Это от высшей администрации. Необходимо сделать так, чтобы люди не бежали.

— Хм! Чужую беду руками разведу... Очень легко, по-генеральски: Лундин, это от тебя!.. А Лундин что? Выше собственной головы может прыгнуть? На транспорт мы бросили полтысячи комсомольцев, ну, немного выправили. А на заводы, которые на нас работают, мы не можем их бросить. И тем более мы не можем ничего сделать с вами, с возглавляющими учреждениями.

Начальник строительства говорил спокойно, немного в ироническом тоне. Кирсанов слушал его, смотря сосредоточенно под гору, где в прозрачном морозном воздухе на сверкающем белом фоне четко рисовались квадраты и параллели строящихся зданий. Выслушав, он повернул к нему мясистое лицо со стрелками белесых бровей.

— Все это, товарищ начальник, от лукавого. То, что вы говорите, я знаю и давно забыл. Мы — большевики и как рассуждать не должны. Сваливать один на другого: Иван на Якова, Яков на Петра, — это легче всего. Я ведь тоже могу с себя свалить: Москва, мол, виновата! Ну, а дальше что?.. Надо дела-ать! Вот что! Каждому в своей области делать, придумывать, изобре-

тать, находить выход, а не заниматься самооправдыванием. Нет такого положения, из которого нельзя выйти. Вы обязаны найти этот выход! Кутасов обязан прорыв на своем участке покрыть во что бы то ни стало! Лундин все строительство должен кончить к сроку! Никакие оправдания и ссылки этого обязательства с него не снимают. У вас нехватает материала — достаньте его! Плохо работает транспорт — наладьте! Бегут со стройки люди — сделайте так, чтобы они не бежали, чтобы им незачем было бежать! Вы знаете, что все это можно сделать, и вы непременно должны сделать!..

По обледенелой деревянной лестнице с верхней площадки на среднюю спускается прораб, инженер Шейн, — лицо помороженное, голос хрипит. У него сегодня на работе ряд неудач: один из плотников разрубил топором коленку; первая смена бетонщиков не выполнила своей нормы; он сам получил от Кутасова выговор, — и, несмотря на это, настроение с половины дня великолепное. Шейн чувствует себя необычайно бодрым, даже ощущаются мускулы рук и ног. Ему хочется разговаривать, смеяться, петь. А причина этому — всего только женское письмо в одну четвертушку листа, полученное им сегодня в полдень...

Навстречу поднимается немец Оберман. Утомлен и не в духе. Но молодой прораб не замечает этого.

— Герман Васильевич! Какой сегодня мороз-то! Прямо руки коченеют! А к ночи, наверно, еще больше похолодеет, невозможно будет носа пока-зывать.

Оберман поднимает тяжелый взгляд оловянных глаз.

— Если уж вы за свой нос боитесь, то как же быть мне? Ваш нос против моего — пуговица... Вы не видали, куда пошел начальник с Кирсановым?

Шейн вспыхивает от обиды. «Пуговица» на мгновение его страшно обижает.

— Не видал! — отвечает он резко. — Они на средней площадке у южного среза...

Немец смотрит вдаль.

Обида у Шеина рассеивается. Прежнее настроение снова берет перевес. Он говорит уже другим голосом:

— Любопытно, как мог забраться сюда Кирсанов? Ему по ровному месту носить себя трудно, а тут еще такой снежище.

Оберман не отвечает.

— Герман Васильевич! Завтра в клубе у горняков — интересный спектакль. Вы не идете туда?

— Нет.

— Песа о нашем строительстве. Будто Голича и еще кое-кого продергивают. Любопытно посмотреть.

— Кому как, а мне не интересно, — неохотно откликается немец и повертывает по дорожке направо, где вдалеке виднеется группа людей.

«Видимо, червь начал точить. Заскучал», — мысленно решает прораб и уже полунасмешливо произносит в удаляющуюся спину:

— У нас — не в Москве или не в Берлине, и любительскому спектаклю будешь рад. Не дома же целый вечер киснуть. Так плесенью покроешься, червей в себе разведешь.

Немецкий консультант на эти слова оборачивается и пристально оглядывает молодого инженера. Почему сегодня у него такой пыл?

— Очень желаю вам, товарищ Шеин, не подвергаться плесени, быть вечно бодрым, молодым и пресным, — отвечает он четко, с нажимом и попрежнему продолжает путь.

Кирсанов и Кутасов стоят у фонарного столба, на котором прибит фанерный щит с кричащей надписью: «Смоем с себя позор прорыва, покажем большевистские темпы!»

По узкоколейке катится состав из пяти маленьких платформ, груженных камнем. Везет его лошадь, вся белая от мороза. Коногон, тоже белый, с сосульками на усах, увидав начальство, взмахивает кнутом, с присвистом, лихо взвизгивает, и поезд с грохотом пронесется мимо.

Член правления, увидав подходящего консультанта, приветственно поднимает руку и тут же говорит:

— Когда поедете в Москву, то обя-

зательно загляните ко мне: у меня будет к вам дело. Кроме того, моя жена очень хочет вас видеть... А лучше всего вам не торопиться со своим отъездом. Поживите еще с полгода или хотя бы месяца три, — вы нам очень нужны.

Оберман молчит, уставившись тяжелым взглядом вдоль полотна, куда умчался миниатюрный поезд. Кирсанов, посмотрев на его длинное, разграненное вертикальными складками, лицо и, не найдя на нем ответа, продолжает говорить, будто самому себе:

— Три года назад я был здесь, вон на той горе, на Казачьей. Кругом было пусто. Зной, пыль, степные смерчи — и больше ничего. И людей работало всего семнадцать человек. Щупали самую эту руду. Геологическая группа Буглая. Ученый Буглай, просверлил первую дыру на десять метров вглубь и достав оттуда осколок руды, сказал: «У докторов есть такой способ определять некоторые болезни прощупываньем пальцами. Так и называется: «пальпация». Вот и мы свою руду прощупаем всю пальцами». Он так и сделал: прощупал всю до основания, узнав ее толщину, рельеф, определив количество. Тысячу триста дыр просверлили... Тогда кругом была пустота, на горе свистели каменные суслики, в той рожице водились зайцы. А теперь, глядите, что делается!.. Вам уезжать отсюда сейчас никак нельзя. Именно сейчас!..

Немецкий консультант упорно молчит. Ресницы и брови у него от мороза кажутся серебряной щетиной. Из широких ноздрей упругими струями выбрасывается белый пар.

Кирсанов снова начинает и опять так, как будто вслух думает:

— Я проживу здесь с неделю. В Свердловске меня затормошили — разные заседания, совещания, ведомственная суета. Одни деловые бумаги могут в гроб вогнать. Осточертели мне они. А здесь живое, непосредственное дело. Здесь в людях кровь, а не чернила... Вам все-таки следует остаться, — заключает он опять тем же.

Оберман точно спохватывается:

— Да, мне нужно туда, к станку сходь. Забыл.

Не дожидаясь ответа и не попросившись, немец решительно направляется по полотну дороги. Когда завертывается за скалу, то с беспокоеством оглядывается — не идет ли за ним Кирсанов. Убедившись, что того нет, он, уже не спеша, начинает спускаться вниз по тропинке, ведущей к дому.

III

Герман Васильевич, сидя на диване, слушает музыку Вагнера, исполняемую оркестром Берлинской государственной оперы. Когда игла доходит до центра пластинки, он переставляет ее на край и снова заводит пружину дорожного великолепного патефона. На столе стоит недопитый стакан пива. За окном — надвигается ночь и шумит ветер.

Опять, как три месяца назад, в эту комнату вползла тяжелая безлика тоска. Оберман снимает пластинку с музыкой Рихарда Вагнера и ставит другую — марш Буденного. Некоторое время подпевает неуверенным, чужим голосом, пытаясь влить в слова соответствующее настроение. Выходит фальшиво, он сам это чувствует, и все-таки продолжает.

На последнем слове спускает зажим и захлопывает крышку. Неторопливым, размашистым шагом подходит к окну. На черном фоне за стеклом проносятся, точно ватные, снежинки.

«Почему он, инженер Оберман, должен отвечать за техническое нерешество или невежество других? Он только консультант, дает лишь советы, которые могут не выполняться и которые весьма часто не выполняются... Непростительный недосмотр при работе бункера. Недопустимая оплошность в направлении туннеля. Преступная ошибка в размерах самой залы. Не слишком ли много?.. Об'ективно он в этом, пожалуй, также виновен: обязан был предотвратить. Потребовать исправления. Наконец, указать на это начальнику участка. Он ничего не предпринял. Прорабу Шейну не сделал даже намека».

Консультант рассеянно смотрит утомленным взглядом в муть окна, где

продолжают крутиться, бесшумно падать, как на экране, ватные снежинки.

«Об'ективно он — участник этого вре... вреди...»

— Как все это скучно! — вырывается внезапно вслух у Германа Васильевича. Он с раздражением отвертывается от окна и делает несколько концов вдоль комнаты. Длинные ноги при повороте как будто путаются, нехватает простора. Выпив из стакана остаток пива, опускается на диван на то же место.

«А жизнь прошла не за понох табаку, как говорят русские. Семьи уже нет и не будет. И хорошего в жизни ничего не будет. Все — кувырком!» — заключает он с глубоким пессимизмом и тянется к стене, где за стулом стоят еще несколько бутылок пива...

И вспоминается Оберману тот вечер, когда впервые встретил он милую русскую девушку, ставшую потом его женой. Ему хочется вновь пройти по своим прежним следам. Как кино-режиссер, с пристальным вниманием мысленно просматривает он сейчас кадр за кадром свой жизненный фильм. И на лице чередуются выражения любви, нежности, печали. Правая рука, откинутая на спинку дивана, нервно выражает душевное состояние.

Герман Васильевич направляет затуманенный взгляд на пустой стакан. Смотрит и не видит его. Сухие губы беззвучно шепчут два дорогих женских имени — жены и малютки-дочери...

Сейчас он кажется жалким, беспомощным стариком.

... В другом конце заводской площадки инженер Шейн в это время досуг свой проводит по-иному. За окном шумит поднявшаяся метель, бросая в стекла охапки снега, жалобно стонут телефонные провода, и где-то бьется, ржavo скрипит полоторванный лист кровли. Но в комнате на спиртовке булькает кофе, в двух высоких рюмках золотится напиток, и слышатся взрывы счастливого девичьего смеха.

Хозяин, в цветной пижаме, с открытым воротом батистовой рубашки, молодо эффектен. Он хорошо это знает, и поэтому настроение великолепное. Сей-

час он счастлив и ни о каких иных вопросах, не связанных с сидящей у него девушкой, Маней Дроздовой, не думает. Тяжелая работа с неприятностями и заботами, с большой ответственностью осталась за стенами комнаты, где-то там, на горе. Зачем о ней теперь думать? Да и не так уж приболела она.

Молодой инженер берет рюмку за тонкую ножку:

— Марьюшка! За что же мы выпьем?.. Нет-нет! Обязательно бери за талию! Ну, вот! Давай чокнемся... Чтобы так же чисто, радостно звенела наша любовь.

У девушки розовеют щеки и блестят глаза. На ней цветет весенним небом шелковая кофточка, — лучшая ее кофточка, в разрезе которой, на груди, снежно сверкает кружевной угольничек сорочки — лучшей из всех, какие у нее имеются. Собираясь сюда, она целый час потратила на туалет. Завтра снова наденет полшубок и валенки. Снова станут мерзнуть руки и ноги, но думать о них будет некогда, — опять рабочий, будничный день...

По лицу молодого инженера проплывает улыбка удовлетворенности от сознания своего мужского могущества.

Любит ли он эту девушку?

Пожалуй, в этот момент любит, но когда она, спустя некоторое время, уйдет от него, он тогда откроет форточку, чтобы впустить в комнату и в себя струю освежающего воздуха, и сядет за работу или за книгу, сделается сухим, рассудочным, погрузится в свое ревнивое одиночество...

Старый инженер, немец Оберман, поставил на стол последнюю бутылку.

«Почему я должен об этом говорить? Пусть это техническая малограмотность и тупоумие. Пусть — случайная неудача обнаглевшего невежественного выскочки. Допускаю — даже сознательное вредительство. Какое мне дело до этого? Для раскрытия преступлений у них есть соответствующие учреждения и лица. В конце концов, я — гражданин другой страны, в свое время жестоко пострадавший от револю-

ции. Я выполнил свою работу честно, а остальное меня не касается...»

Немецкий консультант отяжелевшим взглядом смотрит в черную стену окна, за которым вспыхивают воюющие снежные вихри. В душе у него разлита такая же ночь и крутит метель.

IV

Мистер Джон Чарли проснулся сегодня поздно, когда в номер уже врывалось яркое солнечное утро. Испуганно взглянув на часы, он вскочил с постели и торопливо стал одеваться. Ему предстояло побывать почти в десятке мест, передать последний привет своим многочисленным друзьям.

Знакомая комната неожиданно оказалась чужой и скучной. Как он раньше не замечал этого?

Чарли потянулся к дорожному зеркалу, начал подвязывать галстук. В стекле отразились: никелированная кровать с байковым цветным одеялом, дубовый узенький шкафчик и серая штукатуренная стена.

«Итак, в этой скучной комнате он прожил почти два месяца, даже не замечая, что она такая маленькая и в ней всего два стула... Очень хорошо, что сегодня уезжает. Пора! Засиделся! Сегодня в девять вечера — до свиданья!.. Надо только зайти к коменданту записаться на лошадь...»

В широком коридоре заводоуправления скучно глядели с больших дверей десятки раз читанные надписи: «Информационный отдел», «Статистический...», «Начальник горно-рудного управления», «Начальник коксохимкомбината». Сколько раз он толкался в каждую из этих дверей, иногда встречая раздражение и выслушивая неприятные реплики... Хорошо, что сегодня всему этому конец.

В приемной у начальника весело приветствовала его молоденькая секретарша:

— Здравствуйте, мистер Чарли! Если вы к Лундину, то опоздали: только-что уехал!

— Как уехал? Мы вчера говорили... он обещал в девять быть в управле-

нии!— В голосе американца вместе с удивлением прозвучала нота недовольства.

— Видите. Машину ему подали в восемь с половиной, он тут же и уехал, на Казачью. Там что-то случилось.

— Случилось? Что случилось? — испуганно переспросил американец, сразу попрежнему входя в интересы строительства и чувствуя вновь неразрывность со всем окружающим.

— Кажется, поломка машины... Кого-то подозревают...

Мистер Чарли скрипнул зубами, невольно сжимая кулак: «Мерзавцы!..» Он ясно представил себе взволнованность этим событием заведующего участком и растерянность рабочих. Всплыла картина рудной горы, где сейчас шла день и ночь упорная работа по подготовке рудника к сдаче в эксплуатацию. Все это себе представил, как близкое, свое, с которым кровно связан. «Мерзавцы!» — еще раз мысленно повторил он, устремляясь к выходу.

На улице мистер Чарли обнаружил, что вокруг необычайно много было света: голубело небо, лучились снега, из-за здания гостиницы к площади хлестнулась ослепляющая солнечная дорога. И встречные люди казались веселыми, улыбающимися. У подъезда бородастый возница тянул какую-то казачью песню. Кричало радио.

«Завтра ничего этого уже не будет, — подумал он. — Не будет вот этих, занесенных снегом, построечных лесов, железных остовов будущих заводских зданий и пестрых уличных плакатов с своеобразными надписями. А через несколько дней мир повернется к нему другой своей стороной. Потечет перед ним крикливая жизнь Запада».

Мистер Чарли почувствовал, как откуда-то из глубины поднималась незнакомая раньше грусть, постепенно всего заполняя.

В коридоре гостиницы играли ребяташки, уборщица протирала мокрой тряпкой пол, и в окно опять эта солнечная полоса, ласково льющаяся с невидимой выси.

Уборщица Марфуша подняла раскрасневшееся лицо.

— Сигайте прямо через тряпку. Ничего. Только не шлепнитесь. — Она улыбнулась. На полных щеках ее розово темнели ямочки.

Американец осторожно, на носках перепрыгнул через мокрую тряпку и подетски засмеялся.

— Как скаковой лошадь! На приз можно... Всего хорошего вам, товарищ Марфуша!.. — В словах прозвучала прощальная грусть.

Номер теперь показался уж не таким плохим и не очень темным. Но главное — в нем было уютно и чисто. На аккуратно накрытой постели высились две старательно взбитые пуховые подушки, сверкал снежной белизной отвернутый верхний конец полотняной простыни. На столе лежало и стояло все на обычном месте, чисто выгтертое.

Мистер Чарли с удовольствием оглядел свое жилище и дважды нажал кнопку звонка.

— Дуняша! Вы уже успел убрать у меня. Какая вы хорошая девица! Знаете, я сегодня уезжаю. Совсем уезжаю. — Он дружески улыбнулся. — Принесите мне, пожалуйста, чаю!

Ему стало грустно: последний день он видит эту милую девушку, завтра не обменяется с нею улыбкой. Никогда не переступит порога этой комнаты. Не придет к подножью Казачьей горы...

Сидя за стаканом чая, мистер Чарли просматривал сделанные в разное время записи и внимательно разглядывал образцы магнитной руды — небольшие веские комочки почти из одного железа. Любовно взвешивал их на ладони, точно это были драгоценности. Положив на место, в фибровый чемоданчик, он строго поднялся, неспеша надел пальто и, сосредоточенно шагая, направился по коридору гостиницы к выходу.

Побывав на многих участках, сделав последний визит своим многочисленным приятелям, перед вечером мистер Чарли снова забежал в управление, но кабинет начальника попрежнему был пуст. Лундин заглядывал в него дважды и теперь уехал на коксохимкомбинат.

«Может быть, туда поехать» — подумал американец, выходя на улицу, и тут же стремительно, как всегда, вскочил в сани, одиноко дремавшего казачонка-возницы. Тот начал было возражать, что без наряда не повезет, но этим американца трудно было остановить. Через минуту копыта продрогшей лошадайки мягко стучали по наезженной дороге в сторону коксохимкомбината.

Деревянный восьмисотметровый тепляк, в котором клались коксообжигательные печи, казался бесконечным. Чарли добежал до половины, всюду спрашивая, и круто повернул к боковому выходу. Он был крайне обеспокоен: неужели не удастся последний раз пожать руку благородному мистеру Лундину?..

На дворе стояла группа рабочих, здоров головы кверху. Гигантский гусеничный кран поднимал гигантскую дымовую трубу, ставя ее на основание. Начальник строительства находился тут же, разговаривая с инженером. Американец облегченно вздохнул. Он был почти счастлив: все-таки нашел!..

Но когда, спустя несколько минут, мистер Чарли уходил от него, в сердце ощущалась пустота. С этим рукопожатием порвалась связь с «Пятилеткой», с ее строителями, со всем тем, чем в последнее время жил и болел. Порвалась она навсегда...

Предстояло еще одно, особенно волнующее свидание. Он много дней подряд думал о нем и отложил его на самый конец. За два часа до отъезда мистер Чарли деланно-спокойным шагом направился в барачный поселок, предварительно высчитав потребное для этого время.

— Здравствуйте, Манья Дроздова! и... прощайте! Уезжаю, — проговорил он с печальной и как бы виноватой улыбкой, подавая девушке руку.

— Уезжаете? Куда же?.. Ах, да, в Москву. Вы говорили... — вспомнила она, делаясь сразу растерянной от своей забывчивости.

— В Москву только на несколько дней. Потом — в Америк. Домой, — поправил он, любясь ее смущением.

— Неужели совсем, и больше никогда к нам не вернетесь?

— Вероятно, никогда.

— А как же вы?.. — девушка точно запнулась. — Значит, навсегда уезжаете...

Она неожиданно для себя почувствовала, что ей хочется, чтобы американец остался здесь еще на некоторое время: он такой милый, очаровательный. Досадно, почему она раньше мало обращала на него внимания? Ей нужно было также поговорить побольше, поинтереснее и о девушке Ксении с изумрудного.

Все это мелькнуло в сознании Мани в течение двух-трех секунд и тут же исчезло — на нее пристально глядели ласковые и немного грустные глаза странного, не похожего ни на кого характером, своими движениями и речью человека.

Она, не поднимая на него взгляда, только сказала:

— Значит, совсем уезжаете. К себе в Америку... Уедете от нас — и сразу всех забудете.

Чарли улыбнулся хорошей, запоминающейся на долгие годы, улыбкой, а глаза смотрели проникновенно и грустно. Он опять протянул сухую, энергичную руку.

И вдруг мистер Чарли почувствовал неудержимую потребность высказать девушке все то, что накапливалось в нем по отношению к ней за эти месяцы и что держал он в себе за десятью замками. В течение немногих секунд, пока он обласкивал взглядом ее приятное лицо, мысль его успела опрокинуть вспыхнувшие сомнения, привести ряд неопровержимых доводов и нарисовать увлекательную картину будущего.

Крайне волнуясь, чего с ним никогда не бывало раньше, американец начал:

— Манья Дроздова! Вы читали когда-нибудь об Америке? Великолепный, прекрасный страна! У нас огромный, богатый города, большой квартиры по много комнат. Наши женщины, такие, как вы, одеваются в шелк, носят драгоценный камни, ездят на своих машинах...

Девушка слушала его с повышенным интересом.

Мистеру Чарли показалось, что в уголках ее красивых, точеных губ чуть-чуть наметилась усмешка. Новая мысль обожгла его: «Как же он глупо начал. Ведь совсем о другом хотел говорить...» Он отлично знал не только женщин вообще, но и в частности эту русскую девушку. Достаточно присмотрелся к ней.

— Товарищ Манья! — Чарли понизил голос. — На наших фабриках и заводах невероятный эксплуатаций человеческого труда. Потогонный система. Молодой девушки и юноши умирают от туберкулеза. У них очень мало красивой жизни. — Американец, сделав короткую паузу, страстно выкрикнул: — Нам нужна революция. Она у нас будет. Американская коммунистичная партия работает. Но у нас, у нас мало партийной, знающий люди...

Девушка смотрела на него с некоторым смущением — в мозгу ее уже шевелилась догадка.

И опять показалось мистеру Чарли: всё, что он говорит, мало интересует девушку. Чтобы увлечь ее, нужно сказать что-то другое. Мысль его снова сделала скачок, и голос стал интимным:

— Мне тридцать два год. Я восемь лет ездил по Южной Америка и Европа. У меня была жена, мой секретарь. Она умерла. Я хочу теперь новый секретарь и с ним опять буду ездить по всему миру, смотреть и писать. Я люблю жизнь, люблю новые люди...

Американец смолк, не досказав. Ждал ответа. По интонации голоса девушки, по выражению ее лица он понял бы — нужно ли ему говорить дальше, прямо и просто.

Маня посмотрела на него теплым, ясным взглядом и участливо сказала:

— Беспокойный вы человек. Мечетесь по земле, точно бездомный... Ну, счастливого вам пути! Прощайте! — она машинально взглянула на часы и конфузливо пояснила: — У нас сегодня собрание ячейки...

... Спустя час американский журналист, мистер Джон Чарли, сидел в крестьянских санях, окруженный своими заграничными чемоданами. Подросток-казаченок, приспособившийся возле самого крупного маленькой степной лошаденки, то и дело взмахивал самодельным веревочным кнутом. Пассажир в последний раз оглядывал беспорядочно разбросанные строительные леса и фермы будущих зданий, кучи всевозможных материалов, канавы, земляные отвалы и снующие взад и вперед грузовики. Прислушивался к знакомому строительному шуму, плотно висевшему над многокилометровой площадкой будущего гиганта металлургии, точно все это впитывал в себя, чтобы сохранить на многие, многие годы.

Казалось мистеру Чарли, что такой шум, в котором отражена напряженность воли не только семидесяти тысяч строителей, но и воли многих миллионов, воли всей страны, — слышит он только здесь, в Советском Союзе. И ему было грустно.

Он увозил с собой неосознанную тоску, может быть, по девушке, случайно, мимоходом встретившейся на его жизненном пути, может быть, от обиды или зависти: совершается это невиданное не у него на родине, а в чужой, малокультурной стране.

День был солнечный, степь ослепительно блестела непорочным белым покровом. В левую щеку и спину ему ласково дул ветер Азии, неся последнее дружеское приветствие...

(Продолжение следует)

Люди и факты

ПЕРВАЯ ЛЕНСКАЯ

Б. Лавров

III. ЗИМОВКА НА ОСТРОВАХ САМУИЛА¹⁾

Три парохода прижались бортами друг к другу, окруженные со всех сторон ледяным припаем. Вдали, на севере, виднелись полосы открытой воды, прерываемые тяжелыми ледяными полями. Корпуса судов еще не вмерзли в лед и в такт набегающему ветру колыхались в своей полынье.

Там, где шли «Красин» и «Русанов», заманчиво чернели водяные полосы. Взгляды невольных зимовщиков устремлялись к ним с тайной надеждой:

— А вдруг начнется отжимный ветер.

Но всюду — сплошное ледяное небо. Льды заполнили все пространство в районе, где еще совсем недавно пробивались, ища прохода, суда 1-й Ленской экспедиции.

«Правда» стала на зимовку, сохранив только две лопасти из четырех. Пароход «Тов. Сталин» остался с тремя лопастями и пробитым форпиком. Целым остался один «Володарский».

Солнце, выглядывавшее иногда из облаков, ярко освещало блестящее белое поле льдов и поднимавшиеся вдалеке темноватые горбы островов Самуила. Снег покрыл их только частично. Сквозь его белизну отчетливо выступали черные камни. Местами они торчали, как надгробные памятники, местами же напоминали фундамент давно разрушенного здания. Словно остатки его стен, они

валялись здесь же в виде темных, поросших мохом плит.

Эта картина особенно ярко подчеркивала пустышность, оторванность Арктики, ее величавое, грустящее безмолвие...

— Неужели в этом жутком месте придется пробыть целый год? — говорили лица зимовщиков.

Около трети их состава было бы целесообразнее не оставлять. В силу своей психической неуравновешенности эти люди менее всего подходили к трудным условиям зимовки. Тоска по оставленной семье, страх перед зимовкой, сожаление об утраченных удовольствиях города — все это ясно отражалось на их лицах.

— «Красин» нас плохо вел, мы готовы были итти вперед... Надо было дальше бороться... — шумели одни, забыв, что уже в самом начале, как только появились сплошные льды, их судно лишилось лопастей.

— После архипелага, наверное, было бы легче... — упрямо твердили другие.

Остальные две трети состава — крепкий, надежный народ. Конечно, вынужденная зимовка воспринималась ими также далеко не безразлично. Но они испытывали не страх перед зимовкой, а скорее горечь бойцов, храбро дошедших почти до цели и вынужденных отступить перед неожиданным напором враждебной стихии.

— Пришлось уходить... Ну, что ж, надо теперь провести зимовку организо-

¹⁾ См. «Новый мир», кн. кн. 6 и 7 с. г.

ванно, чтобы встретить навигацию с хорошо отремонтированными пароходами.

Общее собрание нового населения островов Самуила внимательно выслушало сообщение о причинах постановки судов на зимовку. Прогнозы метеорологов о раннем наступлении зимы оправдывались у всех на глазах. Мороз уже достигал — 7° Ц. Разломанные «Красным» льды снова спаялись в одно целое за самое короткое время.

— Остановка на зимовку правильна и подтверждается всем дальнейшим положением льда между мысом Челюскина и архипелагом, — радировали партийцы «Красина» и «Русанова».

— Зимовка неизбежна для наших ледозовов. Проведем ее по-большевистски, как подобает гражданам Советского Союза, — решило первое общее собрание.

Здесь же, на собрании, были созданы партийные, профсоюзные органы и редколлегия стенгазеты. Секретарем партийчейки зимовки был избран т. Лоренц, один из наиболее крепких партийцев зимовки. Собрание одобрило назначение т. Смагина, капитана парохода «Володарский», групповым капитаном и заместителем начальника зимовки, т. Белозерцева — групповым механиком и т. Урванцева — руководителем всей научной работой. Товарищи Диденко и Урванцева были назначены врачами зимовки. Тов. Тимофеев, старший штурман парохода «Сталин», принял на себя обязанности по распределению рабочей силы на разных участках работы. Тов. Болотников должен был заняться распределением по пароходам продовольственных запасов. Необходимо было пополнить эти запасы для парохода «Сталин», где они частично сгорели во время пожара.



Жизнь новых поселенцев островов Самуила уложилась в привычные советские рамки.

Цынга и полярная склока — две основные болезни полярных и приполярных окраин. Цынга — результат неправильного и недостаточного обмена веществ, физического истощения и ослабления. Полярная склока — результат

недостаточного духовного обмена, постоянного, вынужденного общения с одними и теми же людьми.

Обычно и та, и другая сказываются особенно остро в конце зимовок, когда более или менее основательно исчерпываются все запасы энергии и физических сил человека.

Необходимо противопоставить обеим болезням такой образ жизни, который давал бы как можно меньше пищи для них. Это соображение и определило в основном программу работ и распорядок жизни на трех зимующих пароходах.

— Живя в бункерах, мы сохраним на зиму несколько больше угля, чем если будем жить в каютах. Но жизнь в бункерах создаст и весьма благоприятную почву для развития обеих полярных болезней.

— Будем жить в каютах на двух пароходах... Это даст нужную экономию угля. В случае крайности переберемся в бункера после полярной ночи...

Суда спаялись в один организм общими трубопроводами, получая по ним тепло от котла парохода «Тов. Сталин», стоящего посередине.

— Где взять антицинготные продукты? Как распределить остатки лимонов, лука и чеснока?

Всего хуже в этом отношении обстояло на пароходе «Сталин». Там за время рейса в бухту Тикси успели уничтожить выданный ранее запас лимонов и овощей и зарезать почти весь живой скот.

— Все должно быть обобщено и распределено пропорционально количеству людей на пароходах, — единогласно решил треугольник зимовки.

Кроме того, решено было организовать на судах «животноводческий колхоз». Оставшиеся свиньи были собраны на одном пароходе, где и было налажено правильное свиноводство.

Эти животные чувствовали себя на 77° с. ш. вполне удовлетворительно. Коровы же, несмотря на теплое помещение и хороший корм, начали быстро худеть. Они явно не переносили условий жизни в Арктике. Скоро пришлось их убить.

Физический труд необходим в Арктике каждому зимовщику. Он укрепляет и

освежает весь организм. Благодаря решеию остаться в каютах зимовщики о-вов Самуила имели возможность заниматься физическим трудом. Для питания котла, обогревающего все пароходы, надо было доставлять ежедневно около 4—5 тонн пресной воды. Кроме того, надо было доставлять воду для питья, кухни и других хозяйственных нужд.

В море, где стояли суда на зимовке, не было пресной воды. Снежный покров на льду был еще недостаточен, чтобы можно было пользоваться им для удовлетворения всех потребностей. Воду надо было брать из морского льда.

В небольших полостях одногодичного морского льда содержится рассол различной концентрации. Она тем сильнее, чем ниже температура льда. Поэтому одногодичный лед совершенно непригоден там, где требуется пресная вода.

Существует мнение, возможно граничащее с предрассудком, что даже небольшая примесь морской соли к воде, при постоянном ее употреблении, предрасполагает к цинге. С этим приходится считаться.

Для питья мог быть использован только двухгодичный и трехгодичный лед. Под влиянием весеннего таяния полости его, содержащие рассол, раскрываются, и рассол вытекает. Верхние слои льда опресняются при этом и становятся вполне пригодными для употребления.

Пароходы со всех сторон были окружены торосами нужного нам качества. Надо было взломать их и затем подвезти к судам.

— Египетская работа, — ворчали некоторые из зимовщиков.

Однако, это задание не подлежало дискуссии. Работа, действительно, предстояла тяжелая. Но она была нужна как для жизни зимовки, так и для предохранения людей от цинги.

Наряду с заботами о физическом здоровье зимовщиков необходимо было подумать и об их моральном состоянии. Требовалось создать такую обстановку, при которой, по возможности, каждый человек имел бы интересную для себя цельную установку в течение всего пребывания в Арктике.

Люди, приезжающие в Арктику с определенным решением остаться здесь на зимовку, заранее имеют такую установку: один займется метеорологией, другой — гидрологией, третий — какой-нибудь иной работой. У таких людей сразу же создается деловая психология.

Такую же деловую психологию предстояло создать и на нашей вынужденной зимовке.

Среди команды было много молодежи, достаточно подготовленной для занятий в мортехникуме, а среди состава нашлись преподаватели. Последовал вывод:

— Организуем мортехникум по программе Наркомвода. Для тех же, кто не подготовлен к занятиям, создадим кружки по повышению квалификации.

Наркомвод очень чутко отнесся к этой идее. Он не только одобрил ее, но и позволил составить на зимовке экзаменационную комиссию, предоставив ей право выдать аттестаты окончившим мортехникум. Это сразу подняло авторитет нового учебного заведения, созданного в ледяных просторах Арктики.

Молодежь быстро сорганизовалась. Перспектива превратиться во время зимовки из матроса в штурмана, из кочегара или машиниста в механика для значительной части зимовщиков наполнила жизнь определенным смыслом и содержанием.

Созданы были также два кружка по изучению истории партии и политической экономии. Они были тем более необходимы, что знанием этих предметов водники не отличались.

— Выходит у нас не плохо... Зиму проживем, как надо. Не так уж страшно, — улыбался Жора Подобедов, самый младший из всего состава.

Всегда веселый, общительный, он скоро сделался другом большинства зимовщиков.

— Что же? Только учиться да работать будем? Нет, надо еще что-нибудь придумать и для развлечения...

Деловую мысль Жоры подхватили и остальные товарищи.

Бункер одного из пароходов превратили в клуб. Там быстро выросла эстрада.

Красные флаги украсили грязные стены. Брезент служил вместо занавеса.

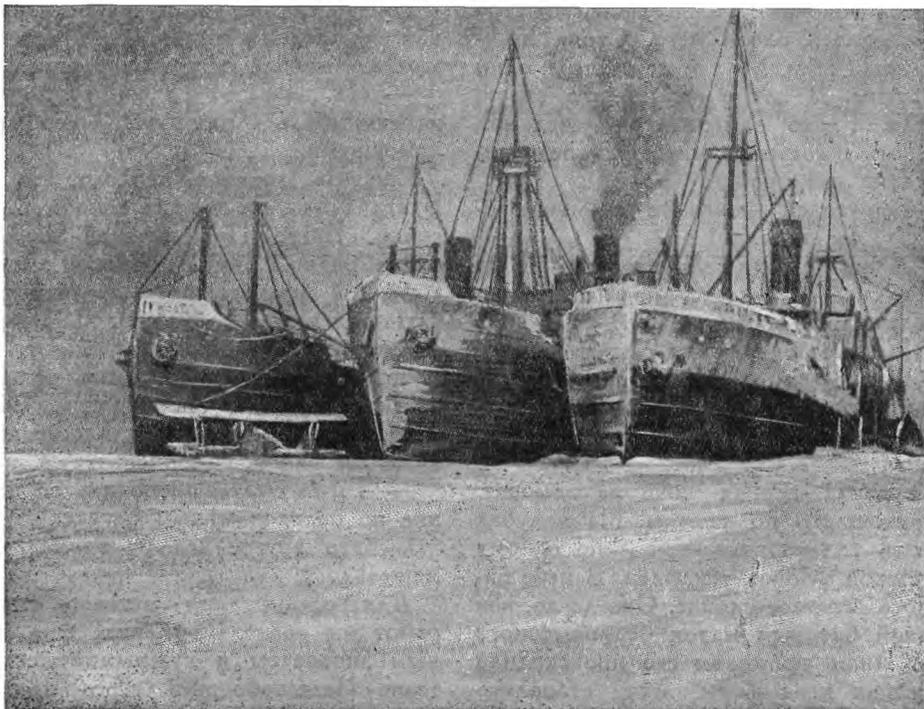
Правду сказать, наш театр выглядел неказисто, но «публика» была вполне им довольна.

Нашлись и артисты, и музыканты самых разнообразных дарований.

— А ты будешь у нас за примадон-

нам небольшой белый медведь. Подойдя к выгруженному бензину, он осмотрел его очень внимательно и двинулся дальше. Только около самого борта зверь остановился, поводя черным носом, чтобы лучше понять — в чем же тут дело?

Но понять ему так и не пришлось. Несколько пуль в голову и в разные



Зимовка пароходов

ну, — обратился один из организаторов театра к комсомолке Ане, — да ты чего губы надула? Зимовки боишься?

— Не-е-ет... Сегодня «Фрам» мою кошку задавил, — сокрушалась Аня.

«Фрам», великолепный полярный пес, взятый из диксоновской стаи, конечно, не потерпел присутствия в Арктике кошки и воспользовался первым же случаем, чтобы ее придушить.

Намеченный план жизни начал, как будто, создавать перелом в настроении. Этому способствовало и внезапное посещение зазимовавших пароходов представителями «местного населения».

Со стороны моря, не торопясь, шел к

места туловища — и медведь был убит наповал.

— Свежее мясо само приходит. Не ходи на базар! — ликовала зимовка.

— Неужели мы будем есть медведя? — брезгливо сморщилась одна из уборщиц «Правды». — Никогда не дотронусь!

— И как еще будешь есть! Прибавки попросишь, — успокоили ее охотники.

В это время, запыхавшись и волнуясь, подбежал к нам старший механик:

— Около винта «Володарского» морж вылез..

Действительно, там виднелась черная голова с большими белыми клыками.

Красотой этот зверь далеко не отличался. Редкие усы на губах, морщинистая кожа, тупое окончание морды, свисающие большие клыки отнюдь не делали его привлекательным.

Увидев людей, морж и не подумал скрыться. Видимо, они были для него в новинку. Раздалась одинокие поспешные выстрелы. Морж только удивленно повертел головой. Толпа людей быстро увеличивалась около него. Стоял невообразимый шум. Выстрелы хлопали один за другим. В конце концов это зверю надоело. Глухо замычав, он ушел под воду от негостеприимных пришельцев, не будучи даже ранен.

— Выругался наверное по-моржевому... Эх, вы, стрелки!

— А вы не толкайте под руки, да не орите скопом, — несколько смущенно оправдывались охотники.

— Ну, медведя-то мы с'едим, а моржатины... спасибо. Собакам скормим.

Впоследствии ели, конечно, и моржатины, не отличая ее по вкусу от медвежатины.

Наступила первая ночь на зимовке. Все разошлись по каютам. На палубах остались только вахтенные — по одному на пароход. Мороз усилился. В небе загорелось северное сияние. Оно легло, как широкий бледный мазок бесформенного света. Лишь по краям его происходила небольшая игра форм. Лучи старались собраться в спираль, но быстро затухали...

В ночной тьме ярко выделялись иллюминаторы — окна кают. Через них были видны фигуры людей. Никто еще не ложится спать и не тушит огня. Никто как будто не желает остаться в одиночестве, в этот час наступившего покоя. Настроение у людей еще неровное...



Наши пароходы стоят на границе двух морей — Карского моря и моря Лаптевых. Мало изучены течения Карского моря, особенно в его восточной части. Еще слабее изучены течения моря Лаптевых. Точность очертания нанесенных на карту берегов материка и островов подлежит большому сомнению.

На всем пути от мыса Челюскина до бухты Тикси нет ни одного морского знака.

Зимовка судов должна дать новые материалы для познания направлений воздушных и водных потоков в этом районе. Надо позабыть о вынужденной стоянке и превратиться в нормально действующую полярную экспедицию.

Программа научных работ, сообщенная «народонаселению» островов Самуила, вызвала общее одобрение.

— Не вызвать ли на соревнование какую-нибудь зимовку? — соображали зимовщики.

Вызвать, конечно, неплохо. Но кого? Бухта Тикси не держит с нами никакой связи. Бухта Прончищевой вообще не имеет радио. Зимовки Новой Земли и Северной Земли слишком далеки от нас. Остается мыс Челюскина. С ним надо установить «деловой контакт» и вести работы по общей программе, заимствуя от него людей и инструменты. Но при этих условиях очень трудно наметить показатели работоспособности.

— Тогда будем проводить соревнование по пароходам!..

— Это другое дело и вполне подходящее!

Для организации метеорологических работ мы располагаем квалифицированным аппаратом и нужными инструментами. Целесообразнее всего проводить эти работы в полном контакте с соседними зимовками.

Интересно не только наблюдать барометрическое давление, силу, направление ветра и температуру воздуха, но и сравнить их с соответствующими показателями на мысе Челюскина. Еще интереснее сопоставить наши данные с показателями Северной Земли, сделать из наших наблюдений правильные выводы и сравнить их с выводами Центральной службы погоды.

Гидрологические работы представлены у нас гораздо слабее.

— Я знаю их по «Персею», — заявляет тов. Тимофеев, штурман парохода «Сталин».

— Знать-то и мы знаем, — возражает капитан Смагин, — но у нас нет ни одной вертушки, ни одного термометра.

Было бы нерационально ограничиться футшточными наблюдениями. Другое дело, если бы мыс Челюскина одолжил нам нужные инструменты и познакомил с методом и программой наблюдений... У нас есть самолет. Он может служить постоянным средством связи между обеими зимовками. Вопрос лишь в том, возможны ли зимние полеты.

— Ваше мнение, товарищи Линдель и Игнатьев?..

— Лететь. Мне больше ничего и не нужно, — встрепенулся тов. Линдель.

Опытный пилот, он успел уже заскучать от безделья.

Итак, выход найден и здесь. В дружеской помощи мыса Челюскина никто не сомневается. Мы познакомимся с его обитателями еще на о. Диксон.

— Топографические работы и геология — это наше дело, — заявляют товарищи Урванцев и Теологов. — Все будет сделано!

— Постановка морских знаков на обоих островах Самуила, когда их нанесут на карту, для нас не представит никаких трудностей, — вставляет свое слово капитан Смагин.

Комсомольцы берутся за собирание гербария:

— Только обеспечьте руководство.

Обсуждение программы научных работ внесло бодрость в настроение зимовщиков.

— Этими работами мы, пожалуй, оправдаем и все затраты по нашей зимовке, — говорили в кают-компании.



Быстро приближалась полярная ночь. День становился почти незаметным. Пурга-поземка все чаще и чаще пела заунывные песни, ударяясь о мачты и корпуса пароходов. Сухой снег, гонимый ветром, закрывал всю окружающую обстановку непроницаемой завесой. Но морозы еще не превышали — 10—12°.

Северный шторм часто налетал на припай, в котором нашли себе прибежище наши суда. Тогда от припая отделялись ледяные поля. Трещины на далекое расстояние пересекали сплоченные морозами ледяные пространства.

Возникали сомнения в полной безопасности стоянки зазимовавших пароходов. Каждый сильный шторм мог разбить ледяную защиту и бросить на пароходы массы плавающего льда. История знает много таких примеров.

Необходимо было заранее принять меры предосторожности. Поэтому до наступления полярной ночи решено было построить жилой дом, радиостанцию и склад на западном острове Самуила и свезти туда часть продовольствия. В будущем эти строения послужат хорошей научно-промысловой базой.

На следующий день несколько зимовщиков отправилось на лыжах для выбора места. Итти надо было всего 11—12 километров. Свежий морозный воздух приятно охлаждал разгоряченные от бега лица. Дорога совершенно ровная. Лыжи легко скользили по небольшим наметам снега. Группа быстро подошла к небольшому островку, лежащему в трех километрах от крайнего западного острова.

Крутые каменистые берега. Полное отсутствие растительности. Разбросанные обломки разрушающихся пород составляли основной поверхностный покров острова. Ни малейшего следа жизни. Повидимому, в этом году сюда не заходил даже медведь.

Молча стояли мы на этом острове мертвого покоя. Затем спустились с берега и двинулись дальше к расположенному недалеко основному острову, более плоскому и низменному, чем его ближайший собрат. Его ложбины были покрыты разнообразными мхами. Кое-где виднелись засохшие головки цветов. Северная оконечность уходила двумя острыми уступами в море, ближе к плавающим льдам.

Карта показывала, что дальше, к северо-западу от острова, должны лежать острова Локвуда, где Амундсен поставил свой знак в 1919 году. За ними лежал берег Таймырского полуострова.

Остров подходил для наших целей. В небольшой ложбине на его восточной стороне мы выбрали место для постройки.

День склонялся к концу. Пароходы казались черными точками на белом фоне.

В полярную ночь пароходы, как и все окружающее, покрываются белым снегом и почти совсем сольются с общими красками. Тогда их трудно будет отыскивать после возвращения из какого-либо похода.

— Поставим вехи от пароходов до самого острова. Все-таки будет лучше, — подал правильную мысль т. Урванцев.

Погода стояла прекрасная. Солнце, хотя и на короткий миг, но все же ярко освещало надолго оставляемое им холодное царство зимы. После захода долго еще горели на небе его лучи.

Обратно было идти так же легко, как и к острову. Мы вернулись к оставленным пароходам. Работа на них уже шла установленным порядком. С «Правды» складывались на снег огнеопасные и взрывчатые грузы. Подсчитывались запасы продовольствия и угля. Начались занятия в мортехникуме и политкружках.

На другой же день вездеходы начали перевозить строительные материалы от судов к месту будущей постройки на острове. Одновременно были поставлены и дощатые вешки.

По твердому снегу вездеходы шли чрезвычайно легко. Без них едва ли можно было бы закончить постройку до наступления полярной зимы. Теперь же четверо плотников уже через сутки могли приступить к работе. С ними отправился на остров и наш промышленник т. Ломанин.

С его уходом дружеские руки немедленно освободили всех собак от цепей и спустили их на лед. После долгого, скучного сиденья на холодной, загрязненной палубе они очень нуждались в полной свободе.

Наша упряжка представлена далеко не одной породой. «Найми» и «Красный» — полуволки-полусобаки. Они типичны для той части Севера, где крайне редко встречается человек и где полярный волк бывает частым гостем в собачьих стаях. Эта пара неохотно подходит даже к знакомому человеку и предпочитает держаться в стороне от всех. Характерными волчьими прыжками рыщут они около пароходов и торосов, постепенно увеличивая радиус своих путешествий.

«Фрам» и «Тупой» — крупные ездовые собаки. Через ряд поколений в них развилась привычка к упряжке. Их лапы, опущенные шерстью, уверенно ступают по твердому снегу. Красивые, мощные животные, они весьма дружелюбно расположены к человеку.

Наиболее энергична другая полярная собака — «Харди», выходец с о. Врангеля. Неутомимый ездовой пес, всегда жизнерадостный и веселый, он сделался другом всей зимовки.

Он и «Тупой» — постоянные зачинщики всех драк. Объектом их особой ненависти является «Чуркин», громадная кавказская овчарка волчьей масти, с отрезанными под самый корень ушами.

«Чуркин» уступает дорогу только полуволокам, но с «Харди» и «Тупым» он охотно вступает в драку. Поэтому вокруг парохода то-и-дело раздается яростный лай, рычание, визг.

«Тобик» и «Рыжий» — вислоухие дворняги. Они впервые попали на Север, чувствуют себя здесь не особенно хорошо, постоянно жмутся к людям и держатся вместе. Их ездовые качества — под сомнением.

Прочие псы — «Пестрый», «Мальчик» «Ремянка» и «Альфа» — обычные полярные собаки, давно свыкшиеся с упряжью.

Вне стаи держится «Ринка», пароходная собака «Правды». Карельская лайка волчьей масти, с большими острыми ушами и живыми глазами, она, вероятно, была бы хорошей спутницей на охоте и чутким сторожем. Здесь же ее маленький рост, тонкие ножки, задиристый, злой характер возбуждают смех у более добродушных зимовщиков и злобу у более нервных и трусливых.

— Убью, гадина!.. — волнуется один из них. — Вчера ночью опять меня напугала..

— А ты не пугайся... Что же с тобой будет, когда увидишь медведя?

В общем упряжка должна быть хорошая, если только все псы окончательно не развратятся от безделья и постоянного общения со множеством людей, среди которых они не видят постоянного хозяина.

Жора Подобедов приспособил «Чуркина» к езде. Пес сначала недоуменно посмотрел на постромки, но на зов немедленно поднялся и к общему восторгу один легко повез полугруженные нарты.

Тут на него налетел «Харди» и жестоко поплатился за это. «Чуркин» быстро снял с него почти половину «скальпа». От дальнейшей расправы его изба-

В ту же ночь «Чуркин» расправился со своим вторым врагом: «Тупой» утром был найден с перегрызанным горлом.

Свободу собак пришлось ограничить...



Жизнь на зимовке вошла в намеченное русло. Все свыклись с мыслью о не-



Работы по поднятию снега для питания котлов и питья.

вили сбежавшиеся люди. От них «Харди» также получил порядочно колотушек.

Врачу Урванцевой здесь представилась возможность применить свои хирургические таланты.

— Эх, «Харди», «Харди»! Что от тебя останется к лету? — урезонивала она забяпку, снимая разорванные кожные покровы.

Но «Харди» попрежнему глядел весело, готовый принять участие в новой драке. Его снова посадили на цепь.

Избежности зимовать во льдах долгое время. Прекратились бесцельные разговоры и толки. Дольше всего держались они в кают-компании комсостава «Правды». У т. Лоренца лопнуло наконец терпение:

— Прекратите эти глупости... Только дезорганизуете зимовку... Посудите сами, как могла бы пройти «Правда», если на пороге льдов у нее уже не было лопастей, а вторую она потеряла при пустяковом препятствии. Тоже была надломлена...

Его поддержала активная часть зимовщиков.

— К чему все эти «как, да как», «если бы, да кабы»... Читайте радиogramмы «Красина». В них капитан и партийцы ледокола дают характеристику льдов.

Тов. Лоренц — крепкий большевик, прошедший хорошую школу в армии, на заводах Ленинграда и на пароходах. В разговоре он рубит с плеча, «незвизрая на лица», что создает ему немало врагов. Но, безусловно, он один из самых стойких зимовщиков, в особенности на «Правде», где не много привычных для полярной зимовки людей.

Одной из наиболее колоритных фигур зимовки является капитан Смагин. Ему и его команде только-что пришлось пережить зимовку на о. Вайгач. Тем не менее с самого начала новой зимовки т. Смагин активен, энергичен и жизне-радостен.

С раннего утра и до позднего вечера слышатся его распоряжения, подбадривания, необходимые насмешки над отстающими.

Под-стать капитану и вся команда.

Тов. Смагин пользуется общим авторитетом на зимовке, а его пароход «Волдарский» является центром наиболее активной работы.

Ознакомление с западным островом, где строилась зимовка, нас не удовлетворило. Оно было слишком недостаточно.

— Надо знать все углы нашего нового дома...

На другой день мы отправились к восточному острову Самуила. Он лежал несколько дальше от пароходов и был виден с них только при хорошей, солнечной погоде. Северная часть его находилась еще в зоне пловучих льдов.

Дорога неровная. Приходилось часто перебираться через заторощенные края ледяных полей и подернутые тонким льдом трещины. Всюду виднелись торосы старого льда. Чем ближе к острову, тем отчетливее выделялись они среди ровного белого пространства.

— Глядите... Торосы двигаются вправо!

Мы остановились, удивленные этим странным явлением. Торосы казались

многоэтажными и заметно продвигались вправо. Неужели там вода и такое сильное течение?

— А теперь торосы пошли обратно!

Это «чудо» было вызвано рефракцией — преломлением света в земной атмосфере под влиянием температуры воздуха, давления и влажности. Негоризонтальное расположение слоев атмосферы вызывает видимое смещение предметов. Теперь мы присутствовали при этом явлении.

Норденшельд в своем описании путешествия на «Вега» в 1878 году вспоминает, как голова моржа была однажды принята ими за остров, по обе стороны которого виднелись два белых снежных поля. При приближении лодки этот «остров» задвигался, а снежные поля превратились в моржевые клыки.

В другой раз Норденшельд и его спутники подкрадывались к белому медведю. Все они ясно различали зверя. Но в момент, когда охотники взяли на прицел, «медведь» вдруг развернул исполинские крылья, а потом улетел в виде небольшой чайки.

Мы находимся в стране, где расстояния и предметы не измеримы уже привычными мерками. С такими «превращениями» мы не раз еще встретимся в наших путешествиях.

В стороне, ближе к морю, расстилось большое ровное ледяное пространство. На самой середине его лежало несколько нерп.

— На сапоги пригодятся...

Однако, «сапоги» эти оказались недоступными. Лед трещал даже под тяжестью одного человека, идущего на лыжах. К тому же нерпы были очень осторожны. Быстро уйдя в полянью, они выставили оттуда свои головы, наблюдая за новыми пришельцами, столь непохожими на их обычного врага — белого медведя.

Перебравшись на старые ледяные поля, мы подошли к восточному острову. Торосы около него были крепко впаены в неподвижный лед.

Остров по внешнему виду ничем не отличался от западного острова. Иллюст-глинистую почву его местами покрывали разнообразные мхи, местами же она

была покрыта плоскими черными камнями. Около самого берега виднелись следы нескольких крупных медведей. По ним проложил свою дорогу песец.

На острове несколько бухт, довольно хорошо защищенных от напоров льда. В стороне от него, на северо-западе, вырисовывались два небольших островка.

Около северной оконечности острова плыли к востоку ледяные поля. Море еще не замерзло...

— Здесь и нужно поставить морской знак.. Он будет отлично виден с курса пароходов.

С юго-западной стороны, через неширокий пролив, к восточному острову примыкает еще один остров, несколько более возвышенный.

Итак, в нашем владении шесть островов. Больше осматривать пока нечего.

Спустилась ночь, спокойная, тихая. В темном небе ярко сверкали звезды. На горизонте начинало разгораться северное сияние. Нежные, едва уловимые линии света быстро перемещались с места на место, сгущаясь то в одной, то в другой стороне. От этого противоположная часть неба казалась еще темнее.

В таком свете легко отыскиваются старые следы лыж, и поэтому в пути не приходится напрягать внимания.

— Смотрите, совсем малиновый цвет!

Северное сияние в одной стороне неба превратилось в развернутый свиток. Его верхний конец окрасился светло-зеленой краской, нижний же принял малиновые тона. Свиток то развевывался во всю ширь, то снова свертывался в узкий столб.

Снег заискрился бесчисленными блестками. Торосы приняли причудливые формы. На них ярко сверкали ледяные сосульки и наиболее тонкие края.

Кругом разлит холодный, безжизненный свет.

Мы вернулись к своим пароходам. Застигшие среди льдов, они как бы дополнили и усиливали картину мертвого покоя.

— Теперь, кажется, узнали все дороги и острова... Не заблудимся полярной ночью.

Новые радиogramмы на столе говорили о том, что «Красин» и «Русанов»

подошли к «Сибирякову» и вырвали его из ледяного плена. Теперь все три судна идут по прибрежной польдине среди разреженного льда.

Первая декада октября подходила к концу. Погода выравнивалась. Температура воздуха понижалась очень медленно. Солнце стало довольно частым, хотя и мимолетным, гостем. Трехбалльный ветер дул с юга.

— Можно вылететь на авиаразведку, — сообщил т. Линдель. — Самолет готов.

Первую разведку мы произведем вдоль пролива Вилькицкого до мыса Челюскина, отсюда на север к Северной Земле и дальше на запад — к островам Фирилея и архипелагу Норденшельда.

В нашем распоряжении самолет «Р-5». На морозе мотор долго отказывается работать. Только после большого приема горячей воды послышался его характерный шум.

Одетые с ног до головы в олени и собачьи меха, мы неуклюже взбираемся на свои места. Борт-механик Игнатьев внимательно прислушивается к звукам работающего мотора.

— Не промерзди бы трубки.

На спине у т. Игнатьева моя летная карта, часы и записная книжка.

— Готовы? — нетерпеливо спрашивает т. Линдель.

Аэроплан, подталкиваемый собравшимися зимовщиками, сначала медленно скользит по неровным застругам нашего аэродрома, затем, постепенно ускоряя бег, взлетает в воздух...

Делая круг за кругом, мы все больше набираем высоту. Все шире становится и радиус нашего полета.

Теперь вся зимовка, весь ее район видны, как на рельефной карте.

Вот занесенные снегом бугры островов Самуила. В центре их — единственная черная точка. Это наши пароходы. Около них фигуры людей и собак. В быстром полете они кажутся нам неподвижными.

Маленькой букашкой ползет вездеход по направлению к западному острову, где строится зимовка.

На север от парокhodов — море с плавающими ледяными полями.

Самолет берет нужный курс на восток-юг-восток, в район плавающих льдов. Чем дальше на север, тем меньше открытой воды среди плавающего старого льда.

Узкой полосой тянется она к юго-востоку, но постепенно теряется на северо-западе.

Около берега Таймырского полуострова небольшая припай, очевидно оставшийся от зимы прошлого года.

Материк покрыт тонкой пеленой снега. Под нею — черные камни. Местами берега, крутые и обрывистые. Вдали — очертания невысоких гор.

Пролив Вилькицкого еще не замерз. Но в нем нет ни одной более или менее широкой прогалины чистой воды. Все забито плавающим льдом.

На мысе Челюскина прежде всего мы заметили наваленный лес, бочки, лодки. Затем показалась и вся зимовка. Сверху она производила впечатление грязного пятна. Только тонкая мачта радиостанции придавала ей более привлекательный вид. Недалеко от жилья, в бухте Спартака, загорелся сигнальный огонь. Здесь место посадки.

Снова на мысе Челюскина

К остановившемуся самолету спешат люди и собаки. За ними черными шарами катятся по снегу мохнатые щенки.

Знакомый дом, знакомые лица людей, знакомые собаки.

Впервые мы были здесь 1 сентября, когда суда Ленской экспедиции через льды и туманы пробились к этой самой северной точке азиатского материка. То был день нашего торжества. Сейчас, вторично в этом году, мы снова входим в известный нам уютный дом, похожий на сарай. Но уже с другими перспективами...

Все население громадного Таймырского полуострова, на котором может уместиться несколько европейских государств, состоит из двенадцати человек и тридцати собак.

Начальником этой территории и населения является теперь т. Рузов — сухой человек с военной выправкой.

Наибольшее внимание уделено на зимовке метеорологии. В этой области работают три человека — гг. Рихтер, Степанок и Скворцов. Гидрологией занимается только т. Данилов. Радиосвязь осуществляется радистом Григорьевым, радиомехаником т. Корягиным и механиком т. Бохман. Биология представлена в лице т. Тюлина.

Таким образом, главный уклон зимовки — радио-метеорологический.

Доктор Ринейский призван заботиться о здоровье населения. Но, к великому удовольствию всех, его пациентами являются лишь вечно дерущиеся между собой собаки. Доктор строго следит за санитарией. Ни в доме, ни около него нет уже прежней грязи.

Повар т. Рулев представляет местный «нарпит». Каюр т. Соколов, он же помощник повара, правит упряжками собак.

Зимовка на мысе Челюскина подобралась дружная. По новизне дела настроение у всех очень воинственное. Метеорологи мечтают развернуть большую синоптическую работу, перед результатами которой побледнели бы все достижения Московской службы погоды. Гидролог уверен, что пройдет разрезом пролив Вилькицкого, Шокальского и т. д., почти до самого Северного полюса...

Более скромно настроены биолог т. Тюлин и каюр т. Соколов. Им нужно лишь добыть столько медведей и моржей, чтобы перестали выть от голода вверенные их попечению 30 собак и бесчисленные щенки. Радистам пока мечтать не приходится. Они доотказа загружены приемом и отправкой радиogramм. Доктору Ринейскому также не о чем мечтать. Если у него будет больше работы, значит, здоровье людей ухудшится. На всякий случай, во избежание опасных мечтаний, т. Рузов после нашего прилета возвел доктора в чин «зав. авиабазой Таймырского полуострова».

В комнатах жилого дома стало много чище. Но уюта от этого несколько не прибавилось. С пола дует зимним холодом. Зато около низкого потолка жарко, как летом...

Новые зимовщики только недавно перенесли все свои грузы с ледяного при-

пая на берег и в склад. Это была тяжелая работа. Тем не менее метеорологические наблюдения производились круглосуточно в положенные сроки. Гидролог, вырубив во льду небольшую полынь, вел в ней футшточные наблюдения. В этой же полынье биолог ловил «все живое». Но это «все» было пока очень невелико по количеству. В маленькой баночке со спиртом плавало лишь несколько небольших ракообразных.

Запоздавшая с отлетом пуночка ежедневно посещала склад с мясом. Посещение ее радовало биолога, но беспокоило т. Рихтера, ответственного за целостность продуктов. Он тщательно высчитывал:

— Сколько же придется списать мяса в расход на эту птичку...

Мимо мыса Челюскина шла плотными стадами сайка. За отсутствием сетей ее глушили выстрелами из винтовок. Этот новый способ добычи рыбы, по словам зимовщиков, дает большие результаты.

Тов. Соколова биология вовсе не интересует. С большой настойчивостью допрашивает он товарищей Линделя и Игнатьева:

— Не видали ли вы с аэроплана где-нибудь медведя? Скоро собак кормить нечем...

Новое применение авиации на Севере радует летчиков.

— Увидим медведя — пригоним прямо к зимовке, — утешают они каюра.

Сейчас же с кормом для собак обстоит далеко не блестяще. Пока зверь был в довольно большом количестве в проливе Вилькицкого, все зимовщики были заняты разгрузкой парохода, постройкой склада и переноской в него грузов, боящихся сырости. Это была поистине каторжная работа. «Сибирякову» из-за двигающихся льдов приходилось непрерывно менять место. Грузы часто подавались на плавающий лед, откуда зимовщики выносили их на своих плечах.

Теперь эта работа пришла более или менее к концу. Но морж уже ушел из пролива в более безопасное место. Остался только медведь, да временами появлялся морской заяц... Лишь однажды удалось товарищам Степанок, Тюлину и Скворцову убить двух моржей...

Они составляли пока весь запас мяса для питания собак.

На столе появился вместительный самовар.

— Ну, довольно научных разговоров. Угостим гостей чаем и музыкой. У них, наверное, нет таких пластинок... Ваня, начинай, — командует начальник зимовки.

Ах эти черные глаза...
Они горят передо мной —

— запекает пластинка.

Когда-то этот мотив часто звучал в московских квартирах. Несколько позднее он дошел до Игарки, где пользовался исключительным успехом. Теперь он продвинулся до мыса Челюскина.

— Поставь, Ваня, что-нибудь новое, — просят слушатели. — Не растравляй душу...

Вернись, я все прошу —

запекает пластинка.

— Ты сегодня что-то у нас не в ударе.. Кончай музыку... Вернуться нам нельзя, и прощать нас не за что...

Цель нашего прилета на мыс Челюскина, конечно, не только визит к своим ближайшим соседям. Нам надо еще провести осеннюю авиаразведку льдов в районе пролива Вилькицкого и затем систематически проводить ее вплоть до окончания зимовки. Авиаразведка вместе с гидро-метеорологическими наблюдениями может дать нам интересные результаты.

Вылет к «Большевику» — первому острову Северной Земли — был назначен на следующий день. Но ни следующий день, ни другие дни не были благоприятны для полета. Поземка покрыла все пространство и закрыла почти весь пролив Вилькицкого. Видна была только часть его торосистого припая. Приходилось ждать...

Время коротали на обычной работе зимовки и за чтением книг из не особенно богатой библиотеки зимовщиков.

Усердно возились с моторами, кололи дрова, таскали снег и т. д., в соответствии с приказами строгого начальника зимовки, привыкшего по своей прежней службе к военной дисциплине.

Здесь же вычертили первую карту льдов пролива Вилькицкого, которые мы видели в полете к мысу Челюскина.

Положение с кормом для собак обострялось с каждым днем. Остались считанные дни до полного замерзания пролива. Тогда уйдет последний морской зверь, а за ним и большая часть медведей.

Утром мы отправились с т. Степанок на охоту — на запад от зимовки.

Около знака Амундсена, стоящего в километре от станции, на берег нагнулись громадные торосы. Громоздились горы льда самых разнообразных форм. За ними, в глубине пролива, возвышалась группа торосов несколько меньших размеров. Местами темными изгибами змеялась вода. Бухта Спартака, где находился наш самолет, в этом году не вскрывалась. Она была покрыта ровным снежным покровом.

Легко идут лыжи при хорошем морозе. На ходу легкая оленья рубашка вполне достаточна для защиты от холода. За плечами небольшая сумка с запасами продовольствия и патронов.

В одной из бухт пролива лежала на снегу шкура убитого ранее медведя. На нее мы возлагали большие надежды. Заманчивый запах жира должен был привлечь мишку из недоступного района пловучих льдов.

Но везде было пустынно. Не было видно даже следов зверя.

Только на пятнадцатой версте от зимовки мелькнуло и исчезло между торосами желтоватое пятно медведя... Сразу пропала усталость. Лыжи больше не нужны. Для верного прицела надежнее стоять на ногах.

Зверь шел за торосами. Медленно, постепенно приближаясь к торосам, мы двигались наперерез медведю. Он снова показался, но уже позади нас, попрежнему прикрываясь торосами.

В 100 метрах от нас медведь взобрался на большой торос. Почти одновременно раздались два выстрела. Обе пули попали в голову зверя. Он свалился на бок, не шевеля ни одной лапой. Следующие две пули прекратили его предсмертный хрип.

Это был очень крупный, достаточно

упитанный самец. Шкура его не оставляла желать ничего лучшего.

Снятие шкуры и разделка туловища — самая неприятная часть охоты. Руки, намоченные от крови, быстро замерзают на холоде. Делаем новый надрез между шкурой и мясом и погружаем в сохранившееся там тепло жизни наши застывшие руки. Они быстро согреваются. Но снова замерзают на морозе.

Ножи, из далеко не первосортного материала, быстро тупятся от работы.

Более двух часов заняла у нас разделка туши.

Попробуем идти вперед. Может быть, встретим еще кого-нибудь.

Мы ушли дальше, но на этот раз уже безуспешно. Начала сказываться и усталость от проделанного пробега. Надо возвращаться на зимовку. Мы удовлетворены: т. Соколов получит мясо для собак, пригодится оно и для зимовщиков.

Поздно ночью мы вернулись на станцию.

— Хорошие охотники! Идите опять на охоту, — решает Рузов.

На другой день каюр Соколов и биолог Тюлин уехали на собаках за шкурой и мясом убитого нами зверя. Новой дичи на месте нашей охоты не оказалось. Надо ждать южного ветра, он принесет аппетитный запах жира и мяса в пловучие льды, где держится медведь, разыскивая неосторожную нерпу или зайца.

— На завтра предсказываем вам хорошую погоду, — порадовал нас за обедом синоптик т. Рихтер. — Можете лететь.

— Это лучше, чем колоть дрова или таскать ящики, — соглашаются летчики.



— Ну, что же, летите сегодня?

— Конечно... Погода прекрасная.

Мороз около 20°. Последние лучи солнца ярко освещают землю. Надо спешить воспользоваться солнечным светом, чтобы выполнить осеннюю программу облетов.

Но не так просто завести на морозе мотор с водяным охлаждением. Вода, нагретая в баке зимовки, успевает

остыть, пока собаки подвозят ее к самолету.

— Сколько времени будете летать? — Укажите свой курс, чтобы можно было вас искать, если пропадете...

— Полтора часа... Курс — поперек пролива Вилькицкого, к мысу Мессер...

— Тогда лучше не пропадите... Сам чорт не найдет вас в пловучих льдах.

— Разве такую погоду надо делать для полетов? — упрекает т. Линдель метеорологов.

— Чем же плоха? Вы просили хорошей видимости, а насчет мороза вы и не заикались.

— Мои собаки — и то надежнее вашей машины, — иронизирует т. Соколов. — Старый друг лучше новых двух.



В походе

Мотор наконец заработал.

В быстром полете колючий мороз обжигает лицо. Маленькой кажется оставленная радиостанция. Высота набрана. Курс взят на север, к пловучим льдам. Вдруг беспокойно задвигался борт-механик т. Игнатьев. Мотор «барахлил». Нет нужного количества оборотов... К нашему удовольствию посадочная площадка еще недалеко. Самолет круто идет на посадку.

— В чем дело?

— Бензинопроводная и маслопроводная трубки промерзли, — отвечает т. Игнатьев после осмотра мотора. — Придется их отеплять. Иначе летать нельзя.

Приходится отложить полет...

Короткий день не позволяет продолжать работы. От долгого пребывания на морозе у всех замерзли руки и ноги.

— Поужинайте, да и спать... Так и пройдет незаметно вся зимовка, — советует повар т. Рулев.

Но спать еще рано. Снова появляется граммфон. На этот раз пластинки подобраны со вкусом.

Особенно сильно волнует рапсодия Листа. По лицам слушателей видно, что их мысли и думы уносятся далеко от этих пустынных и унылых мест.

— Не увезти ли нам эту пластинку на острова Самуила? Можно взять и «Черные глаза», — советуется со мной один из моих спутников.

По регламенту зимовки к 11 часам должен прекратиться всякий шум. Мы расходимся по отдельным дощатым клеткам, называемым здесь каютами.

Тов. Рихтер, на основании полученных по радио метеосводок, вычерчивает на синоптических картах линию изобат.

— Хорошей погоды для полетов осталось мало. В ближайшие дни едва ли удастся лететь...

Это ясно и без карт.

Тов. Степанок, вернувшийся с вахты, шумно отряхивает снег с шапки и куртки:

— Ух, и задувает же ветер!

— Надо подкрепить самолет, — решают летчики.

Все мы выходим из дому, чтобы проделать эту работу.

В ночной тьме не видно летящего снега. Мороз при ветре леденит кожу лица. В воздухе чувствуется дикий разгул разбушевавшейся стихии.

Наш самолет стоит в полной исправности, будучи защищен от ветра стенами бани и сарая. Лыжи его крепко прижаты осевшим снегом. Это лучший для него якорь.

У подвальной стены дома лежат собаки, свернувшись клубками. Они засыпаны снегом и не хотят даже приподняться к протянутой руке, чтобы дольше сохранить тепло. На зимовке имеется, правда, не очень хороший собачник. Но в нем живут только щенки. Взрослые собаки предпочитают снежную яму.

Засыпанные снегом и промерзшие, мы возвращаемся в дом.

На метеорологическую вахту вместо т. Степанок встал т. Скворцов. Он очень молод и совсем недавно оставил школьную скамью.

— Зачем вы приехали в Арктику?

— Считаю, что для меня здесь будет хорошая школа... Кто хочет быть полярником, тот должен отсюда и начинать...

Тов. Скворцов с большой точностью выполняет свои обязанности. В свободное время он усиленно занимается математикой и физикой. К тому же он хороший охотник, лучше всех умеющий гнать медведя, пока тот не остановится,

чтобы принять бой. Собаки в большой дружбе с ним. Когда т. Скворцов идет к метеобудкам, стоящим в некотором отдалении от станции, «Черныш» и «Оленегон» поднимаются, чтобы сопровождать его в его путешествии.

— Это метеорологические собаки, — утверждают товарищи Рихтер и Скворцов.

— Не собаки, а жулье, — характеризует их каюр т. Соколов.

Конечно, «Черныш» и «Оленегон» метеорология вовсе не интересует. Больше всего их привлекает охота на медведя. Возить нарты — для них самое неприятное дело. Завидя первые признаки подготовки к выезду, они стараются быстро исчезнуть с зимовки в пустынной тундре.

Поэтому все приготовления к поездке начинаются с привязывания «Черныша» и «Оленегона». После этого им остается только покориться неизбежному злу.

Сейчас езды мало, и обе «метеорологические собаки», спасаясь от пурги, отлеживаются на свободе в своих снежных ямах.

Северные ездовые собаки, как правило, почти не имеют чутья. Его компенсирует развитое у них соображение, зрение и слух. На севере собака является предметом первой необходимости. Она живет одной жизнью с человеком и потому более чутко и разумно реагирует на все его нужды.

У т. Данилова была своя «гидрологическая» собака — «Монька». Ни езды, ни настоящей охоты она еще не испытала. Придет к зимовке медведь, «Монька» со всем азартом старается прогнать его, не представляя себя, что зверя надо не прогонять, а держать. С т. Даниловым «Моньку», вероятно, сроднило то, что работа гидролога протекала всегда сравнительно недалеко от жилья, в пролив Вилькицкого.

Повар т. Рулев и доктор т. Ринейский шефствовали над «Волком». В далеком прошлом за свои разбои в собачьей стае он носил имя «Махно». Это была самая умная и самая «очеловеченная» собака. Прекрасный ездовик, «Волк» стал учителем молодых собак. Всегда угрюмый и страшный для всей своры, он очень до-

бродушно относился к щенку «Таймыр», являвшемуся его точной копией.

— В нем есть инстинкты отцовского чувства, — уверял доктор. — Он даже отдает свой кусок «Таймыру».

С людьми «Волк» всегда здороваётся, протягивая лапу. Но в нем нет ни капли заискивания или преклонения перед ними. Он признает равноправие сторон. Такое разделение собак, «по специальностям» имеет свою хорошую сторону.

Никто не может знать, когда и откуда появится медведь и как он будет вести себя при встрече с человеком.

В этом году на зимовке был случай, когда медведь вплотную подошел к радиотехнику т. Корягину, увлекшемуся исправлением радиомачты. Повидимому, зверь тоже заинтересовался радиомачтой и не спешил познакомиться с ним поближе.

С дикими воплями бросился радиотехник к дверям зимовки, спеша увеличить расстояние между собой и новым радиолюбителем. Выскочили зимовщики с винтовками. Медведь был убит.

Утром зимовщики смерили по следам прыжки радиста. По их мнению, он побил все достигнутые ранее рекорды.



К утру поземка утихла. Но на самолете еще велась работа по отоплению трубопроводов. Вылететь было невозможно.

Поземка должна была произвести большие изменения в распределении льдов. Интересно было проследить за ними, хотя бы с берега и припая. Кроме того, надо было продолжать охоту.

По правилам Арктики, выход на охоту или в экспедицию одного человека недопустим. Обычно идут двое или трое. Но свободных от работы людей на зимовке не было. Надо идти одному.

— Вы когда вернетесь? — спросил меня т. Рузов.

— К пяти-шести часам... направляюсь на запад...

С возвышенного берега тундры было видно, что льды значительно сместились по сравнению со вчерашним днем. В некоторых местах, перпендикулярно к ма-

терику, появились гряды торосов. За ними образовались небольшие прогалины чистой воды. Подавляющая часть пролива попрежнему была покрыта плавающим льдом. Кое-где плыли громадные айсберги, вероятно, принесенные от берегов Северной Земли.

В сумеречном свете бессолнечного дня окружающая обстановка казалась еще более мрачной и угрожающей.

Из бухты «убитого моржа» в бинокль были видны далекие просторы ледяного моря. По направлению к о. Гейбрга торосы казались еще более высокими, чем около материка. Возможно, что рефракция несколько изменила картину, но наличие там торосов несомненно.

Незаметно увеличивается пройденное мною расстояние. Потеряно обычное представление о времени. Только сгущающийся мрак заставляет вспомнить обещание вернуться к определенному сроку. К тому же снова заструились по снегу тонкие полосы. Поземка всегда начинается с таких безобидных на первый взгляд переносов снега. Позднее она опять разыграется, как вчера. Трудно будет тогда одному пробиваться через пустынную тундру.

Но какой соблазн! Около высокого тороса видны совершенно свежие следы трех медведей. Они были здесь не более 20 минут тому назад, так как переметающийся снег не успел засыпать даже маленькие углубления, сделанные концами их ногтей.

В душе борьба чувств. Наступающая ночь, поземка говорят о том, что пора возвращаться. Но как можно пренебречь прекрасной добычей, которая так близко?

Инстинкт охотника берет верх.

«Полчаса потрачу на ходьбу по следам медведей... Не встречу, вернусь обратно».

Следы то приводят к плавающим льдам, то уводят в прибрежные торосы. Лыжи давно оставлены на берегу. Здесь они совсем бесполезны. Но и без них дорога крайне трудна, тем более, что в одной руке постоянно зажата приготовленная к стрельбе винтовка.

Когда следы окончательно повернули к плавающим льдам, кругом наступила уже почти полная темь. Поземка разы-

гралась не на шутку. Больше ничего не остается, как возможно быстрее возвращаться на зимовку.

Лыжи опять на ногах. Надо поскорее перебежать широкую торосистую бухту. После нее будет легче ориентироваться. На душе не совсем спокойно. Компас легкомысленно забыт на станции. Следовательно, в основном надо «отмечаться» по ветру, корректируя путь направлениями востругов, береговой линией, где она будет видна, торосами и т. д.

В памяти восстанавливаются основные приметы пройденного пути: тут торчали три высоких камня, на другой стороне были разбросаны торосы...

Главное, не растеряться, что бы ни случилось...

Во время пересечения бухты уж наступила полная тьма. Поземка была снегом прямо в лицо. Но нельзя менять положение корпуса, как бы ни было велико желание отвернуться от колющего ветра. Малейший поворот — и потеряно направление. Глаза теперь не играют большой роли. Они все равно бессильны прорезать эту тьму, наполненную снегом.

Лыжи ударяются о встреченный торос. Проверка по ветру показывает, что в пути отклонение в сторону, ближе к взломанным льдам. Направление снова выправляется.

Так проходит несколько часов в борьбе против ветра, снега и тьмы. Это требует самого напряженного внимания. Лыжи начинают шуршать, как бы задевая за что-то твердое.

— Неужели ушел в тундру?..

Раскопка снега ножом показывает, что это так. Значит, опять отклонился с пути.

Небольшая остановка, чтобы немного стогреть лицо. Лыжи оставлены ногами в сторону нужного направления. Это необходимо, чтобы не потерять курс.

Хорошо бы закурить...

Но как закурить на ветре, когда пальцы от холода не могут держать даже спичку...

Минутный отдых кончается. Надо снова держаться ближе ко льдам.

Новые раскопки ножом. Под снегом чувствуется лед.

— Эх, встретился хотя бы один след, чтобы окрепла уверенность в правильности взятого направления.

Давно прошли обещанные сроки возвращения. Против ветра приходится итти медленно и зигзагами. Но все же зимовка должна быть где-то невдалеке!

Положение лыж и несколько затрудненное движение говорят о том, что начался подъем. Следовательно, скоро должен быть материк. Еще несколько шагов, и глаза улавливают очертания высокого черного столба.

— Это знак Амундсена!..

Здесь можно отдохнуть и закурить, укрывшись за столбом от ветра.

Отсюда до зимовки — не больше полутора километров. Выгруженные с парохода вещи укажут путь почти до самой мачты.

Отдых был внезапно прерван. Из темноты отчетливо донесли звуки выстрелов...

Дело понятное. Т. Рузов выслал розыскную партию. Теперь надо ее найти, продолжая переговоры при помощи выстрелов. Иначе партия уйдет в тундру.

Выстрелы раздаются все ближе и ближе. Из тьмы вырисовываются сначала собаки, затем показываются человеческие фигуры. Доктор Ринейский, Данилов, Степанок...

— Вы, что, друзья, заблудились?

— Вас пошли искать... Рузов послал...

Говорили ему, что надо подождать... Он же заявил: «Лучше рано, чем поздно».

Через пятнадцать-двадцать минут мы уже были на станции.

— Что же это вы уходите один так далеко?

— Зато нашел свежие следы трех медведей... Завтра можно итти туда с т. Степанок.

Уютно поет свою песню давно нечищенный самовар. Снова звучит облюбованная на зимовке мелодия:

Вернись... Я все прошу-у-у...

Совсем не так плохо жить и работать в Арктике. Надо только «не терять себя ни при каких обстоятельствах».



Мыс Челюскина стал центральным узлом, через который идут известия с запада на восток и с востока на запад. В этом году Арктика живет необычайной для нее жизнью. На островах Самуила зимуют три парохода Первой Ленской экспедиции. Стали на зимовку и три судна Колымской экспедиции.

Круглые сутки работает радиостанция мыса Челюскин. В теосной комнате, заставленной радиоаппаратурой и заваленной журналами и бланками, как в зеркале, отражается жизнь окрестных зимовок.

Лица радистов, по-двое несущих круглосуточную вахту, заметно осунулись и побледнели. Особенно большая нагрузка падает на т. Григорьева, одного из лучших полярных радистов. Ответственность момента заставляет его нервно и чутко прислушиваться к звукам, несущимся из радиоаппаратов.

На западе в Карском море погибла шхуна «Белуха». Немало проделала она на своем веку полярных походов. Вместе с нею стояли наши суда в порту о. Диксона. Ее красивый крепкий корпус, стройные мачты, надежный, испытанный экипаж предвещали тогда ей еще долгую работу во льдах Арктики. Но 1933 г. оказался для нее роковым.

В заливе реки Пясинной упорно боролся со льдами «Партизан Щетинкин» и, наконец, запросил помощи. К нему спешил ледокольный пароход.

Ледокол «Ленин» вывел последние суда Карской экспедиции, но сам наскочил на мель, рискуя замерзнуть около Диксона до будущей навигации.

Храбро продолжал работать ряд пароходов в районе Новой Земли.

Северная Земля, зимовщики которой вынуждены были остаться на повторную зимовку, сообщала о своих планах и нуждах.

Далеко, в Чукотском море, начиналась трагедия парохода «Челюскин». Зажатый дрейфующими льдами, лишенный возможности действовать, он плыл по их воле то на восток, то на северо-восток, то вновь возвращаясь назад...

По вечерам, когда кончалась дневная

работа, небольшая группа людей обычно собиралась в кают-компании. Здесь, в этом «клубе», узнавались последние новости с «большой земли», здесь делились впечатлениями минувшего дня и строились планы на будущее.

В один из таких вечеров т. Григорьев принес тревожную радиопраму с зимовки на островах Самуила:

«В районе пароходов дует сильная поземка. Пропал т. Елисеев, машинист парохода «Сталин», ушедший на охоту. Гудки пароходов, яркие электрические лампы не дали никаких результатов. Розыскная партия с трудом вернулась обратно, не найдя Елисеева».

Такая же поземка — пурга билась в окна небольшого домика на мысе Челюскина. Ясно представилось, как в холодной беспросветной мгле борется где-то, напрягая последние силы, близкий нам товарищ, стараясь угадать правильное направление. Мучительная полярная смерть ожидает т. Елисеева в ближайший же час, если она не наступила еще раньше.

— Если нам выходить на помощь «самуильцам», мы придем к ним только через 1½ — 2 суток, — начинает т. Рузов. — Елисеев будет уже мертв...

— «Самуильцам» помочь нельзя. Среди них имеется группа опытных полярников — Смагин, Урванцев и другие.

Мы осуждены на полное бездействие. Не приходится и думать, чтобы собаки прошли 125 километров в такую пургу.

«Пурга продолжается. Однако, вышла новая розыскная партия», — говорила полученная утром новая радиопрама. Она же сообщила и подробности этого трагического случая.

Около пароходов был замечен свежий след медведя. Страстный охотник, т. Елисеев получил разрешение на охоту за ним.

— Только одному не уходить... Помните приказ начальника экспедиции!

— Со мной пойдет Чигиринский и еще один товарищ.

Но, горя нетерпением, т. Елисеев не стал дожидаться своих спутников.

— Вы меня догоните, — крикнул он им.

Следы зверя вели в район слабо смерзшихся льдов и торосов. Т. Елисеев скрылся среди них раньше, чем вышли остальные охотники. Догнать его не удалось. В это время внезапно поднялась сильная поземка. Боясь потерять пароходы, охотники вернулись обратно. Тов. Елисеев остался один.

Теперь уже не было сомнения в его гибели. Прошло более полутора суток, как он начал свои блуждания. Розыскная партия, в лучшем случае, могла отыскать только его труп. Но и этого не случилось. Люди прошли вплоть до восточного острова. Там они переночевали в снежном доме и к вечеру следующего дня, усталые и смерзшие, вынуждены были вернуться к пароходам.

Дальнейшие розыски были беспочвенны...

Только на следующий год, когда зимующие суда готовились уже к обратному походу, вытаял из-под глубокого снега труп т. Елисеева. Ни лыж, ни винтовки там не оказались...

Гибель отдельных участников экспедиции не может изменить программу работ. Сожаление о погибшем товарище, мысль о его мучительной смерти не должны поколебать волю и энергию в борьбе за большое и важное дело.

27 октября на аэродроме мыса Челюскина стоял новый маленький самолет «У-2», готовый взять двух человек для продолжения научных наблюдений над плавающими льдами. Он заменил нашу прежнюю машину «Р-5», у которой, при испытании мотора, вышел из строя цилиндр.

Дул норд-остовый ветер, силой в 7 метр./сек.

Мы поднялись над проливом Вилькицкого, держа курс на север к мысу Мессер на Северной Земле. Ледовые условия пролива значительно изменились. Около первоначального припая шли торосистые гряды. Сильный мороз уже припаял к ним плавающий лед. Но в 20 километрах от берега вновь показались плоские ледяные поля, отделенные от припая узкими полосами воды.

Местами выделялись высокие стамухи... Ближе к Северной Земле пролив окончательно замерз. Пелена снега скрыла границы ледяных полей. Только тонкая серая линия указывала кое-где, что это ровное белое пространство еще не превратилось в сплошное, плотно спаянное поле.

Холодный воздух обжигает лицо. Пальцы теряют чувствительность, и карандаш вместо букв выводит какие-то каракули в записной книжке.

Самолет «У-2» чрезвычайно удобен для наблюдений. Он идет со скоростью не более 100 — 120 километров. Это позволяет основательно разглядеть все детали расстилающейся внизу картины.

Около самолета показались возвышенные покатые берега острова «Большевик». Они еще не совсем скрыты пеленой снега. Но исследование «Большевика» не входит в нашу задачу.

Аэроплан берет обратный курс, сделав уклон на запад, ближе к о. Гейберга. Чтобы увеличить радиус видимости, мы летим несколько выше, чем раньше. Пролив Вилькицкого кажется отсюда белоснежной скатертью. Торосистые края смерзшихся льдин и гряды торосов образуют на ней легкие, вычурные узоры. Узкие темные полосы воды разорвали ее на отдельные геометрические фигуры разнообразных форм.

У о. Гейберга характер льдов тот же, что и около мыса Челюскина. Только торосы как будто выше и многочисленнее. Но возможно, что это результат рефракции.

После привычного гула мотора «Р-5» звуки стосильного мотора «У-2» похожи на стрекотанье.

— Воробей, а не самолет... — даем мы ему в воздухе новое имя.

Крайне медленно идет наш «Воробей». Противный ветер сильно задерживает его ход... Наконец, показалась обрывистая гора Аструпа.

Вдоль материка, над припаем, мы летим к мысу Челюскина. Во многих местах берег завален тяжелыми глыбами льда. Все говорит о том, что полное замерзание пролива Вилькицкого — вопрос нескольких дней.

Пора возвращаться к пароходам на острова Самуила.

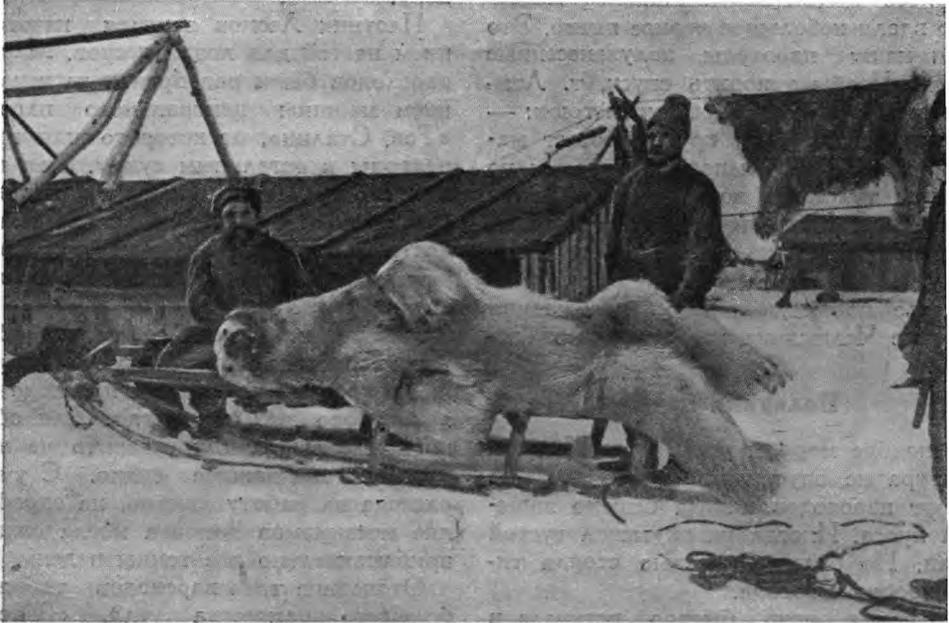


На следующий день мы простились с дружной компанией зимовщиков мыса Челюскина. Борт-механик т. Игнатьев остался здесь «заложником» до следующего нашего прилета.

Температура немного понизилась: — 22,3°. Ветер почти утих и дует с

Ровно и уверенно стрекочет мотор... Не очень приятно летать над плавающим льдом, где невозможна посадка. Но мы должны узнать, что находится севернее узкого канала. Забрав высоту, «Воробей» идет туда. Всюду гладкие ледяные поля с ровными краями. Молодой лед сероватого оттенка довольно отчетливо выделяется среди полей старого льда.

Мы возвращаемся к полынье чистой воды и затем ложимся на курс за-



После удачной охоты на мысе «Челюскин»

норд-веста. Самолет снова выносит нас через торосистый припай к плавающим льдам. Мы хотим проследить размещение их в конце пролива. Справа — знакомые, пустынные берега Таймырского полуострова, его бухты, мысы, острова. Слева — только льды. Берега Северной Земли и о. Малый Таймыр на этот раз совершенно не видны.

Пловучие льды тянутся ровной полосой. Повидимому, сжатие их в этом месте было ничтожно. На траверсе о. Малый Таймыр под нами открывается узкий канал чистой воды. Он имеет определенное направление на юго-восток к островам Самуила.

падного острова Самуила. Здесь — скованное морозами неподвижное белое поле. Местами снег желтоватого тона.

Небольшие, сравнительно высокие острова тянутся вдоль материка. На одном из них высокий темный предмет, издали напоминающий силуэт человека.

Мелькнула дикая мысль:

— Не Елисеев ли?..

Самолет кружит над островком, снившись до 100 метров. Темный предмет оказался черным столбом. Он поставлен Амундсенем во время зимовки в этом районе его шхуны «Мод».

Вполне естественно желание спуститься около столба. Но островок обложен торосами. Посадка невозможна.

Берем курс к островам Самуила, расположенным в непосредственной близости от этого памятника.

На аэроплане это расстояние должно быть покрыто в несколько минут. Но плоские, низменные берега островов Самуила не видны. Они слились с общим зимним фоном.

Делаем несколько зигзагов, вылетая к полосе чистой воды. Наконец мелькнуло вдали небольшое черное пятно. Это были наши пароходы, полузанесенные снегом. Чтобы ускорить спуск, т. Линдель выделяет свой обычный трюк: — остановив мотор, он круто бросает машину вниз. Под напором ветра и по инерции туловище почти выталкивается из кабины. Надо держаться крепче. Зато самолет очень быстро идет на посадку.

После почти месячного пребывания на мысе Челюскина мы вернулись «домой».

Полярная ночь

В ноябре морозы усилились. Но температура не опускалась ниже -34° . Вокруг пароходов иногда бешено завывала пурга. Иногда их окутывал густой туман. Но большей частью стояла тихая, хорошая погода.

Полярная ночь быстро вступала в свои права. Только в утренние часы виднелись на востоке красноватые лучи уходящего солнца. В безоблачную погоду ярко горели звезды на всем небосводе. На самом краю горизонта они казались ярко пылающим костром.

На первых порах это вводило даже в заблуждение.

— Горит костер. Кто-то потерял дорогу.

Но проверка показывала, что весь состав на пароходах в сборе.

Северное сияние становилось постоянным явлением. В лунную ночь вся белоснежная поверхность сверкала бесчисленными искрами.

Иногда мертвую тишину ночи нарушал вой наших собак, бродящих около судов.

Лишь на пароходах жизнь шла обычным чередом. Весь коллектив деятельно готовился к встрече полярной ночи.

На острове Самуила вырос целый поселок. На случай гибели судов от сжатия льдов там было заготовлено первое пристанище. Дороги к восточному и западному островам, общим протяжением около 30 километров, были обставлены невысокими досками. Эти знаки до известной степени предохраняли от излишних блужданий при походах в темную пору.

Плотник Леонов занялся изготовлением настей для ловли песцов. Машины пароходов были разобраны, за исключением машины центрального парохода «Тов. Сталин», от которого шли трубопроводы к остальным судам. Для питания его котлов интенсивно заготавлился снег и лед, чтобы не испытывать недостатка в пресной воде, когда нельзя уже будет отходить далеко от пароходов.

Необходимо было соблюдать большую экономию в расходе угля и керосина. В среднем на каждом пароходе имелось около 500 тонн угля. Для обратного похода решили оставить не менее 200 тонн на каждое судно. С учетом расхода на работу динамо, на опробование механизмов зимовка могла сжигать приблизительно две тонны в день.

Отопление трех пароходов требовало большого количества угля. «Володарского» поставили на консервацию. Тов. Урванцев с семнадцатью сотрудниками выехал на жительство во вновь построенные дома. Остальные разместились в каютах пароходов «Тов. Сталин» и «Правда».

Электрический свет был выключен. В каютах появились небольшие керосиновые лампы. Срок горения их был ограничен.

При интенсивной работе на жестком снегу быстро изнашивалась верхняя одежда и сапоги. Потребовалось организовать починочные мастерские.

Свиной «колхоз» разрастался очень быстро. Поросята еще не приспособились к холодам. Плотник «Володарского» т. Куска утеплил дощатые постройки, устроил отделения для малышей и

маток, а затем принял на себя все заботы о «колхозе».

Радисты провели в кают-компанию радиоприемники, установив связь со всеми соседними радиостанциями. Кружки политграмоты и мортехникума работали регулярно и серьезно. Стенгазета выходила каждую декаду. Она очень быстро перешла «от обороны к наступлению». Лозунг «за лучшую зимовку» был очень популярен.

Что нужно сделать для реализации этого лозунга?

Газета отвечала:

1. Сохранить и наилучшим образом отремонтировать пароходы.
2. Повысить политический и культурный уровень зимовщиков.
3. Повысить их техническую квалификацию.
4. Выполнить всю программу научных работ.

В то же время газета объявила упорную борьбу всем, кто будет пытаться сорвать дружную жизнь и работу всего коллектива.

Это было далеко не лишним. Среди ста зимовщиков, случайно отобранных для вынужденной полярной зимовки, не могло не найтись нескольких человек, которых вообще было бы крайне нежелательно оставлять здесь.

Наступили октябрьские торжества. На пароходах царило радостное возбуждение. Тщательно убранные, декорированные всеми доступными средствами и вычищенные каюты выглядели уютнее и даже светлее. В театральном зале — бункере — шла деятельная подготовка к выступлению «артистов самуильской эстрады». Повара готовились показать свое искусство в полном блеске.

У радистов был большой день. Через их радиоприемники проходили тысячи приветственных слов.

День Октября открылся митингом.

Один за другим выходили на трибуну зимовщики. Они вспоминали великий Октябрь, отмечали достижения Союза за последние годы и, заглядывая в будущее, говорили об освоении Северного Ледовитого океана, о том, как огни индустриализации загорятся в пустынной Арктике.

— Водник Союза пробьет дорогу во льдах Ледовитого океана для будущих фабрик и заводов, — единогласно ответило собрание.

Митинг окончился... Наступила очередь отдать должное искусству поваров. Обед удался на славу.

После обеда часть людей отправилась на остров поздравить «островитян». Другие собрались в кают-компаниях, где без-умолку пел граммофон и слышались звуки различных инструментов.

К моменту возвращения ушедших на остров загорелись на мачтах яркие лампы, чтобы дать им возможность держаться правильного направления.

В 9 часов вечера начался концерт. Трудно было ожидать, что у нас найдется столько талантов.

Декламация, стихи, танцы, оркестр. Правда, стихи местных поэтов были не очень удачны. Но разве можно подходить к ним с суровой критикой?

Выступала агитбригада — «Арктикада». Артисты в шуточной форме перечисляли достоинства и недостатки зимовщиков. Пел хор. Заслуженным успехом пользовался струнный оркестр.

Много оживления внесло это первое представление. После его окончания были объявлены «танцы до утра».

Но до «утра» было еще далеко. Скоро все разошлось на отдых по своим каютам. На палубе осталась только одинокая фигура вахтенного матроса.

Настроение зимовщиков вполне удовлетворительное. Особенно бодро держатся «володарцы». Им понятна и близка красота Севера.

— На Вайгаче у нас в прошлом году было куда красивее северное сияние, — уверяет т. Липатов, подняв голову вверх.

— Не болтай попустому, — защищает место новой стоянки капитан Смагин, — погоди, и здесь еще разгорится так, что в Архангельск не захочешь вернуться.

Команда и комсостав спаялись в один дружный коллектив. В отношении дис-

циплины «Володарский» — лучшее на зимовке судно.

Иногда выделяются отдельные «нытики» и «болельщики», вслух выражающие свое недовольство той или другой работой. Но дружеские шутки приободряют их. Лишь один раз пришлось вмешаться партактиву и предупредить электрика т. Р. о необходимости соблюдать дисциплину.

Регулярно работает метеостанция. В домике т. Урванцева идет деятельная подготовка к дальнейшим научным занятиям в предстоящем обратном походе.

Аэроплан совершил еще один вылет на север, к плавающим льдам. Но затем полеты пришлось прекратить. Видимость стала ничтожной. Каждый взлет и посадка сопровождались недоразумениями.

— Здесь торосы! — утверждал кто-нибудь из летного состава.

— Здесь не может быть торосов! — возражал другой.

Рефракция превращала маленькие бугорки и отдельные льдины на снежном поле в высоко вздымающиеся торосы.

Однажды мы отправились втроем осматривать расставленные для песцов пасти.

Дула сильная пурга. Пароходы скрылись из виду, едва только мы подошли к первой пасти. В ней не оказалось добычи. Не было добычи во второй и третьей пасти. Несколько в стороне должна была стоять четвертая ловушка. Но ее нет. Виднелось только какое-то черное пятно, которое быстро бросилось бежать. Винтовки подняты к плечам. Однако, никто не стреляет.

— Вероятно, собака, — сорвалась у т. Урванцева.

Черное пятно остановилось. Потом кинулось в другую сторону.

Стрелять или не стрелять?..

Крик, свистки не действуют. Пятно бежит, но не убегает.

С приготовленными к стрельбе винтовками идем вперед к предполагаемому зверю. Вскоре он превратился в обычную пасть. «Живое» пятно оказалось незанесенным снегом бревном.

Песцов в нашем районе в этом году

нет. Они откочевали куда-то. Только однажды пасть придавила отощавшего зверя. Другого песца «добыл» т. Линдель. Осматривая и очищая свой самолет, поставленный в углублении, образованном носовой частью двух пароходов, он наступил на что-то мягкое. Это был песец, затрысенный собаками.



10 ноября отмечено в дневнике, как день оживленных прений о судьбе дрейфующего далеко от нашей зимовки парохода «Челюскин». С горячим участием следили зимовщики островов Самуила за его борьбой, с волнением читая радиограммы, которые иногда перехватывала наша радиостанция.

— «Литке», может быть, выведет их из льдины, — надеялись одни.

— «Литке» сам избит. Да и не пройди ему в это время, — возражали другие, — будет зимовать...

Мы давно знакомы по полярной работе с товарищем Шмидтом, Ворониным и другими челюскинцами.

В самые трудные для нас дни борьбы со льдами в проливе Вилькицкого мы получили от них радиограмму:

«С тревогой и волнением следим за вашей борьбой...»

Теперь не приходится уже тревожиться о нашей судьбе. Челюскинцы находятся в гораздо худших условиях, чем мы. И весь наш коллектив полон дружеского сочувствия к ним.

— Чего они не вбились в припай? — недоумевают некоторые.

— Товарищ Шмидт и Воронин не меньше вас понимают, — возражает т. Смагин, старый соратник капитана Воронина. — Не вбились, — значит, нельзя было...

Радиограммы с «Челюскина» перехватывались нами далеко не регулярно. Часто удавалось уловить лишь отдельные слова, которые мы потом старались расшифровать, сопоставляя их с ранее полученными сведениями.

Происшедшее на нашей зимовке несчастье на некоторое время ослабило внимание «самуильцев» к перипетиям «Челюскина».

В темную ночь, пытаясь перепрыгнуть с борта одного парохода на борт другого, упал на лед и разбился насмерть машинист «Володарского» т. Пустошный. По заключению врачей Урванцовой и Диденко смерть наступила мгновенно. При ударе о лед сместилась в сторону черепная коробка и сломались спинные позвонки. Обезображенное лицо стало неузнаваемым.

Эта нелепая гибель произвела на многих тяжелое впечатление.

— Некоторые боятся оставаться одни в темноте или спускаться в бункер, — сообщил доктор Диденко.

Решено было похоронить т. Пустошного на другой же день, если немного утихнет пурга. Местом его погребения был избран небольшой каменистый островок, расположенный в 10 километрах от пароходов.

Утро было почти тихое, но мороз доходил до -34° . Итти провожать труп т. Пустошного всему коллективу было нельзя. Это, несомненно, привело бы к тому, что несколько человек вернулось бы с отмороженными частями тела. В случае же пурги не всем удалось бы дойти обратно до пароходов.

Пошла группа — 10 человек с «Володарского» и по 5 человек с остальных пароходов.

С утра первая партия отправилась готовить могилу.

Полярная ночь уже полновластно царил в этих широтах. Только на востоке едва розовели нижние края облаков. Безжизненный свет северного сияния покрыл неживыми красками снежную пустыню. Мы шли небольшой толпой, затерянные в безграничном просторе Арктики. Цель путешествия усугубляла ощущение покинутости и отчужденности.

Через два часа прибыли к намеченному месту. С возвышенного берега виднелись вдали наши замерзшие пароходы и плоские дома зимовки на острове. Недалеке стояли покрытые густым морозным инеем дощатые вежи, поставленные нами для ориентировки в пути.

— Будешь ты, Пустошный, теперь нам тоже только вехой, — с грустью пошутил кто-то.

Молча принялись разбирать плоские

камни, чтобы приготовить ровную площадку для гроба. Могилу устроить здесь просто. Тщетны попытки углубиться в мерзлую почву. Гроб остается на поверхности земли. Сверху кладется надежный каменный курган, чтобы ни песцы, ни медведь не могли добраться до трупа.

Камни выламывались с трудом, но их гряда постепенно росла. Мороз подгонял работу. Однако, вскоре пришлось развести костер из принесенных дров, чтобы отогреться около его огня.

В отдалении показался вездеход с гробом и небольшая группа людей и собак. К часу дня они подошли к островку. Дружеские руки подняли гроб и поднесли его к приготовленной могиле. С глубокой грустью простились мы в последний раз с товарищем, который тридцать часов тому назад и не думал о смерти.

Постепенно над гробом вырос каменистый холм. Возле него мы поставили высокую железную штангу, с звездой наверху и соответствующей мемориальной надписью.

— Опять этот остров будет называться островом Пустошного...

Прощальный залп из винтовок. Пора двигаться в обратный путь. Долго еще виднелся этот небольшой холмик. Ярким пламенем горел около него наш костер, как последний дар света и тепла умершему от его живых товарищей.

Вечером созвали общее собрание зимовщиков. Необходимость его ощущалась всеми. Надо было дать разрядку тяжелому настроению.

— В короткое время мы потеряли двух товарищей — Елисеева и Пустошного. Оба погибли от собственной неосмотрительности. Нельзя регламентировать приказами каждую мелочь. Помните, что мы в высоких широтах Арктики, где надо постоянно соблюдать осторожность. Тогда все будет благополучно, тогда будет выполнена вся намеченная программа работ...

Собрание дало хорошие результаты. На следующий день работы и занятия шли обычным порядком.

По окончании работ состоялся доклад о политическом и экономическом поло-

жении современной Германии. Тема была интересна для большинства водников. Германия была им знакома по прежним рейсам. Поэтому многие могли поделиться своими впечатлениями от ее посещения.

Гнетущее настроение, навеянное смертью Пустошного, рассеялось.



Морозы продолжали усиливаться. 18 ноября температура упала до -44° . Пришлось отменить все работы вне парохода и предоставить внеочередной выходной день.

Охота на медведей безрезультатна. Поиски их напрасны. Вероятнее всего, они залегли спать на все время полярной ночи. У кромки пловучего льда, находящегося в 15 километрах от нас, не обнаружено даже следов зверя. Походы туда уже сопряжены с опасностью. Частая пурга усиливает ночную темь.

Жизнь течет монотонно. Но время, благодаря постоянной занятости людей, проходит для них незаметно. Никто не сидит без дела. После большой физической работы одни преподают или готовятся к очередному уроку, другие учатся или слушают очередной доклад.

В мортехникуме ощущалась острая нужда в бумаге. Разве можно было предвидеть создание учебного заведения на 77° северной широты? Пришлось использовать старые конусаменты, плакаты, афиши.

Вечера заполнены уже другими увлечениями. Стали отлично слышны радиостанции Москвы, Ленинграда и Аляски. Наши радисты окончательно справились со своими радиоприемниками. Они уже не шипят и не свистят, как раньше, а издают чудесные звуки самой разнообразной музыки. Аляска услаждает наш слух фокстротами. Москва, Ленинград, а иногда и Варшава передают прекрасные концерты.

Слушая музыку, мы отдыхаем. Она является для нас новым источником сил и энергии.

Ради нее наши часы переведены теперь на московское время. Но для работы это не имеет никакого значения. Не

все ли равно, когда спать и когда вставать, если непрерывно длится полярная ночь без малейшего проблеска света...

По мере углубления полярной ночи среди части зимовщиков развилась бессонница. Особенно сильно страдали те люди, когда из-за сильной пурги или морозов приходилось прекращать физические работы.

В первую очередь бессонница овладела теми, кто еще в самом начале зимовки находился в недостаточном удовлетворительном физическом состоянии. Из 102 зимовщиков таких оказалось 20 человек. Однако, большинство зимовщиков чувствовало себя хорошо. Ежемесячный врачебный осмотр всех людей показал увеличение веса и общее укрепление здоровья у многих.

Жизнь на зимовке подчинена строго установленному однообразному суточному режиму.

В 7 часов звонок приглашает всех подниматься с постелей. Уборщицы разносят чайники и надоевшие консервы. Кают-компании быстро наполняются людьми. При свете керосиновой лампы на лицах вставших не видно того оживления, какое бывает у людей, вышедших на яркий солнечный свет.

С 8 до 12 часов — рабочее время. Одни заняты на снеговых работах, другие на бункеровке угля, третьи — на ремонте пароходов.

В 12 — обед. Здесь уже больше оживления и шума. Четырехчасовой труд улучшил настроение людей и вернул им физические силы.

С 13 до 17 часов — снова работа на прежних местах. Для учащихся и преподавателей мортехникума делается исключение. Они работают только до 15 часов.

В 17 часов — ужин. В 19 часов 30 минут — вечерний чай. В полночь — отход ко сну.



17 ноября из перехваченной радиogramмы мы узнали, что «Литке» не пооблился к «Челюскину» и уходит обратно.

— Придется челюскинским ребятам зимовать, как и нам.

— Не как и нам, а куда похуже. В дрейфующих льдах их в любой момент может раздавить...

Такая перспектива вызывала опасения не только за жизнь челюскинцев, но и за судьбу всей работы в Арктике.

— Мы уже зазимовали. Теперь они зимуют. Как бы не появилось кое у кого «арктического оппортунизма»...

Это предположение встретило живейший отпор.

— Грузы в Якутию мы привезли? Привезли! «Пятилетку» с лихтером привели? Привели! Не каждый же год будут такие ледовые условия, как в 1933 году. В Карском море тоже сначала зимовали...

Все стали убежденными сторонниками Северного морского пути. Всем стала дорога борьба за развитие производительных сил северных окраин Азиатского материка.

— Ловите челюскинцев, — просили зимовщики радиста Ковалева. — Сидите в своей рубке день и ночь.

— Дня-то нет, — отшучивался Ковалев, — а ночью и так сидим.

Общее собрание послало «Челюскину» радиограмму. Она должна была передать участникам героического похода привет и сочувствие «самуильцев»...

22 декабря температура воздуха была — 39°. Дул сильный ветер. Работы на снегу и на палубе пришлось отменить. Тем не менее этот день отмечен в дневнике как «хорошее число». Такая оценка продиктована двумя вескими причинами.

Во-первых, с сегодняшнего дня солнце начинает опять поворачивать в нашу сторону. Оно будет приближаться очень медленно — всего на 6 секунд в сутки. Но важно то, что теперь оно идет уже к нам, а не от нас. Полярная ночь еще долго будет держать нас в своих объятиях, но все же силы ее будут убывать с каждым часом.

Во-вторых, Ленинград сообщил нам сегодня, что 24 декабря будет происходить радиоперекличка со всеми зимовками, в том числе, конечно, и с нами.

Такой день надо отпраздновать!

Повара хорошо постарались. Обед и ужин были замечательные. К столу были поданы бутылки с портвейном — по одной на три человека. Некоторые, впрочем, предпочли заменить вино обычной порцией спирта (50 граммов), выдаваемой в выходные дни.

Бункер парохода «Сталин» снова превратился в театр. «Арктичианада» еще раз показала свои таланты.

Вечер прошел очень оживленно. Всем понравились музыкальные номера. Особый успех имело стихотворение «Зимовка машин». Автором его был второй механик «Володарского» т. Семенов.

В изъятие из общих правил жизнь на пароходе продолжалась до часу.

В ночь на 24 декабря началась радиоперекличка.

— Слушайте, слушайте! Товарищ такой-то, сейчас с вами будет говорить мама мать...

Все с живейшим интересом ожидают, что скажет сейчас женский голос. Но голос молчит...

— Не волнуйтесь, говорите!..

Но пспрежнему все тихо. Вероятно, мать никак не может освоиться с мыслью, что в этот момент, когда она стоит перед маленьким отверстием радиопередатчика, исчезло расстояние между нею и сыном, зимующим где-то в далекой, страшной Арктике.

— Товарищ такой-то... Ваша мать очень волнуется... Пусть успокоится, а пока будет говорить жена товарища Н...

— Дорогой муж. Обо мне не беспокойся, у меня все благополучно, дети здоровы. Надеюсь, что у тебя тоже все хорошо. Держись, как крепкий большевик...

— Вот эта хорошо отчеканила! — одобряют собравшиеся.

— Ну, теперь ваша мать успокоилась. Сейчас она будет говорить. Слушайте, слушайте.

Радиоприемник передает слезы в голосе и тихие всхлипывания.

— Как ты себя там чувствуешь? Не поморозься. Береги себя. Паек получаю. Со мною твой сын...

По лицам слушателей видно, как приятно им это волнение матери.

— Папа, я начал учиться... Знаю все буквы... Привези мне белого медвежонка.

Этот наказ приводит всех в веселое настроение. Он дается как-раз очень мирному человеку, совсем не склонному к встрече с медведями.

— Товарищ Ч, с вами будет говорить ваша родственница.

— Здравствуйте, Коля. С тобой говорит твоя тещенька...

— У-у-у-х! — в комическом испуге восклицают слушатели. — Спасайся, Ч.

— Отсюда нестрашно, — улыбается Ч. Много было получено в эту ночь приказов на присылку медвежат, много было наказов «беречь себя». Но и немало было услышано хороших, ободряющих слов.

Началась радиоперекличка с другими зимовками. Долго длилась она. Но толпа около радиоприемника не расходилась. Всем хотелось знать, о чем будут говорить.

Радиоперекличка внесла большое оживление в монотонный быт нашей зимовки.

— Теперь надо ждать, что расскажут Москва и Архангельск, — мечтали «самуильцы».



Настроение зимовщиков, никогда, даже в самом начале вынужденной остановки, не сдававших бодрого тона, стало еще крепче и увереннее.

Даже постоянный сиделец в своей каюте капитан С — в поддался наконец уговорам и сходил в компании на островную зимовку. Оттуда он вернулся с отмороженной щекой и ухом.

— Нечего мне там делать...

Но эта прогулка была ему на пользу. На ногах у него уже появились синие пятна — первые признаки цынги. Врачи взяли его под свое постоянное наблюдение.

Трудно иметь дело с такими «полярниками»...

Часовая стрелка обошла еще семь раз по циферблату, и с седьмым оборотом ее закончил свое существование старый год.

За это время свирепая пурга иногда уступала место затишью, чтобы через несколько часов снова вернуться в бело-снежные просторы Полярного моря и тундры. Падала и повышалась температура воздуха. Сегодня — 30°, без ветра, совсем тепло. Завтра — 40°, также без ветра, — холодновато. Потом — 25°, но с ветром, — невозможно работать вне помещений. Во всем этом было движение и смена.

Только полярная ночь оставалась постоянной и непоколебимой. Свет луны и звезд, прекрасная игра полярного сияния несколько не нарушали ее однородности.

Наша маленькая кучка людей сознает себя частью громадной коллективной семьи Советского Союза. Невидимыми, но глубоко ощущаемыми нитями связаны мы с нею и делаем одно и то же великое дело.

Поэтому собравшись в канун нового года в грязном бункере парохода, мы с волнением слушали доклад об итогах работ всего Союза за 1933 год, ощущали рост его силы, гордились этим и в свою очередь сообщили в центр о нашем вкладе в общее дело строительства социализма.

По случаю нового года в кают-компаниях вместо тусклых керосиновых ламп ярко горело электричество. При свете его все выглядели моложе и веселее.

День был нерабочий.

После обеда часть зимовщиков ушла на лыжах с визитом к «островитянам». Часть просто кружила около парохода, часть же засела играть в домино, по чему-то известное под названием «козла».

Через некоторое время явились вестники из бункера с приглашением «занимать места» в театре.

«Арктинада», помимо обычных номеров, поставила чеховское «Предложение».

Наталью Степановну играл один из комсомольцев. По сему случаю он не пожалел даже своих усов. Платье одолжил у одной из уборщиц. Каким-то образом нашлась и дамская шляпка. Ломов и Чубуков были разодеты так, как уже давно никто не одевался.

Одно появление этих персонажей на сцене вызвало хохот, — настолько их вид дисгармонировал с обычным видом людей на зимовке.

Артисты играли хорошо. Чувствовалось, что они усиленно готовились к этому спектаклю. В споре о Воловях лужках Наталья Степановна и Ломов свирепо наступали друг на друга. Зрители оживленно воспринимали игру. Зал и сцена слились в одно целое.

Еще более объединила всех выходка паруходной собаки «Ринки». Она очень не любила, когда люди ссорились и всегда становилась на сторону того, кого считала обиженным.

Поведение людей на сцене начало сильно беспокоить «Ринку». Было совершенно очевидно, что они ссорятся, но кто же виноват из них? Собака вскочила на сцену и, видимо, напряженно обдумывала свои дальнейшие действия.

Виновата как будто Наталья Степановна. «Ринка» приближается к ней. Но тут раздается повышенный голос Ломова. «Ринка» — к нему.

Артисты, зная ее нрав, умилили пыл спора. Собака сидела перед ними и грозно выжидала, что будет дальше.

Наконец, поощряемая возгласами из зала, она поняла, как надо действовать, и вцепилась зубами сначала в ногу Натальи Степановны, а затем и Ломова.

После этого «Ринке» пришлось покинуть театр, но уже не по своей воле...

За спектаклем последовали музыкально-вокальные номера. Как всегда, они были удачны. На судах имелись различные гитаристы и балалаечники. Не обошлось и без чтения стихов на местные темы.

На следующий день проверили знания «студентов Самуильского мортехникума». Подавляющее большинство получило хорошие отметки. Наша зимовка даст советскому флоту новых штурманов и механиков.

Дневник до 30 января 1934 г. отражает только состояние погоды и отчеты об отдельных лыжных походах на остров.

К 30 января солнце стояло настолько близко, что уже в течение двух часов

держались серые сумерки. Перевели часы на два часа вперед, пожертвовав ради света ленинградскими и аляскинскими радиоконцентрами.

Можно было приступить к полетам. Для т. Линделя это явилось настоящим праздником. Самолет вывели из зимнего помещения. Полярную ночь он перенес благополучно.

4 февраля совершили первый пробный полет на север от пароходов, чтобы найти границу плавающих льдов. Она оказалась почти в том же положении, в каком мы оставили ее осенью. В 15 километрах высился торос около 14 метров вышиной. От него на восток тянулась гряда более мелких торосов. За ними начинался район пловучих льдов. Между припаем и льдами шел узкий канал чистой воды.

Мы с удовольствием всматривались в черную полосу воды, резко выделяющуюся на белом фоне снежной пустыни. Над водой висел густой туман. Из-за него горизонт видимости был крайне незначителен.

Сумерки стали быстро сменяться тьмой. Мы повернули обратно к пароходам.

8 февраля вылетели уже на авиаразведку. Температура — 21,2°. Стоял полный штиль. Лучшей погоды для полета трудно было ожидать. Аэроплан, набрав высоту, быстро достиг кромки плавающих льдов и вдоль ее пошел на северо-запад.

Видимость на этот раз была прекрасная, хотя вместо настоящего дня стояли еще сумерки.

После долгого перерыва снова увидели острова Самуила. Они уже не казались нам такими дикими и пустынными, как раньше. От стоянки пароходов, как от центра, вытянулась в обе стороны длинная линия вех. На одном конце ее — выстроенные дома, на другом — небольшая охотничья будка.

Линия припая идет попрежнему на северо-запад. Виден возвышенный берег Таймырского полуострова. С другой стороны — на всем горизонте плавающие ледяные поля.

Под самолетом тонкая лента — канал открытой воды. Он становится все уже

и уже, и на траверсе острова Малый Таймыр круто поворачивает на север.

Наш дальнейший путь — к проливу Вилькицкого и на мыс Челюскина.

Пролив покрыт сплошным ледяным покровом. На его восточной половине почти нет крупных торосов. Не видно даже заторошенных краев ледяных полей. Только у мыса Прончищева был, повидимому, сильный нажим льдов на берег. Лдины выброшены на сушу и беспорядочной массой раскинулись на большом пространстве.

Около мыса Челюскина — длинные гряды торосов. Несколькими параллельными линиями они разрезали пролив Вилькицкого на широкие полосы.

У мыса Щербина мы берем курс на материк. Яркий огонь костра дал нам направление. Несколько кругов над костром — и перед нами зимовка мыса Челюскина.

Лица зимовщиков несколько побледнели, вернее, посерели после полярной ночи. Подросшие щенки весело скачут возле самолета. Густой шерстью покрылись старые собаки.

— Привет, друзьям... Как зимовали?

— Все в порядке. Готовимся к походам...

Мы вошли в знакомые комнаты. Теперь они представляются нам комфортабельным жильем.

За рубежом

ПЕРЕД ВТОРЫМ АНТИГИТЛЕРОВСКИМ ПЕРЕВОРОТОМ АДОЛЬФА ГИТЛЕРА

Н. Корнев

Кто бывал в Мюнхене, тот наверное, заходил в знаменитый винный погребок «Цум братвурстглекле» (дословно: «Колокольчик жареной колбаски»), один из самых популярных мюнхенских ресторанов, в котором гостям подаются знаменитые баварские сосиски. Для особо почетных гостей в этом ресторане имеются отдельные уютные кабинетики. Здесь за порцией сосисок и бутылкой вина или кружкой не менее прославленного, чем баварские сосиски, баварского пива очень приятно поговорить о делах или о политике. Не приходится поэтому удивляться, что «Колокольчик жареной колбаски» пользуется огромной популярностью у всех больших и малых вожаков «Третьей империи». Они очень любят обсуждать там свои очередные дела в келейных разговорах, недоступных чужим ушам и любопытным взорам.

Одним из завсегдатаев этого рестораника, расположенного недалеко около известной всему миру мюнхенской «Фраункирхе» (собора девы Марии), бывал до событий 30 июня 1934 г. начальник штурмовых отрядов подполковник Эрнст Рем. Для него был даже резервирован отдельный кабинет во втором этаже. Именно в этом кабинете, по утверждению находящегося ныне в эмиграции Отто Штрассера, называющего себя в противоположность гитлеровским «жирондистам» национал-социалистским «якобинцем», состоялись в мае и июне 1934 г. сугубо секретные совеща-

ния штурмовиков, обеспокоенных настойчивыми требованиями представителей германской буржуазии, в особенности же генералов рейхсвера, распустить штурмовые отряды. Германский монополистический капитал, с одной стороны, хотел лишить Адольфа Гитлера его вооруженных сил, и поэтому требование роспуска штурмовых отрядов, требование во всяком случае отклонить всякие притязания Эрнста Рема на включение штурмовых отрядов в регулярную армию и предоставление Рему командного руководящего поста в армии представлялось всем гитлеровцам, как обращенное к Адольфу Гитлеру предложение самому произвести нечто в роде «антигитлеровского переворота». С другой стороны, германская буржуазия великопно понимала, что мелкая буржуазия города и деревни, лавочники и крестьяне, равно как деклассированные долгой безработицей пролетарии, словом, все те элементы, из которых так или иначе рекрутировались штурмовые отряды, понемногу начинают понимать, что Гитлер обманул их своей нарочито антикапиталистической, псевдосоциалистической демагогией, своими обещаниями уничтожить «грабщий капитал». Германский монополистический капитал понимал, что мелкая буржуазия и даже самые отсталые деклассированные элементы в лагере трудящихся, выброшенные кризисом и безработицей из трудового производственного процесса, скоро убедятся в том, что не выполнен и не

подлежит выполнению ни один из пунктов широкоэшелонной гитлеровской программы. Буржуазия, а вместе с ней и рейхсвер боялись, что все разочарованные и доведенные до отчаяния элементы могут превратить штурмовые отряды из защитных организаций капиталистического строя в организации, направленные против него. Никто, конечно, ни на минуту не предполагал, что Рем, Гейнес, Эрнст и другие командиры штурмовых отрядов могут стать теми «якобинцами», которых изображают из себя Отто Штрассер и его поклонники, считающие, что в «Третьей империи» должна произойти «вторая революция». Германская буржуазия знала, что 30 января 1933 г. в Германии произошла не «национальная революция», а победа контрреволюции, что то был день оформления военно-фашистской диктатуры. Но, в частности, рейхсвер опасался, что недовольство широких мелкобуржуазных масс может помочь Рему осуществить его схему военно-фашистской диктатуры, и тогда организаторы штурмовых отрядов возьмут на себя ту роль, которую давно, чуть ли не со времен падения вильгельмовской монархии в 1918 г., предопределили для себя старые рейхсверовские генералы. Эти генералы опасались, как бы Адольф Гитлер не дал себя увлечь перспективе «второй национальной революции», ибо такое повышение в чине руководителей штурмовых отрядов усилило бы в двухчленной формуле военно-фашистской диктатуры акцент на ее фашистской составной части. Между тем, как и в последний период союза рейхсвера с социал-демократией, рейхсверовские генералы, выражая интересы германского монополистического капитала, в особенности промышленного капитала, работающего на оборону, считали, что акцент в «Третьей империи» вопреки демагогическим завываниям фашистских пропагандистов, лежит, конечно, в сугубо военном характере диктатуры, готовящей новую войну.

Германские промышленники и банкиры вместе с генералами не верили, что поход министра пропаганды Геббельса против «критиканов и недовольных»,

начатый им в учете наличия огромного недовольства в широких мелкобуржуазных массах, может внести какое-либо успокоение. Наоборот, они считали, что этот поход министра пропаганды должен привести лишь к усилению недовольства, к усилению брожения в умах мелкой буржуазии, должен деклассированные элементы (настроение рабочего класса и без всех этих моментов, конечно, все более активизировалось против военно-фашистской диктатуры) побудить еще крепче сжать кулаки. Ведь в самой природе вещей лежал демагогический антикапиталистический лейтмотив кампании Геббельса против «критиканов и недовольных», ибо министр пропаганды вынужден был винить в замедлении выполнения демагогических обещаний Гитлера и его правительства только представителей «реакции», т. е. капиталистов, банкиров и промышленников, помещиков и кулаков. Поэтому одновременно с требованием ликвидации штурмовых отрядов из лагеря буржуазии, из руководящих кругов рейхсвера, конечно, раздавались все громче требования о прекращении похода министра пропаганды, который вместо того, чтобы демобилизовать недовольных, только активизирует их своими демагогическими выступлениями.

Именно это выступление авторитетных представителей германского монополистического капитала против Рема и против Геббельса заставило этих двух друзей Адольфа Гитлера встретиться в один из июньских дней 1934 г. в мюнхенском ресторанчике за порцией жареных сосисок, к огромному удивлению хозяина кабачка «Колокольчик жареной колбаски». Хозяин этого ресторанчика, равно как и его официант, предназначенный для обслуживания высоких гостей — фашистов, были, конечно, посвящены во всякие интимные подробности и тайны гитлеровского двора. Они великолепно знали, что Эрнст Рем и Иосиф Геббельс отнюдь не закадычные друзья. Наоборот, они были даже в некотором роде врагами, ибо каждый из них только себя считал главным доверенным лицом и любимчиком «возяды». Но общая опасность свела их на

время, всего только на один месяц, ибо в конечном итоге в решающий момент Геббельс, про которого один из фашистов сказал как-то: «Бойтесь хромых!», предал своего нового друга, а заодно распорядился, чтобы во время германской Варфоломеевской ночи были ликвидированы владелица кабачка с таким веселым названием и прислуживавший фашистским главварям официант. Тайна разговоров Рема и Геббельса навсегда была похоронена в одной из бесчисленных могил, выросших после 30 июня 1934 г.

Отто Штрассер утверждает, что он может раскрыть тайну бесед Геббельса с Ремом. Он утверждает, что в этих беседах Рем и Геббельс обменивались информацией о готовящемся походе на «радикалов» в национал-социалистской партии, т.-е. ее представителей, которые хотели бороться с недовольством масс с помощью усиления демагогической агитации. В беседах командира штурмовых отрядов и министра пропаганды, якобы, говорилось о том, что даже Муссолини во время известного их свидания в Венеции советовал Гитлеру освободиться от «радикальных» элементов. Реакция, — говорил Рему Геббельс, — т.-е. германские реакционеры гугенберговского и папенского толка, наглет, Марбургская речь фон-Папена была формальным объявлением войны национал-социалистской партии, ибо она провозгласила гитлеровскую «революцию» законченной. Надо, — отвечал Геббельсу Рем, — уничтожить «реакцию», надо заставить «старика» (т.-е. президента Гинденбурга) пойти с нами, «радикалами». Только штурмовики являются гарантами гитлеровской «революции». Геббельс здесь, вероятно, немедленно согласился с Ремом: он ведь написал в своих воспоминаниях (вернее, сильно проредактированном «дневнике» под названием «От Кайзергофа до имперской канцелярии»): «Нельзя себе представить, что переносят эти ребята (штурмовики). Если когда-либо будет написана история нашего времени, то глава о геройских подвигах штурмовых отрядов будет достойной самых героических действий на-

шего народа». Рем, как утверждает Отто Штрассер (см. его «Германская Варфоломеевская ночь»), уверял Геббельса, что «Гитлер покажет себя «Клубу господ» (т.-е. Папену и его друзьям). Конечно, Геббельс мог сказать Рему в ответ, как это значит в его дневнике, что «сказочно приятно было смотреть, как уверенно и без всяких колебаний готовился «вождь» к принятию власти, как он не сомневался в своем успехе ни на одно мгновение. Гитлер говорил, действовал и чувствовал так, как будто бы мы (национал-социалисты) были уже у власти. Это дает всему его окружению замечательное чувство уверенности в себе. Нельзя представить себе национал-социалистского движения без Гитлера». Геббельс мог также процитировать Рему еще одно место из своего дневника: «Фюрер исполнен решимости. Он не колеблется ни на одну минуту снова начать борьбу. Это придает его окружению новую бодрость. Если «вождь» наш не уступит, тогда и вся организация не должна будет капитулировать. Он — суверенный мастер в овладении опасными положениями. Я никогда не видел его малодушным». Никогда? Подполковник Рем мог процитировать министру пропаганды Геббельсу еще одно место из книги «От Кайзергофа до имперской канцелярии»: «Фюрер расхаживает целыми часами молча по своей комнате в гостинице (речь идет о том дне, когда стало известно, что Штрассер сложил с себя партийные функции). По выражению его лица видно, как в нем все кипит. Он озлоблен и тяжело ранен в глубине души своей этим предательством (Штрассера). Вдруг он останавливается и только говорит: «Если партия распадется, то тогда я положу всему конец и пушу себе пулю в лоб». Страшное слово, которое ложится на наши души стопудовой тяжестью». Конечно, Геббельс мог утешить Рема, что, хотя Гитлер оказался в этот решающий для его партии момент столь малодушным (между прочим: можно ли хотя бы на одну секунду представить себя такое малодушие со стороны вождя пролетарской партии?!), — все же главное его достоинство заключается в том, что он

никогда якобы не предаст своих друзей. Геббельс мог привести Рему отрывок из своей речи, произнесенной им по радио в день рождения Адольфа Гитлера (20 апреля 1933 г.): «Красивая и благородная черта его характера: кто раз завоевал его доверие, от того он никогда не отступится. Чем больше выступают против данного друга политические враги, тем крепче становится преданность, которую испытывает по адресу друга Адольф Гитлер. Он не из тех, кто не может терпеть около себя сильных характеров. Чем тверже и резче данный человек, тем больше любит его Гитлер. И если в его окружении разыгрывается борьба его сторонников, то эти противоречия сглаживаются немедленно его примиряющей рукой. Но это звучит не очень убедительно для Эрнста Рема, который очень хорошо знает своего вождя и уже раз с ним очень радикально расплевался, — это тогда, когда Гитлер взял против него, старого организатора штурмовых отрядов, сторону Геринга только потому, что такова была воля представителей рейхсвера и промышленников, финансировавших организацию штурмовиков. Но подполковник Эрнст Рем считает, что положение можно спасти, оказав на «вождя» соответствующее давление. Надо уговорить Адольфа Гитлера, что в его собственных интересах необходимо внести ясность во взаимоотношения фашистских вожаков с руководителями рейхсвера, что надо очистить рейхсвер от «элементов, играющих все еще на-руку Шлейхеру», т.е. от людей, готовящихся к удалению из правительства национал-социалистов после того, как те сделали все, что могли, в борьбе с революционным движением рабочего класса и в деле подготовки восстановления массовой германской армии.

Подполковник Эрнст Рем не мог, конечно, предполагать, что его собеседник, министр пропаганды Иосиф Геббельс, после этого душевного разговора в «Колокольчике жареной колбаски» поставит себе целью досконально изучить соотношение сил и убедиться в том, что на стороне «реакции» не только армия генерала Бломберга, но и полиция его

коллеги по национал-социалистской партии Геринга, и быстро, буквально в течение нескольких минут, предаст всех «радикалов», вместе взятых, в том числе своего нового друга Рема. Мало того, именно он в качестве министра пропаганды будет славословить Адольфа Гитлера, так решительно расправившегося 30 июня 1934 г. с «изменой», будет выдумывать небывлицы о «заговоре», в котором, если это действительно был заговор, он участвовал сам. Лишь ровно год спустя, 30 июня 1935 г., газета Геббельса «Ангрифф» в стихотворении, посвященном годовщине первого «антигитлеровского переворота», скажет двусмысленные слова о «человеке, пожертвовавшем своими друзьями во имя спасения государства», подразумевая под этим «героем» Адольфа Гитлера.

Отто Штрассер пытается, конечно, объяснить события 30 июня 1934 г., т.е. первый антигитлеровский переворот Адольфа Гитлера, отчасти его личными качествами. Мы ныне находимся, несомненно, в периоде подготовки второго «антигитлеровского переворота». Последние события в Германии показывают, что развитие положения продолжается с того пункта, на котором оно остановилось после германской Варфоломеевской ночи, поэтому интересно довести до сведения советского читателя характеристику, которую дает Адольфу Гитлеру его бывший горячий поклонник и часто встречавшийся с ним, внимательно и подробно изучивший его. «Уже в течение многих лет я пытаюсь, — пишет Отто Штрассер (см. «Германская Варфоломеевская ночь», стр. 71 и далее), — противопоставить незнанию Германии и заграницы того, что такое «феномен Адольф Гитлер», мой взгляд, основанный на многолетнем интимном знакомстве с его личностью и с его методами: Гитлер является пробкой германской революции (под германской революцией Штрассер, конечно, подразумевает национал-социалистскую контрреволюцию. — Н. К.). Гитлер является сейсмографом германского че-

ловека 1918—33 годов, он — «мундштук германской души», он — мембрача германского чувства! Тысячи раз меня спрашивали: «Откуда его непонятное влияние как-раз на простых людей?». И тысячу раз я отвечал: «Он говорит о том, что лежит на душе у бедных, пауперизованных, ищущих, измученных, тоскующих, надеющихся, трепещущих, подавленных масс измученного германского народа, и он этим дает благодетельное разряжение всем тем, кто затем отвечает ему благодарностью и восторгом за освобождение подсознательных чувств и активизацию сознания(?)!».

«Гитлер, — продолжает Отто Штрассер, сам являющийся великолепным образчиком мелкого буржуа, совершенно растерявшегося в обстановке общекapиталистического кризиса и схватки пролетариата с буржуазией, — осознал своим интуитивным восприятием страдания и мечты широких масс германского народа и дал этим мечтам известное выражение, за что массы и благодарили его, выражая ему свою любовь. Ошибается тот, кто считает, что Гитлер, первоначальный Гитлер, является сознательным обманщиком, сознательным демагогом на службе капитала. Нет, Гитлер является вождем германской Жиронды, «Керенским германской революции», человеком, который субъективно честно убежден в необходимости и правильности своего пути, но который, по своим умственным качествам, не в состоянии переработать революционные чувства в революционные выводы». Читатель видит, что характеристика Гитлера, взбунтовавшегося мещанина, данная ему другим взбунтовавшимся мещанином, нуждается в сильной корректуре. Но смысл этой характеристики, данной национал-социалистскому «жирондисту» национал-социалистским «якобинцем», таков: в то время как у «якобинца» Штрассера антикапиталистический бунт души продолжается, у Гитлера он давно кончился, если он у него, хотя бы и в минимальной дозе, и существовал когда-нибудь. Трудно думать, что Гитлер субъективно не чувствовал, как его антикапиталистический бунт на заре его карьеры обратила на свою

пользу буржуазия. Недаром, дальше, сам Отто Штрассер напоминает известное изречение Гете: «Никогда не обманываются кем-либо, всегда обманывают только самого себя!» Но даже к этой характеристике «первоначального» Гитлера, т.е. Гитлера до захвата власти, как «субъективно честного человека», Штрассер прибавляет следующие ограничительные черты: «Сюда надо прибавить, — говорит он, — почти болезненное стремление к извращению истины, тщеславие, которое давно уже перешло в манию величия, вероломство, которое является скорей признаком слабости характера, чем признаком маккиавелистической политики; непостоянство характера, которое носит явно истерическую форму: судорожность поведения, которая является признаком вечной неуверенности в себе «маленького человека». Вообще наличие женственности в характере Гитлера дает ключ к пониманию его действий. Его колеблющиеся настроения, которые дают возможность окружающей его камарильи оказывать на него страшное влияние; его боязнь окончательных решений, которая производит почти протесковое впечатление; разрушающее отсутствие логики, которое дает ему возможность с твердостью чистой совести опровергать свои собственные слова; его умственная зависимость от всякой доктрины или всякого учения или мировоззрения, которые он без всякой критики воспринял вследствие своей полуобразованности; его нелюбовь ко всем внутренне твердым, в себе уверенным людям и его соответствующее предрасположение ко всем неустойчивым, неуравновешенным, даже преступным людям, — все это, подчеркивает Отто Штрассер, находит свое обоснование в женственности существа и характера Гитлера. Из женственности характера Гитлера Отто Штрассер выводит также его умение понимать чувства других, его особые качества, делающие его почти спиритическим медиумом. Мы, со своей стороны, находим в дневнике Иосифа Геббельса следующую очень любопытную запись: «В автомобиле мы проезжаем мимо Одербруха. Здесь Фридрих Великий завоевал целую про-

виндию, не пожертвовав ни единым человеком. Там в Кюстрине он подвергся муштре своего своенравного старика (короля Фридриха Вильгельма. — *Н. К.*). Это было хорошо. Он (т.-е. «король-солдат». — *Н. К.*) сделал солдата из любителя играть на флейте». Странные мысли пришли в голову Геббельсу, который сидит в машине рядом со своим «вождем»: быть может, потому он так быстро предал рейхсверу своего «любителя играть на флейте» (ведь Гитлер любит называть себя «барабанщиком национальной революции»; флейта заменена только другим музыкальным, правда, более простым инструментом — барабаном), что он надеялся, что военная муштра сделает из Адольфа Гитлера солдата, человека с военным, решительным характером. Отто Штрассер подчеркивает, что во всей партии нет ни одного человека, который верил бы в «вождистские» качества Гитлера, считал его действительным руководителем партии. Его не считают таковым ни «бунтовщики» Отто Штрассер, Стеннес и Мюке, ни «предатели» Штегеман, Грегор Штрассер и Рем, ни, наконец, вернейшие из верных — Фрик, Геббельс и Геринг. Быть может, поэтому немедленно бросил Адольфа Гитлера Геббельс, который сопровождал по уговору с Ремом Гитлера, явившегося к президенту Гинденбургу с требованием «обуздать реакцию» и струсившего, как только он увидел на террасе президентского дома Бломберга и Геринга. Быть может, поэтому Геббельс немедленно же перешел на сторону Геринга, который договорился с рейхсвером.

Иосиф Геббельс знает вместе с находящимся в эмиграции Отто Штрассером, что Адольф Гитлер не является вождем партии, принимающим решения, а лишь руководителем партии, выполняющим поручения создавшего партию германского монополистического капитала. И теперь, наученный опытом событий 30 июня 1934 г., Геббельс, не дожидаясь «решения» Гитлера, пытается сам установить, чего хочет германская буржуазия, как далеко идет она в своих требованиях второго «антигитлеровского переворота». Неужели германская бур-

жуазия, которая 30 июня заставила Гитлера фактически ликвидировать штурмовиков, теперь спустя год поставит требование о ликвидации самой национал-социалистической партии?

На возможность такой постановки вопроса о дальнейшей судьбе национал-социалистической партии, конечно, навел Геббельса тот факт, что в уставе новой германской армии сказано ясно в разделе «Политика и военные силы»: «Солдаты не имеют права заниматься политической деятельностью. Принадлежность к национал-социалистической партии или к ее разветвлениям или к каким-либо с ней связанным союзам прекращается на время действительной военной службы. Солдаты теряют право выбора и участия в голосованиях в стране». Германская печать совершенно не комментировала постановлений закона о военной службе, не комментировала она даже пункта четвертого вышеупомянутого раздела, который дает военным властям возможность запрещать пребывание в национал-социалистической партии не только солдатам и военно-служащим, но и гражданским лицам, находящимся в районе, подчиненном военным властям. Можно, например, представить себе возможность запрещения военными властями вступления или пребывания в составе национал-социалистической партии всему населению крепостного района. По указке министра пропаганды Геббельса германская печать ограничилась общими рассуждениями на весьма благодарную тему о том, что национал-социалистическая партия всегда стремилась к восстановлению германской армии, а германская армия всегда сочувствовала целям и задачам национал-социалистической партии. Однако, отнюдь не по указке Геббельса некоторые германские газеты намекали, что национал-социалистическая партия самым своим зарождением обязана германскому рейхсверу. Некоторые газеты проводили старательное размежевание между армией и национал-социалистической партией; это размежевание отнюдь не производилось по заказу ведомства Иосифа Геббельса, а было результатом указки со стороны военного министерства. Министр пропа-

ганды должен был серьезно встревожиться, когда он прочел, например, в провинциальной партийной газете «Вест-дейтчер Beobachter» такие таинственные слова: «Точно так же, как германская армия гарантирует партии безопасность народа вовне, национал-социалистская партия гарантирует армии сохранение героического духа нации, как основы солдатского дела. Таким образом, взаимоотношения между партией и армией проходят под знаком плодотворного и творческого взаимодействия на службе всей нации». Быть может, эта статья, которая, кстати, была затем воспроизведена в ряде национал-социалистских газет, была поводом для речи Иосифа Геббельса, произнесенной 16 июня 1935 г. на партийной конференции в Ганновере. Министр пропаганды научен горьким опытом 30 июня 1934 г., который чуть не стоил ему жизни, ибо он спасся тогда исключительно тем, что он молниеносно «перестроился». Геббельс понимает, что необходимо быстро учитывать соотношение сил и вес социально-политических заказов монополистического капитала. Поэтому Геббельс не пытается, как до событий 30 июня, увильнуть от постановки центральной проблемы словоблудием по адресу «критиканов и недовольных», а сам ставит вопрос о дальнейших судьбах своей партии. Он, конечно, дает понять, что кое-кто в лагере буржуазии считает уже партию излишней, и старается доказать, что партия, если она и потеряла старые функциональные качества (способность и искусство обмана в пользу монополистического капитала широких мелкобуржуазных масс и деклассированных пролетариев), то она зато именно с введением всеобщей воинской повинности приобрела новые свойства, которые в связи с подготовкой к войне, быть может, важнее старых.

«Почему партия не стала излишней?» — спрашивает Геббельс и отвечает: «Если весь народ думает и чувствует по-солдатски, то это не является основанием для того, чтобы распустить армию, ибо эта армия служит тому, чтобы развивать и сохранять солдатский дух. А наша национал-социалистская

партия служит для того, чтобы воспитать немцев национал-социалистически и сохранить их как национал-социалистов... Эта партия представляет собой политическое руководство государством точно так же, как армия осуществляет солдатское руководство государством. На плечах армии и партии покоится нация. Партия защищает государство внутри, армия защищает государство вовне. Точно так же, как мы создали эту партию не для того, чтобы вести внутреннюю гражданскую войну, мы создали армию не для того, чтобы вести войну вовне. Партия существует для того, чтобы внутри не могло быть больше никакой гражданской войны, а армия существует для того, чтобы защищать нацию от войны вовне. В партии и в армии находит свое законченное выражение национал-социалистское государство. Они — его две опоры. Всякий член партии и всякий солдат являются поэтому носителями государства. И только благодаря тому, что эти два огромных фронта объединены в лице одного человека (Гитлера), ибо этот человек обе эти силы объединяет в единый блок, только поэтому мы имеем и имеем возможность преодолеть огромные опасности, с которыми столкнулась Германия после того, как она проиграла войну, после бунта 1918 г.». Еще Карл Маркс писал про милитаристическую армию:

«Ее (Германии. — Н. К.) нынешняя военная система, благодаря которой все здоровое мужское население делится на две части — постоянную армию на службе и вторую постоянную армию в запасе, — причем обе обречены на беспрекословное подчинение своему божьей милостью начальству, — эта система является, конечно, «материальной гарантией» всеобщего мира и, кроме того, высшей целью цивилизации! В Германии, как и везде, правительственные прихвостни отравляют общественное мнение фимиамом и самохвальством». (К. Маркс, Гражданская война во Франции. Партиздат, 1934 г. стр. 26).

Последняя фраза уже, конечно, целиком применима к Иосифу Геббельсу и его вышеприведенной речи.

Мы видим, что Геббельс пытается объявить национал-социалистскую партию и армию равноправными факторами в государстве. Одновременно министр пропаганды пытается резко разграничить сферы влияния и действия этих государственных факторов. Он предпринимает эту попытку потому, что при таком разграничении национал-социалистская партия получает новые функциональные качества, которые должны сделать существование партии не только приемлемым, но и необходимым, целесообразным с точки зрения армии. Тогда, конечно, удастся избежать более яркого повторения событий 30 июня 1934 г. и полной ликвидации национал-социалистской партии. Хотя, конечно, армия может потребовать нового «антигитлеровского переворота» во исполнение именно тех идей, которые, хотя бы и в осторожной формулировке, заложены в речи Иосифа Геббельса, который на этот раз заранее спешит помочь будущему победителю, военному руководству Германии, в предстоящем внутриполитическом споре.

Иосиф Геббельс, конечно, сознает неустойчивость фашистского режима в Германии. В стране растет сопротивление широких трудящихся масс гитлеровской диктатуре. Когда министру пропаганды и министру полиции приходится почти еженедельно заявлять, что Гитлер снова завоевал «душу германского народа», что снова уничтожена «гидра революции», то даже у буржуазной печати в Германии является вопросом, не обозначает ли каждое такое выступление фашистского министра признаком усиления оппозиционных и революционных стремлений в стране. Но речь Геббельса означает, что на этот раз предметом главных забот фашистских правителей составляет не только сопротивление военно-фашистской диктатуре со стороны рабочего класса, но также та перестройка сил, которая происходит в

лагере германской буржуазии. Министра пропаганды прежде всего беспокоит та дискуссия, которая идет в буржуазном лагере, целесообразно ли сохранение военно-фашистской диктатуры или же настал момент, когда можно установить просто военную диктатуру, сведя до минимальных пределов участие в этой диктатуре национал-социалистской партии? Если в приведенной нами выше речи, опубликованной в германской печати, Геббельс ставил эту проблему в несколько эзоповских формулировках, то в речи, произнесенной им в годовщину событий 30 июня 1934 г. во «Дворце Спорта» и лишь в отрывках опубликованной в германской печати и полностью воспроизведенной в зарубежной прессе, он более откровенно ставит ту же проблему взаимоотношений между «хозяином и работником», между германской буржуазией и национал-социалистской партией теперь, когда выполнено главное задание империалистической буржуазии — восстановление в Германии всеобщей воинской повинности.

«Со всех сторон, — говорит Геббельс, — раздается теперь требование об уничтожении или роспуске национал-социалистской партии. Нас пытаются уговорить, что в Германии все уже стали национал-социалистами (Геббельс хочет сказать, что в «идеологическом» смысле, в смысле подготовки германских душ в направлении, требуемом германским империализмом и милитаризмом, германская национал-социалистская партия, по утверждению буржуазии, сделала все, что могла. — Н. К.). Мы хотели бы этому поверить, но мы в этом не так уверены (т.е. Геббельс уговаривает буржуазию, что и в идеологическом смысле еще не все сделано, у национал-социалистской партии есть еще задания, которые не позволяют ей согласиться с тем, что она уже «безработна». — Н. К.). А затем, разве католическая церковь будет самоликвидироваться в тот момент, когда все станут католиками? Партия, как церковь, сохраняет свою веру в страну. Бюрократы требуют роспуска партии. Они говорят, что они сами могут защитить государ-

ство, которое мы создали. Где были эти герои глубоких кресел в то время, когда мы боролись? Они пришли к нам после периода борьбы и хотели бы, чтобы история национал-социализма началась только с момента их вступления в партию». Уже из этих слов Геббельса совершенно ясно, что первый «антигитлеровский переворот», осуществленный самим Адольфом Гитлером более года тому назад, не был завершением определенного политического процесса, а был лишь его началом. Недаром в этой же речи Геббельс несколько неожиданно для своих слушателей заявляет: «Взаимоотношения между государством и партией — проблема, которая все еще не разрешена. Государство управляет средствами, партия управляет людьми. Когда речь идет о людях, партия выше государства». Эти слова необходимо расшифровать.

Взаимоотношения между партией и государством не разрешены, говорит Геббельс. До сих пор мы слышали хвастливые речи о «тоталитарном», «унифицированном» государстве. Об этой «унификации» известная американская журналистка Дороти Томпсон (см. «Форейн Аффферс», июль 1935 г.) говорит, что «Гитлер не реорганизовал германское государство (т. е. не превратил его из буржуазного государства в якобы небуржуазное национал-социалистское государство. — Н. К.), а унифицировал государство. Он координировал, привел к одному знаменателю все государственные факторы, совершенно изменив их направление и контроль за ними, не по какому-либо революционному принципу, а совершенно прагматически. В действительности формы социальной и экономической организации, господствующие в Германии под названием национал-социализма, таковы, что только отсутствие настоящих военных действий в настоящий момент не дает осознать их, как то, что они есть в действительности, а именно как характерные формы государства, находящегося в состоянии войны». Американская журналистка совершенно правильно указывает на то, что центр тяжести вопроса, решающего судьбы гитлеровской

диктатуры, заключается в том, что национал-социализм выполнил уже все поставленные ему буржуазией и в первую очередь военным командованием задания. «В Германии, — продолжает Дороти Томпсон, — мы имеем полнейшую централизацию власти. Эта власть распространяет свой контроль на экономическую жизнь и общественное мнение страны. Отдельным отраслям капитала и труду навязано перемирие, культивируется путем пропаганды одинаковый образ мышления, и эта пропаганда поддерживается с помощью беспощадного террора. Удаляются все «сомнительные» элементы, смертной казнью караются всякие формы разведки, которые вообще караются в мирные времена легко; умение жертвовать собой и героизм прославляются, как первозрядные доблести, милитаризуется даже религия, вводится гражданская диктатура исключительно в интересах военной машины. Все это характерные черты социальной политики и экономического строя военного времени и таков национал-социализм на практике».

Конечно, американская журналистка забывает, что германская буржуазия призвала Гитлера к власти не только для подготовки новой войны, но и для борьбы с революционным движением. Попытка Гитлера осуществить «перемирие между капиталом и трудом» вызвана не только процессом подготовки войны. Но верно то решающее обстоятельство, что, поскольку Гитлеру не удалось осуществить задание по борьбе с революционным движением, поскольку «классовая борьба не уничтожена», то остается, действительно, только его тоталитарность в смысле поведении к одному знаменателю всех государственных и политических факторов для нужд войны и ее подготовки. В интересной статье чешской газеты «Прагер прессе» о положении в Германии под характерным заглавием «Оппозиция повсюду» указывается, что в Германии, не говоря уже о рабочих, недовольны национал-социалистским правительством решительно все слои населения. «Но, — говорит газета. — можно смело сказать, что если в Германии

кто-нибудь еще признает национал-социализм, то это отчасти армия. Она признает национал-социализм не как мировоззрение, конечно, а как режим. Национал-социалистский режим является милитаристическим режимом порядка, какого не было еще до него в Германии. Никогда еще армия не пользовалась режимом так хорошо, как она пользуется национал-социалистским режимом. Армию не интересуют расовые походы Штрейхера или Розенберга; ее не интересуют обещания Лея или Дарре рабочим и крестьянам. Ее интересует только то, что Гитлер делает для вооружения Германии и что Шахт делает для того, чтобы найти необходимые для этого вооружения деньги». Но именно то обстоятельство, что армия рассматривает национал-социалистский режим, как режим чисто военный, как режим подготовки к войне, наводит самих национал-социалистов — и в первую очередь, конечно, трепетно переживающего воспоминания о первой германской Варфоломеевской ночи Геббельса — на мысль о том, что по мере усиления подготовлений к войне и по мере приближения самой войны руководство страной в рамках военно-фашистской диктатуры все больше переходит в руки генералов и связанных с ними чиновников (именно они названы в речи Геббельса «бюрократами»). Отсюда необычайное волнение в рядах национал-социалистской партии, заставляющее, к примеру, «Базелер националь-цейтунг» говорить о том, что «национал-социалистская партия все больше попадает в состояние одиночества среди оставшихся морально здоровыми элементов населения (буржуазная швейцарская газета говорит о германских буржуазных кругах. — Н. К.). Шумное течение пропаганды и травли инакомыслящих (речь идет об еврейских погромах и гонениях на католиков. — Н. К.) производят впечатление чего-то искусственного, наводящего на мысль о панике в национал-социалистском руководстве. Кампания против евреев, католиков и протестантов вызвана тем, что германские фашисты признают в интимном кругу свое банкротство в борьбе с рабочим движением, не смеют повто-

рять снова своих демагогических, якобы антикапиталистических лозунгов (это попробовал сделать Геббельс до первого «антититлеровского переворота Адольфа Гитлера», и мы знаем, что за этим последовало) и должны, что называется, дать выход недовольству, накопившемуся в национал-социалистских партийных массах. В той же речи Геббельса, в которой министр пропаганды вынужден был признать, что «бюрократы» ставят вопрос о целесообразности роспуска национал-социалистской партии, он вынужден был выступить против тех членов национал-социалистской партии, которые с тоской вспоминают о тех счастливых временах, когда партия была в оппозиции. Геббельс пытается уговорить этих национал-социалистов, недовольных тем, что они у власти, что их недовольство незаконно. Действительно, каждый понимает, что партия, недовольная своим пребыванием у кормила правления государства и тоскующая по своему оппозиционному прошлому (в таком положении в Германии частенько бывали в дни коалиционного «катценяммера» социал-демократы), расписывается в своем политическом банкротстве. Положительная работа в государственной области, заявляет Геббельс, прекрасна и величественнее, чем та работа, которая заключалась в разрушении существующего государственного строя... Нам говорят, что мы все еще не осуществили своей программы, что у нас тяжелые каждодневные заботы. Но превыше этих злободневных забот стоит внешняя политика, а создание армии, которая могла бы защитить (конечно, только защитить! — Н. К.) государство, является практическим национализмом». Стало быть, забудьте безработицу, голод и нищету трудящихся масс, ибо национал-социализм к власти был призван, главным образом, для создания армии и единства нации, а сие великое дело он совершил. Здесь, действительно, можно только повторить по адресу «Третьей империи» ту классическую характеристику, которую Карл Маркс дал французской Второй империи (см. К. Маркс, Гражданская война во Франции, Партиздат, 1934 г., стр. 51—52): «Импе-

рия, которой государственный переворот служил удостоверением о рождении, всеобщая подача голосов санкцией (недаром злые языки острят, что у Геббельса украли результаты следующего всегерманского «плебисцита». — Н. К.), а сабля скипетром... Империя выдавала себя за спасительницу рабочего класса на том основании, что она разрушила парламентаризм, а вместе с ним и неприкрытое подчинение правительства имущим классам, и за спасительницу имущих классов на том основании, что она поддерживала их господство над рабочим классом. И, наконец, она заявляла претензии на объединение всех классов вокруг вновь ожившего призрака национальной славы. В действительности империя была единственно возможной формой правления в такое время, когда буржуазия уже потеряла способность управлять народом, а рабочий класс еще не приобрел этой способности... Государственная власть, стоявшая, повидимому, высоко над обществом, была в действительности самым вопиющим скандалом этого общества, рассадником всяческой мерзости». Правда, национал-социализм, по утверждению Геббельса, якобы понемногу строит свое государство. Если до слушателей Геббельса не дошли те соображения насчет национал-социалистского государства, которые излагала, к примеру, американская журналистка Дороти Томпсон, то явившиеся в берлинский «Дворец Спорта» послушать министра пропаганды национал-социалисты могли в унифицированном «Берлинер тагеблатт» за месяц до речи Геббельса прочесть следующее: «Развитие событий, которое началось с захвата власти в начале 1933 г. и дальше прогрессировало с исторической логичностью до сегодняшнего дня, выразилось в законе по обеспечению единства государства и партии. (На этот закон и намекал Геббельс, говоря о положительной работе в государственной области. — Н. К.). В этом законе проявляется превращение партии, являющейся носителем государственного права в объединение публичного права. В этом преобразовании отражается раз-

витие, начавшееся после революции 1933 г., ведущее к тому, что партия все глубже включается в государство, что само государство все больше строится, опираясь на партию, и что в то же время партия в возрастающей степени попадает под влияние жизненных законов, имеющих силу для всех явлений и учреждений». Вся эта тирада, показывающая, как осторожно и по возможности не для всех читателей понятно надо излагать в «Третьей империи» свои мысли, не так легко поддается точно расшифровке, но ясно, что она может иметь только один смысл: унифицированная газета полагает, что национал-социалистская партия после призвания ее к управлению государством в рамках военно-фашистской диктатуры, именно своим превращением в одно из орудий диктатуры монополистического капитала теряет постепенно свою самостоятельность и свою свободу действий. Партия Адольфа Гитлера перестает быть руководящей, силой, диктующей свою волю в государстве. Партия превращается в одно из подчиненных государственной власти учреждений публичного права. Партия становится инструментом государства, в котором, как признает даже буржуазная журналистка, все решительно политические и административные инструменты являются инструментами подготовки войны, а стало быть, факторами, находящимися в распоряжении военного руководства. Вот почему Иосифа Геббельса должно радовать, что армия во всяком случае довольна национал-социалистским милитаристическим режимом. Но одновременно он должен притти в отчаяние, ибо национал-социалистская партия попадает при таких условиях в подчиненное отношение к армии. Армия определяет не только функциональные качества национал-социалистской партии, но и способ и характер их использования. Армия требует прежде всего «единства народа», как необходимейшей предпосылки для ведения войны. Только приняв это требование армии к сведению, можно усвоить сокровенный смысл распоряжения министра пропаганды Геббельса, опубликованного в «Фелькишер

беобахтер» (21/VI 1935 г.): «Крепко выкованное из всех классов и сословий единство нашего народа было бы уничтожено, если бы каждое сословие и профессия, как и в прошлые годы, устраивали бы имперские съезды с привлечением широких масс, между тем как успех этих предприятий далеко не всегда оправдывал затраченные на них усилия. Чтобы быть в будущем в курсе всех предполагаемых партийных собраний и демонстраций, поскольку речь—об обычных демонстрациях, я предлагаю ставить меня в известность не позже чем за четыре недели о всех окружных съездах, конференциях, заседаниях имперских отделов, отдельных организаций и примыкающих союзов с сообщением мне предусмотренной программы». Это распоряжение ставит все местные организации национал-социалистской партии, все ее подсобные организации в полной мере исключительную зависимость от командной верхушки. В рамках военно-фашистской диктатуры военной ее части легче передавать свои установки на предмет сохранения «единства нации» верхушке в келейном порядке, чем в форме более понятной всей стране.



«У постели чинов высшего командного состава армии, в особенности же у постели главнокомандующего, должна всегда находиться забота, которая не позволяет им успокоиться, пока они не придут к заключению, что они могут сделать для сохранения дисциплины в рядах армии. Беспечность в этом отношении является не чем иным, как преступным легкомыслием». Так сказано в книге подполковника Эрцена «Основы военной политики». Один из руководителей отдела пропаганды германского военного министерства дальше говорит: «В те времена, когда авторитет государственной власти ослабевает, эта черная забота является спутницей главнокомандующего с утра до ночи: он боится, как бы где-нибудь попытка переворота не создала очага опасного разложения, как бы где-нибудь не появились бактерии неповиновения, восстания, мя-

тежа, которые затем могут заразить весь организм армии». Министр пропаганды Геббельс, вероятно, с наслаждением прочел эти строки, продиктованные военным министром. Он понимает, что армию совершенно не интересуют все его потуги на создание какой-то мифической национал-социалистской «культуры», каких-то новых веяний в литературе и искусстве, театре и кино, ибо армию совершенно не интересуют все эти культуртрегерские, с позволения сказать, словопражнения, сопровождаемые уничтожением в Германии лучших памятников культуры, изгнанием знаменитых писателей, ученых и художников, отказом от лучших образцов классического наследия. Иногда, конечно, министр пропаганды Геббельс напоминает, вероятно, германским военным грибоедовского полковника Скалозуба с его стремлением сохранить книги только для больших okazji (как, впрочем, и министр народного просвещения Руст); еще чаще напоминает он, вероятно, германским военным перепуганного Фамусова. Поэтому Иосиф Геббельс понимает, что как национал-социалистский пропагандист в области «культуры» он армии не нужен. Но, быть может, он может сделать свое дело как пропагандист в области борьбы с той «черной заботой», о которой говорит подполковник Эрцен? Может быть, он может в процессе подготовки войны и во время войны помочь своим словом, своей пропагандой удержать солдат массовой армии в подчинении велениям дисциплины, словом, сыграть в фашистской Германии ту роль, которую в Англии во время первой мировой войны играл лорд Нортклифф?

Быть может, поэтому министр пропаганды Геббельс и заявляет в одной из своих речей, что национал-социалистская партия пришла к власти не столько благодаря своим теоретикам и идеологам, сколько благодаря своим пропагандистам. «Чем был бы—вопросает он,— национал-социализм без пропаганды?!» И отвечает: «Нам несколько раз уже делали упреки, что мы принижаем искусство до уровня обыкновенной пропаганды. Но разве пропаганда есть что-либо

недостойное? Разве пропаганда не является искусством в своем роде? Разве национал-социалисты пришли к власти благодаря своим теоретикам? Нет, они пришли к власти благодаря пропагандистам. Чем был бы национал-социализм без пропаганды? И куда попадет наше государство, если ему творческая пропаганда не даст состояния равновесия?!» Такое восхваление пропаганды как искусства, все еще в порядке постановки вопроса о целесообразности сохранения национал-социалистской партии или необходимости ее роспуска, может только обозначать, что министр пропаганды Геббельс усматривает ныне единственный шанс сохранения национал-социалистской партии только как пропагандистского аппарата для идеологической подготовки и затем проведения войны. Иосиф Геббельс так же, как и Геринг, хотя и по другим соображениям, должен стремиться к ускорению военной развязки. Ибо в случае войны национал-социалистская партия получит от германского генерального штаба новое задание по линии военно-политической пропаганды, по линии поддержания военного боевого духа, если не на самом фронте (мы уже знаем, что туда по точному смыслу закона военное командование может, если захочет, национал-социалистов и не пустить), то во всяком случае в тылу. Вот почему министр пропаганды Геббельс теперь выдвигает свою кандидатуру в члены Высшего военного совета. Он пытается доказать военным, что пропаганда есть такое же решающее оружие, как и другие, более материальные виды оружия. Одновременно пытается он доказать, что национал-социалистская партия, выполнив первое задание по подготовке войны (создание армии и «единства нации»), необходима для выполнения и второго задания (сохранения этого «единства нации» во время самой войны). Ведь именно по поручению Геббельса пресловутый профессор Банзе написал в своей книге «Наука о войне»: «Психология народов относится к числу орудий державы. Здесь речь идет о том, чтобы, во-первых, внушить своему народу волю к войне и закалить его против возможной

вражеской кампании лжи; во-вторых, чтобы морально расшатать вражеский народ, сломить его волю к войне и сделать готовым к заключению мира, и, в-третьих, чтобы внушить нейтральным народам вражду к неприятелю, а по возможности, вовлечь в войну на свою сторону». Конечно, к выполнению всех этих задач надо готовиться еще в мирное время. «На психологию народов, — пишет Банзе, — надо мудро и осторожно воздействовать еще в мирное время. Чем меньше эта деятельность будет заметна, тем сильнее будет ее эффект». Иосиф Геббельс старается работать в своем министерстве пропаганды в смысле «морального расшатывания вражеского народа» как можно осторожнее: именно за границей пропаганду с помощью бывших демократических германских журналистов, имеющих возможность выступать перед иностранцами в качестве исключительно защитников «миротворческих» тенденций Гитлера, отмежевываясь якобы от его внутривойсковых «идеологических» установок. Именно Геббельс возвел ложь и принцип, считая, что в пропагандистском увлечении дозволено бить противника любовым орудием; чем сильнее оно отравлено, тем лучше. Недаром Адольф Гитлер жалуется в своей книге «Моя борьба», что во время мировой войны германская пропаганда врала хуже и бесталаннее, чем вражеская. Именно Геббельс сумел на широкую ногу поставить германскую пропаганду по радио. Он же сумел использовать кино, причем здесь Геббельс не гнушается, конечно, входить в сделки с иностранными кинофирмами даже тогда, когда их владельцы или директора отнюдь не арийского происхождения. В таких случаях в секретных циркулярах министерства пропаганды прессе запрещается упоминать о неарийском происхождении контрагентов Геббельса. Геббельс уже теперь возродил знаменитую «прессе-конференц», т.е. ежедневное «совещание» министерства пропаганды с представителями печати, которое имеет своим первоначальным источником совещания генштаба с прессой в мировую войну. Как было во время первой мировой войны и как будет, конечно, во вре-

мя второй мировой войны, во время этих «совещаний» с представителями печати им «объясняется», что и как надо писать в «интересах отечества». При этом из инструкций Геббельса (некоторые их образчики попали в зарубежную печать) ясно, что их автор отнюдь не считается с требованиями правды и готов любое сообщение переделать согласно требованиям момента. Даже буржуазная «Прагер прессе», говоря об «унифицированной» Геббельсом печати, утверждает, что в лице германских газет мы имеем перед собой отнюдь не газеты, а какие-то новые неведомые продукты, которым еще не придумано названия. Чешская газета ошибается; этим продуктам есть название: это пропагандистские листки, ставящие себе исключительно военно-политические цели. Наконец, опять-таки в порядке подготовки разложения вражеского тыла, под руководством Геббельса в схеме его министерства пропаганды действуют такие организации, как «Союз германского Востока», «Народный союз немцев за границей», многочисленные пограничные организации, колониальные союзы. Германские граждане, находящиеся за границей, так называемые «аусландсдейтче», причем под это понятие подходят, по толкованию Геббельса, также те немцы, которые приняли другое гражданство, — все они считаются агентами министерства пропаганды и даже германской контрразведки. В нескольких речах Геббельс призывал их бороться за рубежом за «германскую культуру» и за «благополучие Третьей империи». Недаром полковник Николай, который был начальником германского ведомства пропаганды и контрразведки во время войны (кстати сказать, сей полковник ныне опять находится во главе германской контрразведки), жалуется в своей книге о пропаганде во время войны, что Германия первой империалистической войны не умела достаточно хорошо использовать в своих целях немцев, находящихся за границей, хотя эти немцы хотели ревностно служить своему отечеству и не раз предлагали свои услуги германской контрразведке. Геббельс словом и делом показывает германскому генеральному штабу, что он в достаточ-

ной мере учел опыт первой империалистической войны и что посему его можно при требовании осуществления второго «антигитлеровского переворота Адольфа Гитлера» в порядке дальнейшего сокращения функциональности национал-социалистической партии в рамках военно-фашистской диктатуры исключить из числа подлежащих увольнению или уничтожению «лишних людей».



В «полевом уставе» штурмовых отрядов говорится, что «штурмовик является носителем и защитником победы национал-социалистической революции». Эти слова взяты из одной из речей Адольфа Гитлера, в которой еще сказано, между прочим, что «только тогда одержит победу национал-социалистическая революция, когда с помощью школы штурмовых отрядов будет создан новый германский народ». Поэтому организатор штурмовых отрядов Эрнст Рем в своем роде логичен, когда он писал в своем последнем обращении к штурмовым отрядам: «Штурмовые отряды суть и остаются судьбами Германии».

Об этом думал, вероятно, Эрнст Рем в те часы, которые прошли 30 июня между его арестом, совершенным лично Адольфом Гитлером, и его расстрелом на дворе тюрьмы. Мысли его прерывал «охранник», т.е. член гитлеровской лейб-гвардии, спрашивавший одного из своих «вождей» каждые четверть часа: «Еще нет?» Этот вопрос напоминал Рему, что ему оставлен револьвер и что он должен покончить самоубийством. Но Рем отвечал на эти призывы к самоликвидации ревом: «Если Гитлер хочет от меня избавиться, пусть он сам меня расстреляет». Говорят, что когда в комнату гостиницы, где до переезда в тюрьму содержался Рем, зашли штурмовики, не знавшие об аресте своего командира, и приветствовали его обычным «Хейль Гитлер!», Рем ответил: «Отставить! Доброе утро!» Даже если этот инцидент выдуман, он показывает, как стало всем — в том числе и Рему — с первого же момента первого

«антигитлеровского переворота» ясно, что ликвидация Рема и его друзей есть начало ликвидации штурмовых отрядов как боевой организации национал-социалистской партии.

Адольф Гитлер писал в своем «рескрипте» на имя Рема от 1 января 1934 г., т.-е. за полгода до убийства своего «лучшего друга»: «Борьба национал-социалистского движения и победа национал-социалистской революции стали возможны только благодаря радикальному сопротивлению марксистскому террору со стороны штурмовых отрядов (читай: благодаря организованному погрому рабочих организаций со стороны штурмовых отрядов. — Н. К.). В конце первого года национал-социалистской революции мне хочется поэтом выразить тебе, мой дорогой Эрнст Рем, благодарность за те незабываемые заслуги, которые ты имеешь перед национал-социалистским движением и германским народом. Мне хочется высказать тебе, как я благодарен судьбе, которая позволила мне назвать тебя своим товарищем по борьбе и другом». 3 апреля 1934 г. Адольф Гитлер принимает корреспондента американского агентства «Ассошиэтед пресс». Американский журналист спрашивает «фюрера», насколько правдоподобны слухи об оппозиции ему в его ближайшем окружении. «Черты лица канцлера, — пишет журналист, — проясняются. Нам кажется, что он мысленно дает пройти перед своим воображением лицам всех тех людей, которые стояли ближе всех к нему в борьбе. Нам кажется, что он внутренне рад этим лицам... Канцлер говорит мне: «Было бы действительно клеветой заподозривать кого-либо из тех людей и сказать, что они питают попользования выгеснить меня? Никогда мир не видел более прекрасного понимания стремлений одного человека, какое я вижу со стороны своих сотрудников... Все свои стремления они подчинили моим пожеланиям». Эрнст Рем в свою очередь публикует в день рождения Гитлера приказ по штурмовым отрядам, в котором говорится: «Штурмовики исполнены решимости идти своим путем в неизменной преданности своему верховному вож-

дю и во имя его дел; они готовы быть первыми в рядах строителей нового государства и служить до самой смерти своим телом и душой национал-социалистскому государству». Когда по «советам врачей» (теперь мы знаем, что эти «врачи» были политические представители буржуазии, приступившие к ликвидации штурмовых отрядов) Эрнст Рем уходит в отпуск, он пишет в своем приказе по штурмовым отрядам: «Если враги штурмовых отрядов льстят себя надеждой, что штурмовики или совсем не вернуться из своего отпуска, или вернуться в уменьшенном количестве, то мы оставляем им эту непродолжительную надежду. Они получают в нужный момент ответ в соответствующей форме». Геббельс, который скоро предаст Рема, вторит ему: «Национал-социалистская партия не может отказаться от своих боевых организаций». Правда, штурмовики распушены в отпуск на один месяц в несколько странной форме. В приказе убитого также 30 июня 1934 г. начальника берлинских штурмовых отрядов Карла Эрнста говорится: «Штурмовики должны провести свой месяц отпуска в своей семье, со своей женой и своими детьми. Для того, чтобы обеспечить именно такое (семейное) времяпровождение распускаемых на отпуск штурмовиков, даже против желания тех, кто хотел бы уклониться от исполнения своих семейных обязанностей, я запрещаю командирам отрядов производство каких-либо упражнений или испытаний; я запрещаю даже устройство каких-либо празднеств и собраний штурмовиков». Это запрещение для того, чтобы сделать штурмовика на время отпуска действительно частным человеком, сопровождается запрещением носить во время отпуска форму.

Между тем все это было только подготовкой первого «антигитлеровского переворота Адольфа Гитлера». Гитлер думал, вероятно, что на этом первом антигитлеровском перевороте будет закончен процесс умаления его прав и его собственных боевых средств. Сегодня ему самому, вероятно, ясно, что Эрнст Рем был только первой жертвой, принесенной «фюрером», и что от него потребу-

ют со стороны буржуазии и военного командования еще не таких жертв отдельными друзьями и отдельными организациями, и могут потребовать пожертвовать всей национал-социалистской партией. Гитлер, конечно, очень обрадовался, прочитав после событий 30 июня 1934 г. во всех газетах статью военного министра Бломберга, который благодарил «фюрера» за то, что он совершил «антигитлеровским переворотом» историческое дело, что он спас страну и армию. Но Гитлер не понимал, что эта благодарность выражалась ему, быть может, только потому, что тогда в Германии не была еще осуществлена всеобщая воинская повинность, и потому, что 30 июня предредило вопрос о роли штурмовиков в массовой армии. Окончательное разрешение этого же вопроса о судьбах штурмовых отрядов должно было снова встать перед военным командованием немедленно же после введения всеобщей воинской повинности, немедленно после осуществления мечты о создании массовой армии.

Если 30 июня 1934 г. Эрнст Рем был физически уничтожен, то после введения всеобщей воинской повинности был радикально уничтожен весь план Эрнста Рема об органическом слиянии командного состава штурмовых отрядов с командным составом армии. Рем именно потому строил свои штурмовые отряды в виде полков, бригад, дивизий и целых корпусов, что ему казалось естественным, что после введения в Германии всеобщей воинской повинности отряды штурмовиков превратятся в полки, дивизии и корпуса регулярной армии. Эпигонов Эрнста Рема, быть может, не огорчает, что за время, прошедшее со времени убийства Рема, количество штурмовиков уменьшилось на целый миллион. Молодые штурмовики были призваны к отбыванию так называемой «трудовой повинности», что, между прочим, обозначало со стороны военного командования признание несостоятельности того военного обучения, которое штурмовики проходили в своих отрядах. Значительная часть штурмовиков просто призвана в армию в общегражданском порядке, и самым оскорбительным для

штурмовиков является то обстоятельство, что при поступлении в армию им совершенно не засчитываются чины и нашивки, приобретенные ими в штурмовых отрядах. Много штурмовиков отправлено на различные государственные работы, в частности на строительство автострад. В данный момент, по подсчетам осведомленных лиц, в Германии вообще не больше двухсот тысяч штурмовиков. Да и эти 200 тысяч, жалкие остатки «великой армии» Эрнста Рема, не составляют регулярных отрядов, а созываются лишь по мере надобности (например, для устройства еврейских погромов и т. д.).

Мечта Рема о пополнении командных постов в новой массовой армии командным составом штурмовых отрядов, как видите, не осуществилось. Базельская «Национальдейтунг» совершенно правильно подчеркивает: «Ефрейтор Адольф Гитлер получил свое первое политическое поручение, а именно задание следить за микроскопической германской рабочей партией (будущей национал-социалистической партией. — Н. К.) от рейхсвера. Вершин своих политических дел Гитлер достиг в провозглашении всеобщей воинской повинности, т. е. опять-таки в выполнении поручения рейхсвера. Как тогда, когда он, никому неизвестный человек, пошел на небольшое политическое собрание в Мюнхене в качестве человека рейхсвера, так и теперь он стоит перед всем миром наверху государственной пирамиды в качестве человека имперской армии».

«Гитлер, — продолжает газета, — является одновременно верховным главнокомандующим германской армии и штурмовых отрядов. Но он не дал тем, кого он все еще называет «гвардией революции», ни малейших преимуществ в законе о всеобщей воинской повинности. Трудовая повинность (как мы уже указывали. — Н. К.), а не служба в штурмовых отрядах является предпосылкой для службы в армии. Министр народного просвещения Руст призывает к скорейшему образованию нового офицерского корпуса не своих товарищей из штурмовых отрядов, а студентов (из которых, прибавим мы, рекрутировался

отчасти германский офицерский корпус и до мировой войны. — Н. К.). Германия не знает продвижения по службе в армии в наполеоновском духе. Начальники штурмовых отрядов различных категорий не превращаются в армии в лейтенантов, капитанов, полковников и генералов, как этого хотел Эрнст Рем, ибо командные посты в армии резервированы для старой офицерской касты. «Старые бойцы» (национал-социалистской партии) даже не производятся в офицеры запаса. Единственный видный национал-социалист, Герман Геринг, который получил одно из командных мест, не является исключением, ибо и он офицер старой армии».

Офицерами резерва «старые бойцы» Адольфа Гитлера не могут стать, хотя бы потому, что генералы в «Третьей империи» требуют для офицеров запаса «хороших экономических условий жизни», т. е. наличия определенного материального благополучия, которого нет, конечно, у всех тех пауперизованных мелких буржуа, у всех тех разорившихся дворян, которые составляют ядро штурмовых отрядов. Старые штурмовики горько жалуются, что для них наглухо закрыты офицерские собрания новой германской армии, которую они помогли создать. Они понимают, что с момента создания массовой армии на основе всеобщей воинской повинности они дали германской буржуазии все, что могли. Они могут к тому же убедиться и в том, что «водители» «Третьей империи» почти все носят теперь отнюдь не форму штурмовиков, а форму охранников (СС), т. е. особого Адольфа Гитлера лейб-гвардии отряда, который пока уцелел в своем первоначальном виде, ибо он с самого начала предназначался только для охраны Гитлера и лиц его ближайшего окружения.

Заменивший Рема на посту начальника штурмовых отрядов Лютце, который в отличие от Рема не является членом правительства, пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Он сказал в одном из своих многочисленных заявлений представителям печати: «Я предпочитаю небольшой, но хорошо вышколенный и фанатически преданный

Гитлеру состав таким штурмовикам, которые пытаются произвести впечатление своей многочисленностью... События 30 июня и взятая в свое время предателем Ремом линия показали, что в конечном итоге решают дух и мировоззрение, а не сила». Как будто Эрнста Рема уничтожили «дух и мировоззрение», а не угроза применения силы со стороны рейхсвера! В другом своем заявлении Лютце уже отказывается от имени штурмовиков от той роли «гарантов революции» и «носителей германских судеб», каковыми были штурмовики во времена Рема. Лютце заявил: «На деле и в примере, в бою и в крови в штурмовиках претворилась в живую действительность солдатская воля Адольфа Гитлера. В бою и нужде вырос новый человеческий тип: тип солдата одной идеи». Несколькими непонятно, но дальше Лютце расшифровывает свою мысль для людей, умеющих читать национал-социалистские письма: «Национал-социализм, — говорит начальник штурмовых отрядов, — находится еще в самом начале своего существования. Мы мыслим в больших периодах времени. Первый период был периодом борьбы за власть и за укрепление этой власти в государстве. Этот период закончен. Теперь начинается второй период. В нем центральное место занимает немецкий человек. Штурмовики показали за истекшие годы борьбы, впитывая в себя всевозможных людей из разных лагерей, что они располагают особыми возможностями и способностями для воспитания людей в национал-социалистском духе». Штурмовики уже больше не «гаранты» или «защитники» национал-социализма. Они, очевидно, только его пропагандисты воспитательного толка. Они были такими на самой заре национал-социалистского движения и тогда они называли себя сами презрительно «клеющими колоннами» ибо вместо того, чтобы защищать грядущую «Третью империю» с оружием в руках, они подымали руки с листовками и горшками клея. Штурмовые отряды описали, по повелению германского военного командования, своеобразный порочный круг.

Дадим еще раз слово весьма осведомленному сотруднику «Базлер национальцейтунг». Он говорит (см. номер от 2.VII 1935 г.): «Носителями судеб Германии больше не являются ни штурмовики, ни политические чиновники национал-социалистской партии. Решающим образом определяют судьбы Германии нужды и интересы армии и ее руководящих представителей. Много смеялись над политической ограниченностью прусского офицества... Но все-таки руководители рейхсвера от Секта до Шлейхера, а затем Бломберга показали в дальновидном политическом преследовании своих милитаристических целей, в выхолащивании республики и в осуществлении служащего их интересам государства последовательность, упорство и мудрость, отрицать которые было бы преступной глупостью». Германские военные показали себя такими последовательными и упорными, прибавим мы, потому что они были в Веймарской республике наиболее дисциплинированными представителями германского империализма, искусным милитаристическим орудием германского монополистического капитала. Автор статьи в «Базлер национальцейтунг» спрашивает: «Неужели уже у цели эти люди (руководители германской армии. — Н. К.), которые раньше ликвидировали своих республиканских противников, а теперь уготовили такую же участь гитлеровской милиции? У цели — обозначает готовность ко второму «антигитлеровскому перевороту» в «Третьей империи», который свел бы до минимальных размеров роль Адольфа Гитлера и его партии в рамках военно-фашистской диктатуры. Целью германской армии может быть восстановление монархии. Недаром один из ее политических представителей, Франц фон-Папен, сказал в своей марбургской речи, которая была прелюдией к событиям 30 июня: «Германское государство получит когда-нибудь свое завершение в верховной власти, которая на вечные времена будет вдали от политических боев, демагогии, борьбы экономических и сословных интересов». Конечно, Франц Папен думал при этом о монархии, как о такой «надклассовой

и внеклассовой власти». И вполне возможен монархический вариант германской военщины, которую в стремлении избавиться от лживой и опасной, с их точки зрения, демагогии Гитлера поддерживают некоторые отряды германского монополистического капитала, прежде всего прусские помещики. Но больше напрашивается, естественно, вывод, что германская армия в согласии с германским монополистическим капиталом заставит Адольфа Гитлера сделать второй «антигитлеровский переворот» для подготовки военной, а не военно-фашистской диктатуры и в процессе подготовки к новой войне, быть может, в самый ее канун. Поэтому ни в коем случае нельзя ставить для второго «антигитлеровского переворота» слишком кратких сроков. Мы видели, что со времен первого «антигитлеровского переворота» прошло больше года, пока возобновилось то развитие положения в «Третьей империи», началом, а отнюдь не завершением которого были события 30 июня.



Свою очень интересную статью о положении в Германии американская журналистка Дороти Томпсон (см. выше) кончает следующим, весьма любопытным выводом: «Если национал-социализм действительно является политико-экономической системой военного времени, внешняя политика становится ахиллесовой пятой всей системы. Во имя осуществления военной машины считалось, что нет такой тяжелой жертвы, которую должен принести германский народ, страдающий (вернее, национал-социалистская агитация в этом уговорила мелкобуржуазные массы. — Н. К.) под впечатлением национальной ущемленности, национальных жалоб и страха. Но что случится, если выяснится, что военная слабость Германии (которая, очевидно, по мысли американской журналистки, была также выражением национальной «ущемленности». — Н. К.) больше физически не существует? Ведь этот момент (восстановления германской военной мощи. — Н. К.) приближается. Гитлер считает, что восстановле-

ние военной мощи будет сопровождаться восстановлением дипломатического престижа Германии и ее успехами в области внешней политики. Но предположим, что случится нечто противоположное. Предположим, что могущественная Германия будет внушать больше страха, чем преклонения. В настоящий момент кажется нам, что именно так оно и будет. Разве Гитлер (не является ли он уже пленником армии?) намерен продолжать строить свою огромную военную машину ценой дальнейшей пауперизации страны, пока она сможет бросить вызов всей Европе? Как долго может выдерживать страна в моральном смысле такое военное напряжение, хотя она не видит перед собой врага?» Американская журналистка хочет сказать: как долго может жить в состоянии войны, т.е., в буквальном смысле слова, на осадном положении, страна, которая формально находится в состоянии мира и не ведет пока войны, а только готовится к ней? «Ведь вся (германская) система, — продолжает Дороти Томпсон, — построена на предпосылке, что у Германии есть враги. Но против этой предпосылки имеется следующий простой факт: если Германия не сделает попытки территориальных захватов, у нее во всем мире не будет врагов. Остается, стало быть, наблюдать за тем, годится ли система, созданная для военной авантюры, для чего-нибудь другого (т.е. может ли такая система существовать вне военной авантюры? — Н. А.). Настоящая германская система не может и не может восстановить благополучия среднего сословия и мелких производителей. Результатом национал-социализма являет-

ся ускорение процесса уравнивания жизненного уровня среднего сословия с жизненным уровнем рабочего класса (Дороти Томпсон хочет сказать: национал-социализм ускорил пауперизацию и пролетаризацию той мелкой буржуазии, которая составляла его массовую базу. — Н. К.). Поэтому нам кажется возможным, что если война будет отложена на неопределенное время, ибо германский империализм будет держаться в шахе коллективным, хотя бы даже только пассивным сопротивлением всей Европы, то национал-социализму придется использовать свои силы внутри страны, что и приведет к его первому серьезному кризису».

Но, конечно, именно в войне будут искать выхода из внутриполитических затруднений национал-социалисты, а не в развязывании внутриполитических противоречий «компенсации» за несостоявшуюся войну, как думает американская журналистка. Даже Отто Штрассер указывает в своей книге о «германской Варфоломеевской ночи», что именно в войне будут искать выхода из своего тяжелого положения германские национал-социалисты. Поджог рейстага, события 30 июня, война — так вы, по мнению Отто Штрассера, этапы национал-социалистской диктатуры. Так стремление германской буржуазии ограничить удельный вес гитлеровцев в военно-фашистской диктатуре в процессе подготовки войны ускоряет самое военную развязку, заставляя Гитлера и его соратников искать в военной обстановке те функциональные качества, которые понемногу теряются ими в «мирной» обстановке «Третьей империи».

МЕЖДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА

7 и ю л я. Румынская печать опубликовала инспирированное руководящими кругами Малой Антанты заявление по вопросу о реставрации Габсбургов, в котором говорится: «В случае попытки реставрации армии всех трех стран Малой Антанты будут немедленно мобилизованы».

8 и ю л я. Греческий военный ми-

нистр Кондилис прибыл в Рим для выяснения отношения Муссолини к реставрации монархии в Греции.

9 и ю л я. В Москву прибыл новый турецкий посол Зекия Апайдын.

* Германская печать опубликовала список военных кораблей, уже заложенных или которые будут заложены в течение 1935 г. В списке числятся: два

броненосца по 26.000 тонн, два крейсера по 10.000 тонн, 16 миноносцев по 1.625 тонн, 20 подводных лодок по 250 тонн, 6 подлодок по 500 тонн и подлодки по 750 тонн. Одновременно будет итти подготовка к постройке авиаматки.

* Итало-абиссинская примирительная комиссия вынесла решение приостановить свою работу на неопределенный срок. Перерыв переговоров объясняется отказом Италии подвергнуть обсуждению вопрос об итало-абиссинской границе.

10 и ю л я. Полпред СССР в Токио тов. Юренев посетил японского министра иностранных дел Хирота и сообщил ему, что правительство СССР принимает предложение об образовании пограничных комиссий для разрешения конфликтов, возникающих на советско-манчжурской границе. Договор об образовании пограничной комиссии предполагается заключить между СССР, с одной стороны, и Японией и Манчжуро — с другой.

* В Москве подписано советско-болгарское соглашение об обмене почтовыми посылками. Соглашение подлежит ратификации.

* Абиссинское правительство обратилось к Лиге наций с требованием немедленно созвать сессию Совета Лиги для обсуждения итало-абиссинского конфликта.

11 и ю л я. В день 15-летия подписания советско-литовского мирного договора во время завтрака, устроенного т. Литвиновым в честь литовского посланника Балтрушайтиса, тов. Литвинов обратился к нему с речью, в которой, между прочим, сказал: «Я с удовлетворением констатирую всегдашнюю поддержку, оказываемую Литовской республикой всем начинаниям советского правительства в области упрочения мира и безопасности народов. Участие Литвы в осуществлении этих начинаний имеет тем большее значение, что она в силу своего геополитического положения является, если можно так выразиться, форпостом мира на востоке Европы». В своей ответной речи литовский посланник Балтрушайтис, между прочим, за-

явил: «С мирным советско-литовским договором, после долгих столетий тяжелого ярма порабощения, литовский народ снова воскрес к полной независимой жизни и обеспечил себе право на дальнейшее свободное, ничем не нарушимое развитие. И вполне естественно, что благодаря такой основе этого договора и все дальнейшие повседневные отношения между нашими государствами могли и должны были только укрепляться и углубляться, ибо для Литвы сразу и твердо были установлены вехи наших взаимоотношений и источник нашей международной политической деятельности».

* Английский министр иностранных дел Хор, выступая в палате общин с внешнеполитической декларацией, заявил, что английское правительство стремится к возможно скорому заключению восточного и дунайского пактов. Об англо-советских отношениях Хор заявил: «Наши отношения с СССР лучше, чем когда-либо со времени прихода к власти советского правительства. СССР в результате своего вступления в Лигу наций вошел в более тесные отношения с европейскими странами. Всякая страна, искренне желающая сохранения мира в Европе, каков бы ни был ее режим, будет пользоваться нашим сотрудничеством в разрешении этой задачи».

12 и ю л я. В Париже состоялся обмен письмами между полпредом СССР во Франции тов. Потемкиным и послом Бельгии во Франции Гаффье д'Эструа об установлении нормальных дипломатических отношений между Бельгией и СССР.

13 и ю л я. Народный комиссар по иностранным делам М. М. Литвинов и посол США Булитт обменялись нотами по вопросу о торговых взаимоотношениях между СССР и США. В соглашении говорится:

«1) таможенные тарифы, установленные президентом США на основе торговых соглашений, заключенных иностранными правительствами или их органами на основе полномочий Акта, озаглавленного «Акт об изменении Тарифного Акта от 1930 года», принятого 12 июня 1934 г., будут на время

действия настоящего соглашения применяться к произведениям почвы и промышленности СССР. Установлено, что ничто в настоящем соглашении не будет служить основанием для требования применения к произведениям почвы и промышленности СССР тарифов или изъятий из тарифов, установленных согласно любого торгового соглашения между США и республикой Кубы, которое было или будет в дальнейшем заключено.

2) Со своей стороны правительство СССР предпримет меры к существенному увеличению размера закупок в США для экспорта в СССР произведений почвы и промышленности США.

3) Настоящее соглашение вступит в силу со дня его подписания. Оно будет действовать в течение 12 месяцев. Обе стороны соглашаются, что не позже чем за 30 дней до истечения упомянутого 12-месячного периода, они начнут переговоры относительно периода, на который будет продлен срок действия настоящего соглашения».

14 и ю л я. В демонстрации народно-го фронта в Париже приняло участие 800.000 человек. Многолюдные демонстрации состоялись и в провинции.

* Китайская красная армия в Сычуане организовала временное советское правительство. Местопребывание правительства — город Лифан, в 130 километрах к северо-западу от Ченду.

15 и ю л я. По сообщению агентства Рейтер, Италия в переговорах между Лондоном, Парижем и Римом выдвинула следующие четыре требования в отношении Абиссинии: 1) исправление границ, 2) экономические уступки, 3) постройка железной дороги через территорию Абиссинии от Эритреи к итальянскому Сомали, 4) назначение итальянских советников во все абиссинские руководящие учреждения.

16 и ю л я. После переговоров, состоявшихся в Синайе между румынским королем и югославским принцем-регентом, румынский министр иностранных дел Титулеску заявил: «Переговоры дали мне возможность констатировать полное единство взглядов, существующее между нами и нашей союзницей

Югославией. Поскольку Бенеш, который был осведомлен о ведущихся переговорах, выразил идентичную точку зрения, можно считать, что единство действий Малой Антанты достигнуто сейчас в большей степени, чем когда бы то ни было». Бухарестская газета «Курентул», близкая к Титулеску, по этому поводу пишет: «Результаты переговоров в Синайе полностью разоблачают исходящие из венгерских и германских источников слухи и угрозы».

17 и ю л я. Германское правительство приступило к роспуску «шталгельма».

* Французское правительство утвердило ряд декретов в целях экономии в расходной части бюджета 11 млрд. франков. 7,2 млрд. за счет государственного бюджета, 2,5 млрд. за счет бюджетов департаментов и коммун и 1,2 млрд. за счет бюджета железных дорог. Оклады государственных служащих и работников общественных предприятий снижаются от 3 до 10 проц. Компартия и социалистическая партия и обе конфедерации труда (революционная и реформистская) призывают к борьбе против чрезвычайных декретов.

* Японский военный министр уволил генерального инспектора военных школ Мазакки. Отставка Мазакки вскрыла противоречия между отдельными группами военных, в частности, между группой военного министра Хаяси и группировкой Араки и Мазакки.

* Председатель совета министров Турецкой республики Исмет Иненю и министр иностранных дел Турции Теффик Рюшту Арас, совершавшие поездку по Восточной Анатолии, прибыли на территорию ССР Армении на Сардарабадскую плотину. Турецкая печать, комментируя посещение турецкими министрами ССР Армении, единодушно заявляет: «Это посещение является еще одним подтверждением советско-турецкой дружбы».

19 и ю л я. Берлинским полицейпрезидентом назначен Гельдорф. Европейская печать связывает это назначение с ростом антифашистских тенденций в Германии. «Морнинг пост» пишет по этому поводу: «Насколько эти настроения стали серьезными, видно из того, что

понадобилось назначить Гельдорфа, одну из самых мрачных фигур национал-социализма».

20 и ю л я. В Англии размещен советский заказ на 7 лесозовов на сумму свыше 400.000 фунтов стерлингов. Заказ сдан за наличный расчет.

* Абиссинский император в телеграмме, посланной газете «Нью-Йорк таймс» заявляет: «О постройке Италией железной дороги в Абиссинии не может быть и речи, если предполагается охрана этой дороги итальянской полицией. История учит, что подобного рода железные дороги неизбежно ведут к аннексии страны. Мы будем продолжать наши усилия на пользу мира, но если эта усилия не увенчаются успехом, мы окажем вооруженное сопротивление».

Выступая в абиссинском парламенте, император сказал: «Италия обладает всеми современными средствами войны. Абиссиния — бедная страна. Но мы покажем миру, как может бороться объединенный народ, когда он защищает свою независимость. Лучше умереть свободным, чем жить рабом».

21 и ю л я. Во многих городах Франции состоялись демонстрации протеста против чрезвычайных декретов.

23 и ю л я. В советской печати помещены сообщения из Внешней Монголии, в которых излагается содержание ответа, врученного представителем правительства МНР правительству Манчжугу. Манчжурское правительство и штаб квантунской армии потребовали одностороннего установления своих представительств «в удобных для себя пунктах» на территории МНР и постройки на этой территории собственной телеграфной линии. Правительство МНР отклоняет это требование, так как оно противоречит суверенитету и независимости МНР.

В своем новом заявлении правительство Манчжугу, вместо требования об односторонней посылке своих представителей на монгольскую территорию, предложило МНР обмен постоянными уполномоченными. При этом манчжурское правительство выразило согласие на то, чтобы и правительство МНР

командировало своего постоянного представителя на территорию Манчжугу.

* Морской министр Англии Эйрес Монселл заявил в палате общин, что Англия отказывается впредь от принципа пропорциональности в морских вооружениях. Председатель иностранной комиссии сената США Питтмен, комментируя это заявление, указал, что отказ Англии от принципа пропорциональности «представляет собой отказ от Вашингтонского морского соглашения и новый шаг к тому, чтобы рассматривать договоры как клочки бумаги». Представитель японского министерства иностранных дел, наоборот, заявил, что Япония приветствует «это признание Англией несправедливости системы квот», и выразил надежду, что правительство США не сможет отныне упорно настаивать на сохранении этой системы.

* Горняки севера Франции объединили свои профессиональные организации (реформистские и унитарные).

24 и ю л я. Итальянское правительство уменьшило золотое покрытие лиры.

* Голландский кабинет Колина из-за разногласий в правительстве по поводу девальвации гульдена подал в отставку.

26 и ю л я. По соглашению между французским и английским правительствами созыв Совета Лиги наций назначен на 31 июля. Италия дала согласие на участие в работах Совета Лиги при условии, что проблема итало-абиссинских отношений в целом не будет Советом Лиги рассматриваться.

* Английский министр торговли Ренсимен в ответ на запрос, каковы результаты англо-советского торгового договора, ответил: «До сих пор соглашение дает результаты, которые скорей превосходят наши ожидания».

* Берлинский суд приговорил коммуниста Рудольфа Клауса из Брауншвейга к смертной казни за «подготовку к свержению существующего строя».

29 и ю л я. Опубликован пятилетний план реорганизации японской армии. План предусматривает снабжение пехотных частей противотанковыми и зенитными орудиями, автоматическим оружием, доведение огневых средств

кавалерийских частей до уровня пехотных частей, внедрение тяжелой артиллерии, механизацию транспорта, увеличение числа механизированных частей, организацию новых химических частей, а также полную реорганизацию авиации и ее значительное расширение. Сверх ассигнованных сумм военное министерство требует еще 800 млн. иен.

30 и ю л я. Формирование голландского кабинета поручено Колину. В состав кабинета вошли все прежние министры.

31 и ю л я. Открылась сессия Совета Лиги наций. По предложению Лавалля заседание отложено до 1 августа для выработки соответствующей резолюции.

* Опубликован текст закона о ратификации французским президентом предварительного франко - советского торгового соглашения, подписанного в Париже 11 января 1934 г.

1 августа. В международный день борьбы против войны и фашизма во всех странах происходили многочисленные демонстрации и митинги.

* В Италии введена государственная монополия на закупку за границей угля, кокса, меди, олова и никеля.

* Английский министр иностранных дел Хор на вопрос, принимало ли английское правительство какие-либо меры, чтобы получить определенный ответ от Германии, подпишет ли она восточный пакт о ненападении, заявил: «После речи, произнесенной мною 11 июля, я несколько раз поднимал этот вопрос перед германским правительством. Однако, я до сих пор не получил какого-либо определенного ответа... Тот факт, что я несколько раз за время с 11 июля обращал внимание германского правительства на это дело, свидетельствует о том, насколько мы заинтересованы в этом вопросе, считая его срочным».

3 августа. Совет Лиги наций по итало-абиссинскому конфликту принял две резолюции. В одной резолюции предлагается обеим сторонам возобновить работу примирительной комиссии и констатируется, что стороны намерены без промедления наметить пятого арбитра. Совет Лиги приглашает обе

стороны сообщить ему о результатах не позже 4 сентября.

Вторая резолюция гласит, что Совет Лиги соберется 4 сентября, чтобы обсудить в целом отношения между Италией и Абиссинией.

Представитель Италии голосовал только за первую резолюцию и воздержался при голосовании второй резолюции.

Международная печать оценивает резолюцию Совета Лиги наций не как разрешение конфликта, а лишь как отсрочку и выигрыш времени.

4 августа. Муссолини, выступая в Эболи с речью, сказал: «Мы пойдем против тех, кто попытается преградить нам путь, независимо от того, кто они и какого они цвета кожи... Мы начали серьезную и решающую борьбу и полны непреклонной решимости довести ее до конца».

5 августа. Опубликован ответ монгольского правительства на предложение манчжурского правительства. В ответе говорится: «Желая содействовать обеспечению мира на границах, монгольское правительство заявляет, что оно не возражает против обмена уполномоченными при условии, что функции обоих уполномоченных будут ограничены урегулированием вопросов, возникающих на границах, и что эти уполномоченные будут иметь местопребывание в пунктах, назначенных обоими правительствами и лежащих вблизи границы, для того, чтобы иметь возможность быстро и активно вмешиваться в случае повторения пограничных инцидентов. Монгольское правительство указывает, что оно считает целесообразным, чтобы эти уполномоченные возглавляли также делегации обеих сторон в пограничной комиссии, создание которой было предложено монгольским правительством и не вызывает возражений по существу также и со стороны правительства Манчжуго».

* Берлинский суд приговорил к смертной казни бывшего члена компартии рейхстага Альберта Кайзера, как «опаснейшего из врагов». Кайзер обвинялся в воссоздании и руководстве всеми организациями компартии в Средней Германии.

Наука и техника

ГРАВИДАН В МЕДИЦИНЕ¹

А. Замков

I. СЛУЧАЙНОСТЬ И ОТКРЫТИЕ

Случайные наблюдения нередко ведут к ценнейшим открытиям, а последние — к подлинным переворотам в науке.

Нечто похожее случилось и с гравиданом...

В 1929 г. я работал в Институте экспериментальной биологии (Москва) под руководством проф. Н. К. Кольцова по проверке биологической реакции ранней диагностики беременности по методу Ашгейма и Цондека. Неполовозрелым мышам (весом до 8 гр. и возрастом 4 — 5 недель) вводится под кожу 2 — 3 см³ мочи от женщины с предположительным диагнозом беременности. В случае действительной беременности через 100 часов у мышей наблюдается бурное увеличение яичников с появлением характерных «кровяных точек» и «желтых тел».

В начале работы я слабо отличал самку от самца, поэтому в опыт часто попадали самцы.

При вскрытии опытных животных я обнаруживал описанные Ашгеймом и Цондеком изменения яичников у самок. Но что меня особенно поражало, это —

бурные изменения в половом аппарате у самцов: при сильном кровенаполнении сосудов всех тазовых органов — увеличение семенников, семенных пузырьков и предстательной железы достигало огромных размеров. Другими словами, моча беременных женщин оказывала мощное влияние на половой аппарат обоих полов. Это случайное наблюдение натолкнуло меня на мысль — использовать мочу беременных женщин в лечебных целях вместо принятого употребления выделенных из нее отдельных гормонов или других веществ. Я рассчитывал на успех прежде всего при заболеланиях, связанных с нарушениями половой функции, в частности, при ее угнетении в пожилом и старческом возрасте. Такое предположение определило направление моих дальнейших опытов со старыми животными, а также состав моих первых больных.

Моча в древней и народной медицине

Естественного отвращения к моче у человека не было и нет. Отношение к моче определяется социальными условиями: у народов, живущих в условиях недостатка воды, моча применяется, как средство гигиеническое (умывание, мытье посуды и т. д.) и даже как лакомство, вследствие находящихся в ней солей. С другой стороны, имеется ряд фактов, показывающих отрицательное отношение к моче, особенно женской, в

¹ В литературном оформлении этой работы принимали участие д-р Л. И. Михайлова и д-р И. А. Демьянов.

условиях приниженного положения женщины.

«Отрицательное отношение к моче возникает из двух различных источников: магического отношения ко всем выделениям человеческого тела и, с другой стороны, — сексуальной стыдливости. Там, где отсутствуют оба эти источника, отсутствует и отвращение к моче». (Версаль, XVIII в.).

Современная медицина в своем отрицательном отношении к моче несет отпечаток обоих источников, главным образом, буржуазного отношения к вопросам пола, сложившегося к концу XVIII века. «Как лечебное средство, моча известна с древнейших времен. Русский крестьянин вплоть до начала XX в. употреблял ее при поранениях, порезах, ушибах, при ломоте, ожогах, болезнях глаз, а также уха, при водянке, при падучей, пьянстве, лихорадке. Подобную картину мы имеем у монголов, причем моча сильного человека рассматривается как укрепляющее. Способ употребления — поливание, втирание, прием внутрь». (С. Конвер «История медицины», Киев, 1878 г.).

Примерно 20 лет назад отдельные врачи успешно пользовались мочой при лечении плеврита, ревматизма, сыпного тифа и других заболеваний. Однако, до последнего времени этот метод не получил широкого распространения в клинике. Предвзятое отношение к моче, как вредным отбросам человеческого организма, и неумение дать научное объяснение полученному эффекту рождали у большинства врачей скепсис и нигилистическое отношение к методу.

Моча — яд, — гласило вековое утверждение официальной медицины, встретившее мою идею в штыки.

Моча — не яд, — должен был доказать я, чтобы идея применения мочи в лечебных целях увидела свет.

Путем особой обработки мочи беременных женщин мне удалось получить стерильный, весьма активный лечебный препарат, который я и назвал «гравиданом».

Чтобы доказать его безвредность, я поставил ряд экспериментов на мелких и крупных животных, которые продолжаются и до сего времени в Институте урогравиданотерапии. Для суждения о безвредности гравидана достаточно привести несколько примеров:

1. Мыши весом в 20 гр. переносят безнаказанно подкожные впрыскивания гравидана по 5 см³ в течение десяти дней или по 1 см³ в течение 100 дней ежедневно. 2. Кролики при подкожном введении 10 см³ гравидана в течение 100 дней ежедневно остаются здоровыми и дают здоровое потомство. 3. То же можно сказать о внутривенном введении собаке 50 см³ гравидана (1929 г.). 4. Голуби весом в 350 — 400 гр. переносят без вреда внутримышечное введение гравидана в количестве 50—70 см³ (Л. Титов. Москва, 1933 г.). 5. У баранов после интравенозного введения 300 см³ гравидана вскрытие не дает никаких указаний на токсичность препарата (М. Авдеева. Москва, 1933 г.). Даже беременные овцы переносят без всяких последствий введение 50 см³ гравидана в течение нескольких дней кряду.

Другими словами, животные безнаказанно переносят введение гравидана в количестве от 10 до 25 проц. их общего веса. Подчеркнем, что наши лечебные дозы, по сравнению с применяемыми в эксперименте, являются микродозами.

Полученные нами данные вполне совпадают с забытыми работами французских авторов — Бушара, Пьерона, Майрата, доказывающих недовитость даже значительных количеств мочи. Так, по Бушару — смертельная доза мочи для человека весом в 65 кг при внутривенном введении равна 2.600 — 2.800 см³. Но какая «священная» жидкость, введенная в таких количествах, могла бы оказаться безвредной?

Что же касается ядовитости отдельных составных частей мочи, то из многочисленных исследований целого ряда авторов следует, что для получения ничтожных доз веществ, обладающих ядовитым действием, нужны огромные количества мочи.

Прежде чем перейти к проверке лечебного действия гравидана на животных и людях, я сделал первое впрыскивание гравидана самому себе в количестве 15 см³ и, таким образом, оказался первым подопытным животным. Я почувствовал под'ем настроения, физическую бодрость, ясность мысли, а при последующих уколах исчезли одышка и сердцебиение, я стал легко одолевать высокие под'емы по лестницам, легко и много ходить пешком. Никаких вредных последствий я не заметил.

Да и теперь я проделываю себе раза два в год по 10 — 15 уколов. Это дает мне бодрость и равновесие в моей напряженной работе.

Опыты, личные наблюдения над собою о безвредности гравидана получают подтверждение на многотысячном материале больных, а также в целом ряде лабораторных исследований и новых экспериментов.

Вековое утверждение о том, что моча — яд, опровергается фактами.

Проблема старости

Клетки всех органов и тканей в течение жизни изнашиваются, способность их к восстановлению, ярко выраженная в молодом возрасте, с годами утрачивается. Вместе с этим изменяются и функции организма, в частности, расцвет половой функции сменяется ее угасанием. Постепенно меняется весь психический и физический облик человека: наступает старость, а за ней смерть.

Физиологически старость и смерть неизбежны. Однако, стремление человечества: 1) предотвратить преждевременное изнашивание организма, 2) отдалить смерть, известны на всем протяжении существования мира. Ярким выражением этого стремления являлось в свое время искание «жизненного эликсира» алхимиками. О том же говорит простое употребление косметических средств (губной помады, пудры, крема). Массаж лица и тела, покраска волос обычно с особой настойчивостью и заботливостью применяются в зрелом и

преклонном возрасте в целях скрыть внешние признаки старости или задержать их проявление. Ту же цель преследуют столь распространенные за границей косметические операции и целый ряд других лечебных процедур. Стремление к долголетию и молодости нашло свое отражение в художественном творчестве. Стремление гетевского Фауста к вечной молодости или значение «живой воды» в народной русской сказке — явления того же порядка.

К биологическим способам противодействия старости относятся и столь шумевшие в свое время операции Штейнаха и Воронова. Я сам не миновал этого увлечения и проделал в 1925 — 1928 гг. по Воронову 25 пересадок семенников мужчинам от различных животных, из них 13 от обезьян, и 525 пересадок яичников у самок животных. Обычно все пересаженные кусочки рассасывались, одни быстрее, другие медленнее. Возможность длительного оживления трансплантата, о которой говорил Воронов в своих работах, не подтверждалась; вопрос «омоложения» требовал искания новых биологических методов.

Если на смену возрастов смотреть, как на смену гормонов, связанную с повышением деятельности одних желез внутренней секреции и понижением других, то применение мочи беременных и гравидана, с его богатством гормонами, в указанных целях становится понятным.

Впрыскивание гравидана старым самкам и самцам мышей резко повышало их половую функцию: овогенез (созревание яйца) и сперматогенез (развитие сперматозоидов) значительно оживлялись и приближались по типу к таковым у молодых животных. Старые, слабые, полысевшие, исхудавшие и ослепшие мыши, которые едва передвигались и с трудом находили свою кормушку, после впрыскивания гравидана преображались. Они полнели, их шерстяной покров восстанавливался, лысины зарастали лоснящейся шерстью; они начинали свобод-

нее двигаться и с аппетитом поедать свой корм. Самки, подсаженные к старым самцам в клетку, были оплодотворены и дали здоровое потомство.

Истощенному 20-летнему жеребцу, который от слабости едва стоял на ногах, не принимал корма, был впрыснут 10 раз гравидан по 50 см³. Жеребец после уколов стал есть, начал полнеть, понос у него прошел, появилась мышечная сила. На нем снова начали работать, боронить, пахать и запрягать для езды. У жеребца проявилось яркое половое влечение. Чувство привязанности к одной кобыле стало так велико, что на ее призывный зов он несся к ней во всю мочь, даже будучи в упряжи, через все преграды — канавы, изгороди. Жеребец дал потомство.

Оздоровляющее действие гравидана на весь организм и его влияние на половую сферу у глубоких стариков прослежено мною еще в 1929 г.: очень дряхлые, немощные, едва передвигавшиеся, часто едва стоявшие на ногах под влиянием гравидана восстанавливали свои силы и здоровье настолько, что нередко возобновляли свою половую жизнь. В одном случае у 85-летнего старика появилось сильное половое влечение, и это после 27-летнего полового покоя!

В другом случае еще более глубокого старика обвинили в неприличном отношении к соседке-вдове. До лечения гравиданом он был в состоянии старческого маразма и, лежа на печи, мог с трудом подыматься, держась за веревку, укрепленную в потолок; был сильно истощен, почти ничего не ел, плохо говорил и «ходил под себя». После нескольких уколов гравидана общее состояние резко изменилось к лучшему: голос стал тверже, речь более четкой, легко ходил пешком расстояния в несколько километров и начал работать. С тех пор прошло 6 лет. Старик продолжает работать в колхозе по починке колхозного инвентаря и «фаустовской» бодрости не теряет.

Картинное описание старости и значение гравидана в борьбе с ее проявлени-

ниями мы находим в письме д-ра С. из Тамбова:

«... Дряхлый старик, то, что принято обозначать термином «старческий маразм», термином, в сущности, ничего не объясняющим, но под которым каждый врач подразумевает непоправимое изнашивание организма. Относительно моего больного трудно было сказать, чем он болен. Впечатление было такое, что лечить надо все: сердечно-сосудистую систему, анемию, психохику и многое другое. Вот симптоматика его болезни вкратце: крайняя слабость, невозможность ввиду одышки ходить по комнате; при попытках к ходьбе — пошатывание, в результате чего необходимо опираться о стену, ручку стула или кровать; трудное поворачивание с боку на бок, так как оно вызывает одышку; полная невозможность лежать на спине вследствие наступления в этом положении приступов одышки и кашля.

Кроме того, у больного специфические приступы одышки (до 10 раз в день), выражающиеся в учащенном дыхании (35 — 40 и более в минуту) с предварительным побледнением лица и замедлением пульса до 40 в 1 м., с усилением у больного аритмии.

Длительность припадков $\frac{1}{2}$ мин. и $1\frac{1}{2}$ минуты; больной при этом опирается сводом скрещенных пальцев о предплечье дочери, положенное к нему на плечо; в глазах больного тоска и, повидимому, страх смерти. Во время приступа больному машут перед лицом сложенной вчетверо газетой, как веером, — больной говорит, что ему от этого как бы легче, и, чувствуя приближения приступа одышки, он требует, чтобы ему махали.

У больного не всегда внятное словопроизношение, некоторые слова он бормочет так, что они непонятны не только мне, но и его окружающим.

Краткая соматика пациента: астения, сероватый цвет лица, морщинистая кожа, запавшие виски, впалые щеки, цианотические губы, шелушащаяся сухая кожа тела, резко выраженные извилистые артерии, отеки ступней и нижних третей голени, эмфизема легких. Тяжелые изменения в сердце...

Артерии — гусиное перо; пульс аритмичный, очень полный, 60—65 в 1 мин. (к сожалению, я не мог измерить больному кровяного давления ввиду порчи у меня единственного аппарата... но оно было явно и сильно повышено).

Геморрой. Склонность к запорам. В моче белок—2 проц., цилиндров, крови нет.

Психика: забывчивость, не помнит, что ел за обедом. На мой вопрос об обеде сначала начинает: «Что ел? Я вот сейчас скажу. Я ел...», а потом слышится: «Надя, Юля, что я ел за обедом?» Этот экзамен я проделывал с больным неоднократно.

Полная невозможность сосредоточения мысли. Больной начинает читать что-либо легкое из газет и после 2 — 3 строк заявляет, что он забыл, о чем прочитал в первой строке. Я предлагал ему написать дочери в Москву письмо. Попытка (в начале лечения) была два раза, но терпела крах, так как с самого же начала больной терял нить самых простых мыслей. По ночам неспокойный сон с бредом, который по пробуждении считает за действительность, например: воры украли угли, и для автора письма нельзя поставить самовара; обокрал знакомого, который пришел навестить его, и т. д. Все это он рассказывает с ясным взором и с прямо-таки детской улыбкой.

Больного можно было лечить только симптоматически, а это трудно и нудно.

В это время мне пришла в голову мысль о гравидане, и я предложил дочери, постоянно живущей с больным, доставить его. По просьбе дочери, проживающей в Москве, вы отпустили мне в 2 приема 100 кб. сант. гравидана.

Результат лечения

Улучшение наступало постепенно, но я опишу вам только финальную картину. 28/VI в 8 час. вечера я навестил больного, не видев его до этого несколько времени. Я увидел перед собою стройного старика с приветливой улыбкой на лице. Он предложил мне сесть, сел на стул сам и на мой вопрос, как он себя чувствует, ответил: «Великолепно».

Он свободно ходит по комнатам, когда ему нужно; продемонстрировал со смехом хождение по одной доске; беседует с приходящими знакомыми, не чувствуя утомления. Одышка исчезла совершенно. Appetit усилился настолько, что больной называет его «неприличным», так как может есть 4 — 5 раз в день.

Больной опять стал остроумным (как, оказывается, был раньше). Посмеивается над дочерью, создавая тем самым такую обстановку в семье, которая желательна для каждого человека, пережившего душевные муки за судьбу дорогого члена семьи.

Больному 72 года, и он в данный момент живет психически и физически так, как это, собственно, и полагается по законам биологии.

Но меня кое-что буквально поразило в тех изменениях в сторону улучшения, которые я отметил у моего больного. Человека, которого я нашел в состоянии невозможности написать дочерям в Москву открытки, 28/VI я застал — он читал перед моим приходом книгу «Падение царского правительства», и на какой бы вы думали странице — на 503-й... Больной рассказал мне вполне толково и с подробностями содержание некоторых мест книги. Он явно стал запоминать новые впечатления и притом в широком масштабе, чувствуется, что он хочет знать и иметь общение с людьми. Он хочет совершать дальние прогулки, но я еще не допускаю его до этого, боясь, что он быстро растратит все, что за полтора месяца получил. Но в конце июля думаю выпустить его на волю, если не будет ухудшения в его положении.

Заметно изменение в телесном состоянии больного. Резко уменьшилась набухлость височных артерий, они стали прямо-таки мало заметными; сердечные шумы значительно менее выражены; пульс стал ритмичным, при проверке в 1 минуту — ни одного перебоя, он явно мягче. Пульсации не видно. Костная звукопроводимость на локте и на головке плечевой кости отсутствует. Моча белка не содержит. Отек ног исчез. Цианоз губ исчез. Лицо как-то помолодело. Голос получил свою густо-

ту. Речь стала совершенно ясной. При рукопожатии крепко сжимает руку. Совершенно седые волосы на голове несколько потемнели, особенно на висках. Прекратилось выпадение волос при причесывании гребнем».

Два последующие письма свидетельствуют о том, что старик продолжает крепнуть, много гуляет, настроение его остается жизнерадостным и бодрым, отмечается значительное потемнение волос. В таком хорошем состоянии он прожил больше года и недавно погиб от случайной причины (операция по поводу заворота кишек).

Верным спутником старости является склероз с его изменениями в стенках сосудов, в силу которых последние становятся жесткими, неподатливыми. Отсюда неправильное кровоснабжение, т. е. питание различных органов, и целый ряд тяжелых расстройств.

Тяжесть явлений зависит от важности пораженного органа. Так, наиболее тяжелыми страданиями являются склероз почек, склероз сердца и особенно склероз мозга.

Я до сих пор помню 70-летнюю больную, которую наблюдал еще в 1929 году и состояние которой прекрасно описано в письме ее дочерию.

«В течение первого же месяца после удара (3/IX — 3/X) у матери появилось и нарастало нервное состояние, сопровождаемое чувством угнетенности, безотчетного страха и тоски. Диагноз приглашенного невропатолога проф. Коротнева был: душевная меланхолия на почве сильного запущенного склероза. Болезнь неизлечима, поскольку в 70 лет неизлечим запущенный склероз. Для смягчения остроты состояния матери прописал наркотики в слабых дозах — люминал, веронал, бромистую камфару, порошки морфия и т. п. Все эти средства, однако, не только не помогли, но резко ухудшали состояние больной, увеличивая ее возбуждение. Состояние матери постепенно ухудшалось, дойдя ко второму месяцу болезни — 3/X — 3/XI — до почти полной потери речи и сознания, наличности сильнейшего страха, граничащего с без-

умием, резким, почти непрерывным криком, произвольными движениями (стремление соскочить с кровати, убежать, оттолкнуть и т. п.). Приглашенный в начале ноября психиатр проф. Ганушкин подтвердил диагноз проф. Коротнева полностью. В середине ноября мать посетил д-р Кириллов, зав. нервным санаторием в Сокольниках. Он также подтвердил диагноз предыдущих врачей, констатировав, кроме того, появившиеся у матери застойные явления (бурые пятна на ногах, омертвевший до гноя локоть, сильнейшее исхудание, утолщенное сердце), и предупредил меня, что сомневается в возможности для матери прожить до января 1930 г.

После этого последнего диагноза я перестала применять к матери какие бы то ни было лекарства, и две недели до начала декабря она оставалась в прежнем положении, может быть, несколько менее буйном, благодаря отсутствию наркотиков».

В начале декабря был применен гравидан. После 6 уколов в течение 3 недель «состояние матери, — пишет дочь, — поразительно улучшилось. Почти исчезли страхи, поправилась речь, появился аппетит и сон, восстановилась память, силы. Особенно резко изменилось состояние больной после последнего впрыскивания: мать моя впервые засмеялась, попыталась и смогла прочесть несколько фраз в книге; застойные явления не только исчезли, но с омертвевшего локтя сошла кожа струпьями и оказалась новая, розовая; больная нога стала шевелиться в пальцах и в колене; параллельно с этим очень сильно увеличилось количество мочи (прозрачной, светлой, почти без запаха, 5 — 6 раз в ночь по $\frac{1}{2}$ стеклянной утки).

Со времени последнего впрыскивания прошло около недели (оно было 22 января). Результаты, полученные после впрыскиваний, совершенно необычайны для всех, видевших мою мать в продолжение всей ее болезни, они совершенно несомненны и производят исключительное впечатление». (Москва, 26/I 1930 г.)

В 1933 г. больная была еще жива и продолжала находиться в хорошем состоянии.

«В 1928 г., — пишет больной Р. А. — в январе, в морозный, при сильном ветре, день, переходя Неву, я почувствовал сильнейшую боль в груди. Мне помогли нанять извозчика. Дома инъекция морфия успокоила невыносимую боль. Профессора, к которым я обратился, прописали мне микстуры... и еще несколько других средств, от которых желудок, вообще плохо работавший, совсем почти перестал действовать. Припадки повторялись, и меня свезли в больницу».

Недуг определили: «грудная жаба». Далее идет описание всевозможных способов лечения, в результате которых острые явления стихли, но постоянная тупая боль в области сердца оставалась. Артистическую деятельность пришлось оставить. «Не было ни одного дня, — пишет А., — чтобы я, двигаясь по улице, не ощущал глухую боль в груди, которая заставляла меня на время останавливаться, проделать несколько глубоких выдыханий, после чего я мог снова продолжать путь. Особенно часто приходилось останавливаться, если необходимо было идти после еды. Я решил, что это так должно оставаться до конца жизненного пути, однако, вышло не так». Узнав о гравидане, больной обратился ко мне с просьбой ему помочь, если это возможно.

«Признаюсь откровенно, — продолжает он, — в эту возможность я почти не верил, но я, разумеется, этого вам не говорил... В течение четырех месяцев я тщательно анализировал влияние вашего лечения на меня, и должен сказать, оно превзошло самые радужные надежды. Я могу ходить быстро, поднимаюсь без труда в свою комнату на пятом этаже — 106 высоких ступеней, ем все (избегаю только жареное), ем значительно больше, желудок работает лучше, чем когда-либо в жизни, и что особенно поразило меня и чего абсолютно не ожидал, — это то, что голос, особенно в пении, стал чище, тембритее, увереннее, сильнее и что голосовые связки, по свидетельству проф. Ф. Ф. З., в безукоризненном виде; и в связи со всем этим самочувствие: энергия, сила, работоспособность бьют

юношеским ключом, а мне — 73 года».

Добавим, что указанный больной еще во время лечения вернулся на сцену, где выступал с подъемом до последних дней своей жизни и в 73 года снова женился.

Последние строки этого письма подчеркивают ярким штрихом стимулирующее влияние гравидана на общие и творческие силы артиста. О том же говорит письмо известного литератора П. В. (4/II—33 г.).

«Пишу после 15-го укола — 4 февраля 1933 г., начал лечение 20/XII—32 г. Настоящие итоги — это заметный общий подъем сил как физических, так и интеллектуальных. По профессии я литератор (стаж 27 лет), живу исключительно литературным трудом. В нашей профессии есть два основных вида работы: 1) техническая, т. е. работа, требующая лишь известных технических навыков, эта работа берет сравнительно мало сил, и 2) творческая (художественная), берущая у писателя все его наличные силы в момент работы (иногда этот «момент» длится месяцами).

Я закончил одну изданную творческую работу в конце 1932 г., сделал некоторый перерыв и с весны взял по договору более легкую, политехническую, к «15-летию Октября». Закончил ее к августу, сдал и тут почувствовал упадок сил, и физических, и моральных. Общая вялость, полное равнодушие к работе, почти маразм. Пришлось отказаться от новой задуманной работы, т. к. не мог даже написать схемы труда, обычно прилагаемой к договору. Такое состояние длилось до декабря; я решил лечиться гравиданом. После 6 уколов появилась физическая бодрость (потребность ходить пешком, укрепился сон); после 12-го укола проснулась творческая способность. Задумал довольно сложный художественный труд в январе (начале), быстро набросал подробную схему, принятую издательством без единой поправки. И, пока еще шли переговоры по заключению договора, почувствовал недержимую, радостную (ибо творческий

труд — это радость) потребность писать. При таком состоянии писатель должен владеть всеми своими физическими и моральными силами...

Вот таковы итоги моего лечения, после 15 уколов (мне 63 года)».

Подробное описание своего состояния на почве раннего склероза (больному 47 лет) и тех разительных сдвигов, которые произошли под влиянием гравидана, инженер Э. заканчивает следующими строками: «... у меня усилился приток идей как в области научной работы, так и в области интимного художественного творчества, которым я занимаюсь только для себя и самых близких людей. В этой области, я бы сказал, произошло что-то в роде яркой вспышки молнии, при которой неясные силуэты вдруг осветились во всех деталях, во всех красках, остается только поспешно зафиксировать увиденное».

Тот же больной отмечает резкий подъем общего тонуса: бодрое, жизнерадостное настроение, «хочется напевать или насвистывать», появление спокойного, крепкого, освежающего сна, нарастание аппетита, повышение трудоспособности; усталость и потребность в отдыхе отсутствует даже после напряженной 9-часовой работы. Появилась «уверенность в себе, в своих силах, в успехе своей работы, появилось какое-то ощущение своей защищенности в толпе. Такое чувство было у меня, — лишет больной, — в свое время, когда в опасный период я получил возможность ходить вооруженным».

Различные причины (а среди них злоупотребление алкоголем, морфием и т. д.) может привести к преждевременному изнашиванию организма и раннему склерозу. В этих случаях сравнительно молодые лица теряют частично или полностью трудоспособность и влачат годами жалкое существование.

Не нужно быть врачом, чтобы на основании хотя бы нижеприведимого письма представить себе со всею жи-

востью душевное страдание и беспомощность подобных больных и окружающих их близких.

Речь идет о 42-летнем больном инженере.

«До начала лечения я страдал: 1) Жестокими, непрерывными головными болями на протяжении свыше 25 лет.

2) Чудовищной раздражительностью, когда, например, переспрос недослышавшего меня собеседника мог довести меня до отчаянной головной боли и плача. Раздражал буквально всякий пустяк.

3) Бессоницей, тянувшейся столько же времени, как и головные боли; особенно мучительно было засыпание, боязнь малейших шумов при этом (больной в течение 14 лет затыкал на ночь ватой уши). Примеч. А) Из-за ничтожного предлога я часто не мог заснуть в течение 2—5 часов, так что, собственно, вся ночь пропадала. 4) Многочисленными фобиями (страхами) и мучительными навязчивыми идеями — тоже не менее 25 лет. Трудно, да едва ли и нужно здесь, перечесть все фобии и навязчивые идеи. Они, пожалуй, доставляли главные мучения мне, самые угнетающие.

5) Быстрая утомляемость, после 2—3 часов работы максимум я уже не был пригоден к работе. 6) Постоянно подавленное, угнетенное состояние духа. Теперь после 22—23 уколов гравидана наступили следующие изменения: 1) Головные боли, в целом, очень резко уменьшились, и бывают значительные промежутки, вернее даже большей частью, когда я их не испытываю. 2) Раздражительность понизилась настолько, что я совершенно нормально реагирую на явления внешнего мира, раньше приводившие меня в бешенство и поистине в невменяемое состояние. 3) Засыпаю через 5—30 мин., даже после того, как выпиваю крепкого чая. Раньше же после таких «деяний» я не мог засыпать в течение 3—5 часов. Сон приносит освежение и отдых, тогда как раньше я вставал, даже после длительного сна, разбитым, раздраженным, злым, с головной болью. 4) Фобии и навязчивые идеи исчезли совершенно и больше не мучат меня. Изредка, в часы сильного утомле-

ния, они возвращаются, лишь как тяжелое и противное воспоминание. Обычно же я смеюсь над тем, что раньше было, даже над самыми сильными и мучительными из них. 5) Работоспособность резко повысилась, память окрепла. 6) Общее состояние, как правило, бодрое, уверенное. Спротивляемость всяким мрачным и тяжким привычкам и явлениям настолько повысилась, что они уже больше не подавляют меня и не господствуют. 7) Кроме того, укрепились волосы, раньше выпадавшие непрерывно; прекратился зуд кожи головы, наступивший через 2 дня после мытья головы. 8) Биение пульса стало нормальное, спокойное, раньше было почти всегда повышено. Нужно ли после перечисленных фактов выражать вам мою глубокую признательность за помощь, мне оказанную. Мне кажется, факты выражают ее сильнее и убедительнее, чем самые красноречивые слова». (Москва, 15/V—34 г.).

Вот другой пример. Больной Г., 51 год, инженер. Страдает артериосклерозом мозга.

Тоны сердца глухие. Пульс жесткий. Периферические сосуды жестки и извилисты, височные пульсируют на-глаз. Кровяное давление 200—190. Плохо спит, плохо ест, молчалив, жалуется на головные боли, целыми днями сидит в одной позе на своей койке, вздрагивает от малейшего шороха. Мало доступен, обнаруживает аффект страха, высказывает бредовые идеи преследования и самообвинения.

Лечение гравиданом в дозах 0,2 через день. В течение двух недель заметная перемена к лучшему. Аффективность становится ровнее, улучшается сон, больной просит свидания с женой, прогуливается по коридору. В дальнейшем улучшение в состоянии больного продолжается: больной прибыл в весе, поспежел, крепко спит и меньше тревожен. О своих прежних высказываниях вспоминает со смущением, улыбается, проявляет инициативу, исполняет несложные работы, охотно беседует с врачом. Кровяное давление 30 июля—160—155. Через месяц после начала лечения больной в хорошем состоянии

выписан из Нервно-Психиатрического института.

Не менее тяжелые явления развиваются на почве алкоголизма и морфинизма. С каждым новым приемом указанных наркотиков тяготение к ним возрастает. Требуется все большие и большие дозы этих ядов для подавления мучительной тоски. В конце-концов человек становится рабом своей привычки. Яд постепенно проявляет свое действие и приводит к раннему изнашиванию организма, меняя психический и физический облик больных. Они истощены, бледны, часто выглядят не по годам стариками. Рано седеют, кожа становится сухой и морщинистой, часто присоединяются кожные поражения (экземы и др.). Внимание становится рассеянным, память резко слабеет. Аппетит понижается, имеется склонность к запорам. Резкие изменения наблюдаются со стороны сердца и сосудов, часто развивается склероз. В большинстве случаев половая функция понижена или отсутствует. Бессонница и непреодолимая тоска с навязчивыми мыслями о самоубийстве — симптомы, наиболее тягостные для больных. Часто полная и длительная потеря трудоспособности. Больной становится в тягость себе и окружающим.

Некоторые такие больные подвергнуты лечению гравиданом в Московской нервно-психиатрической больнице для острого алкоголизма. В подавляющем большинстве случаев все описанные выше явления болезни значительно ослабевали или исчезали вовсе. Восстанавливались сон, аппетит, значительно улучшились внимание и память.

Сердце работало лучше, сосуды становились мягче, кровяное давление и пульс выравнивались. Почти у всех больных наблюдалась большая прибавка в весе (до 10 кг.).

Настроение становилось бодрым, жизнерадостным. Восстанавливалось или повышалось половое влечение и потенция. У больных появлялась жажда жить и работать.

Внешний облик больных резко менялся — они становились свежее, моложе; волосы у многих чернели, отмечался и рост новых волос. Кожа становилась менее сухой, более эластичной; морщины сглаживались.

Мы имели налицо признаки явного «омоложения» организма с повышением регенеративной (т. е. восстановительной) способности клеток, свойственной более молодому возрасту.

А главное то, что больные переставали прибегать к алкоголю или морфию и более не чувствовали к ним тяги.

Наступало освобождение от рабства привычки и возвращение к полноценной жизни и труду.

Тяжелое состояние своей болезнью и радость бытия в результате лечения правиданом описывает в своем письме больной Е:

«Болезни, перенесенные мною (сыпной и возвратный тифы, суставной ревматизм, воспаление мочевого пузыря), истощили мой организм, а разрушающее действие алкоголя, к которому я прибегал с 1924 года как к возбуждающему средству, довели меня до состояния, при котором человек не должен жить.

Я постоянно чувствовал, как будто я куда-то должен выехать, что здесь, даже в своей квартире, я чужой, временный гость в кругу семьи. Состояние моего наружного, внешнего вида для меня стало безразлично. Полная апатия ко всему, за исключением вина. Работоспособность уменьшилась; напряженной работы больше нескольких дней не выдерживал. Уже два года, как я каждый месяц по 3—5 дней не выходил на занятия, и меня это не беспокоило, в то время когда на службе без меня обойтись не могли, когда я обязательно должен был бы хотя бы присутствовать, а не работать, но я не являлся, не мог заставить себя притти, это было выше моих сил.

За 1930 и 1931 годы я переменял 6 мест работы, три раза выезжал в районы на работу, но через 2—3 месяца бросал службу. Жена как женщина мне

стала безразлична. Полового влечения я месяцами не имел.

Дорогой доктор, это все было, пока вы не применили своего лечения.

Второй месяц, как я не беру в рот ни рюмки вина, не ощущаю никакой потребности в нем, и даже в моем присутствии пьют другие, у меня же — ни малейшего желания и никакого напряжения воли с моей стороны. Появился хороший аппетит; желудок, полгода не работавший нормально, теперь действует, как когда-то раньше.

Чувствую бодрость в теле, как бы прилив сил; работаю днем и вечерами — ни малейшего утомления. Есть желание жить, работать. Станным кажется пошопенный костюм и пальто: надо скорее переменить; хочется поправить квартиру, отремонтировать еще одну комнату. С нетерпением жду весны и лета. Бодро заглядываю в будущее и уверен, что прошлое не возвратится. Наступил второй месяц впервые за несколько лет, когда я не пропустил ни одного дня работы».

Действие правидана при склерозе, по наблюдениям д-ра Р. над самим собою, сказалось положительными сдвигами в целом ряде болезненных симптомов: в уменьшении изжоги, регуляции функции кишечника, в уменьшении одышки при ходьбе, в повышении половой функции. Значительными субъективными и объективными изменениями со стороны сердца, нервным равновесием. Появилась большая сдержанность, спокойствие, уравновешенность (раньше по малейшему поводу являлось желание плакать). Но что особенно важно, это — влияние правидана на зрение и катаракту. «Раньше, — пишет Р., — я видел все предметы как бы через вуаль, и это ощущение с течением времени увеличивалось, а теперь вуаль с каждым днем как бы тает. Я заключаю из этого о рассасывании катаракты. В этом рассасывании я усматриваю новый способ лечения катаракт, которые обыкновенно устраняют столь неприятным и опасным хирургическим способом (удалением хрусталика). Так как явления катаракты совершенно аналогичны явлениям склероза вообще (артериосклероза, мио-

кардита и т. д.), то я думаю, что гравидан вообще действует рассасывающе на все склеротические процессы, и поэтому, между прочим, изменяет в сердце пилящие шумы» (Таганрог — 1933 г.).

Клинической картине склероза соответствует целый ряд изменений в крови с характерным накоплением жироподобных веществ — холестерина, лецитина и жирных кислот. Кормление кроликов указанными веществами вызывает склероз с накоплением тех же веществ в крови подо皮тных животных. Последующее применение гравидана дает их уменьшение и приближение к норме. Аналогичные сдвиги в крови мы наблюдаем под влиянием гравидана и у наших больных склерозом.

Повышение психического тонуса, изменение настроения, улучшение памяти, повышение творческих сил, отмечаемые этими больными, находят себе объективное подтверждение в опытах психологической лаборатории нашего института. Под влиянием гравидана выравниваются пороги возбудимости чувствительных центров, улучшается качественно и количественно непосредственное запоминание, ассоциативная память и концентрация внимания.

Выдвинутая нами проблема представляет собою большой практический и научный интерес. Первое понятно и близко всякому желающему жить возможно дольше и полноценнее. Второе требует некоторого разъяснения.

До сего времени на склероз смотрели, как на стойкий, мало или вовсе необратимый процесс. Значительные изменения во всей картине болезни в приведенных нами примерах, экспериментальные данные на кроликах, аналогичные изменения в крови склеротиков и результаты наблюдений психологической лаборатории говорят против такого утверждения.

Микронеонатрия (учение о болезнях грудного возраста), это — область, где успешное применение гравидана объясняется естественной близостью организма маленького ребенка с гормональным комплексом мочи беременной

женщины. В период утробной жизни эти гормоны, циркулируя в крови матери, направляли ход развития ребенка.

Введение гравидана есть введение комбинации гормонов, между которыми не последнее место занимают гормоны роста и развития.

Заболевания, обусловленные нарушениями эндокринного порядка и недостаточностью витаминов, успешно лечатся гравиданом. Очень интересные данные получены нами при лечении врожденной неполноценности развития (гипотрофии) и рахита у детей грудного возраста.

Гипотрофики, это — дети с остановившейся весовой кривой на низком уровне. Поднять вес таких детей, несмотря на прекрасные гигиенические условия и искусное вскармливание, не удается. Низкий вес сочетается с плохим усвоением пищи и склонностью к поносам, не уступающим обычным видам лечения или диете. Малейшие неблагоприятные моменты вызывают новое падение веса и часто оказываются для этих детей гибельными. Психическая и физическая отсталость резко выражена: кожа морщиниста, выражение лица старческое, взгляд усталый, отношение к окружающему безразличное. Кости тонки и хрупки, мышцы дряблы. Ребенок часто плачет, плохо ест и спит. Под влиянием нескольких уколов гравиданом психическая и физическая неполноценность таких детей выравнивается. Во всех без исключения случаях наблюдается быстрый подъем весовой кривой, резкое увеличение аппетита. Усвоение пищи улучшается, понос проходит. Резко меняется психический тонус: настроение становится жизнерадостным, появляется живой интерес к окружающему, движения становятся уверенными и разнообразными.

Устойчивость ребят к различным неблагоприятным моментам значительно повышается. В частности, они легче переносят инфекции. Вот случай из наблюдений д-ра Глекина В. в показательных яслях Мытищинского района:

«Витя родился в срок, весом 3.000 гр. Ему 2 месяца, но вес не поднимается выше 3.500 гр. Он очень худ, кожа на

его тельце сухая, морщинистая, понос до 7 раз в сутки. Спит мало, сон поверхностный, взгляд усталый; плаксивое, старческое лицо, часто плачет, безучастен и равнодушен к окружающему. Назначаем молочную смесь с сахаром и 3 раза грудь. Ест плохо, высасывает не более 100 см³ за раз. Переводим на цельное молоко — то же самое. Увеличиваем сахар — картина не меняется. Заменяем сахар мукой «Фита» — положение остается прежним: вес в течение 3½ мес. колеблется в пределах 3.000—4.000 гр. Переводим на гравидан. Уже через неделю можно отметить резкое изменение в поведении ребенка. Сон глубокий, продолжительный. Прежнюю порцию молочной смеси с сахаром всасывает полностью и явно ею не довольствуется. Переводим на цельное молоко с сахаром. Усвоение пищи повышается, стул становится нормальным. Появляется впервые улыбка. Витя живо реагирует на ласку, игрушку; делает попытку поднять головку; живо следит глазами за ухаживающим персоналом. Вес за 10 дней прибывает почти на 1.000 гр. Через месяц легко болеет корью, в течение которой весовая кривая падает до 3.800, но затем быстро поднимается до 6.000 гр. За время лечения Витя вырос соответственно своему возрасту и выглядит окрепшим.

При рахите под влиянием лечения гравиданом наблюдается нарастание неорганического фосфора в крови, отсюда процесс обизвествления костей приближается к норме. Закрытие швов и родничков ускоряется. Быстрее идет прорезывание зубов (иногда до 3—4 сразу). Количество, точность и уверенность движений значительно возрастают, ускоряется психическое развитие детей, повышается тонус.

Контрольная группа детей — рахитиков, находящихся в тех же условиях режима, но получающих вместо гравидана рыбий жир (в качестве противорахитического средства), заметного улучшения в течении болезни не дает. Дети чрезвычайно легко переносят уколы гравиданом, при этом никаких побочных явлений или осложнений не наблюдается».

«Под влиянием гравидана психическая и физическая отсталость хорошо выравнивается и в более позднем детском возрасте.

Маринке 5 лет. Она мала ростом, бледна, одутловата. Тупое выражение лица, замкнута. Сидит большей частью в углу, на стуле, молчит. В игрушки не играет, ничем не интересуется. Безразлична к еде.

После приема гравидана внутри резкая перемена. Отечность прошла, появился румянец. За короткий срок Маринка заметно выросла, прибавила в весе, но что особенно поразительно, это — изменения в психике. От замкнутости не осталось следа — она стала «говоруньей» и «непоседой». Лукавыми, живыми глазами следит за всем, что происходит в амбулатории. Не менее активна и подвижна дома, с большим интересом играет в игрушки, тянется в компанию своих сверстников.

В приведенном случае неполноценность развития вызвана, несомненно, нарушениями эндокринного равновесия: недостаточная функция щитовидной железы была налицо.

Таким образом, гравидан устраняет неполноценность развития детей, повышает их сопротивляемость к различного рода вредностям, чем и понижает процент их смертности.

Гравидан является другом таких детей. Об этом мы не должны забывать».

II. ГРАВИДАН КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ПОЛИГОРМОНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ

Как только оплодотворение совершилось и плодное яйцо внедрилось в слизистую оболочку матки, организм женщины бурно перестраивается на новый лад: он старается создать наиболее благоприятные условия роста и развития плода, доставляя ему все необходимое с большим избытком. Соответственно этому у беременных значительно повышается белковый, жировой, пигментный и солевой обмен.

Многие железы внутренней секреции увеличиваются в объеме, появляется и

новая железа — плацента. Функция эндокринных желез повышается, они начинают выделять в кровь значительно больше, чем в обычный период (вне беременности), количество особых веществ — гормонов. Последние являются важнейшими активными регуляторами всех жизненных процессов как растущего, так и взрослого организма.

Ничтожные количества этих веществ могут производить колоссальные изменения в организме. Точная природа огромного количества гормонов неизвестна. В химически чистом, кристаллическом виде выделены — женский половой гормон (фолликулин), гормон щитовидной железы (тиреоксин), гормон надпочечников (адреналин). О наличии же большинства других можно судить лишь на основании биологических реакций. Близкими гормонам по своему значению для организма являются ферменты и витамины. Последние научные изыскания указывают на сходство их химического строения. С достоверностью можно говорить о наличии в моче ферментов, с большей долей вероятности — о присутствии витаминов, которые, как нашей точки зрения, являются растительными гормонами. Избыток гормонов, образующихся в организме беременной женщины, переходит из крови в мочу. Это мы видим на примере полового гормона (фолликулина) и гормона передней доли мозгового придатка или гипофиза (пролана), содержание которых в моче беременных женщин увеличивается в сотни и тысячи раз по сравнению с содержанием их в моче вне периода беременности.

Помимо указанных гормонов в моче беременной женщины обнаружены и другие гормоны и вещества с гормоноподобным действием (гормоны роста, сна, жирового и пигментного обмена, гормоноподобные вещества, регулирующие кровяное давление, сердечный гормон и др.).

Число открываемых в моче беременных женщин гормонов растет с каждым днем. С уточнением методики исследований будет открыт еще целый ряд неизвестных нам гормонов. Кроме гормонов, витаминов, ферментов, моча

богата продуктами обмена и солями. Все эти элементы находятся в моче беременных в определенной взаимосвязи, образуя ценный биологический комплекс, который сохраняется в гравидане благодаря особому способу его получения и обуславливает мощное действие этого полигормонального препарата при различных заболеваниях.

За последние годы многочисленные работы посвящаются изучению действия женского полового гормона — фолликулина и гормона передней доли мозгового придатка (гипофиза) — пролана. Это объясняется как биологической ценностью указанных гормонов, так и доступностью и дешевизной исходного сырья для их получения, именно — мочи беременной женщины (и животных), в которой они содержатся в громадных количествах.

Связь гипофиза с половыми железами доказана экспериментально: удаление гипофиза ведет к атрофии половых желез. Усиленная функция мозгового придатка (его передней доли) повышает функцию половых желез. Другими словами — гормон одной железы побуждает другую железу к выработке гормона.

Работы различных авторов (Бидля, Ашнера, Смита, Аштейма, Цондека, Штейнаха и др.) указывают на первенствующую роль пролана в процессах созревания, одряхления и омоложения организма и на подчиненную при этом роль половых желез.

Аналогично гипофизу и половым железам тесная взаимосвязь доказана и для других желез внутренней секреции: заболевание одной железы всегда сопровождается нарушением функций остальных желез. Поэтому одновременное введение в организм комбинации нескольких гормонов должно при эндокринных заболеваниях оказывать особенно хороший эффект. Однако, нельзя забывать, что гормоны чрезвычайно хрупки, и искусственное выделение их из того или иного вида сырья всегда сопровождается их травмой и в значительной мере изменяет и понижает их активность.

В гравидане гормоны находятся в естественной, созданной самим организ-

мом, среде и биологическом сочетании. Отсюда тот часто разительный эффект, который мы наблюдаем при различных патологических состояниях, во многих случаях не уступающий никаким видам лечения. Широта применения гравидана и мощность его действия, как полигормонального препарата, объясняется общей сущностью огромного большинства заболеваний. Эта сущность сводится к изменению нормального течения жизненных процессов в организме вследствие нарушения нервной и эндокринной (гормональной) регуляции.

Влияние гравидана на эндокринные железы в эксперименте

Наиболее богатыми данными мы располагаем в области влияния гравидана на половую функцию.

Работы Г. Тинякова показали, что под влиянием гравидана у голубей в зимний период глубокого полового покоя наблюдается пышный расцвет сперматогенеза с наличием вполне созревших сперматозоидов. Размеры семенных канальцев увеличиваются в 5—6 раз и более по сравнению с семенниками голубей, не получивших гравидана. Более интересная картина получается с голубями, страдавшими авитаминозом «В». Обнаружено, что в результате авитаминозной пищи происходит атрофия семенников, и на 20-й день кормления в них нельзя бывает обнаружить зрелых сперматозоидов. Если же авитаминозным голубям делать впрыскивания гравидана, то картина резко меняется: никакого атрофического процесса в семенниках уже не бывает, а налицо имеется пышный сперматогенез с наличием сперматозоидов.

Даже на 43-й день опыта в семенных канальцах еще попадают зрелые сперматозоиды.

Опыты, поставленные нами на базе Зоопарка, подтверждают стимулирующее влияние гравидана на половой аппарат рыб, черепах, ящериц и других животных.

Трехгодовалым язам, через месяц после выметывания икры, был впрыснут гравидан 5 раз по 2 см³. Через две недели рыбы были вскрыты; оказалось,

что икра у них и по весу и по объему была в 10 раз больше икры, взятой от контрольной рыбы. Икра, выметанная окунями на 4 месяца раньше обычного икротетания, после впрыскивания гравидана, оказалась вполне созревшей и, политая молокой, дала новое потомство.

Введение гравидана черепахам в период спячки сопровождается появлением большого количества созревших яиц. Это интересно еще и потому, что черепахи вообще редко несутся в неволе.

Ящерица варан ни разу не несла яиц за все три года своего пребывания в Зоопарке. После 5 уколов гравидана несла 7 яиц.

Молодой самец страус-эму отказывался крыть самку и относился к ней с полным безразличием. Это поведение возмутило самку, она напала на эму и стала его клевать. Самец забился в угол, ища защиты, и так поступал всякий раз при виде самки. После нескольких уколов гравидана картина изменилась: перья на шее эму своеобразно взъерошились, и он стал издавать особые звуки, похожие на любовную трель. Первая попытка эму к спариванию не удалась, так как он запутался лапой в сетке и был чрезвычайно рассержен этим обстоятельством (при спаривании страусы подползают к самке наподобие черепах).

На следующий раз спаривание произошло нормально. В настоящее время эму является одним из лучших производителей.

Интересные опыты по изучению влияния гравидана на половую функцию поставлены на соболях, черных лебедях, утках, курах и рыбах.

Из работ Г. Тинякова с голубями ясно следует влияние гравидана и на щитовидную железу в смысле изменения в ней содержания коллоида.

Работы Е. Перепелкиной с белыми мышами указывают, что влияние гравидана на половые железы сказывается одновременным влиянием и на другие железы внутренней секреции.

Благоприятное действие гравидана на эндокринную систему животных, в частности, на половые железы, примене-

но нами в животноводстве. Интересная работа поставлена по муловодству в Таджикистане. Как известно, мул является помесью осла и лошади. Для поднятия полового влечения и потенции ослам был впрыснут 3—4 раза гравидан по 20—30 см³. В результате безразличное, холодное отношение ослов к кобылам, находившимся в охоте, сменилось бурным ухаживанием и полноценным половым актом.

Один из таких ослов — Рафик — в течение одной случайной кампании сделал около 100 садок, покрыл 40 кобылиц. Вместе с этим осла обнаруживали заметное повышение мышечной силы. На них начали возить дрова, камни, сено, чего они до лечения гравиданом делать не могли.

Повышение половой функции под влиянием гравидана наблюдалось нами у нетелей, яловых коров, быков, овец, баранов и других животных.

В одном совхозе из коров, страдающих инфекционным абортom (болезнь Банга), была выделена для опытов группа коров с повышенной половой возбудимостью (нимфомания). Они часто крылись, но зачатия не наступало. После нескольких уколов гравидана по 30—40 см³ коровы были покрыты, забеременели и в срок отелились.

Гравидан при эндокринных заболеваниях в клинике человека

Положительное действие гравидана при различных эндокринных заболеваниях отмечено нами и в клинике человека. Массовые наблюдения в этом отношении касаются заболеваний, связанных с нарушением функций полового аппарата и щитовидной железы.

С большим успехом применяется гравидан при импотенции у мужчин и недоразвитии вторичных половых признаков в юношеском возрасте.

Среди мужчин с расстройством половой сферы большое и важное место занимают больные с явлением половой неврастении. Эти жалкие, несчастные больные наполняют приемные специальных лечебниц и кабинеты врачей «специалистов». Обычно это физически

сильные и нормальные во всех отношениях мужчины. Половое бессилие у многих из них развивается после какого-либо случайного недоразумения во время полового акта. Это обстоятельство очень омрачает их настроение, они теряют веру в себя, часто становятся неполноценными работниками.

В огромном большинстве случаев различные виды лечения не приносят им облегчения. Считая себя неизлечимыми, они часто страдают навязчивыми мыслями о самоубийстве. На этой почве разыгрывается немало семейных драм.

Применение гравидана во многих случаях ведет к быстрому успокоению всей нервной системы, возвращает больному веру в себя и в возможность излечения. Нервное равновесие ведет в свою очередь к восстановлению нормальной половой функции, устранению семейных драм и повышению трудоспособности.

Аналогичное влияние оказывает гравидан и на женскую половую сферу: после нескольких уколов гравидана у так называемых холодных (фригидных) женщин значительно повышается половое влечение (либидо).

С большим успехом проводится нами лечение гравиданом столь распространенных заболеваний женского полового аппарата, как нарушения менструально-го цикла.

Нам не страшны теперь такие заболевания, как, например, тяжелые формы маточных кровотечений, особенно кровотечений юношеского возраста. С этим заболеванием не справляются не только рядовые врачи, но и отличные профессора-гинекологи. В подобных случаях нередко приходится хирургу прибегать к удалению матки, чтобы спасти больную, искалечив ее на всю жизнь.

По этому поводу мне хочется привести один случай из практики 1934 г. Больная, 33 лет, — жена шофера. За последние 3 месяца ей сделано 7 выскабливаний из-за неудержимого маточного кровотечения. У больной на руках была путевка на удаление матки. Резкое малокровие и общая слабость. Малые до-

зы гравидана в течение месяца прекратили кровотечение. На следующий месяц больная расцвела.

Мы не можем пройти мимо особой группы больных, по существу, являющихся здоровыми. Я имею в виду случаи многолетнего бесплодия без видимой к тому причины. Такие женщины часто желают иметь детей, обращаются без конца к специалистам, принимают различные виды лечения, но беременность не наступает. В результате вечная неудовлетворенность, различные нервные явления. Мы имеем около 20 случаев 7-, 10- и 20-летнего бесплодия, ликвидированного применением гравидана.

Приведу из них два наиболее интересных случая. Женщина 43 лет, на вид цветущая, хорошо упитанная. Двадцать лет назад были единственные роды, родила в срок двух вполне доношенных детей. Считает себя абсолютно стерильной. Месячные нормальные. Обратилась ко мне по поводу переутомления. Через 1½ месяца после начала лечения гравиданом — задержка месячных. Реакция Ашгейма и Цондека на мышах указывает на беременность, подтверждающуюся позднее гинекологами и абортom, за которым в течение года последовало еще 2 аборта. Такого рода результаты заставили больную отказаться от дальнейшего лечения гравиданом.

Не менее интересен второй случай. Больная, 30 лет, страдает туберкулезом легких. Отсутствие аппетита и общая слабость. Месячные нормальны. 8 лет назад сделано кесарево сечение на 6-м месяце беременности. За этим последовало тяжелое воспаление тазовых органов и полная стерильность. Лечилась за границей у Штейнаха, Цондека, у больших специалистов в Англии — безрезультатно. Обратилась ко мне, жалуясь на возрастающую слабость. Я предупредил больную, что гравидан повышает способность к зачатию, а потому в результате лечения может наступить беременность. Больная обрадовалась, так как очень хотела иметь ребенка. Улучшение общего состояния началось после

первого введения гравидана, — появился аппетит и бодрость. Через 1½ месяца (10 уколов) задержка месячных. Одновременно появилось набухание грудных желез, пигментация сосков, отделение молозива. Реакция Ашгейма - Цондека на мышах, как и в первом случае, дала указание на беременность.

Я поставил больную в известность о том, что она беременна, и направил ее к видным московским гинекологам, которые наблюдали больную в течение многих лет и считали ее стерильной. Так было и на сей раз: считая беременность «принципиально» невозможной, они отрицали 6-недельную беременность у этой больной. При встрече со мной один из известных профессоров-гинекологов спросил меня, на основании чего я поставил диагноз беременности. Я умолчал о реакции Ашгейма-Цондека и ответил, что беременность установлена мною на основании увеличения грудных желез и пигментации сосков. Выслушав меня, профессор твердо заявил, что беременность у этой больной невозможна. Тогда я открыл секрет, — указания на беременность дает положительная реакция на мышах. Удивленный профессор тотчас переменил мнение и согласился с моим диагнозом. В дальнейшем хорошо протекавшая беременность закончилась нормальными родами; больная родила здоровую девочку и сама отмечала прогрессирующее улучшение в своем здоровье.

По поводу влияния гравидана на щитовидную железу мне вспоминается случай из личной практики. Дело было в конце февраля 1929 г., в деревне Тимонино Клинского района. В конце приема я заметил ожидавшего меня старика. Спросил, в чем дело. Оказалось, что он приехал за мною, настойчиво просит посмотреть свою жену: «Не откажитесь, батюшка, а не то сыновья бороду выдерут... Тухнет моя старуха-то, совсем плоха; вот увидишь, я ее в перздах поставил... Я уже с Дуняшкой сошелся, ты ее знаешь. Мы с ней договорились — коль старуха помрет, она мне вместо жены будет... Я уж и гроб сколотил».

Приезжаем. В переднем углу под образами лежит 46-летняя женщина. На вид ей под семьдесят: резкое истощение, кожа суха, лицо морщинистое, на голове облысевшие участки; от слабости еле поворачивается; находится в постели 7 месяцев. Заболела 3 года назад, — прекратились месячные, появились приливы, сердцебиение, неустойчивость нервной системы; 7 месяцев назад удалена щитовидная железа. После операции слабость стала нарастать, и больная дошла до такого тяжелого состояния, в котором я ее застал. Чтобы утешить родных, я ввел ей внутримышечно 15 см³ гравидана и, попросив сообщить о состоянии больной, уехал. Через неделю больную привезли ко мне домой; она стала вставать с постели, интересоваться домашними делами, появился аппетит. На вид больная заметно посвежела. Я повторил укол, — состояние стало еще лучше. Через 1½ месяца, в течение которых я сделал больной 8 уколов, больная стала приходить ко мне на прием пешком за 5 километров. Стала прибывать в весе; заметно помолодела. Сухость кожи исчезла, лысины заросли новыми волосами. С мая восстановились месячные и до сентября, пока я наблюдал больную, были нормальны. В прошлом году я узнал, что вскоре после окончания лечения она вступила в колхоз, где и работает до сего времени. И что любопытно, — она давно похоронила мужа, приготовившего ей в свое время гроб.

Тяжелое состояние больной было, несомненно, связано с резким нарушением во всем эндокринном аппарате на почве удаления щитовидной железы во время тяжелого климакса. Гравидан восстановил нарушенное гормональное равновесие и тем самым восстановил общее состояние больной.

Положительное действие гравидана при заболеваниях щитовидной железы, связанных с повышением или понижением ее функций, проверено нами на поликлиническом материале, охватывающем около трехсот случаев.

Сравнительно небольшой материал составляют случаи с преимущественным поражением других желез внутренней секреции. Таковыми являются диабет, или сахарное мочеизнурение, на почве поражения поджелудочной железы; несахарное мочеизнурение — с поражением гипофиза, бронзовая болезнь — с нарушением функции надпочечников и другие.

В группе эндокринных заболеваний гравидан оправдал себя как весьма активный полигормональный препарат.

Гравидан и проблема рака

Этот заголовок вызовет, по всей вероятности, удивление и возмущение многих специалистов. И то, и другое — напрасно. Мы ни в какой мере не собираемся доказывать, что гравидан излечивает рак, наша задача скромнее — поделиться полученными нами клиническими и экспериментальными данными, а также теоретическими соображениями по этому поводу.

Еще в 1929 г., в связи с применением гравидана, я проводил экспериментальную работу по мышинному раку. Оказалось, что мыши, получавшие предварительно гравидан, более устойчивы к прививкам: опухоль у них прививалась труднее и в дальнейшем обнаруживала склонность к более медленному росту. Вес также держался устойчиво. Перевивка таких опухолей здоровым мышам не всегда удавалась.

В другой серии опытов прививка рака производилась всем животным без предварительного введения гравидана. В дальнейшем, с момента явного привития опухоли, часть мышей систематически получала гравидан, другая часть была оставлена для контроля. Результаты оказались аналогичными первому опыту: у мышей, получавших гравидан, опухоль развивалась медленнее, изъязвление наступало позднее и протекало доброкачественно. И жили они дольше. Эти наблюдения вполне подтверждаются на большом экспериментальном материале.

Рак является одним из тяжелейших заболеваний человека. Ранняя диагно-

стика рака, особенно внутренних органов, весьма затруднительна; здесь возможны ошибки для самых крупных специалистов. Чаще всего рак устанавливается тогда, когда время для хирургического или другого вида врачебного вмешательства бывает упущено, и больной обречен на более или менее быстрое угасание и смерть.

В запущенных случаях внешний вид и общее состояние больных настолько типичны, что по ним простой обыватель нередко сам устанавливает правильный диагноз. Таковы — нарастающая, без видимых причин, слабость, прогрессирующее похудение, доходящее до крайних степеней истощения, когда больной превращается в «живые мощи», бледность кожи с восковидным оттенком, резкое малокровие.

В зависимости от локализации ракового процесса находится развитие тех или иных симптомов и тяжесть течения болезни.

Особенно тяжело протекает рак пищевода, когда в силу резкой болезненности и затруднения глотания больные обречены на голодную смерть. Наиболее тягостными симптомами при раке являются боли, которые причиняют больным жестокие страдания. Для облегчения этих страданий обычно назначаются морфийные препараты. А так как рак — заболевание хроническое, то прибегать к наркотикам приходится постоянно, что называется, «до последнего вздоха больного».

Таких тяжелых больных нам пришлось встретить немало. Почти все больные хотели от нас одного — облегчения страдания и прежде всего — болей. Учитывая общетонизирующие свойства гравидана и его быстрое противоболезное действие, мы брали этих больных на лечение гравиданом, не рассчитывая, конечно, на выздоровление. Однако, в результате лечения мы имели безусловно положительные сдвиги в течении болезни, которые заслуживают прежде всего внимания лечащего врача. Так, в огромном большинстве случаев наблюдалось быстрое уменьшение или полное прекращение болей без применения нар-

котиков. При раке пищевода глотание и прохождение пищи по пищеводу значительно облегчалось. Настроение больных резко менялось — они становились жизнерадостными и живо интересовались окружающим. У большинства появлялся аппетит, вес нарастал, иногда значительно (до 4 кг и более). Некоторые больные временно приступали к легкой работе. Словом, больные переставали быть в тягость себе и окружающим. Многие из них значительно переживали установленные специалистами сроки. Сама смерть наступала обычно легко, без страданий. Вряд ли можно сомневаться в том, что наши безнадежные больные получили значительное облегчение своих страданий в результате упомянутого лечения и что врач тем самым выполнил свое прямое назначение.

Такова практическая сторона дела.

Теоретические соображения, оправдывающие применение гравидана при раке, сводятся к следующему:

В основе раковой опухоли лежит разрастание клеток определенной ткани, вследствие нарушения равновесия между процессами убыли клеток и процессами их размножения. Эти процессы подчинены регулирующему влиянию нервной системы и желез внутренней секреции.

На значение нервно-эндокринного момента в развитии рака указывают частые случаи рака на почве нервных и психических травм, а также наибольшее его распространение в пожилом возрасте, в период угасания функций половых желез, т. е. в период эндокринной перестройки организма.

Отсюда ясно, что гравидан, т. е. полигормональный препарат с его выраженным регулирующим влиянием на нервную систему и железы внутренней секреции может оказать полезное действие при лечении рака, особенно на ранних стадиях его развития. Поэтому выдвинутая нами проблема лечения рака гравиданом, кроме практического значения, имеет еще и большой научно-теоретический интерес.

Гравидан в хирургии

Как ни странно, но это так: хирургический нож, который, казалось бы, является наиболее верным, а во многих случаях и единственным, оружием в борьбе с тяжелыми гнойными процессами, может быть заменен иголкой. Я имею в виду гравидан.

Тяжелые формы гнойного воспаления сосцевидного отростка (мастоидиты) часто требуют неотложной хирургической помощи, а сама операция — тонкой, искусной техники. В результате непостоянный эффект, отсюда — повторное вмешательство.

Смерть от этой операции — далеко не исключение. В случаях успеха остается ослабление слуха или памяти на всю жизнь, а также нередко из-за повреждения лицевого нерва перекошенное лицо.

Работа д-ра Б. Заседателя в клинике проф. Свирижевского показала, что применение гравидана при мастоидитах дает в большинстве случаев выздоровление без оперативного вмешательства. Так, на 86 случаев самых тяжелых форм гнойного воспаления сосцевидного отростка у взрослых больных, неизбежно подлежавших операции, оперировано всего 25 человек. У детей часто получается особенно яркий эффект. Мне припоминается случай с восьмилетним ребенком, у которого в результате перенесенной скарлатины появился мастоидит: стреляющие боли в ухе, высокая температура, тяжелое общее состояние. Процесс быстро ухудшался. Растерявшаяся мать не удовлетворилась диагнозом московских профессоров и вызвала на консультацию известного профессора из Ленинграда. Последний подтвердил диагноз мастоидита. Ребенку был сделан прокол, однако безрезультатно. Положение становилось опасным. Специалисты настаивали на срочной операции. Мать не решалась. Моя пациентка, сама врач, знакомая матери, обратилась ко мне за советом. Я рекомендовал с операцией подождать суток двое-трое, немедленно ввести ребенку 3 см³ гравидана и сообщить мне на следующий день

о результатах. Через 6 часов после введения гравидана общее состояние ребенка стало значительно лучше, боли заметно стихли, ребенок мог спокойно уснуть. На следующие сутки гравидан введен повторно. Улучшение нарастало, температура стала спадать. Через двое суток картина настолько изменилась, что вопрос о хирургическом вмешательстве отпал: краснота и воспалительный отек резко уменьшились, и оттопыренное ухо стало на свое место. Лицо лечившего ребенка врача, не знавшего о применении гравидана, выражало удивление. Мать решила открыть секрет, и удивление врача быстро сменилось досадой: «Спутали всю картину», сказал он. Ребенок быстро поправился и с полным восстановлением слуха.

Не менее тяжелым заболеванием является старческая гипертрофия предстательной железы. В запущенных случаях с большой задержкой гнойной и гнилостной мочи на почве расстройства мочеиспускания единственным способом облегчения тяжелого страдания этих больных является операция: надлобковый свищ или удаление предстательной железы. Смертность от этой операции достигает 15—50 проц. Работа д-ра Левант и профессора Топчана в урологической клинике показала, что в результате лечения гравиданом большой процент этих больных избавляется надолго от страданий без всякого оперативного вмешательства. Представьте себе 72-летнего старца, моего пациента. Симптомы указанного заболевания у него начали появляться 2 года назад. Постепенно прогрессируя, болезнь довела его до тяжелого состояния. Сильная слабость, похудение, землисто-серый цвет лица, апатия, постоянная фиксация внимания на акте мочеиспускания. Бесперывные болезненные позывы на мочу — за одну ночь до 30 раз. Моча с гнилостным запахом вследствие задержки ее в мочевом пузыре выходит небольшими порциями. Мочевой пузырь растянут большим количеством остаточной мочи. Значительные изменения в сердце, напряженный пульс, высокое крозяное давление. Первые уколы значительно улучшили общее со-

стояние больного, уменьшили боли и сократили позывы на мочу от 15—20 раз в сутки до 5—6 раз в ночь, — появилась возможность спать. Через 3 недели мочеиспускание стало нормальным. К больному вернулась его жизне-радостность и юмор. Силы восстановились настолько, что он снова смог выступать на сцене. С тех пор прошло почти 3 года. Больной до сих пор считает себя «здоровым».

Гнойная хирургия в амбулаторной практике, это — бесконечные флегмоны, карбункулы, костные панариции, тромбозы, долго не заживающие, гноящиеся раны, свищи и т. п.

В 1-й объединенной поликлинике МЖДУ проф. Брайцевым и д-ром Поповой применение гравидана в качестве вспомогательного средства при хирургическом лечении таких больных проверено на материале 651 случая. Оказалось, что применение гравидана значительно сокращает сроки указанных гнойных процессов, при этом злокачественные формы воспалений переходят в менее тяжелые, отгнивание тканей и заживление ран идет значительно быстрее. Улучшается общее состояние больных.

Здесь я останавливался лишь на двух случаях из своей практики. В первом — речь идет о тяжелой форме карбункула, во втором — о костном панариции, в просторечии — костоеде.

Больного, 60-летнего старика, к которому меня вызвали, я застал в кресле со страдальческим выражением лица: малейший поворот головы вызывал невыносимую боль. Карбункул (множественное скопление чириев) занимал огромную площадь шеи, от одного уха до другого. Общее тяжелое состояние и плотность воспалительного участка исключали оперативное вмешательство. Я ввел ему 15 см³ гравидана, это было утром, и уехал домой. Вечером я навещал больного. Общее состояние было лучше, боли несколько тише. Ввел повторно 8 см³ гравидана. Через сутки инфильтрат сконцентрировался, уменьшившись почти наполовину. Незначительные боли оставались. На третьи сутки в центре воспалительного очага появилось размягчение. Я сделал широ-

кий разрез, из которого легко удалил пинцетом все омертвевшие ткани, и во избежание большого расхождения краев ран скрепил последние в центре пластырем. Через 2—3 недели больной поправился. Хирурги знают, как часто подобные случаи кончаются смертью.

При костоеде возможно более раннее вмешательство ножа необходимо. Если время упущено, болезнь тянется месяцами, захватывает глубже лежащие ткани, переходит на кость, которая разрушается, часто бывают затронуты сухожильные влагалища. Последнее ведет к обезображиванию кисти, — пальцы скрючиваются, движения их резко ограничиваются.

Больной П., рабочий, наколот на службе палец металлической стружкой. Он явился ко мне на четвертый день болезни с жестокими болями и резкими воспалительными явлениями, захватившими уже сухожильные влагалища. Движение пальцев было почти невозможно. Я предложил больному немедленное хирургическое вмешательство, от которого он отказался. Через сутки процесс значительно ухудшился, боли стали невыносимыми. Больной снова явился ко мне и на сей раз согласился на операцию. Я ограничился небольшим разрезом на пальце, ввел больному 10 см³ гравидана и, наложив повязку, отпустил домой. Через сутки боли стихли; через трое суток воспалительный отек и краснота почти исчезли; пальцы двигались значительно свободнее. Не прибегая более к хирургическому вмешательству, я сделал больному еще несколько уколов гравидана. Через 3 недели больной приступил к работе с полным восстановлением движения и ничтожным свищевым отверстием на пальце. Рентген, установивший нарушение кости в начале болезни, дал через 1½ месяца от начала лечения ее полное восстановление.

Такое течение и исход болезни являются редкостью.

За девять лет своей болезни (свищ заднего прохода) один больной был оперирован двенадцать раз. В результате временное улучшение: больной приступал к работе, но прохо-

дил сравнительно небольшой срок, и болезнь возвращалась. Каждое описание такого рецидива больной в своем письме начинает со слов: «обратно заболел и был направлен на амбулаторное лечение». Далее следовало описание направления на операцию, сама операция, и сказка начиналась с начала: «обратно заболел» и т. д. Неожиданный конец ей положил гравидан. В полном отчаянии больной обратился ко мне за помощью. Я выслушал печальный рассказ больного, осмотрел его, сказал: «Дело можно без ножа одной иглой поправить», и приступил к лечению гравиданом. Через месяц свищ совершенно закрылся, болезненные явления исчезли; миновав на сей раз операцию, больной приступил к работе. Сказка потеряла знакомое читателю начало; болезнь на протяжении нескольких лет не дает рецидива. Случай этого больного весьма поучительный, он подтверждает сказанное мною в начале настоящей главы: во многих тяжелых случаях хирургический нож может быть заменен иглой.

Гравидан при инфекциях

На протяжении всей своей жизни человек ведет борьбу с неисчислимой армией микробов, обуславливающих различные инфекционные заболевания. В процессе этой борьбы организм вырабатывает целый ряд «защитных веществ» («антитоксинов» и «антител»), обезвреживающих как самих микробов, так и выделяемые ими яды (токсины), и тем предохраняют себя от заболевания. Эти вещества поступают в кровь, где они могут быть обнаружены путем особых реакций. Выработка защитных тел зависит в большой мере от общего состояния организма: чем сильнее организм, тем способность эта выше и тем больше шансов избежать заболевания.

При ослаблении организма происходит недостаточная выработка антител, в результате развивается та или иная инфекция. Дальнейшее течение, а также исход инфекции зависят от многих причин, из которых главной остается все же состояние защитных сил организма. Повысить сопротивляемость организма

по отношению к инфекционным началам (микробам, ядам) означает также повысить его способность к выработке антител.

В период работы 1929—32 гг. мне не раз приходилось применять гравидан при острых инфекциях — гриппе, ангине, кори, воспалении легких. При этом оказалось, что впрыскивание гравидана в начале заболевания обрывало болезнь; применение его в более поздние периоды облегчало течение болезни и предохраняло больных от различных осложнений. Так, мне удалось оборвать гравиданом корь у своего сына.

В 1933—34 гг. лечение гравиданом было испытано в Боткинской больнице при сыпняке и брюшном тифе. Первую группу больных составляли выздоравливающие от этих тяжелых инфекций; часть из них, оставленная для контроля, гравидана не получала. Результаты оказались прекрасными: больные, получавшие гравидан, быстро выходили из своего беспомощного состояния, раньше начинали вставать и двигаться, становились веселыми, живо интересовались окружающим, нарастали в весе и значительно быстрее, чем контрольные больные, восстанавливали свои силы и трудоспособность.

Эти наблюдения позволяли действовать смелее, и гравидан в дальнейшем начали применять при тех же инфекциях в начале и в разгаре болезни. Результаты получились не менее благоприятные: болезнь у получавших гравидан протекала легче, температура падала раньше, общее состояние даже в разгаре болезни оставалось относительно хорошим.

Работа проф. Г. Божовского в инфекционном отделении областной больницы г. Нальчика, а также наблюдения Я. А. Боксера, И. Миртовской и М. Козирова в инфекционном отделении Тубинститута в Иваново-Вознесенске вполне подтвердили наблюдения Боткинской больницы.

Аналогичные результаты получены д-ром Е. Левант в урологической клинике при лечении гравиданом гонорреи.

Говоря об инфекции, нельзя умолчать о малярии. Эта проблема требует особого освещения. Я коснусь лишь вкратце интересных наблюдений наших экспедиций на Северном Кавказе и в Поволжье, а также наблюдений тропических станций (Нальчик, Батум, Севастополь, Потти).

При тяжелых формах хронической малярии с резким истощением на почве малокровия, с отеками, тяжелыми кишечными поражениями, нервн-психическими расстройствами и длительной потерей трудоспособности гравидан оказывает резко положительное действие, как в период затишья, так и во время рецидивов болезни. Это выражается быстрым подъемом общего тонуса — появлением сна, аппетита, бодрого настроения уже после первых впрыскиваний. Также быстро исчезают ознобы, боли, прекращаются поносы (часто кровавые), убывают или исчезают отеки, значительно сокращается селезенка. Температура падает в одних случаях после первого укола, в других после нескольких впрыскиваний. Приступы становятся легче и короче. Сила и трудоспособность больных быстро восстанавливается.

Аналогичное влияние оказывает гравидан и на течение малярии в остром периоде при свежих заражениях. Но что особенно интересно, это — влияние гравидана на паразита малярии. В случаях лечения хинином, несмотря на самые тщательные исследования, паразита в крови часто обнаружить не удается. С прекращением типичных приступов и других симптомов болезни эти больные считаются излеченными и безопасными в смысле передачи инфекции через комара здоровым лицам. Применение гравидана вызывает в большом проценте этих случаев появление паразитов в периферической крови. Это позволяет выявить скрытых паразитоносителей. С другой стороны, указанный факт наряду с исчезновением паразитов и их разрушением, отмеченными нами далеко не в единичных случаях, представляет большой научный интерес. Влияние гравидана на паразита и течение малярийной инфекции открывает перед нами но-

вые возможности в разрешении проблемы механизма действия различных противомаларийных средств и явлений иммунитета.

Благоприятное действие гравидана на течение различных инфекций получило в настоящее время научное объяснение. Гравидан повышает сопротивляемость организма, стимулируя последний к усиленной выработке антител. Экспериментальные работы проф. К. Фриде и Н. Ганталовой (с тифами и дизентерией) показали, что у иммунизированных животных, предварительно получавших гравидан, образование антител наступает раньше и держится дольше; содержание их в крови указанных животных значительно выше, чем у контрольных. Выживаемость иммунизированных животных по сравнению с контрольными в 2½ раза выше.

Все мы знаем, сколько жизней унесено в тяжелые эпидемии брюшного и сыпного тифа, и сколько ежегодно умирает детей от дифтерии.

Всякий профилактический или лечебный успех на этом фронте является достижением. К этим достижениям должны быть отнесены результаты лечения гравиданом указанных инфекций.

Что подумает читатель, если мы ко всему сказанному выше добавим, что гравидан с успехом применяется в клинике глазных, зубных, душевных, желудочно-кишечных и других заболеваний?

Многие скажут — «панацея», «живая вода», реклама.

Ни то, ни другое и не третье.

Вопрос применения гравидана проще, чем это кажется. Всякое заболевание есть, в сущности, нарушение гормонального течения жизненных процессов организма вследствие часто неясной для нас причины нарушения нервной и эндокринной регуляции. Богатство гравидана гормонами и другими лечебно-активными веществами обеспечивает ему мощное регулирующее действие на нервную систему и железы внутренней секреции. Отсюда восстановление нарушенного равновесия в течении жизненных процессов, т. е. улучшение или выздоровление. Следовательно, в широ-

те применения гравидана и в его положительном действии при целом ряде заболеваний нет ничего абсурдного. Теперь о «панацее» и «живой воде». Правда, мы не видели отрицательного действия гравидана, но равным образом ни в одной группе заболеваний не получили 100 проц. эффекта. Результаты лечения зависят не только от «целебных» свойств гравидана (что несомненно) и от умения его применять, но также в большой мере от тяжести случая, запущенности болезни, состояния за-

щитных сил организма и обратимости процесса. Нельзя ожидать эффекта там, где оборонительные силы организма падают ниже определенного предела, где имеются стойкие и необратимые изменения, где все погибло.

Гравидан является несомненно одним из мощных средств, которыми располагает советская медицина. Гравидан может спасти от преждевременной смерти, продлить жизнь в ее физиологических пределах, отодвинуть наступление старости, но бессмертия гравидан не дает.

Литература и искусство

1. П. РОЖКОВ. — Об определенности характеров. 2. Е. ГАЛПЕРИНА. — «Не перевода дыхания» Эренбурга. 3. Л. ПОЛОНСКАЯ. — Исповедь одинокого художника. 4. К. СИТНИК. — Онора Домье и его эпоха. 5. С. ЧЕМОДАНОВ. — «Кармен» в театре Станиславского.

1. ОБ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ ХАРАКТЕРОВ

П. Рожков

Как известно, факт отставания критики уже давным-давно является общепризнанным. Однако, недостаточно признать факт отставания критики: необходимо ясно и точно указать, — в чем же по сути дела это отставание выражается. И как только вопрос ставится на эту конкретную почву, то сразу же становится ясным, что между нашими критиками нет единомыслия, что между ними существуют весьма глубокие разногласия. Непонимание существа отставания критики особенно рельефно выражается в некритическом отношении к рапповскому «наследству», к теоретическим основам бывшей рапповской критики. Некоторые наши литераторы легкомысленно полагают, что вопрос о рапповском «наследстве» уже решен, что теоретические основы рапповской критики уже раскрытикованы. Так, например, в передовой «Лит. критика», № 7 за 1933 год, утверждается, что уже «раскритикован пресловутый рапповский «диалектико-материалистический творческий метод» (стр. 6).

Говоря о задачах критики в той обстановке, которая сложилась в советской литературе после постановления ЦК партии от 23 апреля 1932 г., тот же журнал в своей передовой утверждает:

«Задача состояла не только в том, как это представляют себе некоторые критики, чтобы показать несостоятель-

ность всяческих рапповских теорий (это сделать было не так трудно), а в том, чтобы, борясь с остатками антимарксистских теорий, на первый план выдвинуть положительные задачи разработки социалистической эстетики, конкретизирующейся, в основном, в проблеме социалистического реализма. Но эта задача в тысячу раз труднее, чем задача негативного порядка... (Передовая 12-го номера за 1934 г., стр. 9—10). На первый взгляд, приведенное утверждение кажется резонным (задача, дескать, не столько «негативная», сколько позитивная), но стоит только с небес абстракции спуститься на грешную землю, стоит только копнуть как следует основные факты развития советской литературы, как станет ясным, что утверждение «Лит. критика» является розовой водичкой.

Во-первых, для марксиста позитивная задача критики в принципе не отделима от «негативной». Трудно указать на такие труды Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, которые бы не сочетали в себе задачи критики (в смысле отрицания) с задачами положительного разрешения вопроса. «Немецкая идеология». «Анти-Дюринг», «Капитал» — «негативные» (по терминологии «Лит. критика») произведения, т.-е. произведения, насквозь полемические, проникнутые критическим

отрицанием буржуазных теорий. Но одновременно «негативный», или сугубо критический, характер этих произведений теснейшим образом сочетается с положительным разрешением основных вопросов научного социализма. Основные работы Ленина — «Что такое друзья народа», «Экономическое содержание народничества», «Что делать», «Шаг вперед — два назад», «Две тактики», «Аграрный вопрос», «Материализм и эмпириокритицизм», «Империализм, как новейший этап капитализма», «Государство и революция» и т. д. — тоже «негативные» произведения, т. е. произведения насквозь полемические, проникнутые беспощадным, непримиримым отрицанием всех и всяческих антипролетарских теорий в экономике, философии и политике. Но вместе с тем в названных трудах Ленина дано гениальное разрешение положительных задач революции — основных вопросов стратегии и тактики нашей партии. Известно, что работы Сталина — «Марксизм и национальный вопрос», «Вопросы ленинизма», «Об оппозиции» и др., являются классическим образцом положительного разрешения величайшей важности вопросов: о путях строительства национальной по форме и социалистической по содержанию культуры, — о победе социализма в одной стране, — о диктатуре пролетариата. Но кому же не известно, что эти работы Сталина насквозь проникнуты духом партийного критицизма, духом беспощадного и непримиримого отрицания всех и всяческих меньшевистских теорий и теориек (критика теорий Отто Бауэра, Шпрингера, Каутского, Троцкого, Бухарина и др.). О чем говорят все эти факты? О том, что стремление «Лит. критика» отделить положительные задачи критики от отрицательных, или «негативных», противоречит основным традициям воинствующего марксизма-ленинизма.

Во-вторых, — и это главное — утверждение «Лит. критика» о том, что несостоятельность рапповских теорий уже доказана, красиво звучит, но это утверждение не соответствует действительности. Заявляя о том, что рапповские теории уже разоблачены, что «это сделать

было не так трудно», «Лит. критик» забыл привести факты: он забыл конкретно указать, в каких именно работах (в книгах и статьях) сторонниками отделения позитивных задач критики от негативных доказана несостоятельность рапповских теорий. И, что особо важно, «Лит. критик» забыл доказать фактами, что названные выше рапповские теории не имеют весьма сильного влияния на развитие советской литературы. Так как «Лит. критик» обо всем это забыл сказать, то за него обязаны сказать мы: нет ни одной такой работы (книги или статьи), в которой бы сторонниками отделения позитивных задач критики от негативных была дана более или менее вразумительная, принципиальная критика рапповских антимарксистских теорий в литературе. Далее, нет никаких оснований утверждать, что антимарксистские рапповские теории не оказывают весьма сильного влияния на развитие советской литературы. Чтобы доказать фактическую верность этого нашего положения, мы (в настоящей статье) возьмем один вопрос — вопрос о характере, и посмотрим, показана ли нашими «позитивистами» несостоятельность рапповских теорий в этом весьма важном вопросе.

I

Начнем с ближайшей истории вопроса. После ликвидации РАПП'а встал во весь рост задача раскрытия понятия социалистического реализма. Было общепризнано, что социалистический реализм есть показ типичных характеров в типичных обстоятельствах. Но что такое типичные характеры? Например, какой характер является типичным для выражения сущности передового отряда пролетариата — линии нашей партии? В типичные характеры, представляющие линию партии, «Лит. критиком» был возведен Кирилл Ждаркин из романа Панферова, тот самый Ждаркин, который, будучи сотканным из противоречий, прощупывает жизнь руками, а не головой, и сомневается в линии партии. Мы выступили против возведения Кирилла Ждаркина в типичные характеры. Мы утверждали, что Ждаркин разди-

рается неразрешимым противоречием, что он типичный герой самотека, а не типичный характер, представляющий линию партии. Тогда «Лит. критик» снова выступил против автора этих строк с нижеследующей защитой Ждаркина:

... «противоречивой и неудачной фигурой наш критик считает главного героя произведения — Кирилла Ждаркина. Ждаркин — представитель партии в деревне, но он эмпирик и не освещает себе путь теорией, проводит линию партии в колхозном деле и пьянствует, одержим сомнениями в возможности «переделать крестьянина, привыкшего к своему клочку земли», короче — Ждаркин весь соткан из противоречий. Он, с одной стороны, «такой», а с другой стороны — «другой»...

... «Стало быть, по мнению нашего теоретика, характеры были бы типичными, если бы, скажем, вместо противоречивого и крайне сложного Ждаркина была фигура твердого большевика, крепкого практика и теоретика, вместо бюрократа и оппортуниста Корчжинского (из «Поднятой целины») был секретарь райкома, правильно проводящий политику партии, и т. д. Вот если бы писатель разложил своих героев по полочкам и на каждой полочке повесил табличку: это кулак, это большевик, это оппортунист, тогда тов. Рожков был бы вполне удовлетворен и считал бы, что художник изобразил типичные характеры в типичных обстоятельствах. Но такое представление о типизме в корне неправильно и ничего общего не имеет с марксизмом, ибо оно противоречит действительности, сложности и «замысловатости» самой жизни... Рожков объявляет Ждаркина не типичным характером на том основании, что тот противоречив. Но позволительно задать критику вопрос — с какой мер-

кой он подходит к Ждаркину, откуда, по его мнению, противоречивость этой фигуры?.. Для того, чтобы определить, типичен или не типичен характер, нужно еще глубоко знать действительность, пути и закономерности ее развития, нужно знать реальных, живых людей и сравнивать героев произведений с этими последними, а не сидеть в выдуманной схемой... («Лит. критик», № 6 за 1933 г., стр. 113, подчеркнуто всюду нами. — П. Р.).

Пусть читатель внимательно вдумается в рассуждения т. Розенталя и обратит внимание на подчеркнутые нами места. Смысл рассуждений т. Розенталя следующий: то обстоятельство, что данный герой — эмпирик, не освещающий свой путь теорией, что он весь соткан из противоречий, доходящих до сомнения в линии партии, — все это, по мнению Розенталя, не мешает упомянутому герою быть типичным представителем линии партии (поскольку, дескать, такого рода противоречивые оппортунисты существуют в реальной действительности).

Чтобы показать сугубый вред такой точки зрения, подойдем к вопросу с трех сторон: в о - п е р в ы х, посмотрим, не являются ли рассуждения т. Розенталя перепевом тех самых рапповских теорий, несостоятельность которых, по его уверениям, уже доказана, в о - в т о р ы х, покажем, как разрешается вопрос о противоречивости характеров с марксистской точки зрения, и, в т р е т ь и х, посмотрим, не имеют ли откровения т. Розенталя и др. определенного политического смысла.

Начнем по порядку. Тов. Розенталь в простоте своей не подозревает, что его рассуждения, по сути дела, списаны у одного из творцов мелкобуржуазной теории «живого человека» — у т. Ермилова. Защищая в свое время рапповские взгляды на характер в художественном произведении, т. Ермилов ссылаясь на диалектику и изображал позицию противников теории «живого человека» следующим образом:

«Пусть наука показывает раздвоение единого и борьбу внутри его про-

тивоположностей, — в искусстве же я забываю о всякой «диалектике»... В искусстве же я хочу, чтобы мерзавец был прост и ясен и сразу виден, как мерзавец»... (см. «Творческие разногласия в РАПП'е», изд. «Прибой», 1930 г., стр. 186 — 187).

Так же, как и т. Розенталь, Ермилов доказывал, что человек сложен и противоречив, и потому нельзя показывать мерзавца (или классового врага) так, чтобы сразу было видно, что это мерзавец (или классовый враг). Ермилов при этом так же, как и т. Розенталь, апеллировал к жизни, к объективной действительности:

«Они (противники теории «живого человека») лишают пролетарскую литературу возможности активно воздействовать на действительность, перестраивать ее, потому что активное изменение действительности возможно только на основе ее объективного познания. В логической деятельности они, может быть, считают для себя необходимым исходить из основных положений материалистической диалектики; в искусстве же они считают возможным забыть об этих положениях и, разделив действительность на абсолютно положительное и абсолютно отрицательное, разложив все по полочкам и наклеив ярлычки, занимаются единственным делом: классовым самоутверждением... Вы видите совершенно метафизическое представление о том, что людей можно разложить по полочкам, наклеить на них ярлычки и тем самым своеобразно помогать партии»... (Там же, стр. 191 — 192).

Можно привести целую серию подобных рассуждений теоретиков «живого человека» (Авербаха, Ермилова и др.). Но полагаем, что приведенного образчика вполне достаточно для того, чтобы увидеть почти буквальное совпадение хода мыслей у Розенталя с ходом мыслей у Ермилова. Совершенно ясно, что рассуждения Розенталя, по сути дела, списаны у Ермилова. Как теоретики РАПП'а, так и теоретики из «Лит. кри-

тика» считают, что людей нельзя раскладывать по полочкам, что в реальной действительности нет людей цельно-положительных и цельно-отрицательных, что все люди сотканы из противоречий, что в каждом человеке надо найти «раздвоение единого», или «диалектику». Такова теория типичного характера, защищавшаяся ранее РАПП'ом, а сейчас защищаемая теоретиками из «Лит. критика». Эта теория не имеет ничего общего с марксизмом.

Теоретическая ошибка бывших рапповцев и товарищей из «Лит. критика» заключается в том, что они диалектику смешивают с эклектикой. Воюя на словах против абстрактной схемы и выступая в роли защитников реальной действительности, они на деле оказываются в плену у самой вредной, идеалистической и мелкобуржуазной абстрактной схемы. В самом деле: они (бывшие рапповцы, Розенталь и др.) рассуждают так: противоречие заложено в самой действительности. Диалектика тоже есть противоречие. *Der Widerspruch ist das Vortleitende*—как говорит Гегель («Противоречие ведет вперед»). Живые люди существуют в реальной (противоречивой) действительности; они, эти люди, — тоже реальная действительность, и как таковые они противоречивы. Следовательно, нельзя требовать цельности характеров в искусстве, следовательно, нельзя требовать того, чтобы, например, типичный характер, представляющий линию партии (диктатуру пролетариата), был цельным характером. Почему ж типичный характер, представляющий линию партии, не может быть раздвоенным, сотканным из противоречий, если в живой действительности имеются такого рода противоречивые коммунисты? Следовательно, когда речь идет о том, типичен ли для выражения существа нашей партии данный характер, или не типичен, то не нужно уяснять вопрос о самой главной и типичной стороне, о конкретно-исторической сущности пролетариата в нашу эпоху, не нужно заглядывать в какую-либо теорию, например, в марксизм-ленинизм, в историю нашей партии и т. д., а нужно просто исходить

из «здоровой эмпирии», «нужно знать реальных, живых людей и сравнивать героев произведений с этими последними»... Такова «диалектика» Ермилова, Розенталя и др. Но это не диалектика, а эклектика.

Фактом является то, что реальная действительность противоречива и что люди (являющиеся тоже ведь реальной действительностью) также противоречивы. Следовательно, противоречивые характеры в искусстве вполне законно мерны (ибо всякий характер в искусстве — это не высосанная из пальца попусторонняя «вещь в себе», а более или менее точный «снимок» или «копия» человеческого характера, существующего в реальной действительности). Отсюда ясно, что было бы смешно и нелепо отрицать противоречивость в характере. Но не всякое противоречие есть диалектика. Ленин неоднократно разъяснял, что бывает противоречие и противоречие. Беда «диалектиков» рапповского толка (Авербаха, Ермилова, Розенталя и др.) в том, что они абсолютизируют или обожествляют противоречие. Они видят противоречие и застывают на нем, забывают, что противоречие должно вести вперед. Беда гордиалектиков рапповского толка в том, что они не только не поняли марксизма (т.-е. материалистической диалектики), но и в том, что они не потрудились переварить, как следует, даже идеалистическую философию Гегеля. А ведь у идеалиста Гегеля дано классическое разрешение вопроса о противоречивости характеров. Идеалист Гегель совершенно справедливо разъяснял, что противоречивость характеров не исключает, а предполагает определенность или цельность характеров.

В своей «Логике» Гегель разъясняет, что диалектическое мышление (исходящее из принципа противоречия, из принципа подвижности, относительности различного рода предметов и их мысленных определений) является более высоким типом мышления по сравнению с рассудочным мышлением (основанным на конечных или застывших определениях предметов и их состояний). Но отсюда, разъясняет Гегель, вовсе не сле-

дует того, что момент «конечности» или определенности (иначе говоря, — момент формальной логики) исключается из диалектики. Диалектика, исключаящая момент определенности или момент формальной логики, по сути дела, есть уже не диалектика, а скептицизм или релятивизм, т.-е. чистое отрицание. Отсюда ясно, говорит Гегель, что «мы должны также признать право и заслугу чисто рассудочного мышления, состоящую вообще в том, что как в теоретической, так и в практической области нельзя достигнуть твердости и определенности без помощи рассудка». (Соч., т. I, стр. 131). Проиллюстрировав этот тезис примерами из различных областей науки (философии, математики, юриспруденции), Гегель далее говорит:

«Не только в теоретической, но и в практической области нельзя обойтись без рассудка. Для действования требуется, главным образом, характер, а человек с характером — это рассудительный человек, который, как таковой, имеет перед собою определенную цель и твердо ее преследует. Кто хочет достигнуть великого, тот должен, как говорит Гете, уметь ограничивать себя. Кто же, напротив, хочет всего, тот на самом деле ничего не хочет и ничего не достигнет. Существует масса интересных вещей на свете: испанская поэзия, химия, политика, музыка; все это очень интересно, и нельзя ничего иметь против человека, который ими интересуется, однако, чтобы создать что-нибудь, данный индивид, находящийся в определенном положении, должен держаться чего-либо одного и не разбрасываться в различные стороны» (там же, стр. 132 — 133). После всех этих замечаний Гегель обращается непосредственно к искусству, и вот что он здесь говорит:

«Для того, чтобы драматическое произведение было прекрасным и законченным, необходимо, чтобы характеры различных персонажей были развиты в их чистоте и определенности, и именно так, чтобы различные цели и интересы, во-

круг которых вращается действие, были ясно и четко очерчены» (там же, стр. 134, курсив мой. — П. Р.).

Эти замечания Гегеля о характере в художественном произведении более полно развиты в его «Эстетике» (в разделе о характере). Здесь Гегель рассматривает характер, по существу, с двух сторон: во-первых, со стороны богатства и многообразия, во-вторых, со стороны определенности и определенности. Рассмотрим эти стороны.

Если, говорит Гегель, характер в художественном произведении «является игральным лишь одной страсти, то он кажется существующим вне себя... слабым и бессильным». Характер не должен выступать «игральным лишь одной страсти»; он должен выступать игральным многих страстей, т.е. он должен быть показан в богатстве многообразия или во многих проявлениях. Так, например, характер Ахиллеса у Гомера раскрывается в богатстве многообразных проявлений: Ахиллес — примерный, любящий свою мать, сын, он умеет быть верным в дружбе, он самый цветущий и пламенный юноша, храбрый, полный благоговения перед старостью, и т. д., и т. п. Но все эти черты отнюдь не исчерпывают характера Ахиллеса. Наряду с вышеупомянутыми положительными чертами в характере Ахиллеса много также и отрицательных черт: Ахиллес раздражителен, вспыльчив, мстителен, полон беспощадной жестокости по отношению к врагу и т. д. Словом, говорит Гегель, «об Ахиллесе можно сказать: это человек. И многосторонность благородной человеческой природы развертывает все свое богатство в этом человеке. И точно так же обстоит дело с остальными гомеровскими характерами. Одиссей, Диомед, Аякс, Агамемнон, Гектор, Андромаха — каждое из этих лиц является целым самостоятельным миром, каждое из них является полным живым человеком, а не только аллегорической абстракцией какой-нибудь черты характера».

Итак, Гегель за богатство или многообразие характера: за то, чтобы характер являлся игральным многих (и

даже противоположных) страстей. Таким образом, характер, по Гегелю, должен быть, с одной стороны, — «такой», а с другой стороны — «другой». Но значит ли это, что Гегель останавливается на этом «игральном страстей», на этом сожителстве различных и противоположных сторон в характере? Если бы Гегель остановился только на требовании богатства или многообразия характера (т.е., иначе говоря, если бы он признавал только «с одной стороны — с другой стороны»), то перед нами была бы не логика Гегеля, а логика эклектицизма. Но ведь Гегель был не эклектик, а диалектик и как таковой он шел дальше. Мало того, что характер должен раскрываться в богатстве многообразия. Характер, говорит Гегель, вместе с тем должен раскрываться, как определенный и единый или единый в себе характер.

«... Многосторонность придает характеру живой интерес, но вместе с тем эта полнота должна выступать, как слитая в единый субъект, а не как разбросанность...»

Гегель, таким образом, стоит за «многосторонность в пределах единой господствующей определенности». При этом имеется в виду не только господствующая определенность как таковая (не простое единство многообразных черт), а такая определенность, «чтобы характер был особенным и индивидуализированным» в ряду других характеров. Поясним примерами: характер Отелло у Шекспира является определенным характером (многосторонние черты этого характера сливаются в единстве, например: в прямоте, храбрости и ревности), но эта определенность есть в то же время особенная и индивидуализированная определенность (отличная от определенности характеров Яго, Дездемоны и др.). Характер Евгения Онегина у Пушкина есть также в известном смысле слитный или определенный характер (не простое многообразие, а многообразие в единстве, так как многосторонние черты Евгения Онегина сливаются в едином «пафосе» — пафосе проживающего жизнь лишнего человека), но этот определенный характер есть в то же время особенный и индивидуализированный характер,

по сравнению, например, с характером Татьяны (о которой никак нельзя сказать, что основной и главной чертой ее является пафос прожигания жизни и разочарование в суете сует).

Ясно, что Гегель не останавливается на требовании многосторонности или многообразия различных и противоположных черт в характере. Он идет дальше и требует того, чтобы характер был развит в своей чистоте и определенности до степени особенности или индивидуализированности.

... «Характер должен слить свою особенность со своей субъективностью. Он должен быть определенным образом и в этой определенности обладать силой и твердостью единого пафоса, остающегося верным самому себе. Если человек не имеет в себе такого единого центра, то различные стороны его многообразной внутренней жизни ведут не связанное друг с другом, неосмысленное и бессмысленное существование». (Подчеркнуто нами. — П. Р.)¹⁾.

¹⁾ Гегель еще раз подчеркивает, что такого рода определенность (доведенная до особенности), разумеется, не должна достигаться путем чрезмерного ограничения характера (т. е. путем сведения определенности к какой-либо одной абстрактной, ходячно-выраженной черте, например — любви, чести, храбрости и т. п.). «Хотя в особенности характера одна главная сторона и должна выступать как господствующая, однако, в пределах этой определенности должна всецело сохраняться живость и полнота, так что отдельному лицу оставляется возможность являть себя с различных сторон, ставить себя в многообразные ситуации и раскрывать богатство развитой в себе внутренней жизни в многообразных проявлениях». Гегель иллюстрирует это положение несколькими примерами. Так, например, основной чертой характера Ромео у Шекспира является любовь, но этот же Ромео раскрывает свой характер в многообразных проявлениях (защита своей чести в споре с Тибальдом, доверчивость к монаху, благородство и глубина чувств во всех положениях). Характер Джульетты также проникнут единой страстью любви, однако, это не мешает ей проявлять свой внутренний мир в многообразных проявлениях — в отношениях к отцу, к матери, графу Парису и т. д. «Она одинаково глубоко погружена как в себя, так и в каждую из этих ситуаций, и весь ее характер проникнут лишь единым чувством, лишь любовной страстью, которая глубока и широка, как беспредельное море, так что Джульетта может с полным правом сказать: «Чем больше я даю, тем больше у меня остается».

Образчиком неопределенного или неустойчивого характера Гегель считает, между прочим, Вертера, «который представляет всецело большой характер, бесильный подняться выше каприза своей любви»¹⁾. Некоторые литераторы, говорит Гегель, вообще иронически относятся к требованию цельности или определенности характеров. Неустойчивость или неопределенность характеров подобные литераторы возводят в добродетель, в теорию. Гегель называет такую «теорию» превратной.

«Эта ложная теория соблазнила поэтов вносить в характеры такие не согласующиеся между собою черты, которые не сливаются в единство, так что каждый характер разрушает себя как характер. Если какое-нибудь лицо сначала и выступает с определенным устремлением, то оно (по этой ложной теории. — П. Р.) как-раз должно превратиться в свою противоположность, и характер благодаря этому не должен изображать ничего другого, кроме ничтожности всего определенного и самого себя».

Гегель недвусмысленно стоял за определенные характеры, и в этом отношении он ставил в пример Шекспира. Трудно найти такого художника, у которого характеры являлись бы таким играллищем многих страстей, т. е. являлись бы столь многосторонними, как у Шекспира. И вместе с тем характеры у Шекспира не застывают на этой многосторонности самой по себе, а развиты до степени определенности. Таковы Макбет, Юлий Цезарь, Брут, Отелло, Дездемона, Гамлет и др. «Произведения Шекспира, — говорит Гегель, — как-раз отличаются решительностью и упругостью изображаемых им характеров». Возьмем, например, наиболее многосторонний и сложный характер Гамлета. Глубоко ошибочным является почти общераспространенное мнение, будто бы характер Гамлета является неустойчи-

¹⁾ Впрочем, Гегель считает, что Вертера «все же делают интересным отличающие его страстность и красота чувства, интимное чувство природы, тонкость переживаний и душевная мягкость».

вым, «мягким» или неопределенным, так как он весь соткан из противоречий и сомнений... Подобное мнение является поверхностным, ибо сомнения и колебания Гамлета касаются частных, а не самого главного и решающего. Основная и решающая черта или основной пафос в характере Гамлета — это месь. И в отношении к этой основной и главной своей цели у Гамлета, по существу, нет сомнений и колебаний. Гамлет, в сущности, колеблется и сомневается не в принципе, не в отношении основной своей цели (мести), а лишь в отношении методов, форм и сроков осуществления этой цели. Гамлет нерешителен в себе, говорит Гегель, но «его, однако, одолевают сомнения не относительно того, что именно ему нужно сделать, а относительно того, как ему выполнить это дело».

Итак, изложенные нами взгляды Гегеля на характер, по существу, сводятся к двум следующим основным положениям: во-первых, характер в художественном произведении должен раскрываться в многообразии, в многообразных проявлениях; во-вторых, многообразие характеров должно иметь свою меру или границу. Это значит, что характер не должен целиком погружаться в многообразие как таковое и в силу этого оставаться неустойчивым, эклектическим. Характер должен быть развитым до степени определенности (включающей в себя особенность и индивидуализированность).

Имеют ли эти положения Гегеля актуальное значение при уяснении основного вопроса социалистического реализма, вопроса о типичном характере? Безусловно, имеют. Глубоко истинным является гегелевское требование раскрытия характера в полноте многообразия. Художники, стоящие на точке зрения социалистического реализма, обязаны стремиться к тому, чтобы изображаемые ими характеры не являлись «игрالیщем лишь одной страсти». Социалистический реалист обязан раскрывать характер в своем произведении в такой многосторонности, в таких многообразных проявлениях, чтобы об этом характере могли сказать: «Это человек, и ничто челове-

ческое ему не чуждо». Мы знаем, что не только Гегель, но Маркс и Энгельс также высказывались против изображения характера в виде «игрالیща лишь одной страсти», против сведения характера в художественном произведении к «аллегорической абстракции» какой-нибудь одной черты или к превращению в агитационно-ходульные «рупоры духа времени». Таким «рупором духа времени» является, например, характер коммуниста Праскухина в «Юноше» Левина. Коммунист Праскухин обеднен художником: в нем, по сути дела, господствует лишь одна «страсть», одна черта — твердость, сухость, деловитость, нелюбовь к позе и фразерству. Правда, эта черта весьма существенна, но, во-первых, она не исчерпывает всего многообразия характера, а во-вторых, эта черта не развернута во многих проявлениях, в различных конкретных ситуациях и связях Праскухина с другими людьми. Еще более несносным «рупором духа времени» выступает коммунист Газган в «Большом конвейере» Якова Ильина. Все содержание характера этого Газгана сводится к потоку неиссякаемых сентенций на всякого рода философские и политико-экономические темы. Вся беда, однако, в том, что, во-первых, все эти сентенции «неисправимого рассуждателя» Газгана сами по себе, а завод, на котором он действует, — тоже сам по себе. Во-вторых, сентенции — это единственная черта или одна лишь страсть в Газгане, возведенная в «аллегорическую абстракцию». Характерно, что «Лит. критик» не замедлил зачислить Газгана в разряд таких характеров, в которых хотя и менее удачно, но все же «преодолены черты штампа и трафарета» (см. «Лит. критик», № 3, за 1935 г., стр. 118, статья т. Серебрянского).

Подобное изображение характеров в виде игрالیща одной лишь страсти, в виде «рупора духа времени», несомненно, противоречит и Гегелю, и марксизму. Маркс и Энгельс мечтали о том, чтобы пролетарские художники изобразили деятелей революции суровыми рембрандтовскими красками, т. е. показали бы их во всем богатстве многообразных проявлений и ситуаций.

Ясно, стало быть, что гегелевское требование многостороннего развития характера в художественном произведении имеет весьма важное значение для советского искусства — это требование должно войти в нашу эстетику в качестве одного из основных принципов социалистического реализма. Но, если бы мы удовлетворились только одним этим принципом, мы оказались бы недостойными наследниками Гегеля и плохими марксистами. Иначе говоря, если бы мы ограничились только одним многообразием характеров, то мы были бы не диалектиками, а эклектиками. Нам нужно не просто многообразие, как игральные карты многих страстей, как многостороннее проявление различных и даже противоположных сторон характера. Нам нужно многообразие, сведенное к единству, т. е. нам нужны характеры, проникнутые определенностью.

Поясним примером: характер Чапаева у Фурманова (и в фильме) развивается в многообразии. Чапаев показан, как организатор и воин (в штабе и на поле сражения); как политик (речь на крестьянском сходе по случаю кражи порошка одним из красноармейцев); как поэт и мечтатель (сцены с песнями у окна и в последнюю трагическую ночь). Далее, характер Чапаева развивается в противоречиях: с одной стороны, он борец за советскую власть, а с другой — не знает политграмоты, проявляет склонность к анархистским тенденциям и т. п. Однако, все дело в том, что характер Чапаева не погружается «всцело в многообразие и противоречия, не становится игральным многих страстей самих по себе, а явственно проникается «единым центром», единым целеустремлением. Противоречия Чапаева касаются частных, а не основного и главного. В принципе — в служении революции и партии Ленина — в этом основном и решающем принципе у Чапаева нет никаких колебаний. Отсюда следует, что характер Чапаева не застывает на многообразии и противоречиях, а сводится к единству, и благодаря этому Чапаев выступает, в конечном итоге, как цельная личность, как беззаветный герой и полководец революции, как человек, отдающий свою жизнь

за диктатуру пролетариата. Совсем другое дело Кирилл Ждаркин из романа Панферова. Порок Ждаркина не в том, что он иногда пьет водку и гуляет с девушками (хотя и в этом Ждаркин, как коммунист, обязан соблюдать меру). Ждаркин колеблется и сомневается, по сути дела, не в частности, не во второстепенных элементах своего поведения и мировоззрения, а в самом принципе, в самом главном и решающем — в линии и той партии, которая поручила ему эту свою линию осуществлять. Ждаркин сомневается в той самой линии партии, носителем и выразителем которой он призван выступать по замыслу автора романа. И потому характер Ждаркина не является цельным характером. Этот характер страдает дурным или эклектическим противоречием¹⁾.

Как видим, гегелевское положение об определенности характеров имеет отношение к советской литературе. Разумеется, Гегель был идеалист, и его положение об определенности характеров страдает отвлеченностью. Поэтому названное положение Гегеля мы должны не механически переносить в свою эстетику, а переработать в духе материалистической диалектики. Эта переработка состоит в том, что определенность характера у нас должна выступать не в отвлеченном виде, а в классовом, конкретно-историческом значении, в том значении, которое вкладывалось Марксом и Энгельсом в понятие типичного характера. Определенный характер — для нас такой характер, который истинно выражает в себе конкретно-историческую сущность (основную и решающую сторону, линию) того класса, представителем которого является данный характер. Именно в этом смысле и высказывались Маркс и Энгельс в своих выступлениях по вопросу о характере в художественном произведении. Ясно, что марксистская поправка к Гегелю весьма существенна, но ясно также, что эта по-

¹⁾ В нашей статье речь идет не о романе Панферова в целом, а лишь о характере коммуниста Ждаркина. Что же касается романа Панферова в целом, то в последнем несомненно имеются и положительные стороны. Так, например, у Панферова ярко, талантливо показаны характеры некоторых кулаков и середняков, особенно в первой книге романа.

правка не отменяет гегелевского принципа определенности характеров, а подводит под этот принцип более прочное, материалистическое основание.

Такова правильная марксистская постановка вопроса о многообразии и определенности характеров. Ясно, что эта постановка вопроса в корне отличается от рапповской постановки вопроса, от взглядов Авербаха, Ермилова, Розенталя и других. Жизнь противоречива, и, следовательно, вполне закономерна противоречивость характеров. То, что бывшие рапповцы и Розенталь увидели в жизни и в характерах противоречие, — это не плохо. Но, как сказано выше, ошибка «диалектиков» рапповского толка (и всех сторонников теории «живого человека») состоит в том, что они застыли на противоречии как таковом: они не пошли дальше многообразия характеров, т. е. дальше первого гегелевского требования. «Диалектики» рапповского толка застыли на формуле Воронского и Авербаха: «В каждом злом надо найти доброе, в каждом добром надо найти злое».

Розенталь целиком стоит на этой самой рапповской позиции. В цитированной выше статье он ссылается на рассмотренные нами выше гегелевские положения о характере: «легко видеть (!), — пишет он, — богатство и мудрость этого учения... В приведенных положениях Гегеля о характере в художественном произведении есть очень много ценного, которое марксистская эстетика, несомненно, должна использовать. Таковы его положения о полноте характера, об ограниченности и господствующей черте характера» («Лит. критик», № 6, за 1933 г., стр. 111). Но, ссылаясь, таким образом, на Гегеля, признавая на словах ценность, глубину и мудрость гегелевских положений о характере, т. Розенталь на деле не понимает, что глубина и мудрость гегелевских положений целиком направлена против него самого, против того понимания характера, которое он заимствовал у «диалектиков» рапповского толка. Тов. Розенталь очень любит блеснуть философской «эрудицией» и похвалить иногда Гегеля. Но беда Розенталя в том, что он, как пра-

вило, не понимает тех положений, которые цитирует в своих статьях. Судите сами: гегелевское положение об определенности характера Розенталь признает мудрым и глубоким. Далее он соглашается с марксистской поправкой к Гегелю, т. е. с нашим конкретно-историческим определением типичного характера, и не считает это определение для себя откровением (см. «Лит. критик», № 6, за 1933 г., стр. 112). Но тот же самый Розенталь, как показано выше, защищает такое представление о характере, которое исключает определенность, которое застывает на многообразии, на эклектических противоречиях. Разве не ясно, что Розенталь не диалектик, а эклектик: с одной стороны, он за гегелевский принцип определенности характеров (а следовательно, и за то, чтобы людей «раскладывать по полочкам»), а с другой стороны, он против определенности характеров, против того, чтобы людей «раскладывать по полочкам»: он стоит за то, чтобы характер, с одной стороны, был «такой», а с другой стороны, — «другой». Разве не ясно, что Розенталь ссылается на Гегеля впустую, что он мыслит не по Гегелю, а по Авербаху и Ермилову?

II

Глубоко ошибочно было бы думать, что наш спор с «диалектиками» рапповского толка имеет лишь отвлеченно-теоретический интерес. Нет, спор по вопросу о характере имеет важное политическое значение. Исходя из своей «диалектики», исходя из того, что каждый человек раздвоен и противоречив, бывшие рапповцы вполне логически отрицали определенный или цельный характер, отрицали социалистического человека: «Мы берем каждый тип не как цельную личность, и бо, по существу, цельной личности нет». Так писал тов. Либединский (см. «Генеральные задачи пролетарской литературы, стр. 10, курсив наш.—П. Р.). «Ошибочно и наивно предполагать, что мы имеем некие образцы социалистического человека». Так утверждалось в театральной платформе РАПП'а (см.

«Советский театр», № 10—11, за 1931 г.). А так как вообще определенных характеров не существует, так как цельной личности нет, так как, далее, нет социалистического человека, то нет и такого представителя диктатуры пролетариата, такого коммуниста, который был бы определенным или цельным... Каждый коммунист — тоже раздвоенный и насквозь противоречивый человек. Следовательно, коммунисты, запутавшиеся в своих противоречиях, т. е. коммунисты, по сути дела, превратившиеся в оппортунистов, по мнению рапповцев и Розенталя, вполне типичные характеры, типичные представители линии партии... Исходя из этой «теории», рапповцы защищали в свое время насквозь противоречивый характер мещанина с партбилетом в кармане — Шорохова из «Рождения героя» Либединского и открыто призывали наших писателей показывать «суб'ективные оправдания» разложившихся членов партии. Вот что писал Ермилов:

... «Трусость перед своей собственной внутренней неустойчивостью проявляет тот, кто боится; что если пролетарский писатель покажет суб'ективные основы, суб'ективные оправдания социального разложения того или иного нашего работника, то читатель начнет неизбежно оправдывать и извинять этого разложившегося персонажа»...

На такой же точно позиции, т. е. на позиции «суб'ективного оправдания» социально разложившихся коммунистов, стоит, по сути дела, и Розенталь. В самом деле: как выше показано, Розенталь сам признает, что Кирилл Ждаркин из романа Панферова — неопределенный, нецельный характер, что Ждаркин — эмпирик и не освещает себе путь теорией», что «он весь соткан из противоречий» (с одной стороны, «такой», с другой стороны — «другой») и сомневается в линии партии («одержим сомнениями в возможности переделать крестьянина») и т. д., и т. п. Но что все

это значит? Это значит, что Ждаркин, по сути дела, не коммунист, а оппортунист — герой самотека. И вот, несмотря на все это, Розенталь и др. возводят оппортуниста Ждаркина в типичный характер, якобы выражающий классовую сущность пролетариата, в характер, представляющий линию нашей партии. На каком же основании Розенталь и др. все это делают? На том, видите ли, основании, что характеры нельзя разложить по полочкам. Конечно, говорит Розенталь, Ждаркин противоречив. Но «откуда, — спрашивает он, — противоречивость этой фигуры?» — Из жизни, — отвечает Розенталь. Следовательно, «нужно знать реальных, живых людей и сравнивать героев произведений с этими последними, а не с идеально выдуманной схемой» (читай: не с теорией марксизма-ленинизма, не с основными принципами социалистического реализма). Следовательно, оппортунист Ждаркин — типичный для нашей партии характер коммуниста... Розенталь, повидимому, не отдает себе отчета в том, до какой чудовищной, политически вредной ереси он договорился.

Удивительное дело: основной принцип, обязательный для каждого члена большевистской партии, — это величайшая определенность, принципиальная цельность и непреклонная последовательность в действиях. Только наличие этого принципа в том или ином коммунисте делает его типичным представителем линии партии, диктатуры пролетариата. А по Розенталю, все выходит наоборот: нецельный, путающийся в своих противоречиях, непоследовательный, сомневающийся в линии партии Ждаркин возводится в типичные характеры, представляющие собой линию нашей партии. Выходит, что нецельность, непоследовательность, противоречивость являются типичными для нашей партии... До таких спортунистических выводов договариваются люди, изучавшие философию в институтах красной профессуры. Разве не ясно, что Розенталь целиком и полностью находится в плену рапповской эклектики, что в его лице мы имеем пропагандиста оппортунистической теории:

самотека? Разве не ясно, что рапшовская теория типичного характера, защищаемая Розенталем и др., является насквозь оппортунистической, политически вредной?

А разве недавние литературные события на Украине не дали яркого доказательства сугубой политической вредности защищаемой Розенталем рапшовской теории характера? Ведь именно эти события показали, что украинские националисты очень хорошо эксплуатировали в своих контрреволюционных целях ту самую теорию, по которой выходит, что определенных или цельных характеров не существует. Оказывается, что изображение коммунистов в произведениях украинских националистов целиком отвечает тому пониманию типичного характера, которое защищается «диалектиками» рапшовского толка. Вот что говорил тов. Постышев в своей речи на пленуме правления союза советских писателей Украины:

... «Возьмите тип коммуниста — члена руководящей партии нашего советского государства. Враги-националисты изображали коммунистов в своих произведениях узколобыми, нецельными людьми, вечно путающимися в различных противоречиях. В этом нет ничего удивительного. На то ведь они и враги» (см. «Правду» от 10 июня 1935 г., подчеркнута нами. — П. Р.).

Таков политический смысл отрицания определенности или цельности характеров. Выходит, что вопрос об определенности характеров имеет не только теоретическое, но и сугубо политическое значение. И дело тут не только в Авербахе, Ермилове и Розентале. Если бы дело было только в этих людях, то из-за них самих по себе вряд ли стоило бы поднимать спор — на них просто надо было бы махнуть рукой. Но дело гораздо сложнее. Речь идет о гораздо более серьезных вещах. Речь идет о том, что рапшовские теории имеют глубокие корни в нашей литературе. Опасность защищаемой Розенталем рапшовской теории «живого человека» состоит в том, что

эта теория, по сути дела, формулирует и возводит в добродетель стихийные процессы в советской литературе. Мы не случайно указывали на то, что теория «живого человека» есть теория самотека или стихийности (см. наши статьи о социалистическом реализме). А самотек или стихийность названной теории как-раз и выражается в мелкобуржуазном воззрении на человека, в отрицании определенности или цельности характеров. С этой точки зрения, уяснение антимарксистской сущности и политической вредности рапшовского понимания характеров имеет самое злободневное значение для дальнейшего развития советской литературы, так как именно на вопросе об определенности характеров как-раз и спотыкаются многие советские писатели. Мы уже указывали на то, что не является вполне определенным характер коммуниста Левенсона в «Разгроме» Фадеева (см. «Новый мир», кн. 9-ю за 1933 г., стр. 209). Неопределенность характера коммуниста Ждаркина в «Брусках» Панферова нами только-что подробно доказана в настоящей статье. Рассмотрим в этой связи характер коммунистки Антоновой из рассказа «Рождение человека» Бориса Пильняка. Очень хорошо, что этот характер показан в многообразных проявлениях: в отношении к родственникам, к помещицкому прошлому, к вопросам дружбы, к инстинктам, к семье, к искусству и т. д. Однако, все дело в том, что характер Антоновой целиком погружен в многообразии и противоречия сами по себе — он не развит до определенности. В характере Антоновой, по сути дела, два лица, два смысла:

1) Антонова — дочь рабочего, участника Октябрьского переворота в Москве, впоследствии погибшего под Перекопом. Служила у соседей в няньках, потом работала на «Трехгорке». Окончила семилетку. С 12 лет — комсомолка и на общественной работе. Она, по словам членов партии, — «твердокаменная». Сначала активный работник комсомола, в последнее время — прокурор. Действие развивается в Москве и в подмосковном доме отдыха, куда героиня приехала

отдохнуть перед родами. Раскрывается характер через дневник и письма. Идея или принцип характера — величие и радость материнства, деторождения. «Как смерть противна человеческому естеству, мерзко — так естественно человеческому естеству, радостно, счастливо — рождение... Это огромная радость и огромное счастье». Все это записывает Антонова в свою тетрадь. Антонова выгнала вон и назвала «мерзавцем» случайного отца ребенка, стоявшего за аборт. Об этом эпизоде она пишет: «никогда в жизни меня не оскорбляли и не обижали так, как оскорбил и обидел он меня, и не только меня, но и все человечество». Таково первое лицо Антоновой. Идея характера и идея рассказа должны были гласить так: «И вставал по-новому образ женщины, человека, рождающего человека, и возникало ощущение несправедливости, — почему потрясает смерть и не потрясает рождение»... Нет необходимости доказывать, что идея эта сама по себе здоровая. Эту идею защищает на своих страницах советская и партийная печать. Но...

2) у Антоновой есть и другое лицо: оказывается, что идея материнства в характере Антоновой не принцип, а случайность. Оказывается, что ребенок у нее рождается только потому, что ей «было некогда»... «О ребенке я не думала, принимая за правило, что ребенка быть не должно». Ребенка «быть не должно» тем более, что семья у Антоновой «вызывала насмешку». По мнению Антоновой, «семья как экономическая единица — вещь мертвая»... Даже во всех тех романах, которые прочитала Антонова, она «видела в первую очередь ложь» в семейных отношениях. Наблюдая семейную жизнь знакомых ей людей на практике, Антонова пришла к выводу, что «мораль семьи оказывалась не только мертвым, но смердящим разложением». Исходя из всего этого, Антонова сходилась с мужчинами с чисто утилитарными, физиологическими целями: «к полу, к моей сексуальной жизни, по существу говоря, я подходила рационалистически, без малого как к санитар-

но-гигиеническому занятию»... Если в результате такой «санитарно-гигиенической» связи с мужчинами у Антоновой обнаруживался беременность, то она шла на три дня на аборт — и дело с концом. Как же при таких условиях появляется ребенок? Очень просто. О беременности Антонова узнала в дороге, в командировке, и аборт делать было уже поздно. Но что это такое? — скажет читатель, ведь это ж издевательство: выходит, что идея защиты материнства и младенчества воплощается в таком характере, который, по сути дела, является полнейшим отрицанием материнства и младенчества! «Как бы предвидя такого рода недоумения и протесты, Пильняк намекает на то, что в характере Антоновой произошел перелом, что она отказалась от прежних своих взглядов на семью и на рождение человека. В своей тетради Антонова признается, что ее бросает в краску и стыд воспоминание о «санитарно-гигиеническом». Стало быть, указание на перелом в рассказе есть. Но как происходит этот перелом? Во-первых, он происходит пост-фактум, когда ничего другого не оставалось, как родить, а во-вторых, и это главное, — перелом происходит отнюдь не в результате того, что Антонова поумнела и осудила свои прежние «левацко»-мелкобуржуазные взгляды на семью с точки зрения более высокого, пролетарского сознания.

Оказывается, что Антонова вообще человек — «без догмата». Старых «демонов» (бога, чорта и пр.) она, разумеется, не признает. Но и новых «демонов» у нее не имеется. У Антоновой нет коммунистического мировоззрения, нет коммунистических идеалов. «Мы, женщины революции, — говорит Антонова, — ... были свободны от всяческих демонов»... Будучи свободной от «всяческих демонов» (т. е. от каких бы то ни было принципов и идеалов), Антонова и к искусству относится, как скачущая барынька, ничего не ищущая, не стремящаяся обогатить свой умственный кругозор. «Ни музыка, ни литература, ни живопись не были необходимыми эле-

ментами моего «я». Эстетический и эмоциональный мир мой был очень сужен, точнее, совсем не развит». Так развязно выставляет напоказ «коммунистка» Антонова нищету своей духовной деятельности. В такой духовной нищете пребывала она до перемены своего отношения к рождению детей, в такой же идейной нищете щеголяет она и в дальнейшем. Итак, — долой всяких «демонов», долой всякие идеалы. Что же остается? Остается единственная и непреложная «вещь в себе». Это — инстинкты. Задумываясь над проблемой материнства, Антонова приходит к тому выводу, что «Толстой оперировал, главным образом, биологическими инстинктами», что «социалистических, коммунистических инстинктов еще очень мало»... Чтобы восполнить этот пробел, Антонова пускается в легкомысленные рассуждения о сходстве рождения человека с рождением... щенков. Таким образом, причина перелома в характере Антоновой (переход от отрицания материнства к утверждению последнего) наступает не в результате роста коммунистического сознания Антоновой, не по законам общественного развития последней, а в результате влияния каких-то инстинктов (одинаковых с инстинктами животных), по законам биологии. Ясно, что в характере Антоновой нет ничего коммунистического. Таково второе лицо Антоновой. Отсюда следует что характер Антоновой является насквозь противоречивым, не определенным (ибо положительные, коммунистические качества Антоновой наивно отрицаются ее мелкобуржуазными качествами¹⁾).

¹⁾ В свете настоящей статьи весьма комичными выглядят те упреки, которые делались по адресу Пильняка, со страниц «Лит. критика». Так, напр., тов. Гоффеншефер обвиняет Пильняка в проповеди «собачьих инстинктов», в извращении и опошлении актуальнейшей темы о новых формах любви и материнства (см. «Лит. критик», № 3 за 1935 г.). Иначе говоря, тов. Гоффеншефер негодует на Пильняка за неправильное, нетипичное изображение характера коммунистки Антоновой. Но вся беда в том, что Гоффеншефер не умеет от эмпирических фактов подняться до философских выводов: он игнорирует самое главное, а именно

Ошибочно было бы думать, что неопределенность характеров обязательно связана с сознательным исповеданием рапповских теорий «живого человека». Сложность положения как-раз в том и заключается, что неопределенностью характеров зачастую страдают произведения даже таких писателей, которые отнюдь не считают себя сторонниками рапповской «диалектики». Чтобы доказать справедливость этого нашего утверждения, рассмотрим новый роман Вл. Бахметьева — «Наступление». В этом романе изображается характер большевика с дореволюционным стажем, человека, прошедшего через подполье, ссылку, Февральскую и Октябрьскую революции. Этот большевик — вальцетокарь Шугаевского завода, Никита Гловов.

Раскрытие характера Глотова начинается со следующего эпизода: дело, видимому, происходит на фронте, Гловов со своим товарищем, мадьяром Владиславом Санто, попадает в руки денкинской банды. Санто расстреливают, а Глотова почему-то оставляют в живых. По этому поводу Гловов начинает себя анализировать, он спрашивает себя: «Что же было у меня там подле умирающего друга? Отчаяние? Страх?.. Нет, смерть не пугала меня. Так что же было со мною у могилы Санто? Лишь позже, пройдя сквозь строй потных от крови дней, приблизился я к правде»... Эта «правда», оказывается, в том, что Санто под наведенными винтовками денкинцев слишком вызывая себе вел (пел песни и бросал вызов офицеру), тогда как (по мнению Глотова), может быть, надо было вести себя иначе, ибо «мужество наше во всех случаях должно было оставаться расчетливым». Хотя Гловов на протяжении многих страниц и пытается убедить читателя в своей

то обстоятельство, что нетипичное изображение характера коммунистки Антоновой в рассказе Пильняка полностью отвечает тем «принципам», которые защищаются «Лит. критиком» (тем самым журналом, на страницах которого тов. Гоффеншефер претендует на защиту партийной ортодоксии...).

«правде», в эту «правду» все-таки плохо верится, и остается впечатление, что Готов, может быть, струсил перед расстрелом и, что, следовательно, пощадил его, может быть, не спроста.

Окончив (вчерне) самоанализ по поводу расстрела друга, очнувшись и «брезгливо подстегивая себя», Готов (спрятавшись в ворохах сена в какой-то яме) предается реминисценциям (воспоминаниям) о заводе, о старом сталеваре Зотове и т. п. Дальнейшее развитие романа дается в плане именно этих самых ретроспективных воспоминаний о давно прошедших временах (эпизод с Санто остается прологом, забеганием вперед).

Мы узнаем, что отец Глотова работал на химзаводе, что сам Готов в юности был трактирным мальчишкой, работал в кузнице, затем попал на завод. С ранних лет его опутывала тайна (не тайна бога, а более страшная тайна — экономического и политического правопорядка). Работая на заводе, Готов, с одной стороны, «переполнялся тревогой сознания своей обреченности, чувством, похожим на щенячий страх», а с другой — как будто становится на путь революционной борьбы. В разоблачительном плане (методом показа изнутри) описываются, далее, дореволюционные порядки на заводе (всесильная и всесторонняя власть заводчика Фокина). Готов попадает в подпольный кружок к социал-демократу Вагину, проглатывает на глазах полиции при обыске партийные документы и попадает в ссылку.

В ссылке наш герой отличается «самобытностью»: был он «мечтателем, неутомимым и мрачным спорщиком» и рвался в мыслях «на простор, к целине». Однако, вырваться оказалось трудно. Одолеvalo «ветхое оперение... житейских кавычек». Чтоб «осилить свое прошлое», Готов взялся за перо и бумагу, т. е. за писательское ремесло («вот, наконец, пробьет час Глотова, и он, бывший трактирный мальчишка, заставит вас, люди, прислушаться к себе»). Однако, писательские «опусы» Глотова не встретили одобрения не только у старшего партийного товарища Вагина, но и у любимой

девушки — Анны Рудаковой («нескладно там у тебя, — говорила последняя, — ни одной путной мысли»). Конечно, самолюбие Глотова было оскорблено: ему «решительно не нравилась повадка Аннушки думать и рассуждать».

Приходит весть о стачке на Шугаевском заводе. Готов с товарищами бежит из ссылки, убивает по дороге урядника, пытавшегося их задержать. В этой связи он начинает философствовать по Достоевскому: если, мол, на свете человек человеку волк (урядник преследует своего «ближнего» нагайкой, а этот ближний при удобном случае проламывает ему голову топором), то «какая же цена человечеству и — полно! — настолько ли уж одарено оно, чтобы помышлять нам о царстве братства, о коммунизме?» (хорош «мечтатель»!). С такими размышлениями шли наши беглецы по тайге и «искали последнего, решающего смысла в делах человека», шли «к людям в города, чтобы поднять их на борьбу». Революция застаёт Глотова с товарищами в пути. Их встречают в городах с оркестрами, в деревнях со знаменами. «Помолодевшая страна» несла Глотова «на руках, как знамя, как оружие в борьбе за лучшее свои сновидения». Готов «пьян без вина». Мы ждем от Глотова, что он оправдает надежды «помолодевшей страны», что он действительно станет «оружием в борьбе» за лучшее будущее. Ведь ему всего «двадцать четыре года от роду — и столетний боевой закал». Но, увя! По пути на станциях Готов иногда вылезает из вагона, выступает на летучих митингах и громит временное правительство, но в общем и целом он попрежнему целиком погружен в рефлексy. Видя, как «с верхней полки, подпрыгивая, ползут горячие простыни Аннушки», он чувствует, что сердце у него «бьется скоро и часто, как солдатский барабан». И под звуки этого «барабана» Готов начинает «припоминать всякие случаи из своего прошлого». Припоминать же прошлое понадобилось ему для того, чтобы решить, как он относится к Аннушке: ищет ли он в Аннушке женщину, или прежде всего товари-

ща. Глотов уверяет читателя, что в Аннушке он искал «только дружбу», но читатель склонен ему не поверить, ибо он видит, как в разговоре с Аннушкой Глотов одной рукой гладит ее волосы, а другой, «касаясь ее спины, нащупывает шашечки позвоночника: все простенькое и доступное, но какое же... замечательное...»

По возвращении на Шугаевский завод Глотов начал проявлять себя на практике: во-первых, он выступил «кое-как» на митинге против меньшевистского главаря завкома, во-вторых, он отправился в деревню, чтобы поднимать крестьян против помещиков и временного правительства, но почему именно ему надо было выполнять эту миссию — не совсем понятно. Сам Глотов в своих «последних записях» говорит по этому случаю так: «Как случилось тогда, что я, Глотов, не последний в рядах шугаевской организации работник... вдруг бросил завод... и удрал в степи, к деревням... Даже теперь, через много лет, озирая дела того времени, затрудняюсь сказать, чем именно руководствовался старший мой товарищ (Кондрашов), отпуская меня из города... Но если сам Глотов не знает, как все это случилось и чем именно руководствовался его старший партийный товарищ, посылая его в деревню, то откуда ж обо всем этом знать читателю?»

Происходит Октябрьская революция — побеждает советская власть. Первые годы нэпа. Глотов в Москве. Сюда попал он на излечение по причине контузии, полученной в степных боях с помещиками, а «любители искусства, из тех, что в каждом лишушем пролетарии готовы видеть будущее светило», нашли необходимым послать Глотова на литературные курсы. Таким образом, «побродив в степях с винтовкой», уселся Глотов за учебу. Он изучает диалектический материализм и другие науки. «Прилежно изучая всякую всячину, преподносимую на курсах, занялся Глотов новыми языками, а свободные от учебы часы просиживал над своею повестью. Отдыхая, копался, как мышь, в плесени бесчислен-

ных профессорских фолиантов, проглотил немало страниц из старых и новых историков, философов, естествоиспытателей, мастеров искусства». «Все это дело! — скажет читатель. — Значит, Глотов взялся за ум. Проглотив уйму книг, изучив языки, историков и философов, Глотов, наверное, овладел, как следует, диалектическим материализмом и пустил в ход это грозное оружие». Увы, дорогой читатель, — вы ошиблись! Оказывается, что наш герой, по примеру пушкинского Онегина:

Отрядом книг уставил полку,
Читал, читал, а все без толку...

Оказывается, что уже через полгода голова Глотова «напоминала... огромный котел в руках неопытного кухмистра, где необыкновенное производилось вариво из Гельвеция, Сен-Симона, Лассали, Реклю, Спенсера, Фейербаха, Лейбница»... На что же способен человек с таким «варевом в голове»? Ни на что больше, как на нудное самокопание — на бесплодные, изнуряющие рефлексии. Правда, Глотов уверяет, что много позже он понял, как надо лавировать среди «книжных эльбурусов», и навел порядок в своей голове, но во всем этом позволительно усомниться, ибо практика — критерий истины. А на практике Глотов попрежнему бездельник. Сидя в Москве, он прочитал в газетах объявление о том, что его родной Шугаевский завод ведет героическую борьбу за свое восстановление и что рабочие завода клеймят позором дезертиров (людей, ушедших с завода). Глотов ощущает колебание почвы под ногами (все борются за завод, кроме него). И вот наш герой, чувствуя угрызения совести, решает поехать на завод, чтобы броситься в «самую кипень заводского разлива». Он даже сагитировал ехать вместе с собою одну курьершу — Олейникову. Но, решившись на такой «подвиг», Глотов вдруг снова начинает анализировать себя: дескать, а надо ли мне ехать?.. Этими сомнениями он «разодран был на куски, как дождевой червь». Наконец, решил ехать, но... опять начинаются колебания. Опять ре-

флексии и реминисценции, граничащие с галлюцинацией. Вместо того, чтобы ехать (раз принято решение), он сидит и нудно размышляет о своей повести, нехотя собирает чемоданы, перекладывает с места на место рукописи и т. д. С одной стороны, Готов как коммунист полагает, что надо ехать, а с другой стороны, — ехать ему страшно не хочется. Газетная заметка о заводе «спутала карты». «Я выполняю долг, — говорит Готов, — я был бы несчастен, как последний нищий, не случись со мной того, что у нас называют исполнением долга». Выходит, что «помолодевшая страна» зря несла на своих руках Глотова из ссылки. Готов — не боец, а кляча, нагруженная долгом. В конце концов, Готов поехал и, сидя в вагоне, уже подезжая к заводу, он опять размышлял: он ощутил, как слух его «проникает в будущее, нарастающее эхо ураганного огня... как во всякой войне, здесь также будут жертвы: одни падут на постах, в атаках с молотом и киркой, другие стадом хлынут в глушь, прочь от грома и молнии металлических батарей...»

Впоследствии выясняется, что для проникновения слухом в будущее у Глотова не было никакой надобности, ибо ни с киркой, ни с лопатой на заводе он себя не проявил. Дальше в романе опять вместо прямого действия в плане ретроспективных воспоминаний, в эпической форме дается история завода, показывается связь заводчика Фокина с французским капиталом, работа подпольной партийной организации и история стачки на заводе, отражение столичной реакции после 3 — 5 июля 1917 г. на Шугаевке и т. д. Но все эти факты и события можно оставить в стороне, ибо во всех этих событиях Глотова, в сущности, незаметно. Он попрежнему копается в своих переживаниях и воспоминаниях, «как сказочный паук, чьи легчайшие сети держат тяжесть действительности»...

Итак, кто же такой Готов: коммунист или мещанин? Полагаем, что двух ответов быть не может. Готов не коммунист, а жалкий интеллигентный хлю-

пик, мещанин, вконец запутавшийся в своих противоречиях, в изгибах внутреннего «я». «Но как же так? — скажет читатель. — Ведь автор романа ставил своей задачей изобразить характер большевика, характер профессионального революционера!» Совершенно верно, дорогой читатель. Автор романа хотел изобразить коммуниста с подпольным стажем, с большим революционным прошлым, с настоящим и будущим. «Но как же так получается? — опять скажет читатель. — Неужели автор романа не замечает изъянов в своем герое? А если замечает, то о чем же он думает, какую идею хотел выразить в своем произведении? Или, может быть, у автора совсем не было идеи?..»

Нет, дорогой читатель. Идея у автора романа, оказывается, была. Идея эта выражена в романе, и заключается она в том, что параллельно изменяющейся жизни (рядом с текущим «бытием») Готов постепенно выворачивает себя наизнанку, сбрасывает с себя ветхого Адама и становится «новым человеком». Другими словами, «бытие определяет сознание», и под влиянием этого бытия Готов изменяет свою природу. Поэтому и роман называется: «Наступление». В этом названии двойкий смысл: во-первых, наступление в самой жизни (революция), во-вторых, — параллельное наступление на самого себя: Готов «вынужден был ополчиться против себя и повести наступление». Наступление же «на себя» Готов ведет путем рефлексий и воспоминаний, путем нудного изнурительного с а м о а н а л и з а, путем борьбы с «гадкими и подлыми» мыслями.

Такова идея романа. Но эта «идея» в корне ошибочна и блестяще высмеяна еще знаменитым русским реалистом — Дмитрием Ивановичем Писаревым. Вот что писал Писарев (в статье «Промахи незрелой мысли») по поводу того самоочищения или подглядывания за собой, каким занимается Готов:

«Когда вы пообедали, то вы очень хорошо знаете, что в вашем желудке находится пережеванная пища в виде

так называемой кашицы; вы знаете, что эта кашлица имеет очень некрасивый вид и довольно неприятный запах; но вас это обстоятельство никак не смущает; вы преспокойно оставляете неблагообразную кашлицу там, где она должна быть, и из этой кашицы вырабатывается понемногу ваша кровь, ваши мускулы и ваши нервы, т.-е. все, что дает вам возможность жить в свое удовольствие и действовать на пользу ваших ближних. Значит, некрасивая кашлица — вещь очень хорошая, но если бы вы стали вытаскивать ее из вашего желудка, показывать ее вашим друзьям и горевать вместе с ними над ее непохвальным цветом и запахом, то вы доставили бы только себе и друзьям несколько неприятных минут, а в случае частого повторения подобных проделок вы бы даже очень серьезно расстроили свое здоровье, что все-таки не обратило бы на путь истины закоснелую мерзавку-кашлицу...»

«Подглядывая за собой, — говорит Писарев, — вы сами раздваиваете свой ум и ослабляете или извращаете его деятельность... Оно и в самом деле увеселительно. Но маленько погрешив, то маленько пораскаешься, да легонько постегаешь самого себя не-вещественными розгами. Вот тебе и покажется, что ты точно какое-то дело делаешь, умом своим работаешь, нравственность свою исправляешь, полезного деятеля из своей особы приготавливаешь. Если даже и крепко грешивши и часто падаешь на пути добродетели — все это для тебя не велика беда, у тебя сейчас фарисейские утешения найдутся, потому что весь твой ум постоянно устремлен на казуистические тонкости и посредством навыка приобрел себе замечательное мастерство по части иезуитской изворотливости. Ум твой тоненьким голоском станет шептать тебе: успокойся, другие грешат в десять раз больше тебя, но и ухом не ведут, потому что у них нет твоей чуткости. Ты неизмеримо выше их, потому что ты

замечаешь за собой каждую малейшую слабость. — Ты человек высокой нравственности, потому что ты строг к самому себе. — Ты будешь слушать эти льстивые речи с глупейшей улыбкой самодовольного блаженства; но так как ты уже измощенничался насквозь благодаря твоим любезным подглядываниям, то ты сейчас состроишь постную рожу и прикрикнешь на самого себя: «Молчи, мерзавец. Как ты смеешь гордиться твоими совершенствами, когда тебе следует оплакивать твои беззакония». И вслед за тем тебя еще приятнее охватит сознание, что ты ни в чем не даешь себе спуска и даже умственную гордость свою подавлять умеешь. Да, точно. Потеха весьма увеселительная, но еще более вредная». (Соч., т. IV, стр. 215 — 219, 6-е издание Павленкова).

Нам кажется, что к этой блестящей писаревской характеристике самокопания или «подглядывания за собой» мало что можно прибавить. Несомненно, у автора «Наступления» была благая мысль показать старого большевика — профессионального революционера, прошедшего суровую школу классовой борьбы, иначе говоря, создать образ, имеющий большое значение для воспитания молодого поколения. Но ведь для этой цели не годится пустяковая идея «наступления» на себя, идея самоочищения и самоусовершенствования путем подглядывания за собой. Нужна была не идея пассивного и параллельного ковыляния за жизнью, а идея активного действия, идея революционного изменения действительности. Вот если бы характер Глотова был раскрыт в активном действии, если бы Глотов был показан в роли революционного преобразователя действительности, в роли руководителя масс, в роли человека цельного, до конца последовательного в делах и мыслях, тогда молодое поколение комсомольцев и пионеров с полным правом могло бы сказать: «Вот это человек! Вот это герой! Вот это революционер! И мы должны взять пример с

этого революционера, должны воспринять и продолжить славные традиции старшего поколения — воспитать в себе беззаветную преданность делу коммунизма, непреклонность и последовательность в достижении великой цели». Так могло бы сказать юное поколение нашей страны, если бы Глотов был показан в революционной практике. Но Глотов не революционер, он, с одной стороны, — «такой», а с другой стороны — «другой». С одной стороны, по замыслу автора (и в известной мере по смыслу романа), Глотов — большевик, а с другой стороны, он раздвоенный от самоанализа интеллигентик, вконец запутавшийся в своих противоречиях мещанин. Отсюда следует, что характер Глотова остался всецело погруженным в многообразие проявлений и в противоречия. Характер Глотова застыл на многообразии и противоречиях и не развит до степени типичной для большевика определенности.

На этом пока поставим точку и подведем некоторые итоги.

1) Рассуждения Розенталя и других товарищей из «Лит. критика» о негативных и позитивных задачах критики (о том, что сейчас не столько негативная, сколько позитивная задача критики) противоречат традициям воинствующего марксизма-ленинизма и являются фактически совершенно не верными. Нельзя решить ни одного основного принципиального вопроса развития нашей литературы без непримиримой и последовательной критики всякого рода антимарксистских теорий. В брошюре «Нужна ли нам романтика» и в статьях о социалистическом реализме мы уже показали, что коренные вопросы критики — вопросы социалистического реализма и социалистической романтики — не могут быть решены без самой строгой и последовательной критики рапповских теорий. В настоящей статье мы взяли вопрос об определенности характеров (т.е. вопрос о социалистическом реализме в более конкретной форме) и показали, что «позитивисты» из «Лит. критика», вроде тов. Розенталя, целиком

стоят на точке зрения рапповской теории «живого человека».

2) Отсюда следует, что утверждения «Лит. критика» о том, что пресловутый рапповский «диалектико-материалистический творческий метод» уже «раскритикован» (что будто бы «это сделать было не так трудно»), эти хвастливые утверждения «Лит. критика» являются совершенно неверными. «Лит. критик» не только не раскритиковал рапповских теорий, но сам целиком находится в плену у этих теорий.

3) Но дело не только в теоретических рассуждениях Розенталя и других. Дело в том, что теория рапповского «живого человека» (теория стихийности) имеет весьма сильное влияние на развитие нашей литературы. Мы показали это на вопросе об определенности характеров. Мы по необходимости ограничили себя небольшим кругом писателей, главным образом, рассмотрением показа характеров коммунистов. В следующий раз необходимо будет привести больше примеров и рассмотреть образцы показа характеров, представляющих не только пролетариат, но и другие классы. Однако, и на основании фактов, приведенных в этой статье, можно смело сказать, что вопрос об определенности характеров (следовательно, вопрос о типичности характеров) несомненно является камнем преткновения для наших писателей. Вопрос об определенности характеров является весьма важным и злободневным вопросом нашей критики.

4) Это значит, что перед нашей критикой стоят, по сути дела, «старые вопросы». И отвертеться от этих «старых вопросов» никак нельзя. Без разрешения этих «старых вопросов» наша критика не сделает ни шагу вперед.

5) Постановка и разрешение этих «старых вопросов», а стало быть, непримиримое, последовательное разоблачение антимарксистских рапповских «принципов» критики, защищаемых сейчас Розенталем и другими, имеет не только теоретическое, но (как показано выше) и сугубо политическое значение.

2. „НЕ ПЕРЕВОДЯ ДЫХАНИЯ“ ЭРЕНБУРГА ¹⁾

Е. Гальперина

«Не переводя дыхания» написано не о любви, хотя так было сказано в первой рецензии на эту книгу. Но в ином, более глубоком смысле ее тема — действительно тема любви, поэтических, товарищеских, человеческих отношений, растущих в новом обществе. Это тема советского гуманизма. Эта лирическая тема сейчас — в центре внимания всех. Но Эренбург подошел к ней по-своему.

У переезжающих советскую границу при виде красноармейца, охраняющего ее, возникает совершенно своеобразное чувство. Острая и свежая нежность к социалистической родине людей, привыкших жить в ином мире. Многие интонации Эренбурга, повидимому, порождены этой «эмоцией границы».

Мы все привыкли воспринимать жизнь под углом зрения контраста двух миров. Но люди, подобные Эренбургу, ощущают ее прежде всего по закону контраста. Он пронизывает все их мышление. Люди, отношения в СССР выступают прежде всего в отталивании от «их» мира. На этом остром эмоциональном контрасте построены и очерки «Затянувшейся развязки», и оба последних романа Эренбурга.

В первую очередь это контраст живого и мертвого. В «Затянувшейся развязке» Москва названа городом живых. Мы этого качества не замечаем. Оно слишком привычно. Это кажется само собой разумеющимся. Но чувство Эренбурга к нашей стране — это нежность к живым. Такое восприятие естественно для людей, живущих в мире, где все отравлено ощущением распада, мыслью о смерти.

Контраст старости и молодости. Может быть, никто не нашел таких острых слов, как Эренбург, чтобы передать старческое, склеротическое окостенение западной культуры. И именно потому в СССР так подчеркнута выступает молодость страны. Штрем в «Не

переводя дыхания» видит в СССР «сплошной детский сад». Это типично западное восприятие. Враги говорят об этой молодости со страхом, друзья с восхищением, но говорят все. Для Эренбурга тема молодежи не просто одна из возможных и актуальных тем, но тема глубоко эмоциональная. И естественно, что Эренбург, мыслящий законами контраста, пытается раскрыть новые отношения в СССР на психологических коллизиях комсомольского поколения.

И, наконец (и это, быть может, основное), как и большинство западных интеллигентов, Эренбург находится сейчас в центре великой переоценки ценностей, поворота от индивидуализма к социалистическому гуманизму, который связан с именами Роллана, Жида, Мальро и других.

Для людей, живущих в атмосфере этой переоценки ценностей, контраст двух миров встает, прежде всего, как контраст одиночества и коллективизма. Буржуазный Запад — мир одиночества, обособления и эгоизма. СССР — мир людей, живущих в коллективе, мир «мужественного братства», товарищества, дружбы людей, совместно строящих будущее.

Так органически возникает для Эренбурга образ советской молодежи — жизнь, молодость, человечность, товарищество. Так возникает тема «Не переводя дыхания», тема любви.

Можно, глядя с Запада, воспринять контраст двух миров и в других планах. Можно себе представить, что писатель типа Г. Уэллса, «поняв» СССР, увидел бы прежде всего контраст «их» анархии и нашего плана. Но Эренбург ближе к гуманистической французской интеллигенции.

И, строя свой образ молодежи на теме «одиночество, эгоизм — товарищество, человечность», Эренбург берет очень важную сторону новых отношений и ю-

¹⁾ В дискуссионном порядке.

вого человека, но все же только одну, которая заслоняет для него другие.

Плоскость, в которой воспринята здесь психика нового человека, очень сближает роман Эренбурга с последней книгой А. Мальро. Обе они — лирические книги на тему «мужественного братства», более мужественного у Мальро, более сентиментального у Эренбурга. В обеих приведены слова Н. К. Крупской, сказанные после смерти Ильича: «Ленин любил народ», как бы концентрирующие мотив товарищеской любви обеих книг. Эренбург раскрывает его на образе советского комсомольца, Мальро — на образе западного революционера.

В этой однопланности — лирическая прелесть, но и слабость «Не переводя дыхания».

Эта книга написана, действительно, не переводя лирического дыхания. Она своеобразно построена.

Тема «любви» раскрыта в контрасте. Эмоционально подчеркнутый монтаж из фактов и набросков людей образует как бы лирический фон. По удачному выражению одного из критиков, это не характеры, но лишь судьбы, множество человеческих судеб, брошенных в книгу, множество слегка очерченных человеческих контуров. Они не вырастают в живые характеры, эти Лельки, Варьки, Мезенцевы.

На этом фоне выделяется единственный полный характер этой книги — Генька, запутавшийся новый человек, воплощающий противоречие между индивидуалистическим строем своего характера и всей системой социалистических отношений. Характер, быть может, не вполне всесторонне, но исключительно остро увиденный Эренбургом.

Такое построение книги и особенно ее «фона», сплетенного из набросков людей и событий, неизменно наводит критиков на сопоставления с западной литературой. Они утверждают, что Эренбург, отказываясь от четкой сюжетной линии, механически переносит на советский материал композиционные формы, связанные с распадом западного романа (Ж. Ромэн, Дос Пассос и др.). Между тем это сходство совершенно внешнее и

формальное. Распад романа на Западе, это хаотическое переплетение судеб, действительно, вырастает из острого чувства раздробленности и атомистичности мира. Наоборот, Эренбург, повидимому, сознательно отталкиваясь от традиционной и закостеневшей формы западной буржуазной литературы, пытается найти какую-то новую форму, передающую становление новых отношений. Но он еще не находит эту форму, не потому, конечно, что он в плену у Ж. Ромэна, а потому, что внутренние закономерности нашего развития и их железная логика еще не настолько отчеканились в сознании Эренбурга, чтобы отлиться в четкие сюжетные стержни его книг. Отсюда и аморфность «Не переводя дыхания», и ее бесформенное, музыкально-лирическое построение.

Самое художественно сильное в этой книге, бесспорно, образ Геньки Сияицына. Это он по-настоящему поднимает «Не переводя дыхания» до настоящей психологической и политической остроты и проблемности.

В Геньке видят иногда продолжение или новый вариант Володи Сафонова.

Но это не так. Судьба Сафонова, человека старой культуры и старой крови, получила свое завершение в «Не переводя дыхания» в других образах. Эренбург упрекал за то, что он прикончил Сафонова, «не дав ему возможности «перестроиться». В новой книге образ Сафонова как будто раздвоился. Все старое, мертвое в нем воплотилось в образ Штрема, этого символа старого мира, призрака, окутанного атмосферой смерти. Лучшая же сторона Володи Сафонова оживает в образе Веры, которая, выйдя из буржуазного мира и неся на себе его клеймо, не только научилась «языку новой жизни», но «научилась писать на нем стихи».

Генька — не Сафонов. Это не обломок прошлого, блуждающий между Кольками Ржановыми. Это комсомолец, выросший в новом мире. «Он просто сбился с пути», пойдя путями прошлого.

Могут ли в наших советских, социали-

стических условиях возникнуть Жюльены Сорели? Может ли наш комсомолец пойти путями Растиньяка? И что получится, если он попробует этот путь?

В Геньке воплощены ответы на эти вопросы.

Сущность Геньки во внутреннем конфликте между его активным и искренним участием в общей работе и его индивидуалистическим характером, растиньяковскими методами продвижения вперед, его звериным эгоцентризмом, приводящим его к неизбежному столкновению со всей окружающей его системой человеческих отношений.

Имя Растиньяка или Жюльена Сореля не случайно приходит на память. Эренбург сам подчеркивает это сходство. Приехав в Москву, Генька смотрит на этот город, который ему предстоит завоевать, как молодой Растиньяк на растилающийся перед ним Париж. Начиная свой роман с Верой, Генька рассчитывает каждый шаг, жест и поцелуй, повторяя в точности поведение Жюльена Сореля с Матильдой де ла Моль. Почти все герои «Не переводя дыхания» читают Стендаля. Но Генька читает его не только в порядке того «усвоения культуры», который мы видели в «Дне втором». «Он читал Стендаля, как учебник». Он хочет пробиться вперед, используя опыт и методы западного молодого индивидуалиста XIX века.

Так, может быть, Генька вовсе и не тип, не характер, не живой человек (это и утверждают некоторые критики)? Может быть, это ходячая проблема, наподобие художника Кузьмина, воплощающего проблемы искусства, мучающие самого Эренбурга? Может быть, это образ другой формации, искусственно пересаженный на советскую почву, чтобы получить острую коллизию?

Нет, конечно. Да Генька и не вполне Жюльен Сорель или Растиньяк. Если бы это было так, то конфликт, заложенный в нем, был бы чисто внешним. Он столкнулся бы со средой, был бы вычищен из комсомола, и дело с концом. Но Генька не во всем враждебный характер,

и именно потому прав Эренбург, показывая его конфликт, как в н у т р е н н и й крах.

Сила Эренбурга в образе Геньки и проявилась в том, что он здесь не разрешает какую-то абстрактную и надуманную проблему, а показывает острый, в самой жизни вырастающий конфликт личного и общественного стимулов труда и всего поведения нашей молодежи. Это не только жизненно, но это — одна из кардинальнейших сторон в формировании нового человека.

Генька — не стержневой образ нашей молодежи. И для Эренбурга он — урод, сбившийся с пути, белая ворона среди комсомольцев. В сгущенном, концентрированном виде он выражает те уродливые черты индивидуализма, которые еще существуют и преодолеваются с каждым годом. В жизни эти черты смягчены, рассыпаны по разным людям, часто замаскированы. Вот почему некоторые читатели ужасаются: «неужели среди нас ходят такие чудовища?»

Чудовище ли Генька? Что он собой представляет? Он как будто неплохой парень. Умен. Талантлив. Воля. Активность. Инициатива. Политическое мышление. Генька делает как будто все, что полагается. Он много работает, упорно учится, читает доклады о международном положении, изобретает, женится. И все же он «не как все». Он одинок. Мысль о себе, о своей судьбе, о своем будущем и превращает его в маньяка, в машину. Он расчетлив. Он рассчитывает каждый жест, каждый час, каждый разговор, каждый поцелуй. В замечательном письме раскаявшийся Генька признается, что был кулаком. «Моя изба — это они думают, а я — мое изобретение, мои писания, мое назначение». Генька любит страну и революцию. «Он знает те великие идеи, которые определяют жизнь страны. Идеи он любит — они ему по росту, но к людям он равнодушен». В сущности, Геньке везет в жизни. Его способности ценят, его продвигают вперед, его посылают учиться, он едет в Москву. Девушки

им увлекаются. Однако, он несчастлив. Ему все мало. Мысль о его назначении грызет его. И он внутренне одинок. Он всегда ощущает свою обособленность. Он не замечает товарищей, как не замечал жену и дочку. Он презирает товарищей. Но тут же втайне завидует их простой дружбе.

Эренбург очень убедительно, шаг за шагом показывает, как на всех столкновениях Геньки с комсомольцами, инженерами, девушками, женой вырисовывается глубокая отчужденность этого парня, действующего методами Жюльена Сореля, конфликт между тем, что он делает (ибо он делает то же, что и все окружающие его комсомольцы), и тем, как он пытается продвигаться в жизни. Он хочет быть первым, он мечтает о роли вождя. Генька — по складу характера тип активного индивидуалиста. В нем этот враждебный нашему обществу тип характера еще не перерастает в политическую враждебность. Но это тот тип, который потенциально, в возможности может перерасти в нее. Этот характер — благоприятная питательная почва для всяких политически враждебных вождистских настроений и идей. И Эренбург, разоблачая классовую враждебность («кулаком был») этих черт характера, ставит острую политическую проблему.

Раскрывая в образе Геньки опасности эгоцентризма и равнодушия к людям, Эренбург переплел здесь несколько типов, встречающихся среди молодежи, да и среди более старшего поколения.

Чистые Растиньяки, беспринципные, рассматривающие революцию только как трамплин для своей собственной карьеры, могут существовать среди нашей молодежи только как единицы. И Эренбург был прав, показав в Геньке черты более распространенные.

Разве еще не встречаются среди молодежи люди всецело политически советские, честные, идейные, но подчиняющие в значительной мере свое поведение мыслям о собственном «я», расчетам своего продвижения, даже если иногда от этого страдает дело. Многие из них были бы

искренне удивлены, если бы заговорили о растиньяковских чертах их характера или о их карьеризме. Но черты эти есть. И к людям они равнодушны, потому что слишком много думают о себе. Это равнодушие от эгоцентризма.

И есть другой тип, особенно распространенный в годы первой пятилетки. Это люди очень идейные, очень честные, до конца преданные делу, стране, революции, которые готовы для дела замучить и самих себя, и всех окружающих. Они любят гораздо больше страну в целом, чем живых окружающих товарищей. И к людям они равнодушны, не потому, что думают о себе, но потому, что думают только о работе.

В жизни черты этих двух типов очень часто переплетаются, как это случилось с Генькой Эренбурга.

Откуда взялись эти черты? Некоторые считают, что Эренбург искусственно дал своему Геньке рабочее (или полурабочее) происхождение. Считают, что растиньяковские замашки бывают только у того узкого слоя молодежи, которая вышла из буржуазной среды. Но забывают, что те Геньки, которым сейчас 20—25 лет, росли в стране, где индивидуалистическая крестьянская стихия играла огромную роль. И задача преодоления индивидуалистических навыков, вступивших с детства, стоит для тысяч молодых людей, поднявшихся из низов огромной страны.

Индивидуалистические пережитки в молодежи — проблема очень широкая. Что произошло? Из низов, из глубин страны поднялось поколение молодежи. Впервые разбужены силы, закованные столетиями, разбужены миллионы, спавшие веками. И сразу перед ними открылось все. Особенно грандиозно с началом первой пятилетки. Все пути открыты: техника, изобретательство, искусство, наука, стратосфера, Арктика, завоевания новых пространств. «Запрокидывай мир, как чашу», и пей. И они жадно пьют. Но эта колоссальная впервые разбуженная, свежая и молодая энергия устремляется, конечно, не всегда по тем путям, какими должен идти социалисти-

ческий человек. «Перед вами, кажется, все открыто, — говорит в книге Эренбурга коммунист Голубев, — что же ты войну начинаешь, словно ты в крепости». И многие из этих юных освобожденных Прометеев пьют некрасиво, отталкивая от общей чаши соседа или вообще его не замечая.

И параллельно другое:

Перед этой молодежью выросло столько грандиозных задач, такие перспективы переустройства страны и великих работ, потребовалось столько труда, напряженной воли и усилий, что для многих из них человек, делающий облик страны, был заслонен самой страной, самим трудом, самим делом.

Когда мы видим у Эренбурга крах Геньки Синецины, то мы видим психологический крах людей, в которых наиболее ярко воплотились эти черты эгоцентризма и равнодушия к людям, в начале второй пятилетки. Конечно, проблема человечности отношений всегда существовала как проблема психологическая и социальная. Но раньше эта тема была темой боковой. Сейчас она выдвинулась как одна из центральных. Тема «любви», как она раскрыта Эренбургом, — не просто психологическая проблема, существовавшая всегда, но психологическая проблема, ставшая политической на переломе от первой к второй пятилетке. И Эренбург, создавая эту книгу и образ Геньки не теперь, когда этими проблемами наполнены десятки передовых статей и когда к ним повернута вся пресса, но тогда, когда они еще только начали выступать, обнаружил тем самым большую зоркость.

Эгоизм Геньки и раньше был чуждой чертой. Но на рубеже второй пятилетки его «античеловечность» стала особенно вразрез с основным типом нашей молодежи. Эренбург прав, когда он переосмысливает Геньку, потому что в этом сейчас задача. Нападали на Эренбурга за якобы необидительную перестройку Геньки, за ее неожиданность, говоря, что Эренбург произвольно вмешивается в судьбу Геньки, нарушая внутреннюю логику образа. Между тем Эренбург

очень убедительно показывает постепенное психологическое нарастание того краха, в котором очихается Генька от эгоцентризма. Крах его отношений с Верой — лишь последняя капля в целой цепи конфликтов с окружающим миром, которая раскрывает ему его самого.

Геньки встречаются среди разных поколений. Мне приходилось видеть их иногда в наших вузах, среди студентов из самой различной социальной среды. В прошлые годы это они приходили с жесткими и холодными глазами, жалуясь, что не могут работать среди товарищей, негодуя, что им якобы нельзя развернуться среди тупиц. Они писали замечательные работы, но действительно были плохими комсомольцами. Геньки есть и в литературной среде.

Каждый из нас встречал Генек. Характер, созданный Эренбургом, правдив и силен тем, что писатель смело и остро поставил большие психологические и политические проблемы самой жизни. Это поднимает образ Геньки на большую художественную высоту.

Но в книге Эренбурга есть и провалы. Редко встречаешь в советской литературе до такой степени неровные книги, как «Не переводя дыхания». Поражает контраст между блестящей остротой образа Геньки, между подлинным и теплым лиризмом отдельных сцен («Отелло» в колхозе, переключка по радио, ряд сцен с Ляссом) и явной второсортностью всего «фона» книги. Она лирична и музыкальна. Но музыка бывает разная. В «Не переводя дыхания» больше Верди, чем Баха. Советский читатель, воспитанный большой и суровой эпохой, неизбежно будет шокирован смешением чувства и сантиментальности, комсомольской экзотикой, всеми этими «братанами», «дролями» и «Петьками». Удивительно, как этого не почувствовал человек столь изощренной культуры, как Эренбург.

Поставив острые проблемы, Эренбург, однако, не исчерпал их. Самые сложные вопросы там и начинаются, где кончатся Эренбург.

На дискуссии о «Не перевода дыхания» любопытна была речь молодого рабочего с «Шарикоподшипника», который, положительно оценив книгу в целом, воспринял, однако, Геньку, как карикатуру на тип активного и волевого комсомольца, на стремление молодежи вперед. «Вот я теперь захочу изобретать, — говорил он, — а меня обзовут Генькой Синицыным».

Самая возможность непонимания этого образа молодежным читателем интересна и подчеркивает опасности однопланного изображения людей.

Что сделал Эренбург? Ведь по-настоящему Геньке противостоит в книге только Лясс, старый ботаник, «непартийный большевик», энтузиаст и добряк. Ибо в нем, как и в Геньке, есть талант и творчество. Но Лясс — человек иного поколения.

И естественно, что способный комсомолец, читая «Не перевода дыхания», захочет равняться не по скучноватым и сладковатым Мезенцевым, но по одаренному Геньке, только освобожденному от его звериного эгоизма.

Разумеется, Эренбург волен поставить на первый план образ, в котором подчеркнуты отрицательные черты. Но если уже использовать контрасты, то надо было противопоставить Геньке образы равные, если не по силе художественного изображения, то по характеру. Не только абстрактно-лирических Лелек и Варек, но типы волевые и творческие.

В письме Геньки Эренбург явно видит сущность комсомольца в товарищеской любви. «А комсомолец я был никакой», — пишет Генька. «Можно доклад хороший составить или еще что-нибудь, а здесь задача ясная: пока ты людей не любишь, ты и не товарищ, а так сбоку — с припеку».

И дальше еще категоричнее: «Почему у нас Магнитку построили? Разве в плане дело, или в том, что были гении? Ничего подобного. Вместе шли — в этом вся разгадка». Но дело, конечно, и в плане, и в том, что есть гении, и еще в целом ряде причин и условий. Да и качества и достоинства комсомольца, как

и вообще революционера, не исчерпываются же товарищеской любовью.

Товарищеские чувства, забота о людях и умение жить и бороться в коллективе неразрывно входят в понятие советского гуманизма. Но не исчерпывают его. И самое основное и существенное в пролетарском гуманизме — то, что революция и социализм раскрепощают все творческие силы в миллионах людей, дают возможности развернуться всем талантам и способностям, закованным столетиями. Эта сторона нашего гуманизма самое основное, а не только заботливость и нежность и товарищеские чувства. Благодаря однопланности изображения эта сторона оказалась отодвинутой в романе Эренбурга.

Нужны и те качества, которые есть у Геньки. Не только послушное и добросовестное выполнение работы (Мезенцев), но и инициатива, самостоятельность, творческое начало (Генька). Работе и жизни мешает не только эгоцентризм, но и азиатчина, вялость мысли, несамостоятельность. Для того, чтобы переделывать страну и мир, нужно много смелости, мысли, разума, дарования, воли не только упорной, но и творческой.

Генька хочет быть первым. Но разве это плохо? Неужели не хочет быть первым Серафим Знаменский, разрывая ленту финиша? Или наши парашютистки? Эренбург не понимает, что это законно. Это необходимо. Именно так возникают наши мировые рекорды. Наши спортсмены, шахматисты, музыканты, изобретатели хотят быть первыми и становятся ими. Генька — зверь не потому, что он добивается первенства, но потому, что он летит к финишу один, готовый ради победы задавить товарищей. И все дело в том, чтобы найти и показать ту грань, за которой законная, необходимая жажда выдвинуться, пробиться к первенству, черта советского человека может превратиться в звериный буржуазный эгоцентризм, может стать злостным и враждебным началом.

Разве не замечательна в сравнении с Мезенцевым многообразная молодая порывистость Геньки, который хочет все совместить, все скорее успеть, жить

полным темпом, бросаясь от Стендаля к политике, от партработы к изобретениям, от науки к любви? Лельки и Варьки живут у Эренбурга медленнее, человечнее. Но нет никакой уверенности, что они все успевают, что они живут полным голосом, давая жизни и стране все, что они могли бы дать, и беря все, что можно и нужно брать.

Но надо было бы показать ту грань, за которой замечательная жажда все успеть, жить во весь голос, превращает человека в машину, лишает его жизнь глубины, теплоты и человечности. Показать ту грань, за которой замечательная страсть к творческому труду превращается в равнодушие к людям.

Этого в книге Эренбурга нет. Не увидел Эренбург и того, что сейчас соотношение личных и общественных стимулов труда несколько сложнее, чем непосредственная прямая победа общественных стимулов над личными.

Даже и при полном, развернутом коммунизме, как известно, будет не подавление личного общественным, но их слияние в творческом труде.

Но мы сейчас, как и Генька Эренбурга, живем не при развернутом коммунистическом строе, но в социалистической первой его фазе, где эти взаимоотношения имеют своеобразный характер.

У нас ведь поощряется сейчас стремление жить не только для страны, но

и для себя. У нас существуют деньги, материальная заинтересованность в труде, поощрение квалифицированного труда, разница зарплат и жизненного уровня, премии за изобретения, за первенство. Сознательно развязываются в известной мере личные побуждения к труду, потому что это единственно правильный и возможный путь к будущему. Здесь и завязываются практически, жизненно конфликты личного и общественного в быту и психике нашей молодежи. И нужно уловить те грани, где личные стимулы помогают нашему движению вперед и где они становятся, как у Геньки, поперек дороги.

Эти вопросы остались в стороне для Эренбурга. И это понятно. Он воспринимает издали лишь те большие контуры проблем, которые связаны с основным контрастом капитализма и социализма, буржуазного индивидуализма и советского гуманизма.

У нас очень много писали последний год о публицистической критике. «Не переводя дыхания» при всех его недостатках и пробелах представляет прекрасный объект и повод для подлинной публицистической критики. Отправляясь от образов Эренбурга, продолжая то, на что нехватило зоркости автора, наша критика должна была бы разработать те вопросы формирования нового человека и в частности молодежи, которые смело и интересно поставил Эренбург.

3. ИСПОВЕДЬ ОДИНОКОГО ХУДОЖНИКА

Л. Полонская

Перед нами два изящно изданных тома писем одного из крупнейших мастеров западной живописи конца прошлого столетия — Вансента Ван-Гога к своему другу и брату — Тео¹⁾.

Тео — единственный человек, который любит художника, верит в его силы, в его одаренность. Он всю жизнь не покидает Вансента, поддерживая его мо-

рально и материально. Ужасающее одиночество художника, его неприязнь к буржуазному обществу, доверие и любовь Тео к Вансенту создают атмосферу предельной искренности между братьями.

Переписка длится почти два десятка лет. «Она образовала фоллианты», — пишет в предисловии к двухтомнику А. Эфрос, правильно при этом отмечая, что «эта корреспонденция — это дневник

¹⁾ Издание «Академии». 1935 г.

парижский период не характерен для него), любовь к типу из народа, обличение на полотнах царящего социального неравенства — позволяют нам, вопреки установившемуся признанию буржуазными искусствоведами Вансента импрессионистом и одним из крупнейших последователей Сезанна, считать его реалистом, одним из предшественников социалистического реализма наших дней.

Внимательно присмотритесь к творчеству художника, без предвзятости, свежим глазом познайте его художественное наследие, внимательно прочтите философское обоснование этого наследия самим Ван-Гогом, и вы убедитесь в необоснованности и неразумности или злостности огульного причисления последнего к импрессионистам.

Даже в парижский период жизни Ван-Гога, в пору наибольшего увлечения художника гедонистическим и индивидуалистическим началами, в основном он остается верен себе, и это является главной причиной того, что Вансент чувствует себя творчески в Париже не на месте, «пронизанным болью, как кляча».

Покинув Париж, Ван-Гог пишет из Арля в том же году сезаннисту Э. Бернару: «Право, у меня столько любопытства ко всему правдоподобному и действительно существующему (подчеркнуто мной.—Л. П.), что мало желания идеала, который мог бы быть результатом моих отвлеченных этюдов». Эта тема крепко волнует художника, и к ней он возвращается неоднократно, в разные периоды своей недолгой жизни. В 1882 году из Гааги он пишет брату: «Когда я вижу, как компануют и рисуют из головы (подчеркнуто здесь и ниже Ван-Гогом.—Л. П.) молодые художники и затем опять из головы мажут как попало..., а после пытаются из этой мази сделать что-нибудь опять-таки из головы, тогда мне иногда становится больно». Из Овера (1890 г.) упомянутому уже сезаннисту Э. Бернару: «Я обожаю все настоящее, правдоподобное (подчеркнуто мной.—Л. П.), а вы являетесь и хотите возродить нам ковры средневековья...»

Еще более резко и определенно он высказывается против импрессионистов в письме к Тео из Арля же в 1888 г., т.-е. в год отъезда из Парижа: «У импрессионистов я вижу воскресение Делакруа, но их положения также не приемлемы» (подчеркнуто мной.—Л. П.). Казалось бы, достаточно ясно и вразумительно. Но авторов предисловий к двухтомнику, А. Эфроса и Н. Щекотова, и это не убеждает. Относя импрессионизм к «вершинам буржуазного искусства», не чувствуя и не понимая его упадочнических корней и содержания, они не порывают с традициями буржуазного искусствования. Оставаясь на его позициях, они бессильны выполнить и задачу защиты творчества Ван-Гога от наскоков оголтелой реакции. Зачисляя художника в ряды импрессионистов, А. Эфрос и Н. Щекотов пытаются тем самым отдать все наследие художника этой самой реакции. Вот уж действительно: избави нас от «друзей», от врагов мы себя сами избавим!

Но возвратимся к Ван-Гогю. Художник поражает своим упорством и трудоспособностью. В этом отношении его жизнь — поучительный пример для подлинного мастера. Вансент прекрасно понимает, что одной одаренности и даже таланта мало: «Искусство требует упорного труда, труда, несмотря ни на что, и непрерывного наблюдения. Под упорством я подразумеваю длительную работу, а затем и приверженность к своему воззрению, вопреки болтовне всяческих людей».

Художник работает с рассвета до заката солнца, каждодневно, везде, как «носильщик»... Материал он черпает повсюду — в поле, в лесу, на улице, на вокзале, в хибарке бедняка, в шахте, в кабачке, в увеселительном доме. Ван-Гог буквально не расстается с тетрадкой и полотном для набросков. Вот очередная посылка Тео одного из многочисленных набросков. Как он сделан? «Он сделан на улице, во время мелкого дождя, причем я стоял в грязи среди всей сутолоки и шума улицы... Я стараюсь схватить вещи сразу, на месте... Я совершенно дру-

нескончаемый, тысячелистный, который изо дня в день наносился на бумагу и на свеже, тут же пересылался брату. Это, скорее, разговор вслух с самим собой, чем разговор с собеседником на расстоянии. Так писать можно, только изнемая от одиночества».

Письма с потрясающей простотой раскрывают жизненный путь самоучки Ван-Гога, его идейный облик, творческую, гигантскую работу над собой, изумительное упорство и умение учиться, участь — идти вперед и вперед к вершинам мастерства и культуры. «Я чувствую такую потребность постоянно учиться, изучать, как, может быть, есть хлеб», — признается Ван-Гог в письме из местечка Кем в августе 1880 г.

Письма — изумительный, кровью написанный документ. Они читаются с захватывающим и нарастающим волнением. Письма ценны не только тем, что интимно простым, но полным страсти языком живописуют автопортрет большого человека, в конце концов не выдержавшего нищеты, голода, издевательств, доведенного до сумасшествия и самоубийства. Значение писем Ван-Гога куда больше. В них на «личных» делах, людских отношениях и творческих переживаниях художника отображена эпоха, вскрыт капиталистический миропорядок и творческие «возможности» в нем для интеллектуального одиночки, не пожелавшего отдать талант на служение капиталу, не сумевшего в то же время революционное мировоззрение сочетать с революционным действием, не сумевшего включить себя в ряды крепнувших батальонов революции.

Ван-Гог до физического изнеможения ненавидит и презирает капитализм, «где слабых не жалеют, и когда слабый падает, его давят ногами и проезжают по нем колесами», где «художники... — только разбитые сосуды», где «деньги... то же, чем прежде было право сильного», где «противоречить кому-либо опасно, — это вызывает не сомнение, нет, а попросту удар кулаком в шею», где всем распоряжается и всем верховодит «холодная сволочь».

Оборванным и голодным чудачком, нищим, в одиночестве спасающим свою индивидуальность, буквально буруевым страстью к искусству, самозабвенно любящим человечество, надрывно тоскующим по настоящей глубокой люб-



Ван-Гог. — Скорбь. (Рисунок 1882 г.).

ви, — таким встает перед нами образ горемыки Вансента.

Ничто не может сломить призвания Ван-Гога к карандашу и кисти, даже годы заключения в сумасшедшем доме...

Он вдохновенно любит жизнь и людей и, преодолевая все препятствия, с упорством одержимого стремится достигнуть мастерства в реалистическом отображении их на своих полотнах. Идейная устремленность Ван-Гога к натуре, к подлинной жизни, к их художественному обобщению и отображению, отсутствие в его творчестве беспредметной и безыдейной эстетики (небольшой

гой человек, когда нахожусь за работой — где-нибудь на улице, на дюнах или на полях. Тогда и мое противное лицо, и моя потертая одежда вполне соответствуют окружающему, я становлюсь самим собой и работаю с удовольствием».

В другом письме: — «...ты только представь себе, что я утром часа в четыре уже сижу у нижнего окна, занятый, с помощью перспективной рамы, изучением лугов и двора столярной ма-

когда ему удастся приобрести «крепкие теплые штаны» и «пару здоровых башмаков». «Теперь я вооружен против ветра и непогоды», — удовлетворенно восклицает он.

Насколько Ван-Гог замкнут в обществе людей и напоминает ошестинившегося ежа, настолько же он раскрывается перед бумагой или полотном. Здесь Вансент предельно откровенен и вдохновенно взволнован. Творя, он везде чув-



Ван-Гог. — Едоки картофеля (1885).

стерской... а в это время первый рабочий бредет на верфь».

Художник не преувеличивает. Огромный труд его отмечает ряд людей, соприкасавшихся близко с Вансентом. Э. Бернар в своих воспоминаниях так описывает рабочий день Ван-Гога: «Прилавив на спину большой холст, он отправлялся в путь, затем делил этот холст на части, в зависимости от количества мотивов. Вечером же приносил его совершенно заполненным, и казалось, что это маленький походный музей, в котором были зарисованы все впечатления дня».

И художник радуется, как ребенок,

стивовал себя поэтому, как дома, в собственной мастерской.

Ван-Гог непоколебимо уверен в своих силах, хотя уверенность у него никогда не переходит в самодовольство. «Я должен превозмочь тяжелое время, — пишет он из Гааги в 1881 г. — Вода поднимается высоко, может быть, до самого рта, а может быть, еще выше, как знать наперед? Но я выдержу сражение, дорого продам жизнь, буду пытаться выиграть и стать на ноги».

Из Гааги же: — «Что я такое в глазах большинства — ничтожество, либо чудак, либо неприятный человек!.. Ладно, — предположим, все это так и есть.

но тогда я хотел бы все-таки показать всей работой, что заключается в сердце такого чудака, такого никто».

Из Гааги же: «Я работаю, сколько только могу, не берегу себя, — значит, я достоин того хлеба, который ем, и меня не смеют упрекать в том, что я до сих пор еще не смог ничего продать».

Трудности не могут сломить у Ван-Гога призвания и страсти к искусству. Работая, как вол, он поглощает немомверное количество материалов. На их тратится почти весь его скудный бюджет. Просьбой о присылке материалов полна вся переписка с братом. Вот он только-что получил посылку с красками, большую и разнообразную, но уже боится, что на завтрашний день их нехватит. Снова письмо к брату с благодарностью за полученное и просьбой о скорейшей высылке следующей партии. Если бы не было всей интереснейшей переписки Ван-Гога и от него остались бы только эти просьбы о материалах, просьбы упорные, нескончаемые, неотвязные, даже унижительные, то их было бы достаточно для того, чтобы понять всю любовь, одаренность и волю художника к искусству, его призвание, его уверенность, что потраченное возвратится сторицей.

Ван-Гог любит жизнь, любит человека, и органически, из самых глубин его «я» звучит возглас о том, что «нет более ничего художественного, как любить людей». Живя с рабочими в Боринаже, он быстро сживает с ними, вызывая неудовольствие начальства, позднее — увольнение. Сестра Вансента в своих воспоминаниях говорит о том, как искренно отдался делу просвещения молодой человек. «Зимой среди углекопов началась тифозная эпидемия... эпидемия не щадила ни старых, ни молодых». Ван-Гог не остается в стороне от несчастья: «Он отдает все свои деньги страдающим, сам же поселился в пустой хижине... причем, решительно все, что имел, будь то деньги или одежда, он пожертвовал беднякам, ни днем, ни ночью он не отходил от их ложа».

Таким остается художник всю свою недолгую жизнь.

Исключительной человечности Ван-Гога не может не отметить и Гоген, хо-

лодно, свысока и даже неприязненно относившийся к Вансенту. — Париж. Зима 1886 г. «Начинает падать снег, — пишет Гоген, — пешеходы спешили больше обыкновенного. Ни малейшего желания пофланировать. Среди них — некое существо, странное в своем смешном наряде, торопится добраться до внешнего бульвара. Оно завернуто в козий мех. Шапка того же меха. Все вместе — пальто, шапка, борода — все взъерошено. Точно погонщик волов. Не будьте невнимательны и, невзирая на холод, идя своим путем, не пропустите без пристального рассмотрения его белой изящной руки, светлых, голубых, столь живых, столь интеллигентных глаз. Конечно, это бедный малый, но это не погонщик волов, а художник. Он себя именует Ван-Гогом... Торопливо входит он к торговцу, продающему «старые железные изделия, картины масляной живописи по дешевым ценам и стрелы дикарей»... «Можете вы мне дать за это полотно немного денег?» Идет объяснение художника с владельцем «магазина». В конце-концов монета в сто су падает в руки Ван-Гога».

Что было дальше? Предоставим слово опять Гогену: «Ван-Гог взял монету без возражения, поблагодарил торговца и с трудом поднялся по улице Лепик, а когда дошел до своего жилища, бедная женщина улыбнулась художнику, и его монета стала собственностью проститутки... Быстро, как бы стыдясь своей доброты, он скрылся, оставшись с пустым желудком».

Пусть читатель не посетует за длинную цитату. Слишком уж она красноречиво характеризует Ван-Гога.

Ван-Гог убежден, что в будущем обществе, обновленном революцией, «будет искусство такое прекрасное, такое юное, такое настоящее и в то же время — правдивое, что если мы сейчас отдаем за него нашу молодость, то только выигрываем в радости». Художник считает, что произведения искусства должны создаваться для народа, должны быть широко доступны каждому. Он носится с идеей массового репродуцирования художественных рисунков, гравюр и картин. Но личных средств

нет. Нет и организации, которая бы заинтересовалась мечтой художника. К тому же жить в одиночестве людям, искренно преданным искусству, все невыносимее. Так рождается утопическая мысль о создании творческого содружества художников. Она кончается, как и жизнь Ван-Гога, настолько трагически, что сам Вансент горестно признается: «Только бы не начинать этого сначала!»

Ван-Гог не хочет и не ищет связи с сильными мира сего. Роскошь, материальное благополучие, все то, что получается через эксплуатацию человека человеком, все, что, по выражению художника, «оплачивается человеческой жизнью», приравнивается им к прямому воровству. «Я лучше себя чувствую, — пишет он Тео, — на глухой, серой, нищей, грязной, темной улице. Здесь я никогда не скучаю, а в этих прекрасных домах мне все противно, и томиться в них я считаю скверным. Я говорю себе: «Так как я не их поля ягода, то и не буду туда ходить»».

«Не их поля ягода», это у Ван-Гога не обмолвка. Здесь, в житейски простых словах, дано социальное самоопределение художника.

Ван-Гог смело утверждает, что «рабочий против буржуа, это так же хорошо обосновано, как сто лет назад третье сословие против остальных двух».

В письме двумя годами раньше (1884 г.), любя брата и завися целиком от него материально, рискуя потерять единственно близкого человека, художник все же, с присущими ему резкостью и прямоотой, обличает Тео, собственника и буржуа: «Что касается того, что я именую баррикадой, а ты — канавой, то существует старое общество, которое, по-моему, погибнет по собственной своей вине, и существует новое общество, которое уже возникло, выросло и продолжает развиваться. Короче: есть нечто, исходящее от революции, и нечто, исходящее от контрреволюции».

Тяжело, невыносимо тяжело жить одному. Ты обуреваем страстью к искусству, любовью к людям, огромным любовью ко всему непознанному. На-

конец, ты же живое существо. Так хочется солнца, тепла, участия, заботы, ласки!...

Вансент, насилая себя, тянется в семью, к художникам, т.е. к среде, откуда он вышел, к среде мелкого буржуа, интеллигента. Желанной радости, близости и облегчения там не находит. «Своя» среда не понимает и жестоко издевается над великой жалостью Ван-Го-



Ван-Гог. — Автопортрет (1881).

га к обездоленным. «Своя» среда беспощадно преследует Вансента за женитьбу на «падшей» женщине; с изуверской жестокостью она отрывает его от любимой Н... «Своя» среда не прощает ему его независимости и свободолюбия. Она презирает и плохой костюм, и драные ботинки художника, и его, такое сложное, боинствующее и «непонятное» нутро.

В 1883 г. обессиленный голодом художник, явно против себя, возвращается к родителям. Вот письмо к брату уже после этого посещения: «Чувствую,

что обо мне думают отец и мать. У них такая же боязнь принять меня, как если бы нужно было выпустить большого лохматого пса. Он войдет мокрыми лапами и к тому же он вообще лохматый. Всем он будет попадаться под ноги, да и лает уж очень громко. Вообще — грязное животное. Пес раскаивается лишь в том, что он сюда явился, но в степи было не так одиноко, как в этом доме, невзирая на



Ван-Гог. — На пороге вечности (1889).

все радующие. Посещение животного было слабостью, которая, надеюсь, будет прощена и возобновить которую оно побойтся».

Еще болезненнее и трагичнее кончается попытка Ван-Гога завязать дружеские связи с художниками. «Своя» среда оказалась безнадежно чуждой ему. Между ней и Вансенгом лежит пропасть иного и социального восприятия, и понимание окружающего.

«Своя» среда не дала радости и облегчения, а в чужой, в мире богатых, их не искал и сам Ван-Гог. И в этом отношении письма не оставляют места сомнениям. Они предельно ясны и пре-

дельно искренни. И неизвестно, чем руководствовались авторы предисловий, утверждая о том, что Вансенг был, якобы, «выполне мирным человеком». «Мирный» человек заявляет, что он «не их поля ягода». «Мирный» человек еще в начале своих художественных исканий и материальных мытарств объясняет брату, что «одна из причин, почему я годами остаюсь без места, это попросту то, что у меня другие идеи, чем у этих господ, предоставляющих места тем, кто мыслит так же, как они. Это не простой вопрос о моем туалете, но, уверяю тебя, значительно более серьезное дело». «Мирный» человек смело и прямо говорит о революции, о ее живительных и спасающих современное общество силах... «Мирный» человек утверждает, что «люди сегодняшнего дня (подчеркнуто здесь и ниже Ван-Гогом. — Л. П.) не хотят меня — пусть так! Я со своей стороны и гроша за них не дам. Как человеку и как художнику, общество 48 мне ближе, чем 84. Что же касается 48, то не Гизо, а революционеры, Мишле и крестьянские живописцы Барбизона...»

Взоры и мысли Ван-Гога направлены к обездоленным, к труженикам-крестьянам, к рабочим, с которыми художник чувствует себя особо хорошо и в которых видит особую, нарастающую и благородную силу.

Живя два года в Баринаже, бок о бок с шахтерами, ежедневно бывая в их жилище, лазая по шахтам, он приходит к заключению, что «люди здесь чрезвычайно неразвиты и невежественны, большинство не умеет читать, но вместе с тем в своей тяжелой работе очень понятливы и находчивы, смелы и вольны... У них прирожденная, вешаяся в них ненависть и внутреннее недоверие ко всякому, кто захотел бы перед ними разгрызывать барина. Среди углекопов нужно иметь обычаи и характер углекопа и никаких попыток к муштре, иначе с ними не согласишься и никогда не завоеешь их доверия».

В другом письме: «Горняки и ткачи — это все же отличный от других рабочих и ремесленников слой людей. Я чув-

ствую к ним большую симпатию и почитал бы себя счастливым, если бы мне удалось в один прекрасный день их нарисовать» (1880 г.).

Сопоставляя эти и целый ряд подобных замечаний Ван-Гога о рабочем классе, о трудящихся с его высказываниями о революции и классовой борьбе, изучая его социально насыщенное художественное наследие, можно утверждать толь-

ко одно: это человек революции, человек народа. Живи он в наше время, в эпоху штурма капиталистического миропорядка, в эпоху, когда идеи Маркса—Ленина — Сталина победоносно претворяются в жизнь на одной шестой мира, ему бы не пришлось писать исповедь одинокого художника. Он был бы с нами, и не только идейно, но и действительным.

4. ОНОРЭ ДОМЬЕ И ЕГО ЭПОХА

К. Ситник

I

Домье — величайший мастер политической сатиры. Его политические карикатуры во Франции в 30—40-х гг. прошлого столетия расходились в тысячах экземпляров и сыграли огромную революционную роль. И совсем не случайно то, что именно к политической сатире художника буржуазная наука наиболее нетерпима.

Так, например, искусствовед Павел Муратов, сейчас белоэмигрант, в одной из своих статей о Домье писал, что «переходя от политической и социальной сатиры к сатире нравов, испытываешь большое облегчение».

Буржуазия платит художнику той же монетой, что и он ей.

Буржуазные искусствоведы стараются вообще избегать разговоров об идейной стороне творчества художника, о содержании его образов. У них разбор искусства Домье сводится к разбору чисто формальных проблем, технологии его творчества.

Воспроизведение политических карикатур художника можно часто встретить в нашей прессе. У некоторой части нашей критики уже установилось очень почитательное отношение к Домье, как к великому политическому сатирику. Но в сравнении с другими западными художниками, гораздо менее для нас ценными как по своему идейному содержанию, так и по своему мастерству, Домье уделяется недостаточное внимание. Есть книги о Сезанне, Ренуаре, Пикассо и т. д.

Наши издательства не удовлетворяются даже работами советских искусствоведов и издают переводы книг об этих художниках, переводы весьма и весьма посредственных работ, но о Домье не издано ни одной книги (вообще на русском языке нет ни одной книги, посвященной ему). Единственная, заслуживающая внимания статья покойного Я. Тугенхольда написана одиннадцать лет тому назад. Домье заслужил того, чтобы при изучении западного искусства XIX века ему, на ряду с Курбэ, было отведено первое место. Он это заслужил своими бичующими образами, революционная сила которых действительна и по сей день.

Художники раньше, чем критики, в процессе своей работы открыли те богатства, которые несет в себе сатира Домье. Именно практика современных революционных сатириков ярко показывает актуальность и злободневность творчества Домье. У Домье можно поучиться не только мастерству политической сатиры, но и сатире быта. Это особенно важно, когда у нас, в связи с задачами второй пятилетки, ставится вопрос о выкорчевывании пережитков капитализма не только в экономике, но и в сознании людей.

Первыми дорожку к использованию художественного наследия Домье открыли американские художники «Джон-Рид клуба» (Майнор, Эллис и др.), через них к Домье обращаются и советские художники, например, рисовальщики

«Комсомольской правды». Немало получили от Домье и Кукрыниксы.

Творчество Домье помогает решить два актуальных вопроса сегодняшнего дня: с одной стороны, вопрос о реализме в сатире; с другой — вопрос о художественном наследии в области сатиры.

II

Онорэ Домье родился в 1808 году в семье стекольщика в городе Марселе. В 1816 году будущий художник со своими родителями переезжает в Париж. Домье не сразу находит себе работу над литографией, что помогло ему в конце-концов обрести свое настоящее призвание. В 1830 году художник-издатель Шарль Филиппон основывает еженедельный сатирический журнал «Карикатура», ставящий себе целью борьбу с Июльской монархией Луи-Филиппа. В тревожные революционные дни 1830 года журнал за 6 месяцев существования вынес за свои политические сатиры 100 процессов.

В 1832 году тем же издателем была организована газета «Шаривари». Домье был постоянным сотрудником этих органов. В «Карикатуре» он работает с 1831 г. по 1843 г., в «Шаривари» — с 1835 г. по 1874 г. В этих изданиях Домье сходится с рядом крупных рисовальщиков того времени — Монье, Шарле, Деканом, — борющихся своими карикатурами против Июльской монархии. Здесь же у Домье завязывается дружба с творцом «Человеческой комедии», О. Бальзаком, ставшим поклонником и ценителем его искусства.

Карьера Домье, как политического сатирика, началась с тюрьмы. Домье сделал карикатуру «Гаргантюа», направленную против Луи-Филиппа. Художник так остроумно и глубоко раскрыл механику политического строя Луи-Филиппа, что он немедленно получил 6 месяцев тюрьмы. После этого художник не раз подвергается правительственным репрессиям от штрафов до изъятия и уничтожения его карикатур.

В 60-х годах правительство Наполеона «Маленького» (Наполеона III) решило сделать «дружественный» жест

примирения с художником, наградив его орденом Почетного легиона, но Домье отказывается от высокой награды, мотивируя свой отказ, со свойственным ему юмором, «желанием на старости лет глядеть в зеркало без смеха».

Работа художника протекала всю жизнь на газетных полосах.

Трехлетний перерыв (1860—63) в работе Домье в газете произошел не по вине художника.

Поправление мелкой буржуазии, успешность победой крупной буржуазии, общее нарастание реакции делают идеи художника невозможными для широких буржуазных кругов, художник теряет свою популярность, издатели отказываются печатать работы Домье. Современный художник Бюрти писал: «Домье сейчас в большой нужде». И все же, несмотря на такое тяжелое положение, художник сумел создать целый ряд живописных полотен, акварелей, статуэток и т. д. На старости лет художник, лишенный всяких средств к существованию, кончил бы в полной нищете, если бы на помощь ему не пришел его друг, пейзажист Коро, давший приют Домье в последние дни его жизни.

Умер Домье в 1879 году. Творческое наследие художника огромно. За 40-летний период своей работы им создано 4.000 литографий, 900 гравюр на дереве и 400 картин маслом, акварелей и набросков.

III

На фоне французского искусства 30—40-х годов прошлого века искусство Домье занимает особое место и знаменует собою новый этап. Домье является родоначальником того нового движения, которое захватило через десятилетие многих художников Франции. Искусство, начало которому кладет творчество Домье, отличается прежде всего своим реалистическим направлением.

Но среди общего потока этого реализма имелись разные течения, несшие принципиально различное содержание и выражавшие различные классовые интересы. Одна струя общего потока реализма знаменовала собою безоговороч-

ное принятие капиталистической действительности. Это течение — «живописного реализма» — выражало успокоение и торжество победой, которую одержала буржуазия в то время. Этот реализм в дальнейшем найдет свое наиболее полное выражение в 50—60-х годах в творчестве блестящего Э. Манэ. В 70—80-х годах этот «реализм» перерастает в импрессионизм, искусство безыдейное, пассивное и гедонистическое, идеалистическое в своей основе, искусство, кладущее начало современному формализму в живописи. Творчество же Домье — это звено новой цепи, кладущее начало критическому реализму, продолжение и теоретическое осмысливание которого дает Густав Курбэ.

Домье в своем творчестве наследовал положительную сторону романтизма — его активное отношение к действительности и наличие некоторых элементов реализма, но отказался от его безразличия к современности, от идеализма. Он обновил тематику. Темы искусства Домье — темы современности. Недаром Домье любил говорить: «Надо принадлежать своему времени». Самым главным в творчестве Домье, хотя и не до конца осознанным и уясненным самим художником, являлась то, что в своем искусстве Домье не только отрицал, но и утверждал: он утверждал новую нарождающуюся действительность — трудовой народ Парижа, его пролетариат. Об этом свидетельствует различный подход Домье к разрешению двух противоположных тем: с одной стороны, беспощадная сатира, срывание всех и всяческих масок, безудержный смех, направленный против господствующего класса, и с другой — глубокое преклонение перед героизмом пролетариата.

IV

Расцвет политической сатиры Домье совпадает с революционными подемами. Знаменательные даты 1830 г., 1848 г., 1871 г. ярко запечатлены в творчестве художника. С одной стороны, градом острых стрел сатиры бичуются реакционные силы, монархия, ее приверженцы; с другой — создаются полные героиче-

ского пафоса картины в честь революции, в честь восставших масс, или слагаются глубоко прочувственные, полные внутреннего пафоса, трагические симфонии, посвященные жертвам реакции, героям революции.

Как уже было сказано, с карикатуры на Луи-Филиппа Домье начинает свою политическую сатиру, изобразив этого «буржуазного монарха» в виде «Гаргантюа».

На литографии изображен толстый велькан-обжора, похожий на Луи-Фи-



О. Домье — «Я сыт, остальное меня не касается».

липпа, в ненасытную пасть которого сенаторы и министры выпрашивают мешки с золотом, за что им из другого отверстия сыпятся чины и ордена. Справа, снизу изображены те, из которых в виде налогов выкачивается золото для корма обжоры-монарха; это — трудящиеся массы, бедняки, рабочие. Талант Домье неисчерпаем в создании все новых и новых образов в карикатурах против «буржуа на троне»; то он дает его в виде попугая, то в виде груши, то в виде доброго буржуа, то в виде доктора... («Этого можно отпустить, он больше не спасен», — говорит Луи-Филипп над

постелью умирающего революционера. «Вы имеете слово, объяснитесь же свободно», — говорит тот же Луи-Филипп обвиняемому революционеру с завязанным ртом).

Июльская монархия написана Домье в образе толстой, заплывшей жиром, цинично стоящей женщины, одежда которой от платья до капора на голове и веера в руках состоит из банковых билетов. Домье использует всю свою богатую художественную фантазию. То он дает Люксембургский дворец, где происходит судилище над революционерами, на которой гигантский призрак указывает рукой — «Дворец террора», то рисует группу рабочих, рассматривающих карикатуру на Июльскую монархию, выставленную в окне книжного магазина. «Парнишка прав, — говорят они: — революцию сделали мы, а вкушают плоды они». Вот революционеры, убитые во время Июльской революции 1830 года, поднимаются из могил, и говорят, глядя, как кавалерия давит безоружный народ: «Ради этого нас не стоило убивать».

Апрельское восстание рабочих г. Лиона было поддержано восстанием парижского пролетариата. Правительство направляет против восставших 400-тысячную армию. После разгрома баррикад и поражения восставших парижских рабочих начинается самая разнузданная и жестокая расправа над мирным населением, достойная сравнения с еврейскими погромами в России. Эта расправа известна под именем кровавой бойни на улице Транспонен. На эту тему художник создает свою знаменитую литографию: «Улица Транспонен 15 апреля 1834 г.». Здесь изображена художником целая семья рабочего, убитая погромщиками. Среди разбросанной и разломанной мебели, возле распоротой постели на полу лежат четыре трупа — мужчины, женщины, старика и ребенка. Литография явилась политической демонстрацией против буржуазного строя, она по распоряжению властей изымалась полицией из продажи и уничтожалась. В это же время художник создает ряд замечательных портретных шаржей на приверженцев монархии — орлеани-

стов, Гизо, Тьера и др. (Альбом «Маски», 1831 г.). Синтезом этих портретных исканий Домье явилась его замечательная литография «Законодательное чрево» (1834), на которой дано изображение министров и депутатов центра. Здесь сатирическая сила физиономиста Домье достигла своей наивысшей изобретательности и оригинальности.

Последней политической литографией этого периода, служащей ответом на «сентябрьские законы» о печати, является «Печатник, восставший на защиту прессы». Здесь на первом плане дана могучая, полная силы фигура рабочего-печатника с грозно сжатыми кулаками. Рабочий дан без малейшей карикатурности или намека на иронию, он, скорее, героичен и монументален; зато полны иронии и карикатурности две группки за ним: слева Луи-Филипп в окружении двора, справа — намек на ожидающую Луи-Филиппа участь: Карл X., убегающий со своей свитой от революции 30-го года.

В период с 1835 по 1848 год Домье был вынужден по цензурным условиям отказаться от политической сатиры. Но и в это время Домье с не меньшей силой обрушивается на нравы общества Июльской монархии.

V

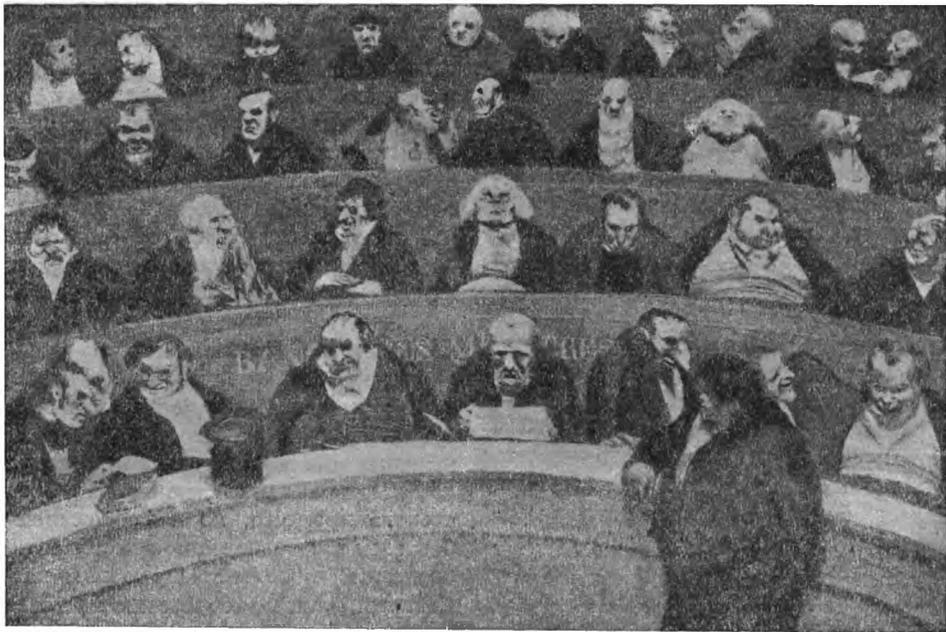
Революция 1848 года снова открывает перед художником возможности работы в области политической сатиры. Здесь первой его карикатурой, посылаемой вдогонку бежавшему Луи-Филиппу, была литография: «Проект медали Луи-Филиппа, последнего короля Франции».

«Это добродушное отвлечение от классовых противоречий, — писал Маркс о Февральской революции 1848 года, — это сантиментальное примирение противоположных классовых интересов, это фантазерское воспарение над классовой борьбой, Fraternité, — вот что было истинным лозунгом Февральской революции. Лишь простое и естественное раскололо общество на классы, и 24 февраля Ламартин окрестил Временное правительство «правительством, которое поскрапывает страшное недо-

разумение, существующее между различными классами». Парижский пролетариат упивался этим великодушным порывом всеобщего братства»¹⁾.

Именно такими настроениями проникнуты литографии Домье этого времени. На одной из литографий изображено, как в дверях министерства появляется видение женщины в фригийском колпаке, озаренной светом Свободы, при виде

Курбэ вместе с художником Дюпре угрожали Домье принять участие в этом конкурсе. Домье дал эскиз «Республики»: на монументальном полотне дана мощная фигура полуобнаженной женщины, сидящей на троне и кормящей грудью младенцев, ее окружающих. Эскиз не получил признания на конкурсе. Это полотно также было проникнуто все теми же обманчивыми иллюзиями того периода. Аллегоризм и романтика



О. Домье. — Законодательное чрево. (Литография 1834 г.).

которой министры в страхе и ужасе разбегаются, куда попало («Последний совет министров»). На другой — мальчик, одевший королевскую треуголку и усевшийся на троне, восторженно приветствуется вооруженными повстанцами («Парижский мальчишка в Тюильри»).

Республиканское правительство объявило конкурс на изображение республики. Картина, одобренная жюри, должна была в 800 копиях по заказу государства быть распродана по стране.

¹⁾ Карл Маркс. — Классовая борьба во Франции (1848—1850). Партиздат, 1933, стр. 41—42.

«Республики» отражает и другое живописное полотно Домье этого времени — «Восстание». Здесь дана фигура восставшего с развевающимися белокурыми волосами, с рукой, устремленной вперед, вся проникнутая порывом, озаренная светом, увлекающая за собой массы на восстание. Сюда же следует отнести и проникнутый суровостью и глубоким реализмом, своеобразный групповой портрет пролетарской семьи — «Семья на баррикаде».

Но упоение всеобщим братством длится не долго. Буржуазия получила от революции то, что она хотела. «Февраль-

ская республика разбила корону, за которой прятался капитал, так что господство буржуазии выступило теперь «открыто»¹⁾.

В искусстве Домье начинает постепенно рассеиваться романтическая дымка революции, начинают выступать проза жизни и хищные зубы реакции. Если Домье и не удалось запечатлеть кровавых июньских дней из-за свирепствовавшей в те дни военной цензуры, душившей все чуть-чуть свободомыслящее солдатским сапогом генерала Кавеньяка, то Домье все же удалось показать страх перед революцией и ужас буржуазии после первых же ее дней, удалось высмеять всевозможных банкетчиков, которые под звон бокалов и шум аплодисментов организовывали контрреволюцию («Банкетчики»). Немного позже Домье разоблачает деятельность контрреволюционного «Общества 10 декабря». Этой теме он посвящает серию «Тревога». В это же время художник создает знаменитый цикл «Парламентских идиллий», предупреждающих о том, что реакция не спит, мобилизуется, готовит монархический переворот. Домье оказался пророком. Предчувствием этого переворота полон его знаменитый «Ратапуаль», этот тип бонапартистского агитатора-проходимца, худой, вертлявый старик, очень схожий с будущим Наполеоном III. Показывая похождения этого пройдохи, Домье сигнализировал о том, что готовится измена. Из цикла, посвященного похождениям Ратапуаля, особенно замечательна литография «Ратапуаль, ухаживающий за республикой», где этот старик-пройдоха подает одну руку женщине, символизирующей республику, а в другой, за спиной, держит полено, чтобы ее, мягко выражаясь, «угробить». Предчувствие Домье оправдалось: 2 декабря 1851 г. происходит монархический переворот. С приходом к власти Луи-Бонапарта Домье должен был прекратить политическую сатиру, направленную против внутренней политики правительства.

VI

«Началась Вторая империя, — писал Энгельс, — эксплуатация Франции шайкой политических и финансовых авантюристов, но вместе с тем и промышленное развитие, совершенно невозможное при мелочной и трусливой системе Луи-Филиппа, при исключительном господстве лишь небольшой части крупной буржуазии. Луи-Бонапарт захватил у капиталистов их политическую власть под предлогом защиты буржуазии против рабочих и рабочих против буржуазии; но в то же время его господство способствовало «спекуляции, промышленному развитию, вообще невиданному до тех пор экономическому подъему и обогащению всей буржуазии. Еще в гораздо больших размерах, само собой разумеется, развивались продажность и массовое хищничество лиц, группировавшихся вокруг императорского двора и извлекавших крупный процент из этого обогащения»¹⁾.

Быстрота экономического развития, горячка обогащения, — все это питало иллюзии всеобщего богатства, радости и благополучия, а на самом деле Вторая империя была праздником буржуазной победы, праздником не только экономического процесса, но и торжеством победы над феодальной аристократией и временной победы над рабочим классом. Гаварни, ранее работающий часто вместе с Домье, в своих литографиях этого времени запечатлевает только этот внешний блеск, пышность, помпезность балов, роскошь туалетов, запечатлевает все, что окрашено безумной расточительностью и демонстрацией богатства. В это время Эдуард Манэ начинает создавать свои яркокрасочные полотна, полные картин благополучия и довольства.

Домье не ослепляет все это. Лишенный возможности разоблачать мошенников и спекулянтов от Наполеона III до мелкого лавочника, задавленный пятой военной цензурой, он в своей сатире нравов и быта сумел раскрыть всю мерзость, алчность той спекуляции, мошен-

¹⁾ Карл Маркс. — Классовая борьба во Франции (1848 — 1850). Партиздат, 1933, стр. 37.

¹⁾ Предисловие Ф. Энгельса к книге К. Маркса «Гражданская война во Франции», 1933 г., стр. 6—7.

ничества и обмана, которые прикрывала господствующая группа Второй империи внешним блеском. Домье показывает другую сторону медали Второй империи, показывает те классы, за счет которых создается внешний блеск, довольство и благополучие, показывает те методы, при помощи которых создается богатство. Он мало восхищается экономиче-

ты. Мелкобуржуазные иллюзии Домье, республиканца-демократа, рассеиваются, но он не ясно чувствует и понимает миссию народа, во главе с пролетариатом. И не случайно, что после Коммуны Домье как бы растерялся, но, несмотря на это, он не изменил своим симпатиям к народу, к трудящимся массам, он всю жизнь был их другом и защитником.



О. Домье. — Печатник, восставший на защиту прессы. (Литография 1834 г.)

ским расцветом, он это все принимает без всякого восторга, ибо он видит обратную сторону этого прогресса — усиление эксплуатации, разорение мелкой буржуазии, рост нищеты и бедности. Домье не улавливает внутренних противоречий капитализма, не понимает той исторической миссии, которую должен сыграть пролетариат, зреющий в недрах капитализма. Его пугает триумфальное шествие капитализма, беспрепятственно разрушавшего все старые устои, он не видит той силы, которая могла бы задержать это шествие к созданию новой буржуазной аристократии вместо старой, земельной аристократии, росту безудержного обогащения и колоссальной нище-

Домье впервые в XIX веке обратился к современному городскому пейзажу, в котором прежние художники не находили никакой поэзии, никакого настроения. Домье запечатлел Париж своего времени, запечатлел новый, на его глазах растущий и перестраивающийся Париж, с его мостами, многоэтажными домами, фабриками с дымящимися трубами, Сене с ее туманами, парижскую толпу, Париж в разные времена года («Париж зимой», 1843 — 46 гг.). Не кто иной, как Домье, впервые в искусстве запечатлел только-что появившуюся в то время железную дорогу (Серия — «Железная дорога», 1843 г.). Домье, таким образом, создал не только «физиологию

толпы» города, но и «физиологию» самого города, раскрыл его как сложный организм, в котором движутся во всех направлениях живые клеточки — люди всех слоев общества. Домье запечатлевает в своих литографиях «Естественную историю» передового капиталистического города 30—50-х годов. Лишенный возможности в эпоху Наполеона III касаться в своей сатире внутренней политики, Домье устремляет острие своего карандаша на международные события. Он создает целую серию карикатур («Актуальности»), посвященных русско-турецкой войне, где он выступает сторонником национальной независимости Турции, разоблачает хищную политику Николая I, его мечты о захвате Константинополя, показывает его как главу европейской реакции; протестует против кровавых расправ, чинимых казаками над турками. Художник посвящает сочувственные листы национально-освободительной войне Италии с Австрией, защищает Ирландию, стремившуюся освободиться из когтей Англии. Немало в это время художником создано и литографий, посвященных разоблачению готовящейся войны в Европе. Он изображает на одной из своих литографий Европу в виде женщины, неустойчиво стоящей на дымящейся бомбе, «Мир», который спит на пушке, «Ангела мира», еле держащегося на тонкой паутинке, «Марса», «Новую пушку», «Статую будущего».

Но вот «Вторая империя» кончается так же, как и началась, — пародией». Свергнут Луи-Бонапарт. Наступает период Парижской Коммуны. Именно Коммуне и событиям, ей предшествовавшим, посвящен последний альбом политических литографий Домье (альбом «Осада»). И здесь художнику удалось найти потрясающие образы, насыщенные силой и глубиной, исполненные зрелым мастерством. Его литография «1871 год» является гениальным памятником жертвам Коммуны. Одинокая, закутанная в траур фигура женщины возвышается среди равнины, усеянной трупами. Здесь выразительность каждой линии доведена до максимума, а общая экспрессия безупречна и неотразима. С не меньшим художественным мастерством сделан в

этом альбоме портрет буржуа, празднующего победу над революцией: «Я сыт, остальное меня не касается». Полны презрения и ненависти его карикатуры на Тьера, палача Коммуны. Замечательна литография, подписью к которой служат слова Наполеона III: «Империя, это — мир», на которой изображены дымящиеся развалины города, разрушенного артиллерийской канонадой. Этот альбом отмечает обвинения Домье в том, что будто бы после Коммуны он окончательно изменил своим демократическим взглядам. Несмотря на то, что в этой серии уже чувствуется старческая слабость художника, налет некоторого символизма, все же этот альбом остается одним из убедительнейших политических художественных документов.

VII

В моменты революционного затишья Домье работает в области карикатуры быта. Здесь его сатирические стрелы не менее разительно бичуют современную ему буржуазию, идущую под лозунгом, брошенным Гизо: «Обогащайтесь!» Он дает этим очумелым в погоне за прибылью буржуа убийственные характеристики, показывает их тупость и ограниченность, пустоту, трусость, продажность и лицемерие, всю их животную ненависть к трудовому народу и лицемерное заигрывание с ним, когда дело идет о помощи и поддержке с его стороны. Домье показывает, как буржуа теряют свои человеческие черты и приобретают черты животных, для которых все и вся имеют значение только как прибыль, барыш, деньги. Он раскрывает внутреннюю пустоту, обывательщину и мещанство, скрываемые фраком, цилиндром и перчатками «порядочных» людей. Домье показывает нутро лавочника и торговца. Он на эти темы создает много серий литографий: «Добрые буржуа», «Актуальности», «Синие чулки», «Адвокаты», «Купальщики», «Купальщицы», «Супружеские нравы», «Парижские наброски». Через эти серии проходит созданный Домье синтетический образ нового буржуа — Робер Макера.

В «Робер Макера» Домье в концентрированном виде дает все типические

черты Июльской монархии. Давая своего Робера Макера в его всевозможных превращениях, делая его представителем разных социальных групп и слоев общества, заставляя его заниматься разными профессиями, Домье показывает его то лавочником, то откупщиком, то доктором, то банкиром, поднимает его по социальной лестнице до поста министра и заставляя его, как Флобер героев своего романа, испробовать все занятия и сферы деятельности. Художнику удается создать незабываемую живописную энциклопедию Июльской монархии, создать грандиозную сатиру на всемогущество денег. Нет того представителя буржуазного города, которого бы не коснулись литографии Домье: «он, подобно Бальзаку, раскрывает живописно физиологию капиталистического города, создает своеобразную «Человеческую комедию»»

Домье критически воспринимал буржуазную действительность. Его критика заключалась в его смехе, он не мог изображать буржуа иначе как в карикатурном виде. Он сумел нарисовать парижские низы, Париж голода и нищеты с ужасами бездомного и голодного существования (серии «Парижские эмоции», «Бродяги Парижа» (1841—42 гг.)). Изображая социальные низы, Домье уже не смеется. Он в них ищет силу, из которой его искусство должно почерпнуть положительный материал. Трудящиеся Парижа, изображенные Домье, — замечательные, незабываемые образы. Его прачки, несмотря на тяжесть своего труда, полны внутренней теплоты, человечности, материнской любви и гордости. Его образы трудящихся полны физической и моральной мощи. Этими чертами наделены его положительные герои на рисунках «Борцы», «Вагон III класса», «Бурлаки», «Странствующие актеры», «Кузнец», «Мясник», «Зрители галерки», «Уличная толпа», «Эмигранты».

VIII

Революционно-демократическое реалистическое искусство Домье, несущее новое содержание, новые идеи и образы, стремящиеся стать искусством современ-

ности, не могло довольствоваться теми средствами и приемами, которыми пользовались его современники: с одной стороны — академизм, с другой — романтизм. Искусство Домье не могло удовлетвориться средствами академиков во главе с Энгром, средствами искусства, являющегося вырождением классицизма Давида, искусства, построенного на канонах, метафизического, исходящего из идеала, искусства холодного, с застывшей композицией и со стандартными формами. Не могло удовлетворить художника и искусство романтиков во главе с Э. Делакруа, искусство, более близкое Домье, особенно в начальный период его творчества, искусство более активное, жизненное, но опять-таки исходящее не из действительности, а стремящееся быть рупором духа, с его преувеличенной патетичностью, неестественностью, бурным движением. Один из современных Домье критиков, характеризуя общее направление реализма, писал по этому вопросу: «Это была реакция против двойного течения, которое, как им казалось, увлекало французское искусство к упадку, именно против академизма Энгра, с одной стороны, и романтизма Делакруа — с другой. Первый, со своим пристрастием к аллегории и древности, своим отвращением к «безобразному», к «тривиальному», которое заставляло его избегать целостной живописи жизни, со своим открытым или подразумевающимся стремлением идеализировать, второй — со своим нарочитым наведением настоящего времени и своим исключительным исканием краски, живописного, исторической драмы или экзотики не отвечали их стремлениям и положительным темпераментам» (Риа).

В замечательной своей серии литографий «Древняя история» (1841—42) Домье дал остроумную и глубокую критику как академизма, так и романтизма. Его «История» явилась пародией на современный академизм. Домье не относился отрицательно к античности. Рассказывают, что в Лувре он простаивал часами перед античными статуями, но он высмеивал пародию на античность и на классицизм Давида. Домье показывает, что классицизм, как и всякое исто-

рическое событие, является в истории как бы два раза: если он в искусстве Давида был героическим, трагическим, то классицизм буржуазии XIX в. не мог быть ничем иным, как только фарсом, пародией. Это относится в еще большей степени и к современному «неоклассицизму» фашистов.

Домье уходит как от условности классицистов, так и от патетики романтиков. Основным для него является изучение действительности, психологии определенных, конкретных людей, в их повседневности, в их работе и отдыхе. Для своей композиции он ищет реальных соотношений, взаимосвязи людей в действительности. Он старается давать фигуры в действии, в движении. Домье не фотографирует действительность, его образы претворяют действительность, обобщают и вбирают в себя наиболее правдивые, типические ее стороны. У Домье огромное чувство жизни, колоссальная художественная память, позволяющая ему делать свои реалистические литографии, картины и даже портреты без натуры. Домье всегда конкретен, максимально прост, он не любит второстепенностей и нагромождений, как и всевозможных формалистических ухищрений и трюков. Для него важно донести и полно раскрыть содержание, идею, заложенную в образе. Домье старается достичь выразительности своих образов, делая их изумительно пластичными, осязательными. «Домье единственный, — писал Делакруа в своем «Дневнике», — кто владеет античным рисунком пропорциональной выпуклости благодаря своему чутью рисовать шарообразными формами».

IX

Искусство Домье — искусство сатирическое, а это значит, что здесь художнику дано, больше чем где бы то ни было, право на свободу, право фантазировать. Домье, не отказываясь от предоставленных возможностей, никогда не переходит грани, никогда не скатывается к голой схеме, абстрактности, никогда не уходит в фантастику или мир мертвых образов и атрибутов, не становится формалистом. Он всегда остается на реальной почве, всегда верен жизненной

правде. Карикатурность его образов достигается сгущенностью характеристики, но никогда не выходящей за грани данного явления, не нарушающей его качественной замкнутости, его структуры; художник как бы сжимает, уплотняет то, что, будучи данным наряду с нехарактерным, растворяется, теряется; он очищает, выделяет, но не уничтожает особенностей данного явления. Комического художник достигает сопоставлением несоответствия действия его месту, разрывом между словом и делом, раскрытием противоречия, заключенного в данном явлении, противопоставлением сущности внешнему. Именно таким противопоставлением сущности внешнему достигает Домье комизма в серии своих «Адвокатов», показывая адвокатов в судебных тогах, колпаках, с актерскими жестикуляциями, со слезами на глазах, убеждающих судей в невинности подсудимых, сидящих тут же рядом и спокойно посмеивающихся над не в меру завравшимися заступниками. Это противопоставление тонко раскрывает продажность адвокатского красноречия. Это несоответствие идеи с действительностью у Домье из сатиры-комедии превращается в сатиру-трагедию. Таково столкновение Дон-Кихота и его идеальных представлений о действительности с ее косностью и неподатливостью. Так трактует Домье сервантесовского «рыцаря печального образа».

Мастерство Домье все время росло.

Первоначально Домье свои литографии строил при помощи четко прорисованного силуэта, внимательно и тщательно штриховал правильными линиями каждую часть рисунка, внимательно оттенял густой штриховкой каждый объем, каждую деталь. Он стремился к ясности, расчлененной подаче объемов, ясности и законченности планов. Композиция носила сравнительно уравновешенный характер, покоилась на симметрическом распределении групп или разных планов. В этой манере сделано большинство ранних работ художника — шаржи на чиновников, много политических литографий 30-х годов, в частности, «Мадам конституция», и др. Сатирическая сила образов здесь достигается, главным

образом, положением действующих лиц, смешной позой, жестом, одеждой и т. д.

Но развитие мастерства Домье-литографа, овладение средствами этого искусства идет по линии упрощения рисунка, отказа от четкого геометризма прямых линий, применяемых для моделировки, от одинаковой внимательности к каждой второстепенной детали ко все большей

дом к построению и раскрытию образов. Если вначале он характеризовал свои образы через их положения, то здесь он пользуется методом раскрытия при помощи характерного в лице его основного объема и через преувеличение типичских черт его.

Раскрытие образа через его характер разгружает рисунок от большого числа



О. Домье. — Революция 1848 г. (масло).

обобщенности, сконцентрированности рисунка, к живописности линий, утолщению между собою, сгущению их до черных пятен, к оперированию черным и белым пятном, обобщенной светотенью при создании основных объемов композиции. Эта манера свое начало берет в таких работах Домье, как «Улица Транспонен», проходит через все его бесконечные серии литографий зрелого периода и гравюры на дереве, достигая кульминационного пункта в его серии, посвященной 1871 году.

Этот переход Домье к новой манере письма сопровождается и новым подхо-

деталей, от множества излишних дополнительных аксессуаров, дробности композиции, позволяет ограничиваться характерной действующей группой и беглым намеком фона, места действия где-нибудь в стороне или в углу рисунка.

Отказ от мелочной и тщательной манеры рисунка не делает образы Домье плоскостными, менее четкими и объемными, наоборот, экспрессивность линий, их свободное и плавное сочетание позволяют создавать образы более объемные, рельефные, достигать большей ясности и четкости, не только в характеристике лица, его очертания, но и во всей фи-

гуре человека, которая наравне с лицом у Домье является одним из наиболее действенных средств создания образа.

Кажущаяся «случайность» композиции Домье покоится на глубоком и долгом изучении реальной действительности, людей и их среды, на выявлении наиболее характерных и типических обстоятельств; случайность здесь только кажущаяся, проистекающая от огромного мастерства художника, от огромного чувства действительности, умения давать ее в ее непосредственности и конкретности, в умении давать вещи и людей в действии, в динамике. Достаточно сравнить «случайность» Домье с той случайностью, которую мы имеем у импрессионистов или у Дега, который в данной области является как бы эпигоном Домье (для этого достаточно сравнить «Драму» Домье с какой-нибудь пастелью Дега на тему театра), чтобы стало сразу ясно, как типична и реалистична «случайность» Домье, какой она носит непосредственный характер. У Домье нет механической натуралистичности, подмены целого частью и т. д., что мы имеем у Дега, который во имя показа движения, которое у него превращается в самодовлеющую задачу, нарушает качественное своеобразие явлений. У Домье движение носит служебную, подчиненную роль, роль одного из средств лучше и всесторонне раскрыть качественное своеобразие образа, идею, в нем заложенную, в ее неповторимости и характерности.

Х

Художник в зрелый период своего творчества работает разными средствами изобразительного искусства (литография, гравюра, акварель, масло, скульптура), не стирая их качественно своеобразие, но владея в совершенстве каждым в отдельности, он ими пользуется как разными видами оружия, преследуя одну и ту же цель — возможно полно раскрыть задуманный образ, раскрыть наиболее выпукло идею, в нем заложенную; художник разными родами войска атакует одного и того же противника, преследует одну

и ту же цель. И не случайно, что у художника одни и те же персонажи, одни и те же образы воплощены разными способами; так, например, темам, которые наиболее волновали его, он посвящает не только литографии, но и акварели, картины маслом и скульптуру. Таким образом, он работает над темами «Парижские прачки», «Адвокаты», «Мнимый больной», «Дон-Кихот».

Большинство живописных работ 50-х годов, за исключением темы «Дон-Кихота», «Адвокатов», «Мнимого больного», посвящены парижскому трудовому народу.

В этих работах Домье старается, поскольку возможно, достигать объемности, трехмерности, рельефности, материальной осязаемости изображенных предметов, пространства, стремится дать плотность и весомость фигуры, придать характеристике движение, жест. Он показывает свои персонажи всегда в процессе их занятия действующими: прачка несет чистое белье, кузнец кует, борцы борются, адвокаты говорят, актеры и играют, зрители смотрят, Дон-Кихот, ищущий приключений, едет, беженцы идут, убийцы убивают, толпа движется. Если в цветной литографии Домье многокрасочен, если здесь у него краски светлые, яркие, то в своей живописи он скуп на краски, его палитра исчерпывается 3 — 4 красками, но это не лишает его работы живописности и не уменьшает значения Домье как большого колориста. Он, подобно Рембрандту, заставляет одну краску звучать всеми ее оттенками, переходами, переливами одной в другую, его красочная гамма исчерпывается белым, черным, коричневым и розовым, но эта скупость не снижает выразительности его работ, их живописной прелести, глубины психологического настроения (см. напр., его портреты). Опирируя светотенью, строя глубину картины на разнообразии тонов, на гармонии световых отношений, он, подобно Рембрандту, концентрирует внимание на более выразительных частях фигуры, лица, достигая этим огромного психологического построения.



Республиканец-демократ Домье всей душой ненавидел монархию, реакцию; он любил народ, страстно его защищал, вместе с ним торжествовал при его победах и вместе с ним грустил в дни поражений. Все его симпатии на стороне народа, недаром именно он, впервые в искусстве XIX века, стал реалистически утверждать новые слои трудового народа; создавать его монументальные образы, полные мощи и убедительности, проникнутые силой и уверенностью, изображать не жалких тружеников земли, а новую силу, за которой буду-

щее. Это будущее, миссию этой нарождающейся силы художник только предчувствовал, его мелкобуржуазная природа не позволяла до конца разгадать и понять то, что несет собой этот, так сочувственно изображаемый им, народ. Эта мелкобуржуазная ограниченность не позволила художнику правильно и до конца понять и уроки Парижской Коммуны, понять не только ее трагическое значение, но увидеть ее и как прообраз первого пролетарского государства, понять не только как поражение, но и как первую пролетарскую победу всемирно-исторического значения

5. „КАРМЕН“ В ТЕАТРЕ СТАНИСЛАВСКОГО

С. Чемоданов

Едва ли есть другая опера в старом наследстве, которая по степени популярности могла бы сравниться с «Кармен». Едва ли есть опера, выдержавшая столько спектаклей и постановок, как эта замечательнейшая опера Бизе. И, казалось бы, трудно уже сказать что-либо новое в трактовке «Кармен». С тем большим интересом наша общественность ждала спектакля в театре Станиславского.

Попытку, как говорят, прочесть по-новому партитуру Бизе сделал этот крупнейший мастер сцены. Новым являясь, главным образом, возврат к первоисточникам, снятие с «Кармен» всех и всяческих масок, заботливо надетых на нее старой, буржуазной сценой. Новой явилась огромная дань реализму, какую вложил в спектакль молодой, но уже испытанный в боях за оперную правду театр.

В свое время за реализм жестоко пострадал сам автор «Кармен». Какой только грязью не обливала оперу буржуазно-ханжеская критика: «Кармен» — всего навсего бесстыдная женщина, — читаем на страницах одной из крупных буржуазных газет, — играющая отвратительную роль на сцене, которая внушала нам до сих пор мораль и стыдливость. Скромные матери, почтенные от-

цы! С верой в традиции вы привели ваших дочерей и ваших жен, чтобы доставить им приличное, достойное вечернее развлечение. Что испытали вы при виде этой проститутки, которая из объятий погонщика мулов переходит в объятия драгуна, от драгуна к торреадору, пока кинжал покинутого любовника не прекращает ее позорной жизни? Это отвратительная роль, с позволения сказать, публичной девки...» и т. д., и т. д. Музыка этой излюбленной трудящимися всего мира оперы названа была «безобразной и бессмысленной».

Так писали в 1875 г., в год первой постановки «Кармен» в Париже во время разгара буржуазной реакции после трагической эпопеи Парижской Коммуны. На первом спектакле то же чувство возмущенной мещанской добродетели сквозило в отношении к опере со стороны значительной части публики, шокированных «бесстыдством» героини «почтенных папаш и скромных мамаш».

Бизе тяжело пережил этот неуспех своего детища. Глубоко удрученный, он всю ночь до рассвета бродил по улицам Парижа с своим другом — композитором Э. Гиро (впоследствии ставшим до некоторой степени соавтором «Кармен», заменившим для заграничных постановок оперы диалоги, которые были у Бизе

между отдельными номерами, речитативами).

Бизе не дожид до блестящего триумфа своей оперы — через 3 месяца после первой постановки он скончался. Этот триумф последовал довольно скоро после первых неудач. Опера пришлось по вкусу наиболее сознательной и передо-

ее к освященным веками традициям. Поэтому в большинстве случаев получался спектакль весьма далекий от суровой простоты и убедительной правды литературного первоисточника оперы, повести Мериме и музыки Бизе. Обычно сама героиня предстала перед публикой в ходульно-театральном облике оперной примадонны, пожирательницы сердец, Хозе — фатоватым офицером, Микаэла — гретхенообразной, голубой девушкой.

Между тем совсем не так задуманы эти персонажи у авторов. Мериме дал в своей повести типы обыкновенных, далеко не героизированных людей со всеми их добродетелями и пороками, рассказал о них простую незатейливую правду, местами отдающую даже трафаретом, но глубоко волнующую. Авторы оперного текста, Мельяк и Галеви, бывшие одними из наиболее культурных либреттистов своей эпохи, написали в общем не плохое либретто, однако в сильной степени смягчившее суровую правду Мериме в угоду добропорядочной морали буржуазных отцов и матерей. Так, Кармен по либретто — не воровка и не продаст свою любовь за деньги (эти элементы встречаем в повести Мериме), но романтизированное дитя свободы, не терпящее цепей, беззаветно отдающееся любимому человеку, предпочитающее смерть неволе. Из беглого эпизодического намека Хозе вырос сладкий образ Микаэлы в виде антитезы «развратной» Кармен, как бы ее живое осуждение. Хозе из ефрейтора повышен в сержанта. Есть еще ряд моментов, уводящих либретто от литературного оригинала. Бизе своей музыкой стоит как бы между Мериме и либретто: с одной стороны, компромисс с последним, однако, главным образом, внешне-фабульный; с другой стороны, весь характер музыки Бизе в гораздо большей степени смыкается с суровой правдой Мериме, чем с сладковатым текстом Мельяка и Галеви. Эта музыка глубоко реалистична, народна, местами с оттенком нарочитой вульгарности, ибо рисует не салон, а быт и нравы испанской улицы во всей ее неприкрытой наготе.



Засл. арт. М. Гольдина — Кармен

вой части мелкобуржуазных масс, которой успела порядком-таки приесться слащаво-мещанская продукция, господствовавшая тогда на французской сцене. Приветствовала «Кармен» и радикальная музыкальная интеллигенция, стремившаяся вырвать оперу из цепких объятий рутины и штампа.

Однако, буржуазная сцена все сделала для того, чтобы вытравить из «Кармен» насыщающую ее подлинную правду жизни, всячески подсластить и подсахарить оперу, как можно ближе подвести

Отсюда совершенно закономерна тенденция постановщика К. Станиславского и режиссера спектакля П. Румянцева возможно ближе подвести оперу Бизе к литературному подлиннику, ни на минуту не забывая однако о требованиях, предъявляемых к режиссуре музыкой. В этом плане, прежде всего, серьезной операции подверглось либретто. Новый текст П. Аренского, в сильной степени гостроенный на цитатах из Мериме, звучит живо и просто, без потуг на изысканную оригинальность, чем грешат многие новые оперные либретто. Не все в одинаковой мере удачно в этом тексте, но основная стилевая установка — на простоту, образность, юмор — правильна.

В данной театром трактовке оперы много нового и свежего. Особенно примечательны массовые сцены. Тут опять, как всегда, разбирает досада за ничтожную размерами сценическую площадку, никак не дающую по-настоящему развернуть даже ту сравнительно небольшую массу, которой оперирует театр. Загорелые, грязноватые работницы, солдаты в поношенных мундирах, чумазая, оборванная детвора, бойко выплясывающая марш (в первом акте) вместо традиционной игры в солдатики чистеньких детишек — все это говорит о новом подходе к опере со стороны талантливейшего мастера сцены. Иначе выглядят массы в других актах: в кабачке — пьяная разнузданная толпа; перед цирком последнего акта — нарядная, праздничная, восторженно приветствующая своих любимцев. И всюду масса живет полной жизнью, различной в разных ситуациях, притом не вся скопом, как некий многоликий индивид, что большей частью видим на оперных сценах, а каждый участник живет по-своему, индивидуализирован в жесте. В этой работе с каждым исполнителем до последнего, мельчайшего колесика механизма спектакля — огромное преимущество данного театра над большинством оперных сцен.

Отдельные персонажи трактованы по-новому в подчинении к общему замыслу спектакля, и, прежде всего, сама Кармен. Она совершенно лишена романтической маски, морально обнажена, и,

вызывая местами неприязнь, привлекает тем не менее зрителя яркостью жизненности образа, в котором безграничная смелость, презрение к опасностям и самой смерти сочетались с неукротимым порывом к свободе. Местами здесь можно отметить некоторые натуралистические перегибы, делающие чересчур непривлекательной героиню оперы и психологически трудно-понятным ее универ-



М. Воскресенский — Хозе

сальный успех у мужчин. Однако, общий тон несомненно взят верный. В сильной степени этот тон обязан талантливой исполнительнице роли М. Гольдиной, давшей яркий, сильно впечатляющий образ. Артистка, можно сказать, выросла на этой роли. Слышавшая раньше больше за хорошую вокалистку, чем актрису, в «Кармен» она поразила большой зрелостью и, так сказать, полной развернутостью своего актерского «я». Как по-новому освоенная антитеза Кармен, даны Микаэла и Хозе — олицетворение устоев, здоровых сил деревни, земли, в противовес городу и фабрике (конечно, капиталистическим). Несмотря на различие их судьбы, Микаэла и Хозе

психологически однотипны; разница лишь в том, что Хозе не сумел сохранить устоев, так сказать, свихнулся, однако, не столько по своей вине, сколько по вине Кармен, — этой мыслью пронизан весь спектакль. В новом плане Микаэла — не голубоглазая «пейзанка» в изящном платье и тувельках, а несколько угловатая, загорелая испанская крестьянка в грубоватом одеянии. Новый образ особенно хорошо удался М. Мельцер, артистке с большим сценическим дарованием. Хозе выглядит, как простой солдат, честный малый, глубоко преданный традициями, но не созладавший с обуявшей его страстью М. Воскресенский сумел достаточно рельефно показать в этой роли нужные грани — наивность деревенского парня и всепоглощающую страсть. Эскамильо также дан, как одна из антирез Хозе, с новыми штрихами. Прежде — это герой, обольщавший не только испанскую толпу, но и зрительный зал. У Бизе, несмотря на внешне блестящие «куплеты», вложенные в уста торреадора, последний трактован несравненно более поверхностно, чем Кармен и Хозе, — как хвастливый, самовлюбленный баловень толпы. У Станиславского, в частности, в изображении арт. С. Бителева, Эскамильо производит отталкивающее впечатление (что и требовалось доказать!). Еще одна антитеза Хозе — в лице офицера Дуниги, ярко подчеркнутая внешне блеском мундира и манерами, сочно-колоритно дана арт. А. Степановым.

Ряд остроумных, местами спорных, но освежающих спектакль новинок — в сценическом воплощении оперы: специально выделенная (хотя и без особой к тому необходимости) сцена подвала контрабандистов, «Хабанера», исполняемая на окне, или «Сегедилья» — за решеткой, кастаньеты из обломков разбитой тарел-

ки, офицер, закупоренный в бочку, и т. д.

Живописно декоративное оформление спектакля — художника Н. Ульянова. Бытовые будни (первый акт), праздник боя быков, мрачные горные теснины с движущимися облаками, пьяный кабачок — все это дано в живых, реалистических тонах, в полном соответствии со всем стилем постановки.

Наиболее уязвимая часть спектакля — музыкальная. Дирижер Б. Хайкин радостно, уверенно ведет оперу, хотя и не с той страстностью, какой требует музыка Бизе. Оркестр на должной высоте, хотя местами хочется более полного звучания. Слабее вокальная часть. Неточность интонации, неровность звучания регистров, несоответствие голосовых данных партии — все это вместе с другими дефектами можно встретить в любом оперном театре. Однако, в театре Станиславского эти дефекты особенно неприятно бросаются в глаза рядом с высоким сценическим уровнем спектакля. Говорим это не в упрек, а в целях сигнализации к сосредоточению максимального внимания именно на этом участке, являющемся наиболее узким местом превосходного театра. Чем примечательнее постановка, тем обиднее ножницы между сценической и музыкальной частью ее. Между тем, ножницы эти не так уж неустраняемы: нужно только всерьез взяться за дело поднятия вокальной культуры в театре; при наборе новых кадров и при распределении партий среди старых тщательнейшим образом учитывать вокальные возможности артиста, не делая перегибов в сторону преимущественной оценки его сценических потенций. При внесении этого существенного корректива театр им. Станиславского имеет все шансы стать образцовым музыкальным театром СССР.

Книжное обозрение

КОЛХОЗНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ О КНИГЕ

I. Беседы с колхозниками Кораблинской МТС Московской области

КОЛХОЗНИЦЫ

Клавдия Харитоновой 23 года. Она — кандидат в члены партии, колхозница с 1929 г., работает в колхозе счетоводом. О своей жизни говорит спокойно, уверенно.

— Очень я болею, — говорит она, — что до сих пор в нашем колхозе и в других многие женщины не умеют стать самостоятельными. Когда я пять лет тому назад приехала в свою деревню беременная, без мужа, очень мне трудно пришлось. Смотрели на меня косо, никуда на работу не брали. Теперь со мной считаются, бригадиры приходят за советом. Мне сейчас очень хорошо и интересно жить.

Теперь расскажу о книгах.

В эту зиму я с особым удовольствием читала Шолохова «Тихий Дон» и «Поднятую целину», а также «Анну Каренину» Льва Толстого. Как начну читать, и одни, и другие петухи пропоют, а все книжку не бросаю. Шолохов умеет показать сильные чувства очень просто. На всю жизнь мне запомнится, как Марина завлекала к себе Разметнова, — ведь в этой истории Разметнов скорее бабой выглядит, а Марина женщиной. Только, конечно, это не главное. По-моему, все-таки Шолохов обижает женщину, смотрит на нее сквозь пальцы. А от этого и получается у него так, что мужчины передовые, а женщины все в хвосте, отстающие, только одной любовью и живут. Это неверно. Ведь вот Толстой так прекрасно изобразил чувства Анны Карениной, что каждому слову его веришь, страдаешь душой за Анну... А главное, что Толстой намного лучше, чем Шолохов, отнесся к женщине своего класса. У него Анна стоит гораздо выше мужчины, и не только Каренина, но и Бронского: она передовая, смелая, рвет с

предрассудками, даже в то дикое время она не побоялась бросить мужа и уехать с любимым человеком.

Мне кажется, что наши писатели тем более должны, для примера другим, показать передовую женщину, чтобы помочь нам бороться за новую жизнь, чтобы меньше было трусливых и отсталых среди нашей сестры.

Елене Митрофановне Тужиковой 28 лет. Она — колхозница. У себя в колхозе Тужикова — единственная женщина-бригадир. И об этом единственном бригадире не без гордости все говорят: «Мужиков так не слушают, как ее».

— Когда было 8—9 лет, очень хотела учиться, все плакала и просила мать, чтобы определила в школу. С 11 до 14 лет, все же добилась своего, училась в сельской школе... Потом революция. В скором времени после этого вышла замуж. Муж никуда не пускал, бил, когда уходила. А меня все тянет и тянет общественная работа, просто сил нет в избе сидеть, все опротивело... Пошла я палеркор мужу и стала работать членом сельского совета, а как только колхозы объявились, сразу же пошла в колхоз. Правда, в первый год было трудно, плохо у нас дело ладилось... Муж стал совсем, как зверь. Не стало мне с ним житья, пришлось через совет действовать и разводиться. Жили мы в разводе не долго, опять сошлись, но уж теперь, конечно, пальцем меня муж не тронет.

Сейчас я все думаю, как бы лучше с полевой справиться, — это главная мысль у меня на уме... Ну, ничего, где трудности, там и достижения. Думаю, что на будущий год у нас не одна женщина бригадиром будет, а две или три.

Книги читать так люблю, что и сказать трудно. Как минутка свободная, так я за книгу. Очень нравится мне о путешествиях читать. Жюль-Верн «80 тысяч верст под водой» много раз читала-перечитывала.

Любовные книги, где только об одной любви и говорится, — ну как они встречались, как он ее добивался, а потом она его переменяла, — меня мало занимают, а вот если вместе с любовью о женской доле говорится, как женщина всего достигала сама, а ее сначала не признавали, как она горевала да страдала, — тогда очень интересно читать.

Больше всего не люблю книг, когда читаешь, читаешь, а все конец не договорен. Не высказывается писатель, значит, пачисто, все норит стороной. А по-моему, если ты пишешь, так пиши без хитрости, все объясняй до конца, чтобы понятно было, о чем твои думы, а то лучше совсем не пиши, не отнимай зря у людей время.

Екатерине Ильинишне 45 лет. Сыновья ее — коммунисты, учатся в Москве: один — в землеустроительном техникуме, другой — в педагогическом, дочь замужем за коммунистом, председателем колхоза, другая дочь — сельская учительница.

О румяной, живой, словоохотливой Екатерине Ильинишне Шляхиной говорят в округе: «баба-неунывалка, своего добьется». И она, действительно много добилась в жизни сама.

Когда зашел разговор о книгах, лицо ее сразу приобрело серьезное и сосредоточенное выражение, а глаза разгорелись, как у молодой: «Я смолоду была очень озорная читать и по сю пору не остыла. Все, что в жизни нового сейчас проводится, для нас, застарелых, иной раз и страшиновато, а в книжку заглянешь, вроде и ясной и не так больно в завтрашний день вступать».

Люблю такие книжки, где об этом новом с большими чувствами говорится. С политотделом жизнь намного лучше пошла — власть стремится, чтобы крестьянину жилось хорошо. Раньше дисциплины не было, и каждый хотел чужим бочком работать. А сейчас каждый чувствует ответственность, нет никакой обезлички. Вот здесь конюх сидит, так ведь за колхозной лошастью лучше, чем за своей, ходит, а мы с Настей теляток, как родных деток, обхаживаем.

А раньше, как какой задрипанный телок, так, значит, колхозный. А сейчас колхозный — так самый лучший... Сейчас дело у нас завеселилось... Народ стал понемногу понимать, как на свете надо по-новому жить. А сколько труда, сколько обид переносили вначале, пока и другие не сознали, что колхоз наш. В книжках очень хорошо и подробно о нашей дурости и бедности пишут, а как мы в новую жизнь вышли, об этом скучно очень рассказывают. Вот и в «Подпятой целине» интересно так про кулаков сказано, или как бабы самого главного, что из Москвы приехал, по глупости по своей, по бабей, избивают, а о новой жизни непонятно, невразумительно объяснено. Поэтому и книга мне не очень понравилась».

НЕРЕТИНСКИЕ БРИГАДИРЫ

Бригадир Жуков очень любит с новым, свежим человеком встретиться, погово-

рить о своей работе, о жизни, о Москве, о книгах.

— Беда моя, что образован я только очень мало. Не допустили нас раньше учиться. С революцией дороги для нас, можно сказать, только и раскрылись. Когда в Красную армию попал, там кое-чему обучился. Правятся мне сильно сочинения Демьяна Бедного. Бедный — наш потешный писатель. Очень его люблю. Весело пишет, рассмешить умеет. А из больших книг Максима Горького «В людях» читал. Не отрываясь, даже ночью читал, и до того я этого мальчонку жалел, просто даже не высказал... Хочется, чтобы книги устройству нашей жизни помогали, свежее чтобы книги были, чтобы и веселое, и умное в них в меру распределялось.

Бригадир Александр Алексеевич Козлов за все время разговора ни разу не улыбнулся. У него ровный, сухой голос, строгое, озабоченное лицо.

— Работа моя, конечно, очень трудная. Начиная с соломинки и кончая бревном, — ведь все это на плечах бригадира лежит. За все отвечаю, всех надо подтягивать.

О книгах одно скажу: пусть они мне в лицах покажут, как люди хорошо вперед двигают хозяйство и как наша колхозная жизнь годика через 3—4 будет. Запомнил хорошо книгу Максима Горького, как там мальчишка мыкался по людям, как выбивался... Помню я этого парнишку по сию пору, как живого. Книжки пусть пишут о нашем колхозном хозяйстве, только, чтобы занимательно было, как вот Максим Горький об этом парне порассказал.

Бригадир Иван Дмитриевич Демин в колхозе с 1931 года. Раньше хозяйство у него было средняцкое.

— Для меня сейчас лучше стало: имею корову, три поросенка, овец... Согласен очень со словами тов. Сталина, что каждый колхозник должен быть зажиточным. Я уже начинаю быть зажиточным. Раньше, правда, у нас порядок был негвердый в колхозе, а политотдел хорошо налаживал: сейчас как что не так, сразу дело выяснится. Бригадиром я с января месяца. В бригаде у меня все в порядке: сбруи, хомуты имеем даже запасные, весь сельскохозяйственный инвентарь отремонтирован. Книг мне приходится читать мало. Хотелось бы о нашей колхозной жизни почитать, и что впереди будет, интересно узнать... Ребятишки у меня частенько это читают про колхозную жизнь, ну и я, когда время есть, с преобладающим интересом слушаю. Когда читаю и слышу, все понимаю, а вот рассказывать мне трудно...

ТРАКТОРИСТЫ

Клочков — секретарь ячейки комсомола курсов трактористов, колхозник со дня коллективизации, учился в Калуге, на област-

ных курсах секретарей комсомола. Говорит тихо, раздумчиво.

— Очень хорошо, что вы с нами о книжках разговариваете, без книги жизнь — как в темном лесу. Нужно нам как можно больше книг и, главное, хороших книг, чтобы строчка за строчкой так и затягивала, так и затягивала. Мои любимые писатели — Пушкин, Бальзак, Алексей Толстой и Шолохов. В «Калитанской дочке» и в «Дубровском» и трогательно, и интересно далекая, прошлая жизнь изображена. «Дубровский» больше понравился. Никакой другой дороги Владимиру не оставалось, как в разбойники, ведь благородного человека в те подлые времена и свои, и чужие клевали. У Бальзака читал «Отец Горно». Ненавидел все время Растиньяка за хищность и подхалимаж. Вот и наши писатели должны также изображать враждебный нам элемент, чтобы мы его не только подразумевали в уме, но и видели своими глазами, будто живого. Алексея Толстого «Петр I» читал, захлебываясь. Как же тошно жилось людям в те совсем дикие, некультурные времена! Неужели все, что про стрельцов написано, правда?

«Поднятую целину» даже на уроках читал, — так затягивает книжка. Простая книжка. Островнов очень живописно изображен, прямо ненавидишь его, как живого; то же самое можно сказать и о чиновнике-бюрократе, секретаре райкома, — его поведение возмутительно... Ближе всех и понятнее показались мне Конрад Майдашников. Совсем он знакомый, знакомый...

Пехлецкий — лучший тракторист. Ему 28 лет, но на вид он старше. Загорелое, медно-красное лицо, широкие раскосые брови и блестящие, очень узкие глаза. Пехлецкий говорит быстро, будто боится, что его не дослушают до конца.

— Я не крестьянин, а рабочий. Колхозник третий год. Много работ переработал на строительстве и в шахтах. Сюда попал из-за семейных дел. Раньше жил в Ростове-на-Дону. Люблю я, чтобы это кругом шум был, машины там, автомобили, чтобы много людей было, чтоб все кипело... Люблю веселье. Человеку всегда требуется веселье.

Вы спрашивали, какие я книги читаю, какие книги люблю. Так вот должен вам сказать, что не люблю современных книг. Скучно пишут, однообразно, без волнения... А мне надо, чтобы книга на нервы действовала, чтобы сердце от нее в дрожь бросало... Вот в «Туннеле» Келлермана говорится о строительстве, и сколько там приключений, неожиданных, завлекательных историй! И как про любовь хорошо сказано! Самая что ни на есть настоящая любовь... А у нас, если о строительстве пишут, так одно на другое похоже, и с первых же строк можно догадаться, что дальше будет... А когда любовь присоединяет, то любовь совсем чахлая выходит. Еще очень не нравится мне, если действие за туманом длинных речей пропадает.

Скажите писателям, чтоб повеселее, погуще писали... Вот, по-моему, все же интересно написаны две книжки из военной жизни: «Цусима» Новикова-Прибоя и Артема Веселого «Россия, кровью умытая». Легкий там, веселый и понятный язык. В «Цусиме» столько захватывающих историй из жизни матросов на кораблях, как над ними издевались, как они поднимали бунты, а в «России, кровью умытой» как здорово описана банда Маруси Никифоровой... Я раньше выругал книжки о строительстве, так это я конечно сгоряча. «Большой конвейер» Ильина перечитывал три раза: как от родного человека, жаль было оторваться. Все там правда, и люди просто дышат, как живые.

Ферапонтов — тракторист, кандидат в члены партии, был маломощным крестьянином, сейчас колхозник. Говорит очень медленно, чтоб крепче слить слова и мысли.

— Не нравится мне лично, когда писатель долго описывает природу, лунные там ночи, вообще когда много лишних фраз о фальшивых чувствах. Ведь я комсомолец с 23-го года. Я привык работать в боевой обстановке, где должна быть четкость и ясность, — этого хочется и от книги. Хорошая книга «Поднятая целина». Правильно разоблачает заскоки низового аппарата. Много людей, которые в книге, встречал на практике. И язык очень понятный. А все-таки это не такая книга, чтобы, не евши, не пивши, можно было читать. Когда-то давно прочел книгу (название вот позабыл), там рассказывает о белом офицере, который перешел на сторону красных, об организации партизанского отряда; помню, что, когда читал, душа обмирала, так беспокоился о судьбе героев, все хотелось узнать, что же с ними будет дальше...

Тракторист-колхозник Кокарев в 20-м году окончил четырехклассную сельскую школу, а в 29-м был командирован в совпартшколу в Рязань. Отец его был батраком.

Из художественной литературы нравятся две книги: Шолохова «Поднятая целина» и Лермонтова «Герой нашего времени». Ведь я же сам работал по коллективизации, был председателем сельсовета, а сельсовет кулацкий, приходилось очень трудно, были ошибки, перегибы, например, в трехдневный срок заставляли вступить в колхоз... А в «Поднятой целине» обо всем этом написано. Очень интересно было, как будто о себе самом читал. Следовало бы больше писать интересных художественных книжек, где говорится о различных мероприятиях нашей партии и нашего правительства и о том, как эти мероприятия в жизнь проводили. Как бы это в работе помогло, остерегло бы от ошибок!

Лермонтова «Герой нашего времени» тоже очень интересно было читать, очень любопытно было узнать о кавказской жизни, о дворянском герое Печорине, о горской девушке Бэле. Ведь все это совсем новое,

неизвестное мне, а написано так занимательно, что кажется, будто все сам видел, везде сам побывал.

КОМСОМОЛ

Собралось бюро комсомольской ячейки Незнамовского колхоза Кораблинской МТС. Несколько голосов сразу:

— Пусть раньше Асюнин выскажется, наш секретарь.

Асюнин несколько смущенно:

— Я люблю книги, где бы было много чудесного. Вот «Сон Макара» Короленко... Макару снится, а он думает, что на самом деле, и сон его такой интересный. До чего же это человека раньше мучили! Как это люди стерпеть могли...

Асюнина перебивает задорный басок Ляпунова:

— Нам все больше посылают книжки, где пишут о нашей крестьянской жизни. А мне этого мало, мне, например, интересно знать, как живут народы Кавказа. Нашу жизнь я и так знаю. Очень хотелось бы почитать про хорошие теплые страны, про природу, про жизнь Кавказа. О прежнем Кавказе замечательно говорится в «Казаках» Толстого и в «Герое нашего времени» Лермонтова. А о теперешнем Кавказе что ж это никто не догадается написать? Это во-первых, а вторых, почему никто не опишет в художественном виде гибель стратогата — ведь сколько бы слез было... Все геройские подвиги нашей жизни надо в книгах изображать. Еще меня и всех без исключения ребят интересует жизнь молодежи в капиталистических странах.

— Позвольте мне высказать добавление, — деловито заявляет Майоров. — Помимо далеких стран и героических присшествий надо бы жизненно и завлекательно описать биографию Ленина, Сталина, Карла Маркса и других великих людей, чтобы мы видели, как они боролись, через какие трудности проходили, не унывая и не падая духом. И о страданиях наших первых революционеров, о 1905 году нужно писать. Я и другие ребята «9-е января» Горького со слезами читали. Почему нет большого, подробного романа о 1905-м году?

— А о романах-то забыли? Сами страсть как любят романы о любви читать, а здесь не упоминают, — с хитрой улыбкой вставляет Бокарев. — Что ж, я не скрываю: люблю читать о любви, только не о прошлой любви, а о теперешней, чтобы была любовь не отстала, а современная. Хорошо о любви в «Городах и годах» Федина сказано.

— Вот что я вам скажу, ребята. — громко и решительно говорит Дуся Щербакова. — О любви у нас неправильно пишут. Читала я Богданова «Первая девушка». Какая же это любовь, просто противно читать. Может, когда-нибудь раньше случались такие неприятные истории, по-моему, очень преувеличенно все это. Потом еще о нашей комсомольской работе хороших и верных

книг совсем мало, да и не только о работе, а и о всей нашей жизни очень бы хотелось прочесть увлекательную, правильную книгу.

...Недавно я прочитала «Человек, который смеется» Гюго. Сколько там ярких, благородных приключений, — сердце разрывалось от жалости. Пусть пишут о нашей жизни так же волнующе, не хуже, чем Виктор Гюго.

— Товарищи, разрешите мне внести конкретное предложение нашим писателям. — заявляет Ляпунов. — Предложение такое:

1) чтобы писали о путешествиях, о далеких странах и, конечно, о Кавказе;

2) чтобы художественно описали все наши научные экспедиции;

3) чтобы писали книги о жизни великих людей всего мира;

4) чтобы писали о жизни молодежи в капиталистических странах;

5) чтобы писали жизненно и завлекательно. Принимается предложение? Никто не возражает?

Принято единогласно.

Председатель колхоза.

Петр Андреевич Миронов, председатель Фроловского колхоза Кораблинской МТС, в беседе прежде всего упоминает о своих хозяйственных заботах.

— Мы постановили увеличить почти втрое число колхозных коров. У нас было пятнадцать, а мы в этом году доведем до сорока. Дело идет ничего, успешно, но все ж бывают и трудности... Много у нас еще несознательного народу.

А относительно книжек скажу, что очень бы хотелось почитать об образцовом хозяйстве, чтобы увидеть, как люди умно, по-хорошему хозяйничают, или об изобретателях, которые бы изобрели простую, дешевую и замечательного действия машину для сельского хозяйства. Книжки об изобретателях для азарту нужны, чтобы люди подивились, да и в самом деле попробовали бы изобрести. Может, что-нибудь и вышло бы...

Еще меня очень интересует, как крестьяне жили при крепостном праве и как они живут в капиталистических странах.

Пожалуй, интереснее даже не прошлое, а настоящее, т.е. как живет теперь наш брат крестьянин и рабочий при капитализме. Меня всегда тянет знать, что в других странах делается, поэтому еще очень люблю читать о путешествиях в далекие страны. Если бы увлекательную книжку о путешествиях получил, то ночь бы не спал, а прочитал обязательно.

Секретарь партийной ячейки.

Николай Мартынович Ахромич — секретарь партийной ячейки села Незнамово. Ему 30 лет. В партии уже пять лет. «Жил в деревне, — говорит он, — так бедно, что пришлось идти внаймы». Политическое развитие получил, находясь с 26-го года в Красной армии. В 28-м году снова

вернулся в деревню. Был сельским исполнителем, потом стал членом сельского совета. Был председателем колхоза, председателем сельского совета, а в последние два года секретарем партийной ячейки.

На вопрос о книгах, которые ему пришлось читать, Ахромкин смущенно улыбается:

— Художественную литературу мало читаю, больше люблю читать Ленина, Сталина, журнал «Большевик» и газеты.

Очень жаль, что почти нет хороших, интересных книг о борьбе рабочих и крестьян капиталистических стран, а такие книги нам нужны до-зарезу, нужны для того, чтобы развивалось и крепло в крестьянине чувство солидарности с трудящимися всего мира. Конечно, большая потребность в книгах о нашей крестьянской жизни. Только я думаю, что надо писать и о недалеком будущем, — например, что будет в колхозах лет через пять-шесть. Ведь как бы это прибавило азарта в работе. И вот еще очень важно: надо нашим писателям писать более простым языком, а то начнешь читать и бросишь: так темно, так нелуцано.

Самые для меня дорогие и интересные книги: «Детство», «В людях» и «Мои университеты» Максима Горького. Ведь вот как изучил Горький человеческую жизнь, как изучил, — это особенно понятно тому, кто сам через все ужасы прошлого выбился в настоящую жизнь.

Зав. народомом. Сергею Забелину 22 г. Сергей — сын местного крестьянина, батрака в прошлом, колхозника в настоящем. Окончил в Рязани совпартшколу, кандидат в члены партии, заведует народомом при политотделе.

— Моя любимая книга — «Овод». Я помню в ней все, даже самые маленькие подробности. Вот и сейчас перед моими глазами стоит Артур, как живой. Какой он сильный, смелый! Порвал с семьей, смолodu отдал всю энергию народу. Артур пропадает, но не соглашается сдаться... Какая сильная революционная идея в этом романе!.. — Последнюю фразу он произнес с такой восторженно-повышенной интонацией, что сам смутился и густо покраснел. Потом, овладев смущением, продолжал: — А как там хорошо про любовь говорится: какая героическая, высокая любовь! Только так и надо о любви писать. А когда писатель начинает во всех подробностях описывать, как герои целуются, обнимаются, соблазняют друг друга, развратничают, это только наталкивает на плохие мысли.

Я знаю товарищей, которые начитаются всего такого и начинают безобразничать... А про такую любовь, как в книге «Овод», хорошо читать. Такая любовь возвышает. Я думаю, что писатель должен обязательно про любовь писать, это разнообразит книгу и не только не портит, но усиливает революционную идею... На мой взгляд, если очень хорошая книга, то она на всю жизнь запоми-

нается, а вот я прочел на-днях «Лесозавод» Караваяевой, и все как-то стерлось в памяти. Невыразительно написано.

Из современных книг я больше всего люблю Шолохова — «Поднятую целину», может быть, оттого, что все, о чем там написано, мне очень близко, понятно. У нас здесь, пожалуй, Шолохова больше всего читают.

Библиотекарь.

Библиотекаря Батурина 16 лет, он — сын колхозника, комсомолец, окончил семилетку и был послан политотделом на двухмесячные курсы по радиовещанию.

На вид это мальчик 13 лет: щеки розовые, голубые смешливые глаза, забавно вздернутый носик. Он подчеркнуто солиден. Он весь полон сознания ответственности за порученную ему библиотеку и радиоприемник, для которого «необходимо добыть лампы, питание, батареи»... Батурин рассказывает, что до него читателей библиотеки было 25 человек, а сейчас 114, что наибольшим успехом пользуются все книги Горького, «Тихий Дон» Шолохова, «Разбег» Ставского, 2-я книга «Брусков» Папферова, «12 стульев» Ильфа и Петрова.

— Лично я, — говорит Батурин, — больше люблю читать политические книги, но читаю и беллетристику. Хорошая книга «Отцы и дети». Нравится мне очень Базаров: смелый, непреклонный.

Люблю я еще читать, как героини-революционеры сражались с врагами рабочего класса еще задолго до революции. Из таких книг лучше всех «Мать» Горького: речь Павла на суде и как Власовна разбрасывала листовки — несколько раз перечитывал.

Только-что прочитал книгу Ставского «Разбег». Очень мне понравилось, что она написана на мягком, на нашем, крестьянском, языке. Читал, не отрываясь, потому там есть много такого, что мы сами видели из практики. А вот «Подвиг» Лапина начал читать и бросил: на каком-то языке непонятном написана, и люди какие-то надземные. Вот только сейчас мне один читатель тоже обратно ее принес: не захотел читать.

II. Из материалов сельских библиотек Московской области

(Отзывы читательских конференций и отдельных читателей).

ШОЛОХОВ — «Поднятая целина»

«В книге все правдиво описано... Но, тов. Шолохов, в вашей книге вот что не понравилось: очень нехорошие места и выражения. Неужели нельзя выражаться так, чтобы было и весело и не очень похабно? Быть может, там, верно, есть такие мужчины, но эти слова нам, женщинам, очень не нравятся, а главное, все эти слова относятся к женщинам. Женщину автор рисует, как бессмысленную, самую распущенную.

ничем не интересующуюся. Неужели автор не нашел ни одной женщины-общественницы? Все-таки автор описывает не первый или второй год после революции, а как будто 13-й год, так что автор должен это учесть и во второй книге исправить этот недостаток».

Раменский район, колхоз «Серп и молот».
Колхозницы: Махова Анна, 24 лет;
Торопова А. С., 28 лет; Казакова, 24 лет.

«Нам книга понравилась тем, что Шолохов понятным языком пишет каждую главу книги... Нам нравится чистый, настоящий колхозный язык, нам легко понимать его книгу... О женщинах мало писал хорошего, как будто не было ни одной женщины, которая сознательно строила колхоз. Этот недостаток нам бы нежелательно читать во второй книге. Хорошо бы туда ввести женщину — героя колхоза».

Закончили читку книги и обсуждение 19/IV—34 г.

Колхозник д. Найденки,
Краснохолмского района.

«Мне не нравится в книге вопрос семьи и быта. Не нравится, что женщины ведут ненормальный образ жизни, как Лушка и жена, то-есть вдова, которая жила с Андреем...» Книга должна «особенно указать правильный путь в культурно-бытовом и семейном вопросе».

Ковалева М. П., 28 лет; бригадир-колхозник полеводческой бригады № 11; Калязинский район.

«... Ну только обидно, что неужели не нашлось ни одной хорошей женщины».

Рядовая колхозница, 20 лет, Одоевский район.

«Поднятая целина» написана хорошо. Но есть недостаток в языке. Встречаются цензурные слова очень часто. Нет никакой женщины-ударницы, с которой можно было бы взять пример. Неверно выведен тип председателя сельсовета Разметнова. Он как-то смазывается. А между тем он должен бы играть главную роль, как представитель советской власти».

Колхозница Нечушкина Анна. Шацкий район.

«Книга поднимает дух, хочется больше и лучше в колхозе работать и сделать, чтобы в нашей работе враги не мешали».

Добрякова А.; колхозница д. Найденки. Краснохолмский район.

«Эта книга вызывает настороженность и отвлечение к классовому врагу и поднимает энтузиазм для больших героических поступков... Давыдов все равно как из жизни взят».

Колхозница, 43 г. Алексинский район.

«Нагульнов показан особенно ярко и точно. Книга написана правдиво, точно».

в-точь, как было, когда началась коллективизация в 1930 году».

Колхозник Дуделев. Белевский район.

«Переживания собственно мои». Колхозница, 27 лет. Алексинский район.

«Жизнь показана без преувеличения».

Бригадир-колхозник Нестеров, 20 лет. Калязинский район.

«Дед Щукарь — словно живой, и таких можно встретить на самом деле в колхозе... Изумительно правдиво написаны все факты, как-то: убийство Хопрова, грабеж семейной суды, которые читаются с потрясающим, жутким интересом...»

Многие люди узнают себя в этих героях».

Колхозник, 28 лет. Алексинский район.

«Встречал и в жизни таких героев... Книга полезна для жизни».

Вышегородский колхоз; Левин М. В., 15 лет. Рязанский район.

«Автор хочет все открыть. Автор справедлив к Давыдову».

Колхозница Булатова, 55 лет. Рязанский район.

«Люди живые, настоящие: их хорошие поступки, их промахи, их работа и борьба — все реально и близко читателю».

Кима Кл. В.; 45 лет, секретарь союза МТС и батрачества. В.-Волочек.

«Жалко было уходить с читки: очень тов. Шолохов хорошо пишет и понятно».

Колхозницы: Горбунова, Плагонова, Баранова, Козлова и др. Колхоз «1-е мая». Калининский район.

Предложение конференции колхозников и единоличников, проведенной 22/IV—1934 г. Селезневской сельской библиотекой. Присутствовало 124 чел.

1) Просим т. Шолохова скорей выпустить 2-ю книгу и написать о женщинах не так, показать хоть одну женщину-героя: написать о деревенской молодежи.

2) Прислать побольше в деревню таких хороших книг, писать о жизни в колхозах.

3) Библиотекарю и активу почаще проводить с нами читки книг и приготовить еще не один вечер по книге.

СТАВСКИЙ — «Разбег»

«Прочитал книгу Ставского «Разбег» с большим интересом... Особо нравится простой рассказ старой Гринчихи о гибели мужа и детей... Книга дает понятие, как узнать классового врага в деревне... Иногда не замечаешь классового врага, а прочтешь «Разбег» Ставского, классовый враг становится ясным и понятным. Мне не нравится, что в книге

много украинских слов, это затрудняет чтение вслух; если бы не было объяснений к этим словам, то их понять было бы очень трудно».

Колхозник Чибисов, 20 лет. Алексинский район.

«Несмотря на обилие украинских выражений, автор пишет кратким, сжатым языком, и поэтому книга читается легко и с интересом... Когда читаешь описание отдельных личностей, как Чесных, Шкаденко, Криנסкого, Сусленко, Кошурко, то невольно вспоминаешь подобные им личности в организации колхоза в своем селении».

Колхозник В. Светлов, 28 лет. Звенигородский район.

ШУХОВ — «Ненависть»

«Все доискивалась, не будет ли про нашу сестру что написано. Ведь бабы-то, чай, тоже жили в деревне. Ну, за какой же они колхоз и против кого, — неизвестно. Да и на поле вроде не работали, а только мужей пеняли, чем бы про дело посоветовать».

Колхозница, 27 лет. Алексинский район.

«Ничего книжка, только не сразу поймешь: про одно пишет, потом бросает, — про другое начинает. Не сразу поймешь, что к чему. Да и матерная ругань ни к чему».

Колхозник, 39 лет. Алексинский район.

«Вы просили меня дать отзыв на книгу Шухова «Ненависть». Не могу сказать, что она мне очень понравилась, потому что скучно читается и совсем несравненно с «Поднятой целиной». Наверно это зависит от того, что далекая от нас местность описывается и не знаешь, верно ли описано, или нет, а «Поднятая целина» — это будто наш колхоз в 1930 г. описали. Интересно, Шухов городской житель или деревенский?»

Колхозник, 35 лет. Одоевский район.

ИЛЬИН — «Большой конвейер»

«От бодрых, может быть, частью недоработанных страниц веет настоящей жизнью и молодостью страны... За несколько часов можно пережить долгую эпопею строительства и почувствовать себя включенным в этот конвейер. Люди, населяющие книгу (я сознательно говорю «населяющие»), действительно, живые люди, которые могут уставать на работе, срываться и подниматься вновь. И «крошка» Бобровников — своеобразный бадовень судьбы, у которого все идет гладко, и мордовка из гленион ерзя, перерастающая в рабфактовку, и директор Игнатов, — все они так живо встают в памяти, как закрошь книгу, что кажется, видел их наяву... Автор написал молодую книгу. Книгу, которая не

только зовет на штурм и борьбу, но возбуждает у читателя ответ на свой зов».

Макаров, 20 лет, член ВЛКСМ. Колхоз «Передовик». Культурник.

НОВИКОВ-ПРИБОЙ — «Цусима»

«Данная книга мне очень понравилась, прежде всего потому, что автор пишет легким для чтения языком, и потому, что она пополнила мои сведения о царской России».

Колхозник Самойлов. Новонетровский р-н.

«Эта книга мне очень понравилась. Я ее уже прочитываю второй раз. Начиная чтение с начала книги, никак не можешь от нее оторваться. Чем далее читаешь ее, тем более в нее углубляешься, и никогда не можешь оторваться, все время ожидая развязки».

Колхозник Орлов, 26 лет. Бежецкий район.

III. Из материалов редакции журнала «Колхозник»

(Отклики на письмо А. М. Горького в «Правде» от 22/VII и отзывы о 1-м номере журнала «Колхозник»)

НАДО ЗНАТЬ ВСЕ, ЧТО МОЖНО ЗНАТЬ.

Колхозное крестьянство «на деле, повседневно осуществляет знаменитые слова Максима Горького: «Надо знать все, что можно знать», — пишет редактор колхозной газеты И. Калмыков и обращается с просьбой к журналу «Колхозник», чтобы, помимо «чисто агротехнических и социальных тем», там освещались «элементарные вопросы метеорологии, астрономии, воздухоплавания и др.»

Всякого, кто пожелает ознакомиться с письмами колхозников, посылаемых в редакции журналов, прежде всего поразит широчайший круг самых разнообразных интересов, желание знать о жизни «все»: и о прошлом, и о настоящем, и о будущем, начиная от маленькой детали сельского хозяйства и кончая полетами в стратосферу, начиная от истории своего колхоза и кончая борьбой мирового пролетариата за социализм. Сокрушительным любопытством к жизни переполнены все эти письма и молодых, и старых, письма, посылаемые со всех, даже самых отдаленных, концов нашей страны.

«Покажите нам в живой, ярко красочной форме, основанной на фактах, жизнь трудящихся до революции, у нас и за границей (Италия), и сейчас за границей. Подготовка и проведение Октябрьской революции, роль Ленина в вооруженном восстании. Случаи из истории гражданской войны (это особенно интересно, как Красная армия была гнид). Участие молодежи в гражданской войне. Покажите, как проходили первые съезды КСМ и выступление на них Ленина (можно перепечатать имеющиеся уже печатные работы). Серия из жизни вождей. Жизнь нашей страны в восстановительный период. Борьба на фронте социалистического строи-

тельства (роль в строительстве ВКП(б), заслуга ОГПУ, верного стража диктатуры пролетариата). Достижения нашей страны. Сообщайте нам о новейших достижениях науки и техники у нас и за границей, особенно в сельском хозяйстве (в частности об электрификации). (Селькор Анцупов, Ф. С., Воронежская область.)

Из Азово-Черноморского края, из Чувашии, Мордовии, из областей Челябинской, Западно-сибирской, Ленинградской, Воронежской, Московской и пр., и пр. летят в журнал «Колхозник» вопросы-требования: в журнале необходимо печатать очерки о походах наших научных экспедиций в Арктику, в особенности о походе «Челюскина», о его трагической гибели, о жизни челюскинцев на льду, их спасение, отважность летчиков; чтобы в журнале подробно писали про плавание судов-ледоколов по Ледовитому океану, как пробивается лед, как живут там люди, какие люди встречаются, как ведутся научные наблюдения. И тут же рядом. за что и как поролы крестьян до революции? Как жили первобытные люди? Где начали строиться первые города в нашей стране, какие по названию? Как раньше ходили пароходы по морям?

ОБРАЗЦОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В целом ряде писем колхозный читатель настойчиво требует от литературы, от писателя показать знатных людей колхозной деревни, отметить изобретения каждого отдельного колхозника, изобразить «образцовое сельское хозяйство».

Практические вопросы переустройства деревни во всей их предельной конкретности, во всей их мелочной повседневности упорно и горячо волнуют каждого, и неудивительно, что колхозный читатель ищет помощи в книге, в книге художественной, которую любит, в которую верит, которой придает величайшее общественно-воспитательное значение.

«...Нужно бы больше давать места произведениям о сегодняшнем, о героике социалистического строительства, о перерождении крестьянина из отсталого, забитого в современного человека, в сознательного строителя новой жизни». (В. Головатенко. М. Пятикатки. 31 октября 1934 г.)

«Журнал «Колхозник» должен являться большим помощником колхозам и совхозам в поднятии урожайности и разведении животноводства». (Вл. Кон. Павлов. П/о Колина, Курской области).

«...Нет у нас статей о животноводстве, о пчеловодстве, о садоводстве, о дорожном строительстве, о культурном строительстве деревни. Эти же темы сейчас и нужны колхозникам и молодежи, это же боевой и насущный материал, который колхозники ищут сейчас». (Селькор К. Никулин. Воронежская область).

Колхозник должен знать, «какая идет почва земли под какие культуры хлебов или корнеклубнеплодов», «какие лечебные травы, где они растут, какие для чего употребляют», о вредителях, — полевых, огородных, садовых, каким кормом кормить тот или иной скот. (Смирнов. Московская область).

«...Как и какими орудиями работали и по всем отдельным уголкам и как живут и какими орудиями работают при советской власти и как живут и какими орудиями работают за границей крестьяне». (Колхозник Лямяков. Курская область.)

НАДО ЗНАТЬ ПРОШЛОЕ, ЧТОБЫ ЛЮБИТЬ НАСТОЯЩЕЕ

«Наше заключение. Журнал хорош, покажите лучше быт старой деревни, чтобы народ читал и плевался — вот, мол, дураки, как жили-то встарь». (А. Федотов. Нижний Табул. Обско-Иртышская область).

Приоткрыть «завесу старого прошлого», той мрачной жизни прошлого, когда «зависел каждый от ветра и сам по себе бедовал одиночно», надо для того, чтобы еще с «большим упорством» «строить прекрасное здание настоящего», — вот основное, что притягивает внимание колхозного читателя к прошлому. В целом ряде писем прошлое противопоставляется настоящему. «Мне хочется в журнале «Колхозник» почитать больше разных рассказов о прошлой жизни крестьян. Сам я постараюсь описать о себе, как я раньше жил в бедности и в батраках и как сейчас в колхозе живу, ни в чем горя не вижу, сыт, обут, одет». (Колхоз «им. Л. М. Кагановича», дер. Медвежье, Моск. обл.).

Большой интерес к классической литературе вытекает из того же желания узнать, а у более пожилых вспомнить, «как жили люди в дни прошлые, при капиталистах и помещиках», чтобы еще острее возненавидеть прошлое, еще сильнее полюбить настоящее. «Надо знать прошлое, чтобы любить настоящее... Нужно печатать отрывки из лучших представителей старой классической литературы. В частности, колхозному читателю нужно рассказать о таком великом поэте, как Александр Сергеевич Пушкин. У него есть прекрасное стихотворение «Деревня», из которого видна действительность старой, порабощенной деревни». (Колхозник И. Крячков. П/о Толмачево, колхоз «Толмачевец»).

Наблюдается особая тяга — «кровный интерес» — к автобиографическим произведениям А. М. Горького:

«С тех пор, когда я прочитал в одном из ваших произведений о том, что безжалостные кровососы-богачи эксплуатировали вас, еще не достигшего совершеннолетнего возраста, в какой-то кондитерской 12-часовым рабочим днем за несчастных три рубля в месяц, с тех пор во мне пробудилось какое-то желание еще больше прочесть ваших книг. С тех пор во мне проснулась

великая братская любовь к вам, а этим кровавадым зверям, которые своим мракобесием и рабством поглощали миллионы таких талантливых лиц, как Алексей Максимович, я им всегда и везде посылал проклятия.

Крепко жму вашу пролетарскую руку». (Селькор Пицук. Западно-Сибирский край).

КАК ЖИВУТ И РАБОТАЮТ ЗАРУБЕЖНЫЕ ТОВАРИЩИ ЗЕМЛИ

«... А особенно колхозники проявляют свою любовь к тому, как живут и работают зарубежные товарищи земли. Взять хотя бы «Крестьянскую газету», где помещены отрывки из дневника председателя сельсовета тов. Ли Ян-сен «Освобожденная земля». Я знаю, что в некоторых колхозах нашей местности эта газета читалась буквально до того, пока на ней показались дыры». (Курская область. Ал...).

В письмах неоднократно отмечается необходимость печатания рассказов о жизни и борьбе трудящегося крестьянства за границей.

ТАК И БЫЛО В САМОМ ДЕЛЕ

Небольшой кружок в 18 человек собрался 30 ноября 1934 года зачитать некоторые рассказы из первого номера журнала «Колхозник», изданного «Крестьянской газетой». Здесь и актив колхоза: бригадиры, конюхи, ревкомиссия, здесь же и школьные работники.

Зачитав рассказ Максима Горького «Шорник и пожар», выступавшие колхозники говорили, что пролетарский писатель очень правильно показал жизнь деревни, ярко-красочно выведен кулак Марков. «Так и было в самом деле, что пожар кулака не разорял, а обогащал».

Почти во всех письмах можно наблюдать требования художественной полноты, художественной правды; «так и было в самом деле» отнюдь не означает фактографии, голого бытовизма, — это требование правды, жизненности, желание увидеть подлинные, типические явления и характеры. «Шорник и пожар» нравится, потому что там кулак «отражен в той собственно-хищнической краске, какова была в действительности». А Федотов из «далекой от Красной столицы» Обско-Иртышской области пишет: «Мне особенно понравился очерк М. Горького «Шорник и пожар»; написано живо, сочно. Давайте в журнал больше художественных вещей. Их читать легче...».

Читатель, желающий, чтобы в журнале «подробно писали» про плавание судов-ледоколов по Ледовитому океану, заявляет: «вообще описание делать так, чтобы читатель мог пережить и мысленно видеть то, что и видят при этом люди в океане».

Малейшая фальшь, неправдоподобность вызывает протест: «не так складывается сама жизнь», «пожалуй, тут можно сомневаться в действительности» и пр., и пр.

Голубцов Петр из колхоза «Красная армия» (п/о Монастырщина, Западная область) пишет: «...возьмем хотя к примеру девушку Надфиц. Она оскорблена злодеями, которые дали ей на свадьбу истощенных лошадей, и в свой возмездие злодеям девушка взяла шефство над лошадьми, чем и отомстила за злую шутку. Пожалуй, тут можно сомневаться в действительности, да еще принимая во внимание кавказские обычаи».

ПРОСТО И ЯСНО

Язык должен быть ясным и простым; журнал надо выпускать на понятном для колхозника языке: «журнал должен печататься на понятном крестьянском языке», «наша литература еще не сумела полностью совладеть, чтобы весь этот материал дать колхознику в понятной и художественной форме»; «Разговор о погоде» М. Ильина несколько смахивает на Жюль-Верна. Надо об этом писать, но надо найти какой-то другой стиль, чтобы понятнее было». Требования простоты и ясности весьма настоятельны, — это основная предпосылка всех высказываний колхозного читателя об языке.

ЗАЖИТОЧНАЯ ЖИЗНЬ ТРЕБУЕТ ЗАЖИТОЧНОЙ КУЛЬТУРЫ

«Возьмите любого сельского библиотекаря и спросите: чем интересуется колхозник, и вы получите ответ: Толстой, Шолохов, Пункин и даже Драйзер... Зажиточная жизнь требует зажиточной культуры... Пусть не забывают уважаемые гг. профессора о том, что они будут иметь разговор не с прежним мужиком, а с новым колхозным крестьянином, который живет не только для своего «брюха», но и для счастливой, культурной жизни всего человечества». Автор этого письма (В. Генерозов, дер. Пеньки) просит, чтобы «красиво, художественно, правдиво» в «прекрасных очерках», в «незабываемых рассказах» показать «радости колхозного труда и отдыха», «новости науки и техники по всем отраслям», «будущую колхозную жизнь, изображенную на основе великих реальных планов социальности». Он делает особое ударение на необходимости показать женщину-колхозницу: «Женщина—большая сила в колхозе — сказал тов. Сталин. А есть ли чего хорошего, ценного об этой большой силе в наших колхозных журналах? Ответ прост: конечно, есть, но все это недостаточно, плохо».

Как обязательную предпосылку Генерозов выставляет требование высокой художественности, ибо только тогда «какой будет эффект, как поднимется производственный энтузиазм нашего колхозника, как ударно зазвучит в его руках коса, плуг, молотилка».

ПЕРВЫЕ ИТОГИ

«Бывают минуты, когда я положительно падаю духом. Для кого и для чего пишу? Для публики? Но я ее не вижу и в нее верю».

меньше, чем в домового: она необразованна, дурно воспитана, а ее лучшие элементы недобросовестны и не искренни по отношению к нам. Нужен я этой публике, или не нужен, понять я не могу» — писал Чехов в 1888 г. Большой писатель тоскует: нет у него настоящего читателя. Отдавать кровь свою, мозг свой, свои книги на суд «необразованного, дурно воспитанного» обывателя, — это ли не трагедия для писателя? И не один только Чехов страдал от одиночества, от непонимания, от отсутствия живого, кровно заинтересованного читателя. Ромэн Роллан в «Неопалимой купине» говорит о своем герое Кристофе: «В минуты жажды больших страстей ему случалось оглядываться вокруг и спрашивать, для кого же он пишет. И тут он видел жалкую клиентуру современного искусства, эту утомленную знать, эту диллетантствующую буржуазию, и ему думалось: «Каков смысл работать для этих людей?..» Кристоф искал настоящей публики, той, что верит художественным переживаниям, как переживаниям жизни...».

Как должен быть счастлив наш советский писатель, у которого читатель — многомиллионная масса рабочих и крестьян! И как этот читатель за последние годы вырос! Какой понимающий, тонкий читатель, как верит он писателю, как любит художественную литературу, какие высокие требования он ей предъявляет! Наверяд ли найдется у нас в Союзе писатель, который был бы равнодушен к высказыванию читателя, который не пожелал бы считаться с теми требованиями, какие предъявляет литературе массовый читатель. К сожалению, в деле изучения читателя сделано у нас постыдно мало. Критика должна принять этот справедливый упрек.

Настоящая работа отнюдь не претендует на полную охвата материала. Это лишь первые опыты, первые итоги. Здесь говорится лишь о самых общих требованиях, какие предъявляет колхозный читатель к литературе. Каковы же эти требования?

Чтобы в книгах изображалась деревня во всей повседневной конкретности: хозяйство, быт, молодежь, новые семейные отношения. Особое значение конечно должна иметь яркая и правдивая картина образцового хозяйствования в новых условиях.

Деревенский идиотизм — тема надоевшая, несколько даже обидная: «в книжках очень хорошо и подробно о нашей дурости и бедности пишут, а как мы на новую жизнь вышли, об этом скучно очень рассказывают». Повидимому, столь частая у целого ряда писателей перегрузка произведений эпизодами и сценками на тему деревенского идиотизма начинает вызывать своего рода протест, раздражение. Здесь же следует отметить самое отрицательное, самое непримиримое отношение к так называемым, «безобразным», «цензурным», «пекутурным», «похабным», «трехэтажным» словам. Иначе говоря, к элементам натурализма в языке.

В передовом колхознике все более и более развивается и крепнет чувство интернационализма, сознание своей связи с трудящимися всего мира. Наблюдается большая тяга к произведениям о жизни крестьян и рабочих в капиталистических странах. Отсюда растет и колоссальнейший интерес к книге о путешествиях в «далекие страны».

Революционная героика, живописание великих людей, перестраивающих мир, привлекают к себе большое внимание колхозного читателя. В этих биографиях как бы хотят почерпнуть живые примеры для себя, руководство для своей повседневной общественной практики.

Наблюдается постоянное желание узнать из книги, как жили люди различных общественных классов раньше, в «далекие времена», — отсюда интенсивный интерес к классической литературе.

Следует особо отметить большую тягу к книге о «женской доле», к книге, которая показала бы новую женщину, борющуюся и добивающуюся независимости от мужчины, полной самостоятельности.

Таковы в самых общих чертах требования идейно-тематического порядка. Они свидетельствуют прежде всего о богатстве и разнообразии требований, предъявляемых колхозным читателем к книге. Это разнообразие интересов — следствие интенсивного культурного роста самого колхозника.

Требования в отношении качества произведений, требования художественного порядка, органически переплетаются с высказываниями читателей относительно идейно-тематического содержания книги. И здесь прибедняться тоже отнюдь не приходится, ибо требования эти очень высоки.

Прежде всего колхозный читатель желает, чтобы книга была написана простым, чистым, ясным, понятным языком. Высшая похвала: «простая книга», «понятная книга».

Второе требование — это требование яркости, правдивости, типичности образов, иными словами, глубины и жизненной правды характеров. Если тот или иной герой запомнился, произвел сильное впечатление, то о нем говорят: «очень живописно», «сами встречали на практике», «как живой, стоит перед глазами». Сюда же следует отнести и требования сильных, больших чувств, чтобы чувства были «настоящие», не «чахлы», чтобы книга «на нервы действовала».

Наконец, третье, весьма и весьма настойчивое, требование, предъявляемое ко всем книгам без исключения, — это требование композиционной четкости, завершенности. Даже «Поднятой целине» — одной из самых любимых и читаемых книг — посылается упрек, что «нет в ней действия от начала до конца».

Что же говорить о книгах, где сюжет немело построен на ломаных линиях, на различных боковых ходах, не связанных с центральной сюжетной линией в единую стройную систему, или где автор, не сумев свести концы с концами, незаконно обрывает дей-

ствие? Композиционная рыхлость, неслаженность критикуется довольно сурово: «многое в книге как бы недописано и непонятно», «про одно пишет, потом бросает, про другое начинает; не сразу поймешь, что к чему», «больше всего не люблю книг, когда читаешь, читаешь, а все конец не договорен».

Четкий сюжет, занимательность, разнообра-

«Пушкин критик». Изд. «Академии». (Стр. 679. 1934 г.)

В стенах лицея юноша Пушкин пишет свои критические заметки о драматурге Шаховском и в день гибели, за несколько часов до рокового поединка, в письме к А. Ишимовой, он хлопочет о переводе из Барри Корнуэля. Пушкин-критик неотступно следует за Пушкиным-поэтом. В письмах к художественных произведениях Пушкин щедро разбрасывал меткие критические высказывания, и литературную полемику он не раз облекал в совершенную форму эниграммы, драматической сцены («Альманашник»).

Пушкин был свидетелем заката русского классицизма. Литература, говорившая, по выражению Тредьяковского, «языком благоразумнейших министров, премудрейших священноначальников и знатнейшего дворянства», дряхлая, разлагалась. На смену поэту, произносившему у подножия трона в дни торжеств свою, полную холодного восторга, рифмованную речь, пришел поэт, подвизавшийся в интимном кругу литературного салона и, наконец, поэт-профессионал, литератор, участник журнальных предпрятий. Пушкин очень скоро порывает с дилетантизмом, с творчеством для небольшого круга избранных. В письме к А. Казначееву, пражителю канцелярии графа Воронцова, Пушкин пишет.

«... Я уже поборол в себе отвращение писать и продавать свои стихи для того, чтобы иметь средства к существованию. Самый трудный шаг сделан. Правда, пишу я еще только под своенравным влиянием вдохновения, но раз стихи написаны, я смотрю на них как на товар, не иначе». (Июнь 1824 г.).

На смену энигонам классицизма идут септименталисты и романтики с их культом чувства, личности, индивидуальной свободы. Но основанием общества попрежнему является рабский труд. И новые литературные течения, не связанные с широким общественным движением, разлагаются, умирают. Вчерашние новаторы в свою очередь становятся энигонами.

Смена литературных течений происходила в обстановке упорной и противоречивой борьбы, иногда неожиданной по своим результатам. Так, гражданский пафос, возвышенный риторизм декабристов сделал возможным запоздалое воскрешение дряхлых образов классицизма — оды и трагедии. Декабриста Кюхельбекера мы видим в одном строю с литературными староверами. И новаторы из школы Карамзина, отца российского септи-

зментализма, сумели сочетать изощренную чувствительность с утверждением тирании и церкви.

Б. Брайнина.

ментализма, сумели сочетать изощренную чувствительность с утверждением тирании и церкви.

Органически усваивая все цепное, что было накоплено в процессе литературного развития, Пушкин с искусством подлинного стратега вел борьбу сразу по нескольким направлениям. В союзе с септименталистами он выступает против энигонов классицизма, отвергая славянские архаизмы их языка, восторженную напыщенность чувств, их устарелую поэтику. И вместе со своими вчерашними противниками из лагеря «славяно-руссов» он воюет против энигонов карамзинской школы в защиту народности и просторечия.

Энигоны классицизма видели основное достоинство поэзии в беспорядочном восторге, который так характерен для старой оды. Пушкин противопоставляет им не беспорядочный восторг, но единый план произведения, не калпризное вдохновение, но упорный труд. Возражая на статью Кюхельбекера, он пишет:

«Гомер неизмеримо выше Пиндара — ода стоит на низших степенях поэм, — не говоря уже об эпосе; ...плана нет в оде и не может быть — единый план Ада есть уже плод высокого гения. Какой план в «Олимпийских одах» Пиндара? Какой план в «Водопаде», лучшим произведении Державина? Ода исключает постоянный труд, без коего нет истинно великого». («О вдохновении и восторге»).

Энигоны септиментализма видели основное достоинство поэзии в чувствительности. Пушкин утверждает основным достоинством поэтического произведения мысль. Поэты навдвляли литературу бесконечными элегиями, меланхолическими размышлениями о быстротечных днях молодости. Пушкин пишет:

«Но мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей, гораздо позначительнее, чем у них обыкновенно водятся. С воспоминаниями о протекшей юности литература наша далеко вперед не продвинется. («О слог»).

Он издевается над попытками вырождающейся карамзинской школы украсить прозу словесными узорами и вялыми метафорами; он требует от прозы точности, краткости, «нагой простоты».

«Что сказать об наших писателях, которые, почитая за низкость изяснять просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами?.. Читаю отчет какого-нибудь любителя театра: «сия юная питомница Талии и Мельпомены, щедро одаренная Аполлоном»... Боже мой, да поставь: «это молодая, хорошая

актриса... Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей, — без них блестящие выражения ничему не служат». («О слоге».)

Приветствуя Дельвига, Пушкин восторженно пишет: «Дельвиг, благословляю и поздравляю тебя. Добился ты, наконец, до точности языка, единственной вещи, которой чья тебя недоставало».

Быть оригинальным, по мнению Пушкина, — это прежде всего значило мыслить. Он писал: «Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов, он у нас оригинален, ибо мыслит». («О Баратынском».)

Пушкин жестоко издевается над попыткой добиться успеха при помощи формальных ухищрений. Неожиданный оборот речи, смелость в пользовании тем или иным словом не есть подлинная смелость художника. По его мнению, «жалка участь поэта, если он принужден одерживать подобные победы над предприсудками вкуса». Пушкин говорит: «Есть высшая смелость, смелость изобретения, создания, где план обширный обмелется творческой мыслью. Такова смелость Шекспира, Мильтона, Гете. («О смелости выражений».)

В годы созревания, в годы напряженной борьбы за художественный реализм, Шекспир становится учителем Пушкина, он называет Шекспира «отцом». По поводу «Бориса Годунова» Пушкин пишет: «Я расположил свою трагедию по системе отца нашего Шекспира». Байрон, еще недавно восхищавший поэта, кажется Пушкину мелким по сравнению с Шекспиром. Он говорит о том, что Байрон постиг всего лишь один характер, именно свой собственный, и разделил его между своими героями, в то время когда у Шекспира «каждый человек любит и ненавидит, печалится, радуется на свой образец». «Читайте Шекспира» — этот зов проходит через критические статьи и переписку Пушкина.

Шекспир завоевывает Пушкина не только своим могучим реализмом, мастерством, с которым он изображал различные проявления человеческой души, но и своей глубокой народностью. Высказывания Пушкина о народности Шекспира полны глубочайшего смысла, они являются существенной чертой реалистического стиля, который утверждал Пушкин. Под народностью Пушкин разумел не общедоступность или общепонятность, но глубину мысли и чувства, выраженных художественными средствами, присущими образному мышлению и языку народа. Его глубоко волнует судьба «Бориса Годунова», ибо с этой трагедией связана победа принципов того стиля, который он утверждал в своем творчестве. Пушкин пишет: «Признаюсь искрен-

не, неуспех драмы моей огорчил бы меня, ибо я твердо уверен, что нашему театру приличны народные законы драмы Шекспира, а не придворный обычай трагедий Расина и что всякий неудачный опыт может замедлить преобразование нашей сцены».

Итак, точность, простота, глубина мысли, соединенные с народностью художественного произведения, — вот те черты нового стиля, за которые боролся Пушкин. Трудно в пределах небольшой статьи дать хотя бы приблизительное представление о богатстве критических высказываний поэта. Далеко не полные, они составляют обемистый том. Нужно, однако, отметить, что автор вводной статьи Н. Богословский сделал не все для того, чтобы пушкинские высказывания дошли до читателя во всей глубине. Вводная статья и комментарии не всегда обнажают первоначальный смысл, первоначальную направленность пушкинских суждений. Когда Пушкин говорит, что «в литературе и в обществе мы слишком чопорны, слишком дамopodobны», неподготовленный читатель может и не догадаться, что в этом эпитете нашла свое отражение длительная борьба против карамзинской «нежной женщины», светской дамы, законодательницы литературного вкуса того или другого литературного салона. Вводная статья и комментарии не дают должного представления о той упорной борьбе, которую вел Пушкин. Недостаточно назвать вслед за поэтом Булганина и Полевого «воровской шайкой» для того, чтобы вскрыть все содержание борьбы между ними и поэтом. Спор Пушкина с разночинцами Полевым и Надеждиным (кстати, слово «нигилист» задолго до Тургенева было произнесено Пушкиным) полон глубокого смысла. Обзорный, несколько общий характер вводной статьи является существенным недостатком книги.

Появление свода критических высказываний Пушкина как нельзя более своевременно. Вопросы, волновавшие Пушкина, по-новому встают в наши дни. Ходячая напыщенность, поддельный пафос, чрезмерная чувствительность, дешевый сентиментализм, — все эти черты глубоко враждебны формирующемуся стилю социалистического реализма. И пушкинские принципы — точность, языка, богатство мыслей, народность художественного произведения — входят как составные элементы в систему художника, призванного в своем творчестве бороться за идеи коммунизма с таким же высоким совершенством, с каким великие художники прошлого века боролись за буржуазную хартию прав человека и гражданина.

А. Старчаков.

Редакция: { А. И. Безыменский.
Ф. В. Гладков.
В. В. Григоренко.
И. М. Гронский.
Л. М. Леонов.
А. Г. Малышкин.
В. П. Ставский.

Отв. редактор И. М. Гронский.

Издатель: «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».